КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ











КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ



КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ



ПОВЕСТИ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1989

84 Р 7
В 75

Составление
В. В. Воробьевой

На обложке рисунок
Ю. П. Реброва

В $\frac{4702010200-1945}{080(02)-89}$ 1945—89

СКАЗАНИЕ О МОЕМ РОВЕСНИКЕ

1

...Под вечер степь полнилась задумчивостью и покоем. Ветер утихал, травы выпрямлялись, а подгоризонтные дали заволакивались багряной дымкой всегда тревожного степного заката. В полночь на ковыль оседала тяжелая роса. Тогда степь белела, как под инеем, и легкие ноги Катерины оставляли на ней темно-зеленые следы-борозды. Она уходила от стоянки своего отряда километра за три, выискивала впадинку, где ковыль был густой и рослый, и в нем купалась.

Алексей находил ее по следу. Он садился поодаль, вслушивался в шорох ковыля и приглушенно-радостно смеялся. Потом он приникал к пахучей земле и нетерпеливо спрашивал:

— Ну, скоро ты?

Травяной шорох замирал. Алексей плотно прижимался ухом к звонкой черноземной тверди, слушал.

— Не гляди сюда! Бессовестный... А еще матрос! Отворотись, ну!

— Да я же не гляжу... а все равно вижу,— виновато оправдывался Алексей, смирно лежал несколько мгновений, пораженный правдой своего признания, и вдруг начинал говорить, не узнавая своего голоса: — Катя, роднуля. Песня ты моя заревая!..

В ответ Катерина вскрикивала, как при тихом испуге, торопливо одевалась и, расставив руки, будто подраненная, толчками шла на голос.

— Скажи-и... еще скажи это,— протяжным шепотом просила она издали, а Алексей молча бежал к ней навстречу, придерживая на боку деревянную колодку маузера. Лицо Катерины пахло медвяной зарей, чебрецом, степью; в косах застряли пушистые ковылинки, а в немигающих глазах — большие южные звезды. Су-

хими, обветренными губами Алексей гасил их, но Катерина прятала лицо ему под мышку и просила: — Ты лучше скажи про то-о.

И матрос каждый раз придумывал для нее новые имена и сравнения. Он называл ее мохнатухой — за густые и длинные ресницы, капелюхой — за небольшой и ладный рост. Была она ястребихой, перепелкой и всем тем, что встречалось в степи хорошего и живого.

Однажды, когда они никак не могли дойти до отряда, Катерина вдруг сказала:

— Ты знаешь чего? Я тебя давно хочу спросить и вот про что... Отчего от твоих речей про меня завсегда бывает так, будто я качусь с горы на салазках? Аж обрывается у меня в груди что-то, а хорошо как — ты даже и не поверишь!

Матрос крякнул и остановился.

— Чего ты? — тревожно спросила Катерина. — Будто это плохо.

— Нет, Катя... Это даже очень хорошо. Это в тебе происходит оттого, что ты... — он замолчал, снял бескозырку и зачем-то стал тормошить свой белесый чуб, потом рывком подобрался и приказал почти строго: — Ты вот что. Ты сбереги это мне до самого что ни на есть конца, слышишь?

Тогда Катерина долго и странно плакала — без всхлипов, без слов, не закрывая глаз. Она стояла, подняв лицо к небу, а Алексей растерянно собирал щепотью пальцев теплые слезы на ее ресницах и повторял одно и то же:

— Погоди-ка, об чем ты это, а? Ну погоди!

— Дура-ак ты, — протяжно сказала наконец Катерина. — Дура-ак, — с мягким замиранием голоса повторила она. — Мыслимое ли дело, потерять человеку то, без чего жить ему на белом свете совсем невозможно!.. Ты лучше дай руку свою. Вот, положи сюда. Не чуешь? Толкается уже, мальчик, видно. Говорят, они всегда так... в левой стороне на пятом месяце...

С полкилометра матрос нес Катерину на руках, потом остановился и попросил:

— Иди-ка мне на спину. Тяжелая ты стала.

— Не одна потому что, — сказала Катерина.

Недалеко от стоянки им повстречался конный дозор. Узнав своего ездового пулеметной тачанки и Катьку-пулеметчицу, верховые круто свернули в сторону, а через минуту матрос услыхал их густой придушенный хохот и ответный торжествующе-злой смех Катерины,— она даже не попыталась сойти из-под звезд на землю.

Осенью Катерина родила сына и назвала его Алексеем в честь отца.

— Это ты зря,— серьезно сказал тогда Алексей-старший,— путаться мы будем с ним после войны при твоих окликах... Хотя, с другой стороны, Алексей Алексеич — складно получается. Пущай будет!..

2

Гражданская война второй год обходила стороной Шелковку — большое и богатое село. Стоит оно на взгорье в вишневых и сливовых садах, ликом на юг, на речку Любач. За речкой — луг, потом — поле деревни Сафоновки, густой кустарниковый лес. Бешеная лощина, а за ним — села Рожновка и Липовец. Дальше этих мест шелковцы не сватались за молодаек и говорили, что там начинается не то Польша, не то Румыния.

Через шелковские земли протянулся древний шлях, по которому шелковцы ездят телегами и санями в Курск за солью и дегтем, истрачивая на поездку всего лишь два дня — от Шелковки до города шестьдесят верст.

Двор Матвея Ястребова, огороженный толстой каменной стеной,— в середине села. Хата новая, с красными наличниками, резными, в петухах, сенцами, крытая сторновкою под белую глину. Семья Ястребовых из пяти душ — самого Матвея Егоровича с Михалихой и троих детей.

Старший сын — Петр — в мать: блажной. За все свои тридцать лет ни разу не поговорил с девкой, не выругался черным словом и не выпил стакана самогонки. Петрак, как его звали домашние, не торопясь вяжет отличные рамы, тешет дуплятки для многочисленных пасек села и ладно шьет зипуны. Дочь Пелагея — близнец с Петраком и схожая с ним характером — долго жила в курском женском монастыре ке-

лейной прислужницей, но год тому назад вернулась домой, мало что умея по хозяйству.

Младший сын, Алексей, ни в мать и ни в отца. Форсун, книжник и гармонист, он чуждался работы и с «ливенкой» на плече частенько и под будний день уходил в Сафоновку, а домой возвращался на коровьем реву, зорями, дразня любопытностью просыпающихся баб.

«Выкрутень»,— сердито окрестил Алексея Матвей Егорович, но в душе гордился последышем, читавшим книжки и возражавшим ему, отцу, «городскими» словами.

Михалиха состарилась рано — тяжеловат на руку и крут нравом был в молодости Матвей Егорович, да и остался таким до старости. В коленные суставы и поясницу Михалихи давно уже вточилась ноющая боль, а в подслеповатые грустные глаза — неизбывная покорность и жалоба.

«Блаженная гусыня!» — беззлобно сипел Матвей Егорович, переставший с сорока лет стареть, порывисто кидавший свое сухое тело по двору.

— Петрак! Бери лопату, ток разделывать — жива! Лешк, сымай сапоги, обувай лапти — закуту чистить. А завтра с утра пар поезжай метать!

И жили Ястребовы ни богато и ни бедно — больше двух лошадей, пары коров и десяти овец не держали, свыше полста пудов ржи к новине у них не залеживалось.

Но в тот год, смуглыми весенними вечерами, когда Любач в белом кипении со скрежетом плавил льдины, по низовью, над разлатыми макушками ракит, из Бешеной лощины повадился к Матвею Егоровичу сыч. Он падал на хату у трубы и кутыкал, стонал и смеялся, леденя кровь в жилах Михалихи. Петрак набирал в полу зипуна подтаявших кизяков и молча пулял ими на крышу хаты, отгоняя беду. Вещун перелетал на сарай и оттуда кликал смерть до полуночи.

Михалиха умерла на красную горку. Нерасторопная Пелагея запустила хату, не справлялась у печки. Матвей Егорович кряхтел, недовольный, но Алексей не думал жениться и, оставляя сестру под молитву опрокидывать в печи горшки, по-прежнему будоражил поля заливистым страданием, уходя в Сафоновку овсяными межами.

3

По случаю троицына дня вся Шелковка сбилась к обедне, заполнила до отказа церковь, выперла на паперть.

— К на-ам! К на-ам! — властно и обещающе кликал колокол, и тем, кто не втиснулся в храм и жарился у ограды, были далеко видны на выгоне селяне, поспешающие к обедне.

В правом крыле церкви благопристойно и чинно стояли мужики и парни. Левую сторону прихода густо заполнила бабья и девичья разноцветь.

— Пре-ее-свя-тая богоро-о-одица... — с достоинством вытягивал молодой дьякон. Легко и остро пронзая дьяконовский бас, звонисто заливался сомлевший в духоте младенец, не сразу смолкавший под приглушенное «аа-а!».

Матвей Егорович и Петрак стояли рядом, крестились и клали поклоны разом, как по команде. В поклоне у Матвея Егоровича горбилась голубая в белую полоску сатиновая рубаха, из-под нее виднелась заношенная исподница.

— Дядя Матюша, видно, специально кобеднишнюю блошницу надел... из отымалки скроил...

— Сами портные-то, гы-и, — раздался сзади смешок.

Матвей Егорович, услыхав, заалел короткой шеей, резко одернул рубаху и до конца службы ни разу больше не нагнулся в поклон. От обедни он направился домой не выгоном, как все, а низом, над речкой. Петрак попробовал отговорить отца:

— Охота в жару по кручам лезть. По выгону пошли б и на погост к матери заглянули б.

— Иди один. Я в одно место забегу... А к обеду ждите.

В церковном проулке — горьковато-влажный аромат лопухов и разморенное куриное квохтанье; в желобке высохшего дождевого ручья пекутся зеленые лепешки коровьего помета и ворошится серая россыпь раскрылатившихся воробьев. Матвей Егорович сошел проулком к речке и нахоженной в береговом лозняке тропкой двинулся на край села.

В конце Шелковки — каменная лавка Кузьмы Михайловича Ходукина, брата покойницы Михалихи. Над красной крышей лавки сплели шатер ракиты, до черноты унизанные грачиными гнездами. Под навесом скургузились бочки и рундуки. Пахнет тут селедками, кисловатой сыромятиной, бубликами. «Распустил по селу запахи, матери твоей кляп!» — мысленно прокатил свата Матвей Егорович, но, ступив в прохладную полутемь лавки и не сразу различая предметы, сказал:

— Здорово живете!

По случаю праздника в лавке был сам Ходукин. Он неохотно оторвался от газеты, бережно сложил ее вчетверо и только тогда протянул через стойку смуглую цепкую руку.

— Здорово, сваток. С праздником. Не ходил к обедне?

— Отстоял, слава богу.

— А я вот у дел... Да ты присядь. Или, может, зайдешь отобедать?

— Некогда. Я на минуту... У тебя русско-горькая водится?

— Есть добро. А что, гость в хате? — прихлопнул веком левый глаз Кузьма Михайлович.

— Какой гость в жару шляться станет! Поясницу остудил. Ноет — спасу нетути! Так я думаю на зверобое настоять...

Не глядя на свата, Матвей Егорович не торопясь вынул из кармана штанов туго набитую деньгами бычиную мошонку, сосредоточенно принялся отсчитывать бумажки.

— Так-так,— протянул Ходукин,— вот и я думаю, оно как бы и не время по гостям ходить...— и, помолчав, сужая постепенно глаза, вдруг сообщил полушепотом не то с испугом за свата, не то с сожалением: — А деньги-то у тебя не ходячие нынче, сваток!

— Ты... очумел? — не сразу и удивленно спросил Матвей Егорович, прекратив отсчет денег.— Всюду ходят, а у тебя нет. Не сам же я их наделал... Они ж с гербом, гляди!

— Да герб-то чей? — прежним тоном пытал лавочник.

— Как «чей»? Свой! Расейский!

— Расейской державе испокон веков двуглавый орел гербом служил, сват!

— Теперича ей молоток с серпом служит! Тебя что, от сиськи вчерась отняли? Не знаешь, куда орел твой делся, мать его распроэтак?

Матвей Егорович на каждом слове креп голосом, а речь Ходукина становилась все проникновеннее и тверже:

— Ты же от обедни, сват, и сразу матюгом... А насчет орла — никуда он не делся. Как был, так и остался им!

— Ну вот что, — обиженно выпрямился Ястребов, — говори прямо: отпущаешь товар за мои деньги или нет?

— Нет.

— Ну и...

— В долг могу дать, — не стал слушать конца речи свата Ходукин. — Отдашь, когда разживешься настоящими...

— Миколаевками, что ль? — почему-то сипло спросил Матвей Егорович.

— Ими. Государевыми.

— Тю, сдурел человек! Да их у меня на божнице сот шесть лежит. В прошлом году Петраку в Курске за мешок муки всучили, черти бы их взяли! Заместо настоящих-то!.. Давай бутылку. Миколаевки Лешкой пришлю.

— Вот и сбереги их. Вскорости примут они прежнюю власть и силу, — наставительно произнес Ходукин, наклоняясь и шаря руками под стойкой... Добыв там желтую, с изображением двух козлов бутылку, он перевалился животом через стойку. — Летит к нам орел из теплых краев, сват... Белые кони уже под Орлом, чуешь?

— Мне один кляп, что белые, что черные! — убежденно сказал Ястребов, проворно пряча бутылку в карман. — Оставайся здоров, сват...

4

Над Шелковкой в душном, белесом небе искрится раскаленный солнечный шар. Из конца в конец села в недвижимом, поджаристом воздухе плавают пряные

запахи веток, украсивших ворота дворов. Улица пустынна. Сытно отобедавшие мужики поодиночке плетутся в сады под холодок слив и вишен, кучками собираются под навесы амбаров бабы «искаться». И лишь на извивах реки, где она ленива и глубока и где берега ее густо поросли лозняковой дремучью, лишь там в этот час раздаются девичий визг, раскатистый смех парней и стеклянный перезвон водяных всплесков.

С береговой дорожки Матвей Егорович свернул на свой огород, разглядывая заморенные засухой посевы, не спеша пошел в гору, к саду. У первых кустов крыжовника его настиг шум: по скотному проулку от реки неслась ватага парней и девок, вооруженных ведрами, деревянными лоханками и кадками. «Мокриду делают... Обольют, дьяволы»,— смекнул Матвей Егорович и, пригнувшись, наддал ходу. Но с проулка его заметили, и через изгородь сада, шурша лопушником и крапивой, вдогон ему кинулись несколько человек. Первым из пузатой кадки широкой и плотной глыбой илистой воды хлобыстнул по спине Матвея Егоровича рослый и чудаковатый Тишка Суровец. Матвей Егорович позеленел от бешенства:

— Вот я тебя, чертяка полоумный! Погоди-кась!..

— Дядя Матюша, с дожжиком тебя — ухх! — и кто-то из помойного ведра окатил его спереди.

— Безотцовщина! Дурачье! Вы же не то что дождь накличете, а распужаете к чертовой матери всю святость из села! — орал Матвей Егорович, выцарапывая из бороды шелковые нити тины и брезгливо отряхивая с рубахи склизких головастиков.

Петрак, Алексей и Пелагея, томясь, ждали отца к обеду. Матвей Егорович вошел в хату злой, булькая водкой в кармане обвисших штанов и соскребая чавкающими сапогами богородицыну траву, настланную на пол с вечера.

— Никак, в речку упал, тять? — спросил Петрак.

— В речку падают пьяные да дураки, вроде тебя! Или не видишь: мотня у штанов сухая, подмышки у рубахи тоже!..

— Да ведь ты мокрый весь, хоть выжми.

— Под горой облили... Мокриду правят разные оболтусы. Ну, собирайте обедать!

— Рубаху-то перемени,— посоветовала дочь.

— Много у тебя их? Обедать, говорю, подавай!

Пелагея накрыла настольник, нарезала скибки зачерствелого хлеба — лепешек не пекла — и зазвенела в чулане половником, наливая щи. Алексей, давясь от смеха, глядел в окно.

— Подай чашу или стакан! — приказал ему Матвей Егорович и, вылупив из мокрого кармана бутылку, начал обивать щелчками сургуч.

Первый стакан выпил сам Матвей Егорович, сморщился, нюхая хлеб.

— Вот тут потрох, тять. Пупок, кажись, закуси,— пододвинул отцу деревянный круг с курятиной Петрак. Матвей Егорович захватил двумя пальцами серый комок, торкнул его в солянку, но на полпути ко рту резко остановил руку, округлил глаза на Петрака:

— Какой же это, к чертовой матери, пупок? Ты видишь, что отцу родному суешь в праздник? Зоб кочетиный сварили!

Алексей в беззвучном хохоте повалился на лавку. Петрак виновато начал зачем-то разрезать зоб, брошенный на стол Матвеем Егоровичем, выковыривая из него разбухшие зерна овса, проса и комки травы.

— Печку рано топила, до обедни отделаться хотела, вот и недоглядела... А какая тут оказия? Все богом дано, тять,— кротко сказала Пелагея.

— Цыц, выкрутень! — Не в шутку подвинулся к Алексею Матвей Егорович.— Плакать в пору, а не гогот разводить в хате! Подумать только: в божьем храме на смех подняли из-за немытой рубахи! Раскурдяи разные измываться начали... Дома жрать сготовить некому, огород вон пыреем зарос, у коровы сиськи лопаются — не выдоена ходит!.. Жениться или моя очередь? Так я зараз мачеху вам на двор приведу!..

Алексей вылез из-за стола, отошел к печке. Глядя поверх головы отца, предложил:

— И то дело. Водка есть, к вечеру и свадьбу справим.

Матвея Егоровича как пружиной вскинуло. Ударившись коленкой об угол лавки, он метнулся к Алексею, цапнув с окна дубовый аршин.

— Что-о? Ты как заговорил с отцом, возгряк?!

Алексей ловко перехватил одной рукой аршин, другая нечаянно оказалась у растрепанной бороды Матвея Егоровича. И то, как быстро отдернул кулак Алексей и спрятал руку в карман и как воровато отвел свои глаза от отцовских, враз смололо Матвея Егоровича, состарило его на лишний десяток годов.

— Во-от ты ка-ак? — искренне удивился он.— Это мне-то! Родителю кулак сготовил?

Матвей Егорович выронил аршин, волоча сапоги, отступил к столу и, часто заморгав, низко поклонился в ноги Алексею.

— Спасибо, сыночек... вырастили тебя мы с покойницей... Да она, кормилица твоя, не дождалась такой чести, как я... Спасибо. Обласкал отца на старости... Приголубил...

— И с чего завелись, господи боже! — заговорила Пелагея.— Ну что такоича делают люди? Будет вам, садитесь есть, а то курятина остынет.

Матвей Егорович неловко притулился у края стола, молча и медленно задвигал бородой, беззубо жуя хлеб. В хате выткалась недобрая тишина, и было слышно, как тонкие, звонисто-тоскливые нити досуже прядут мухи под потолком за иконами. «Зря перехватил аршин... пускай бы поронул раз. А то сидит, как подраненный кулик, аж глядеть жалко»,— мучился у печки Алексей и вдруг ступил к отцу:

— Тять, и в мыслях не было насчет кулака... Ей-богу! Вгорячах я схватился за аршин, ты же им голову мог раскровянить... А по спине вдарь хоть несколько раз. Слышишь, тять?

И оба сына, и дочь заметили, как внутренне подобрался отец, поднял плечи под непросохшей рубахой, разогнал морщины со лба.

— Я говорю: жениться моя очередь приспела или чья? — берясь за бутылку, раздельно спросил Матвей Егорович, глядя на Алексея. Тот молчал, следя за снизкой бело-синих монист в стакане, сразу погасших, как только отец перестал наливать водку.— Выпей.

— Не буду, жарко,— отказался Алексей.

— Выпей, говорю. У Ястребовых на дворе сроду не водились козлы!

Алексей нехотя, но упрямо выцедил дробными глотками водку, опалил рот тепловатой горечью. И по-

ка заедал курятиной, Матвей Егорович одобрительно молчал, разглядывая просяную высыпь веснушек на тонком переносье сына.

— Ну, вот что, родимые мои,— начал он,— сами видите: дожили мы до того, что и от Игната Суровца не отличишь нас. Запаршивели до ужастей! И хоть круть-верть, хоть верть-круть, а без бабы хата не жилье. К жнитве молодайку приводи, Лешк. Невест в селе — как опенок по осени в ракитнике... Да я, по совести сказать, и выглядел хозяйку...

— Невесту я сам выберу,— глухо сказал Алексей.

— Сам с собой у нас в закуте хрюкают! Уж не в Сафоновке ли обнаружил невестку мне?

— А хоть бы и там! — в упор глянул на отца Алексей.

— Ты опять за свое? — недобро поинтересовался Матвей Егорович.— Это не бывшего ли барского кучера дочь? Лахудрино отродье? — с каждой фразой суровил он голос.— И чтобы я породнился с холуем, а его приблудницу в хату взял? Да ты что, очумел или как? — изумился старик.

— Не кричи, тять, мы не на полях,— сдержанно попросил Алексей.

— Да пускай меня планида разразит, коли я такую срамоту в хате дозволю! — не слушал подзахмелевший старик.— Сыскал сватка, сумку побирушную, кусочника!..

— Ну, если так — женись сам! — поднялся Алексей.— Не шибко старый!..

— Куда пошел? Воротись, сукин сын! Воротись, балакать с тобой буду! — крушил кулаками стол Матвей Егорович, пока не стихли в сенцах шаги Алексея.

5

Провожаемый окриками отца, Алексей спрыгнул с крыльца во двор, окунулся в духоту безветрия. Хлопнув рассохшейся калиткой, он перешел пыльную улицу, нырнул в саду под разлатый куст акации. Следя за сосредоточенной возней пчел и шмелей в желтых сережках акации, вспоминал Алексей недавний разговор с отцом, думал: «Не дозволит жениться на ком мне хо-

чется — подамся в Курск грузчиком. Как-нибудь проживу».

На рубаху к нему мягко упала пчела. Тяжело перебирая лапками, загруженными цветочной пылью, она лезла вверх, на плечо Алексея, судорожно дрыгая единственным крылом. «Вот, тут тоже скандалы происходят. Ишь, как тебя подсекли! Ну куда ты теперь годна? Лазить не захочешь, а летать без крыла не сможешь...» Алексей оторвал лоскуток лопуха, подставил его пчеле. Она доверчиво вползла, приблизилась к краю и, обрадованно заработав крылом, свалилась в траву...

По проулку букетами полевых цветов катились разряженные девчата и парни к речке, а оттуда в лес. Алексей вспомнил, что он в будничных штанах и рубахе, а праздничные лежат в сундуке в хате. «Не в этих же портках пойду я в Сафоновку?» — подумал он и решительно поднялся на ноги. Столкнувшись в калитке с Петраком, попросил его:

— Братух, вынеси мне сюровую рубаху, плисовые штаны и сапоги.

— Возьми сам. Тятя ушел выгоном к куму Федору,— недовольно отозвался Петрак.— И что ты только дразнишь его! Женился бы — и все тут!

— А ты сам спробуй! — огрызнулся Алексей.— Ходишь тридцать лет валухом... Тебе все равно за какую держаться, в амбаре не видно!

— Тьфу, дурак головастый! — покраснел Петрак.— В божий день — и такие речи, прости меня господи!..

Солнце свалило за полдень, когда Алексей вырядился и полевыми межами, начищая носки сапог подгорающим придорожником, пошел в Сафоновку...

Спящим селом возвращался хмельной Матвей Егорович домой от кума. Хороводы давно разошлись, и лишь у амбаров и срубов шушукались пары.

По залитому лунным светом двору Матвей Егорович прошел к хате, с крыльца прикрикнул на забрехавшего Полкана. В ответ, почуяв голос хозяина, приглушенно заржала кобыла-трехлеток, в сонной лени замычала корова. «У кума Федора, поди, лошади не заночуют летом в закуте!»

В темных сенцах Петрак шуршал ладонями по высохшим доскам двери, нащупывая щеколду.

— Поздно ты, тять.

— А Лешка дома? — спросил в ответ Матвей Егорович.

— Может, в амбаре лег. В хате его нетути.

— То-то же, «нетути». А лошади с голодухи гогочут в закуте.

— Нынче у всех они дома. Троица же...

— Стало быть, троицей они сыты? — бубнил Матвей Егорович. — Иди обряди их, погоню в Уручье.

— Да день-то русалочный, тять. Сроду никто на троицу не водил лошадей в ночное, — придерживая портки, зевал Петрак.

— А, городи мне околесицу! Выводи, говорю, пока я лапти обую.

Петрак подвел лошадей к крыльцу, аккуратно умостил на широкую спину мерина зипун. Подтянувшие животы кони доверчиво льнули к рукам, сочно хлюпали бархатными губами. Кончив обуваться, Матвей Егорович вышел на крыльцо, с трудом залез на мерина и, подобрав недоуздок, приказал Петраку:

— Подай-кась дубинку и... дудку. Она на божнице рядом с просвиркой лежит.

Петрак подал отцу то и другое, раскрыл ворота на выгон.

— Ну, поезжай с богом. Да гляди окрестись перед сном. День-то такой...

Мягко стукая в бока мерина пятками лаптей, Матвей Егорович выехал на выгон и, заложив под локоть дубинку, вытащил из-за пазухи дудку. Заскорузлый мизинец его левой руки упрямо съезжал с дальней от мундштука дырки, дудка с минуту сипела и всхлипывала, но, уловив миг, Матвей Егорович вывел замысловатую руладу и, приспособившись, рванул плясовую:

Ту-ту-ух, ту-ту-ух, ту-ту-ух,
Тау-рау, ту-ту-ух, тюв-тюв!..

Мотив песни сопровождался в хороводах и словами:

Я на улице не хаживала,
Семерых к себе важивала...

Матвей Егорович мысленно приговаривал слова, раззадоренный собственной музыкой. Лошади, зная дорогу к пастбищу, шли спокойно и уверенно, изредка лишь всхрапывая, когда увязавшийся Полкан слишком близко проносился мимо, гоняя по выгону тушканчиков. Залитые лунным светом, тихо нежились истомленные засухой поля. С обочины выгона, из седеющих ржаных посевов, единственным живым звуком неслись подбадривающие Матвея Егоровича перепелиные напутствия: «Жить так жить! Жить так жить!»

У-у-ух! У-у-ух! У-у-ух!
Тау-рау, у-у-ух, тюх-тюх! —

вторил на дудке Ястребов.

Уручье спало. Водяные пролысины болота тускло отсвечивали красноватыми бликами месяца, курились причудливыми клубами теплого тумана. Из ольхи и осоки навстречу мягким звукам дудки эхо грянуло звонисто-раскатистым хором. Полкан, приотстав, завыл протяжно и нудно, а лошади захрапели, остановленные самим же Матвеем Егоровичем.

У-у-ух! У-у-ух! У-у-ух!
Тау-рау! У-у-ух! Тюх-тюх! —

неслось из болота под заливистый, как показалось Матвею Егоровичу, девичий визг.

— Но-оо! — крикнул он, рванул поводья недоуздка. Огретые дубинкой, лошади рванулись по выгону. Полкан, распустив хвост, с игривым брехом кусал их за щетки. «Но-оо!» — не переставая, понукал Матвей Егорович, пригнувшись к гриве мерина. В свой проулок влетел он вихрем, не слезая с мерина, заколотил дубинкой в ворота с улицы:

— Отворяй-ай!

Петрак, крестясь, трусцой спускался с крыльца.

— Кто такоича?

— Отворяй, говорю, рассусоливай!..

— Свят-свят, господь! Никак, случилось что?

— Да как же! Целым корогодом окружили... Чуть не защекотали, потаскухи!

— Кто-о?

— Кому опричь? Русалки, матерям их дышло! Ишь, и зипун, и дудку отняли... Мало им там своих, нечистый дух! А все ты, блажной, виноват. Каркал, как ворон: «Крестись да крестись!» Где ж там было крест сотворять, когда их, может, тыща наскочила!..

На заре Матвея Егоровича разбудили гулкие удары в ворота. Опередив Петрака, он выглянул в окно. Улица была запружена подводами и солдатами в невиданных островерхих шапках с малиновыми матерчатыми звездами. «Вот он твой орел, Кузьма Михайлович! — с досадой на то, что не отправил вчера долг свату, подумал Ястребов.— Небось нынче не примешь миколаевки?..»

Калитку Матвей Егорович открывал нехотя и долго, и когда опасливо просунул голову в щель, чья-то голая рука неторопливо и ласково забрала его бороду и туго зажала ее в кулаке.

— Как фамилия? — услыхал он нарочито певучий голос невидимого человека.

— Ястребов, Матвей Егоров,— неожиданно для себя, как-то чересчур поспешно ответил Матвей Егорович, глядя себе под ноги, и рука, от локтя до кисти разрисованная якорями и стрелами, прежним ласковым движением отпустила его бороду. Не переступая порога калитки, Матвей Егорович поднял голову и увидел коренастого человека, увешанного белыми бутыльями бомб. Он стоял непокрытый, в одной тельняшке и широких черных штанах и непомерно синими глазами невинно и дружески глядел на Матвея Егоровича.

— Алеша! Ну что ты опять делаешь! Ей-богу, я расскажу обо всем комиссару! Вот прямо сейчас!

Голос был высокий, рвущийся, прохваченный дрожью обиды. Матвей Егорович повел взглядом и увидел на середине улицы узкую, приземистую и длинную бричку, запряженную парой разномастных коней. В передке брички стоял солдат с косами. «Баба!» — мысленно отметил Матвей Егорович.

— Пардон, супруга! — тряхнул в сторону брички белым чубом человек в тельняшке.— Произошла радостная смычка нейтрального хлебороба с красным моряком, временно ездовым пулеметной тачанки Алексеем Кишко. Только и всего! Гражданин Ястребов, попрошу открыть ворота и оказать нашему экипажу почет и уважение! По-опрошу-у!

Из всего, что с ним только что произошло, Матвей Егорович сразу постиг не много,— обида пришла к не-

му позже и совершенно по другой причине. Он раскрыл ворота, пнул босой ногой подвернувшегося Полкана и долго глядел из-за угла амбара, как ставил у стены двора бричку матрос, распрягал коней, трепля их по холкам. Кони были поджаристы, высоки и худы; Матвей Егорович сроду не верил, чтобы из тонконогой лошади мог выйти толк в хозяйстве. В задке брички, как лягушка перед прыжком, низко приник к поперечной грядке зеленый тупорылый пулемет, а посередине протянулся полукруглый навес выгоревшего добела брезента. «Ночуют там. Как цыгане! — решил Матвей Егорович.— А лошадей, видать, любит матросяка!»

Мимо раскрытых ворот, вдоль улицы продолжали ехать красноармейцы, поглядывая на окна хат. «Зараз их, чертей, набьется полный двор»,— подумал Матвей Егорович, и четверо конников, будто икнулось им, на рысях, попарно тут же въехали в ворота.

— Эй, отец! Поди сюда! — позвал Матвея Егоровича усатый верховой в синих штанах с красными лампасами.

— А в чем у вас нужда? — подал от брички голос матрос.

— Приказано стать тут,— ответил усатый.

— Нельзя, братишки! Давайте полный назад!

— Это почему такое? — обиделись кавалеристы. Шурша калачником, густо покрывшим двор, матрос подошел к усатому и что-то коротко сказал ему, кивнув на бричку.

— Так бы и говорил,— смягчился тот.— Вертай, товарищи! Тут занято!..

В закуте давно и призывно ржала кобыла, ей дважды и слаженно отозвались матросовы кони. Матвей Егорович вошел в амбар разбудить Алексея, но его постель оказалась неразобранной. «Шляется выкрутень, а лошади голодные!..» Он подхватил с пола витую из соломы и лыка меру и перегнулся через борт закрома за овсом. Зачерпнутая порция показалась ему большей, чем следовало, и он стал пригоршнями отсыпать зерно обратно в закром.

За этим делом и застал его матрос.

— Эге,— сказал он,— ций гарный продукт и требуется моим соколикам! — и он плавно подставил руки под меру, но Матвей Егорович потянул ее к себе.

— Ты бы не дурил, малый. Хватит одного раза... Я тебе не ровесник! — произнес он дрогнувшим голосом. Матрос с искренним удивлением поглядел на него и, легко подхватив меру, пошел к выходу.— Стало быть, грабите? — потерянно спросил Матвей Егорович.— А кто ж платить мне за овес будет... и чем? — решился он на последнее.

— А чем бы вы хотели получить с меня, ваше нейтральное хлеборобство? — остановился в дверях матрос.

— Соли от рождества нетути в хате! — с неожиданной злой твердостью солгал Матвей Егорович.— К тому же в сбруе ременной нуждаюсь...

— Ага! Значит, натурой! — обрадовался чему-то матрос.— Добре, сейчас расквитаемся...

Он ушел, а Матвей Егорович, не зная, верить или нет обещанному, насыпал овса в подол своей длинной холщовой рубахи, запер на замок дверь амбара и прошел в закуту к лошадям. Там на матице целовались голуби, в расставленных кошелях-гнездах кудахтали куры, и в щели соломенной крыши косо пробивались острые лучи встающего солнца.

Лошади не успели еще доесть корм, когда в дверях закуты встал матрос. В одной руке он зажимал длинный плетенный из узких ремешков кнут, а другую расслабленно покоил на отполированной кобуре маузера. Хитро сощурясь, матрос оглядел крупы лошадей, потом вдруг шагнул к мерину и умело, как курский барышник, захватил и выкрутил пальцами его верхнюю губу. Оскалясь и подрагивая, мерин стоял покорный, пока матрос разглядывал его зубы.

— Та-ак... Коник, оказывается, годен в строй! — раздумчиво, будто самому себе, сообщил матрос. У Матвея Егоровича захолодело в груди: «А ить заберет, проклятущий! Заберет!..» И, близко подступив к матросу, он с великим презрением к мерину и верой в то, что это так и есть, сказал:

— Ни к чертям лошадь. Третий год ветрогоном страдает!

— Че-ем? — спросил матрос.

— Ну, этим самым... дух пущает из себя без удержу! Как начнет, к примеру, в Шелковке, а закончит аж в Липовце. Страмота одна...

— Да ну? — радостно удивился матрос.— А мы такого музыканта уже полгода шукаем! Он же Красной Армии до зарезу нужен!..— И вдруг обнажил маузер: — Я тебе, старый черт, покажу сейчас ветрогон! А ну, марш до хаты! Бегом!!

7

Алексей вошел в калитку в тот момент, когда отец, неестественно наклонившись вперед и втянув голову в плечи, вихляюще трусил к крыльцу хаты. Покачивая в руке маузер, под собственную команду, будто на строевом учении, рядом бежал матрос.

— Ать-два, старый хрен! Ать-два, тверже ногу! Ать-два, шире шаг!

Увидав Алексея, Матвей Егорович плавно обогнул крыльцо, прибавил ходу навстречу сыну.

— Вот... целое утро по двору гоняет! Жизни хочет решить, а тебе и дела до того нетути! — тонким, испуганным голосом выкрикнул он, проворно хоронясь за спину Алексея. Матрос остановился шагах в трех от них, выжидающим, почти просящим взглядом уставился на Алексея. Он видел, как на побелевшем лице парня отчетливо проступили крапинки веснушек, как трепетно задрожали его руки, придерживавшие гармонь.

— Ослобоните отца...— осиплым шепотом проговорил Алексей и, выждав долгую паузу, сказал еще: — Ему ж шестьдесят первый...

— Вот и я ему говорил про то же самое! — выглянул из-за спины сына Матвей Егорович.— А он мало того, что мерку овса отобрал, а и мерина хотел...

И тогда матрос начал хохотать. Обхватив голову руками, в которых были зажаты маузер и кнут, он шатался, силился что-то вымолвить и коротко взглядывал невидящими от слез глазами то на Алексея, то на Матвея Егоровича.

— Иди в хату, тять! — как маленькому, приказал Алексей отцу, и тот покорно пошел, не оглядываясь. Подождав с минуту и невольно проникаясь новым чувством к происшедшему, Алексей уже спокойно поглядел на матроса.— Смалился со стариком...

— Я ж шутил, чудаки! — сквозь смех отозвался тот.

— Хороши шутки, наган в спину!

— Тюря! — враз посерьезнел матрос. — Ты его держал хоть раз в руках, «наган» этот?

— Дашь — так подержу! — угрюмо сказал Алексей.

— А ну, бери! — внезапно предложил матрос и, обернув к себе ствол, протянул рукоять маузера Алексею. Опасливо и неумело Алексей взял револьвер в левую руку, махнул им, будто топором.

— Тяжелый какой! — с ребяческим удивлением сообщил он и снова махнул рукой.

— Левша? — спросил матрос.

— Не.

— Оружие и ложку надо держать в правой руке, понял?

— Так гармошка же мешает!

Кинув кнут, матрос принял от Алексея гармонь, подбросил ее на руках и с ходу, на лету уложив пальцы на клавиши, развернул мехи.

Эх, дождь будет,
И буран будет,
А кто ж меня
Целовать будет?
Эх, да яблочко,
Краснобокое,
Эх, да девочка,
Синеокая!
Эх-ах, инда-рида,
Краснобокое,
Тали-лили,
Белых били,
Синеокая!..

Слова песни матрос не пропел, а выговорил задушевно и искренне, как молитву. Алексей с восторгом, близким к испугу, глядел на свою гармонь, — она, оказывается, могла и такое, а не только страдание и «барыню».

— Да-а, — только и сказал он, забыв о маузере, который все еще держал в левой руке. Матрос коротко чему-то улыбнулся, осторожно прислонился щекой к подголосной части гармони, зажмурился и заиграл какую-то печально-нежную, протяжную мелодию. Звуки, как встревоженные голуби, закружили по двору, то нелегко взмывая вверх, в небо, то неудержимо-плавно устремляясь к земле, и сердцу Алексея было то тревожно-тоскливо, то облегченно-радостно. Загрустив-

шими глазами он глядел себе под ноги, и оба они с матросом не видели, как от брички к ним подошла женщина-солдат. На руках у нее как-то странно полулежал-полусидел ребенок, завернутый в зеленую пеленку и туго свитый широкой тесьмой. Женщина долго и недоуменно глядела на обнаженный маузер в руке Алексея, потом на гармонь и вдруг ахнула:

— Алеша!.. Сменял?

Матрос приоткрыл веки и, не переставая играть, мечтательно улыбнулся, кивнув женщине, будто подзывал ее или здоровался.

— Сменял?!

И тогда мелодии не стало сразу, словно она никогда и не жила. Движением плеча матрос сбросил ремень гармонии, рывком протянул ее Алексею и рывком отобрал у него маузер.

— Учил я его, Катя... Понимаешь, малый просится добровольцем к нам, а оружия не видел... вер-но? — твердо глядя в глаза Алексея, раздельно спросил матрос. Алексей растерянно глянул на женщину. Желтые зрачки ее были пронзительны и будто спрашивали: «Верно?» «Как у кошки»,— подумал Алексей и тут же понял, что матроса надо выручить в чем-то перед этой бабой, сказав ей неправду,— вечерами на улице такое тоже часто бывает между парнями и девками.

— Верно,— с торопливой охотой подтвердил он.— Вот ей-богу!

На какое-то время во дворе стало тихо, и было слышно, как на улице в бесперебойном движении мерно звякали втулки колес и кто-то хриплым басом угрожающе просил: «Осади назад дышло! Осади, говорю, в душу твою обозную!..»

— Подержи Алешку... я схожу за молоком куда-нибудь,— каким-то смятым голосом сказала Катерина и, не сходя с места, осторожно протянула к матросу руки с ребенком. Матрос поспешно принял его, привстав зачем-то на цыпочки, да так и остался стоять, пока Катерина не скрылась за воротами.

— Не поверила...— проговорил он, глядя на Алексея жалующимися глазами.— Не так тебе надо было говорить, парень. Зря ты божился.

— Да нечто мы взаправду менялись? — удивился Алексей.— Чего ж ей обижаться!

— Тут, видишь ты, такое дело: казачью шашку я как-то променял на одну вещь, ну и... жена подумала, что я опять это самое... Зря ты божился! — повторил матрос и неумело переложил руки под тельцем ребенка. Видно, от мух и света лицо его было прикрыто пожелтевшим лоскутом марли. Края ее свисали вниз, а серединка — над ртом и носом — топорщилась кверху крошечным, пронизанным солнцем шатром. «Устроили ж!» — усмехнулся Алексей, и в ту же секунду марлевый шатер пошатнулся, мягко осел и пропал в маленькой темной воронке.

— Жрать мужик захотел. Сиську шукает,— вздохнул матрос, а ребенок сердито вытолкнул ртом мокрый комок марли и заплакал звонко, обиженно.

— Ну, поехала арба в Бахмут за солью! — сказал матрос, пряча марлю в карман.— Терпи, браток, терпи! Мать вернется не скоро...

Не показываясь на крыльце, Пелагея трижды звала Алексея завтракать, но он не шел: что-то мешало оставить матроса одного справляться с бабским делом.

— Ну, скоро ты, Лешка? Тятя ж ругается,— опасливо приоткрыв дверь, выглянул из сеней Петрак. Алексей махнул на него рукой и с непонятной самому себе обидой на что-то спросил у матроса:

— Может, молока б дать дитенку?

— Дадим, коли мать достанет...

— Так у нас же свое есть. Чего ж его доставать! — перебил Алексей, направляясь к крыльцу хаты.

— Есть? — растерянно спросил вслед ему матрос.— Ага. Ну, тогда это хорошо, если есть.

В хате было сумеречно и тихо. Прижав к груди огромную круглую ковригу, Петрак сосредоточенно резал скибки хлеба; со скорбно поджатым ртом Пелагея снимала деревянной ложкой вершки молока, наклонясь над кувшином; Матвей Егорович угрюмо сидел в святом углу, обжигая пальцы, лупил картошину.

— У нас кульеров нетути, чтоб по десять раз кликать тебя! — проговорил он в бороду и сердито полоснул ножиком оголенную картошину.

Алексей промолчал. Повесив на крюк у дверей гармонь, он подошел к столу, присел на край скамейки.

— Руки-то хоть ополосни перед едой! Шлялся черт-те где целую ночь — и прямо за стол...

Было непонятно, что подмывало старика: то ли вчерашняя неоконченная ссора с Алексеем, то ли нынешняя встреча с матросом. Выждав, когда Пелагея кончила собирать сливки, Алексей обхватил горло кувшина обеими руками, бережно понес его из хаты.

— Это куда? — оторопело спросил Матвей Егорович, переставая жевать. — Куда попер, говорю?

Алексей остановился у дверей, не оборачиваясь сказал:

— Там... матрос просит.

— Матро-ос? Проси-ит? — недобро протянул Матвей Егорович и приподнялся со скамейки. — А ну, поставь кухлик на место!

— Да я ж дитенку, а не самому ему, — объяснил Алексей, заглядывая зачем-то в кувшин. — На весь же двор кричит...

— Какому такому дитенку? — вылез из-за стола Матвей Егорович.

— Ну ихнему... с женой.

— С жено-ой? — осипло переспросил Матвей Егорович, вытягивая шею. — Это у такого обормота — и жена? Поставь на место кухлик! Каждая солдатская шлюха зачнет тут молоко просить приблудам своим!..

Во двор Алексей вышел багровый, нагнув голову, и, глядя вбок, неспорым шагом подошел к матросу.

— Отец там... — проговорил он и замолк.

— Да не нужно, браток! Что ж теперь, — смущенно сказал матрос и как-то невыразимо скорбно и трудно поглядел на Алексея.

8

Шелковка притаилась, ждала: «Что-то будет». Наступил второй день престольного праздника, а колокол не звонил. Выгон буйно зарос травой, а скотина томилась в закутах. В поставцах мутнели четвертные бутылки с самогоном, а мужики были трезвы.

Уже через час после прибытия в село командир красных велел разыскать председателя сельсовета Игната Суровца — смиренного, запуганного жизнью мужичонку, зимой и летом не снимавшего побуревшего, замызганного тулупчика. Нашли Игната дома, на краю села — забился в полуразрушенную погребицу, а от ко-

го там спрятался — и сам не знал. Везли его к сельсовету в командирской бричке. Игнат притулился в задке на кожаном сиденье, стыдливо глядел на свои желтые босые ноги.

У сельсовета копытили сухую землю оседланные кони, поодаль на бревнах тесно сидели красноармейцы, облокотившись на перила крыльца, одиноко стоял высокий щеголеватый человек, затянутый офицерским ремнем.

— Вы и есть председатель здешнего Совета? — оглядев Игната, спросил он.

— Выбрали вроде меня,— виновато сказал Игнат.

— Я комиссар первого коммунистического продотряда Красной Армии. Фамилия моя Верхоланцев,— сухо проговорил комиссар, вплотную подступив к Игнату.— Мне нужны пофамильные имущественные списки жителей вашего села. Есть таковые?

— Списков нетути. А таковые... имущие жители, значит, все по хатам,— часто заморгал Игнат и переступил с ноги на ногу. Полы его тулупа разошлись, и перед глазами комиссара мелькнуло нагое Игнатово тело — синяя ребристая грудь в рыжеватой поросли и матовый запалый живот.

— Что такое? Почему голый? — спросил Верхоланцев, и вдруг лицо его залилось густым наплывом краски, а чистый выпуклый лоб побелел, перерезанный морщиной, как от внезапной боли.— О, черт! Идите за мной... Нет, вперед, пожалуйста! — как во сне сказал он и отступил, пропуская Игната на крыльцо сельсовета...

Всю ночь комиссар Верхоланцев просидел в сельсовете с Игнатом Суровцем. Уколов острым ногтем мизинца очередную фамилию в подворном списке, он устало поднимал на председателя ввалившиеся глаза:

— Сколько этот хозяин сможет? Пуда три ржи сдаст?

— Осилит,— говорил Игнат, кутаясь в тулупе.

— А пять?

— Найдет...

— А десять?

— Вытянет...

Верхоланцев аккуратно выводил цифру «8», и его мизинец переползал на следующую фамилию.

Последним в списке числился сам Игнат.

— Вы... сумеете сколько-нибудь дать? — не сразу спросил Верхоланцев. Игнат долго молчал, глядя в окно на серую, предгрозовую муть рассвета, потом кивнул головой.

— Сколько?

— Две ковриги... печеным... ежели примете, — негромко сообщил Игнат, не отрывая взгляда от окна. Верхоланцев отложил карандаш, осторожно вылез из-за стола и, болезненно подняв плечи, вышел в сени. Вернулся он не скоро, зажимая под мышкой какой-то узел. В закопченном пузыре настольной лампы трепетно бился и дрожал желтый язычок пламени, и при его вспышках Верхоланцев не сразу различил Игната. Уронив всклокоченную голову на край стола, тот спал. Верхоланцев положил на табуретку узел и прикрыл ладонью отверстие пузыря. Как только огонек умер, Верхоланцев перенес руку на плечо Игната и, легонько встряхнув, приказал ему сейчас же взять из обоза продотряда два мешка гречихи, чтобы днем сдать один из них обратно.

— И переоденьтесь, — сказал Верхоланцев, указывая Игнату на странный узел.

На рассвете над Шелковкой прошел короткий грозовой ливень, а с восходом солнца на скотных проулках села, засучив портки, ребятишки обыскивали желоба сбежавших в Любач ручьев, загружали подолы рубах ржавыми ухналями, патронными гильзами, старинными монетами и всякой всячиной. Вздувшаяся речка величаво и бережно уносила куда-то розовато-белые шматки пены, квелое золото соломы, изумрудные косяки ракитовых листков. Село дышало первобытной плотью земли, горьким ароматом лопухов, дыбом вставших у каждого тына, душно-сладкой сиренью, буйно расцветшей в это утро.

В солдатских штанах и гимнастерке, но босой, с красноармейской островерхой шапкой под мышкой — стеснялся надевать — Игнат Суровец обходил село в сопровождении двух продотрядцев. Не заглядывая в хаты, он коротко прикладывался лицом к окнам, будто целовал их, и выкрикивал каким-то торжественно-осерженным голосом:

— К гамазее!

На церковной площади — месте шелковских сходок и гульбищ — стоял на высоких столбах-подпорках большой деревянный амбар, крытый зеленой жестью. Он был давным-давно построен земством для хранения казенного зерна и оттого назывался гамазеей. Огородными межами сюда приходили из села целые стаи кур. Они ладили под амбаром в прохладной пыли гнезда, купались в них и неслись. Торопливыми летними ночами у амбара дружно страдали под балалайки и «ливенки» шелковские ребята и девки. Вот за все это многие мужики и особенно бабы крепко не любили казенный амбар — поди, разбери, чья курица снеслась там и кто из соседних парней сделал твоей дочери «подгамазейника»...

А Верхоланцева амбар обрадовал. Сразу же по прибытии в село он тщательно измерил его и решил: влезет пять тысяч пудов. Верную половину сдаст Шелковка — в ней триста восемнадцать дворов! Остальные пуды привезут из окрестных деревень — Сафоновки, Рожновки, Липовца и Гахова. Дня через три сто семьдесят местных подвод под охраной продотрядцев отправят хлеб в Курск. Оттуда в вагонах доставят его в Петроград...

Солнце зашло за клуни, когда, сменив кобеднишные рубахи на будние, с оглядкой на соседа, побрели на сходку шелковские мужики. В теневой части амбара, на длинном крыльце, их ждали Верхоланцев и Суровец. Подходя, мужики чинно снимали картузы, степенно желали Верхоланцеву доброго здоровья и отходили в сторонку. Мальчишески звонким голосом, весь напрягшись, как в бою, Верхоланцев сказал, кому и для чего нужен хлеб.

Разверстку оглашал Игнат. В узких, в обтяжку, штанах он ступил на самый край крыльца, и всем были видны зажатый у него под локтем красноармейский шлем и мелкое дрожание концов тесемок у щиколоток босых ног. Игната давил смертный стыд за свою непривычную одежду, он теребил в руках список и молчал, глядя себе под ноги.

— Ну, что же вы? Объявляйте! — шепотом сказал ему Верхоланцев, и Игнат шепотом проговорил что-то о четырех пудах гречихи.

— Не слышим! — выкрикнули из задних рядов сходки.

— Сдаю, говорю, четыре пуда гречихи, — повторил Суровец.

— Это где ж ты взял ее? Кажись, не сеял... — послышались чем-то обрадованные голоса.

— Дали... Они вот, — твердо признался Игнат и всем корпусом обернулся к Верхоланцеву. Тот выпрямился и посмотрел на Игната с каким-то удивленным вниманием. А Игнат ни с того ни с сего окреп в голосе. Не заглядывая в список, он наизусть называл фамилии сельчан и назначенное им к сдаче количество хлеба.

— Андриянов Федор, шесть пудов ржи!

— Ястребов Матвей, восемь!

— Ходукин Кузьма, шашнадцать...

Как только Игнат умолк, Верхоланцев услышал то, чего все время ждал и что было неминуемо — кто-то в толпе мужиков негромко, но явственно сказал:

— Ну, вот и хорошо... Попервам пускай нам дадут, как Суровцу, а потом уже и мы...

— Хлеб сдать полностью-у! — протяжно и четко скомандовал внезапно Верхоланцев и нарочито заметным движением руки тронул крохотную кобуру браунинга. И сейчас же, впервые за всю жизнь, Суровца кто-то назвал по имени и отчеству:

— Игнат Васильевич, а когда сдавать-то? И куда?

— Сдавать, граждане, будем нынче. Прямо вот теперь, в гамазею, — ответил Игнат и, не в силах совладать со своей неожиданной смелостью, глубоко насадил на голову шлем...

Возвратясь со сходки, Матвей Егорович не заметил во дворе брички.

— Съехал этот чертяка, что ль? — спросил он Петрака, ладившего под навесом сарая клецы к новым граблям.

— Да куда ж он съедет, — миролюбиво отозвался Петрак, — поехали с Лешкой в луг отаву лошадям косить... А она с ребенком в хате у нас сидит. Катериной, кажись, зовут...

— Кого зовут? — не понял Матвей Егорович.

— Жену матросову.

— Тю, дурак! А мне-то что из того? Пущай она будет хоть сама Лизавета! Ну-ка, бросай грабли и насыпай два мешка ржи. Обложили, слава богу!..

Пока отец запрягал мерина, Петрак наполнил и выставил на каменные приступы амбара мешки с рожью. Подъехав, Матвей Егорович пощупал глазами их тугие бока, приказал:

— Отсыпай по пять картузов из каждого. Или не знаешь, сколько наш мешок тянет?

— Всегда были по четыре пуда,— сказал Петрак, но приказ отца выполнил.

Дорожка от гумна до выгона шла на изволок, и Матвей Егорович не сел на телегу, шел рядом с мерином, радуясь всходам конопли. Из увлаженной и хорошо унавоженной земли она перла густой щеткой, пахла сладко, возбуждающе. Мерин тянулся мордой то влево, в свой огород, то вправо — на соседский, и Матвей Егорович походя дергал вожжину — то сердито и резко, то так себе, для вида.

Церковная площадь была запружена подводами. На крыльце амбара у широких сотенных весов стояли матрос и Алексей. Взвешенные ими мешки ловко подхватывали продотрядцы и уносили в темный зев амбара.

— Та-ак! — протянул Матвей Егорович, увидев сына.— А дома сбрехал, что за отавой поехал!..

Не пристраиваясь в очередь к весам — успеется! — Матвей Егорович пересек площадь и стал у церковной ограды рядом с расписной тавричанкой Кузьмы Михайловича. Расставив ноги, Ходукин справлял под тополем нужду, зачарованно глядя на засиженный галками церковный крест. Сваты поздоровались издали. Не выходя из длинной вечерней тени тополя, Ходукин кивнул головой в сторону амбара, проговорил с неподдельной брезгливостью и обидой:

— Хо-зя-ин, матери его в дыхало!

Сквозь ряды подвод к крыльцу амбара пробивался на своей чалой безмослачной кобыле Игнат Суровец. Его приземистая без опалубки телега казалась неимоверно широкой и неуклюжей — из размолотых втулок колес бесстыдно-голо высовывались длинные деревянные оси, издающие заунывно-тягучий визг. Все это Матвей Егорович схватил коротким взглядом через

плечо и, потрогав зачем-то грядку своей телеги (она тоже была на деревянном ходу), вступился за Игната:

— Не всякий может, сват. Что ж теперь человеку делать, по-твоему?

— А уж это кому что бог на душу положил,— убежденно сказал Кузьма Михайлович и тоже пощупал грядку своей тавричанки.— Я о другом говорю. Видишь, до чего дожила матушка Русь? Пудами зачала промышлять. С мешком за плечами побираться пошла!..

— Куда ж это она пошла?— недобро прищурился Матвей Егорович, чувствуя смутное раздражение против свата.— К чужим, что ли? Мы-то с тобой нешто ей не родня?

— Кто как,— загадочно ответил Ходукин и вдруг построжел голосом, шагнул вплотную к свату:— Твой-то младший никак тоже в куль хочет вырядиться?

— В какой такой куль?— насторожился Матвей Егорович.

— Со звездой... на манер Суровца! Или не видишь? Он же, сукин сын, к краснюкам присобачился! Хлеб наш у них важит!

Матвей Егорович медленно побагровел и, пружинисто ступая на носки лаптей, двинулся на свата, сам страшась своего гнева и обиды:

— Мой сын что, на хрен соли тебе насыпал! Ты что коришь его? И пущай важит! Я самолично приказал ему: иди, говорю, и важь! И не спущай никому даже хвунта! Чтоб все отдали, сколько кому положено, потому как Расея наша сроду не была побирушкой! И не будет! Мало ей этого хлеба — втройне дадим!..

Одним духом высказав все это несокрушимо молчавшему свату, Матвей Егорович влез на телегу и погнал мерина к крыльцу амбара, минуя очередь.

Мешки его матрос принял без веса.

— Там хвунтов двадцать не хватит,— сердито сказал ему Матвей Егорович.— Мешки малы. Так я дома овсом отдам, если прежний не заквитаешь...

Матрос застигнуто оглянулся на продотрядцев и неестественно громко позвал:

— Кто следующий? Давай-давай...

В тот вечер Матвей Егорович нескоро попал домой — кум Федор, сдав продразверстку, заманил его

к себе на запоздалую опохмелку. Полночью Матвей Егорович проезжал в гулко тарахтевшей телеге опустевшей от подвод площадью. На крыльце амбара в лунной полосе света одиноко грустил часовой-продотрядец, а за церковью слышались всплески девичьего визга, радостный рев знакомой гармошки, дробный и спутанный перестук каблуков. Матвей Егорович подъехал к самому хороводу и, встав на ноги в телеге, крикнул:

— Лешка-а! Слышишь, что ль? Я кому говорю!

Алексей, уняв гармошку, подошел к телеге.

— Ты что, тять?

— Вжарь камаринскую! — распорядился Матвей Егорович. — Ну, чего рот раззявил? Вжарь, говорю! — И под всеобщий хохот, не ожидая плясовой, молодо хватил ногами по рассохшимся доскам телеги под собственный сказ:

Кочерга раскудахталася,
Помело разрумянилося,
Сухорукий-рукий клеть обокрал,
А безногий-ногий вслед ему погнал.
Поросеночек яичко снес.
На высокую поличку взнес.
У-ха! У-ха! У-ха-ха!
Съели куры, куры-дуры, петуха...

Совсем не попал домой в ту ночь Кузьма Михайлович. Он последним сдал свои четыре мешка ржи и неезженым церковным проулком не спеша спустился к речке в том месте, где коровы проторили к воде пологий спуск. Выбравшись на другой берег, Ходукин выпряг в лозняке жеребца, с трудом окорячил его гладкую, как печь, спину и сперва шагом, а потом наметом подался затихшими полями в сторону Орла. «Я так и скажу им, — репетировал он, — скажу: ваши благородия! Там же Шелковку грабют! Всего каких-нибудь полсотни обормотов!.. Вам на полчаса и делов-то с ними!..»

9

Перед зарей за Бешеной лощиной неохотно сел тускло-рдяной ущербный месяц, и на Шелковку пали плотные сумерки предрассветья — наступил тот задум-

чиво-кроткий час, когда в мире свершается незримое таинство перехода из ночи в утро.

Во дворе Матвея Егоровича были разлиты покой и безмолвие. В брезентовой туннельке брички копились еще ночные потемки и тек слаженный сон бездомной матросовой семьи. Выщипав за ночь большую круговину калачника, дремали поодаль брички кони, обняв один другого шеями. Бережно уложив голову на лапы, убито лежал около подворотни Полкан. В расщелинах каменной стены амбара притихли сверчки. Во дворе пахло слеглой сторновкой крыш, уютным духом закут, испеченным вчера хлебом.

Матвей Егорович спал в розвальнях под навесом сарая, где на белой ракитовой матице зимой и летом ютились голуби — птицы святые, как уверяла дочь Пелагея. Они-то и не дали позоревать старому человеку, заведя на низких натужных нотах страстную любовную воркотню.

— Не птички, а сплошная блудня! Кажинный раз одно и то же! — сплюнул Матвей Егорович и потянул на голову зипун. Но сон пропал. Во рту было сухо и горько, и отрадой пришлась догадка: «Рассольчику б!»

Кряхтя и охая, он прошел к погребу, накрытому низеньким соломенным шалашом. Погреб был глубок и обширен; песчаные стены его Петрак обшил ракитовыми плахами и возвел высокие закрома под картошку и бураки. Спустившись вниз по лесенке, Матвей Егорович наугад прошел в темноте в угол, где стояла большая дубовая кадушка с огурцами. Их оставалась еще добрая половина, придавленных пудовым каменным гнетом, скользким и холодным, как лед. Засунув под него руку и путаясь пальцами в разбухших стеблях укропа, Матвей Егорович не скоро отыскал пустотелый огурец-семенник, осторожно достал его и, откусив верхушку, зажмурясь, выпил из него рассол. «Вот же благодать!.. А огурчиков совсем мало осталось. Полопали. Чуть-чуть хватит до новины...»

Выпитый рассол, заповеданная немота и прохлада погреба умиротворенно подействовали на Матвея Егоровича. Он присел на нижней ступеньке лесенки, повозился, выискивая удобное положение, и прикрыл глаза. Он не мог потом припомнить, сколько времени просидел так, вдыхая грустный запах прорастающей

в неволе картошки и вяло вслушиваясь в странные звуки, заглушенно проникавшие в погреб. Было похоже, что во дворе то и дело принимались слаженно молотить в десять цепов, но тут же прекращали толоку, и тогда слышались одиночные удары — редкие и отрывистые.

Смутно почувствовав что-то недоброе, Матвей Егорович полез из погреба.

На рассвете этого утра в Шелковку с двух сторон незаметно ворвался конный полк белых. Сонные продотрядцы, как разбрызганные, кинулись в огороды и сады, но никто из них не ушел из села, и матрос со своей семьей — тоже. Разбуженный выстрелами, он выпрыгнул из брички и бросился на улицу. Мимо него к перелазу в сад из соседнего, видать, двора, прошмыгнули двое безоружных продотрядцев и, крикнув: «Кутеповцы-и!» — нырнули в кусты акаций, как в воду. С обоих концов улицы, загородив ее целиком, на сближение друг другу молчаливо мчались чужие конники. Матрос прыгнул во двор и запер на засов калитку:

— Катя! Скорее пулемет!.. Давай пулемет!!

Схватившись за дышло, он рванул бричку, пытаясь развернуть ее задком на ворота, и она покатилась было по кругу, но вдруг резко затормозила и встала. Упав от толчка на колени, матрос увидел в калачнике длинное ракитовое корытце под воду для кур: правое переднее колесо брички, с разгона въехав в него, ладно увязло кованым ободом в узком глубоком пазу.

Теперь бричка стояла бортом к воротам,— они тряслись и трещали под ударами с улицы. Простоволосая Катерина, довернув до отказа хобот пулемета, дала по ним недлинную очередь. Басовито-сочный рокот «максима» плотно покрыл все звуки, а на белой каменной стене внезапно проявилась желтая прошва пулевых метин,— ворота были в мертвом пространстве, В бричке истошно плакал сын, кричала что-то Катерина, показывая на пулемет, и матрос подбежал к задним колесам, почти сдвинул их с места волоком. И тогда же он увидел Алексея: в исподней замашной рубахе тот выглядывал из-за угла амбара.

— Браток! Браток! — исступленно позвал матрос.— Помоги вытащить из-под колеса вон ту хреновину... Браток!..

Алексей в два прыжка очутился у передка брички. Пулемет снова пророкотал и смолк, а со стены от угла хаты в это время сухо треснул нестройный винтовочный залп. Пронзительно, по-заячьи, вскрикнул под бричкой Алексей, и негромко, будто оступившись, охнула Катерина, накрыв пулемет тяжко упавшими руками. Разом постигнув все, что случилось, увидав над стеной краснооколышные фуражки, матрос, безголосо что-то крича, рывком поднял на руки жену, но тут же выпустил ее и, кинувшись под брезентовый навес брички, схватил сына...

Все это вместилось в короткие секунды, и ничего этого Матвей Егорович не видел. Выглянув из погреба и услыхав выстрелы, он заметил матроса. Протянув вперед руки с орущим ребенком, тот бежал к сараю, загнанно озираясь по сторонам белыми глазами и дыша запаленно, с хрипом. Знал Матвей Егорович, в какой жизненный час люди могут так бегать и отчего у них становятся такими глаза, и бессознательно, не услыхав сам себя, окликнул матроса:

— Сюда давай!

В погреб по лесенке они скатились одновременно. Матвей Егорович отполз подальше от входа, сердитым шепотом посоветовал матросу:

— Ты бы укротил мальца...

Ребенок сразу поперхнулся и смолк — видно, матрос прикрыл его рот ладонью.

И Матвей Егорович, и матрос не спускали глаз со светлого квадрата лаза, и оба одновременно увидели, как он сперва убавился, а затем померк. Может, ослабли тогда руки у матроса, а может, он лапнул на привычном месте маузер и поздно вспомнил, что оставил его в бричке, но он освободил голос сына, и погреб наполнился облегченным, пронзительным криком.

— Они тута, Акимыч! — певуче и разочарованно сказал кто-то наверху. Под шалашом послышалась возня, потом глухо и отрывисто прозвучал выстрел в погреб под тяжелые, как булыжник, слова:

— А ну, вылазь, краснопузая сволочь!..

Уловив в наступившей тишине булькающее, задушенное сопение ребенка, Матвей Егорович торопливо

начал отодвигать от угла кадушку с огурцами. Но она стояла, будто пустив в песок корни. «Жрали всю зиму и не могли докончить, черти б вас взяли!» — мысленно заорал на своих домашних Матвей Егорович,— ему казалось, что именно там, в углу за кадушкой, он и мог бы спрятаться от этой нечаянно настигнувшей его беды и страха.

Сверху дважды и молча выстрелили еще в погреб, и, выждав томительно долгую минуту, кто-то деловито-спокойным голосом попросил:

— Отчепи-ка, Митрий, свою лимонку. Я их зараз благословлю там одним махом...

Выгнув колесом спину, укрывая собой сына, матрос в непостижимом броске оказался у подножия лесенки и крикнул дико, жарко:

— Братцы-и! Тут старик и ребенок! Не губите, братцы-и!!

— Сивый кобель тебе брат! Выходи, гад!

Матвей Егорович догнал матроса на последней верхней ступеньке. Во дворе у шалаша ожидающе гуртились человек семь спешенных кутеповцев. Увидав в их руках карабины, Матвей Егорович прирос к шалашу, а матрос прошел вперед несколько шагов и остановился, широко расставив ноги, будто качалась под ним земля. Он стоял так долго; закинув за спину карабин, к нему молча двигался низкорослый пожилой кутеповец, заросший широкой рыжей бородой. Сощурив маленькие красноватые глаза, он шел крадучись, как по бревну через речку, заваливаясь вперед и волоча правую ногу. Но ни подлого ножного удара, который нанес рыжебородый матросу, ни его медленного падения Матвей Егорович не видел; прикрыв лодочкой ладони глаза, он глядел в даль двора, где смутно и зыбко, словно во сне, виделась ему бричка, а у ее передних колес — Алексей, мертво обхвативший тонкими, белыми, как в муке, руками ракитовое корытце.

— Лешк... Лешка! — слабо позвал Матвей Егорович и качнулся вперед, навстречу рыжебородому кутеповцу.

— Снюхался, старая стерьва! — с тихой злобой сказал тот и резким выпадом ноги свалил Матвея Егоровича...

Потом их выгоном повели к церковной площади. Матрос двигался почти невесомо, и, казалось, влек его вперед сын, которого он неумело держал на протянутых перед собой руках, у Матвея Егоровича до мучительного страдания напряглось лицо, и шел он неровными толчками, будто вот-вот собирался присесть на невидимую скамейку.

За церковью вставало большое оранжевое солнце, золотя верхушки клунь и деревьев. По огородам и садам Шелковки бродили кутеповцы, изредка постреливая и ругаясь.

10

В гамазее пахло хлебной прогорклостью и мышеединой.

Сразу, как только рыжебородый захлопнул дверь, Матвей Егорович, нащупав ногами мешки, прилег на них, по-детски подтянув к лицу колени. В сердце его не было теперь ни боли, ни страха, в нем оставалось одно нераздельное чувство полынно-горькой тоски да безотчетное желание навсегда остаться в этой голубой полутьме амбара.

Матрос не скоро отыскал себе место в дальнем углу. Ребенок давно уже перестал плакать и только изредка стонал тонко и жалобно. Матрос дул ему в лицо, раскачивал на руках и с каким-то ожесточенным смятением допытывался у кого-то:

— Что с ним, а? Сыночек мой, капельный!..

Оттого ли, что русский человек по природе своей легок на непрошеное участие в непоправимом горе ближнего, или по другой причине, но Матвей Егорович вдруг снова ощутил себя живым. Он молча привстал и пополз на коленях вдоль ряда мешков, ощупывая их огузки. А минут через десять матрос услыхал его голос:

— Слышишь, что ль? На-кась вот гречки, нажуй дитенку, да через рубаху али пеленку и сунь ему соску... Гречка — она пользительная. Моя покойница, бывало, наварит чугунок кашки, а Лешка за день и...

Он осекся, беспомощно всхлипнул и пополз на прежнее место, а спустя минуту спросил обреченно-кротко, тихо.

— Что ж их... обоих сразу?

— Сразу,— поняв, сказал матрос.

— О господи... Баба твоя — она хоть солдатом была. Ну, а Лешку-то за какие и перед кем грехи? Скажи! Лешку-то?!

Матрос долго молчал, разжевывая острые трехгранные зерна гречихи, потом надорванно попросил:

— Полежал бы ты, отец, а?

Ребенок постепенно успокоился соской и затих. В душную тишину амбара изредка проникали невнятные звуки дня, и прошла, казалось, целая вечность, пока не наступила ночь. В середине ее Матвей Егорович неслышно подобрался к матросу:

— Не спишь? Хочу рассказать тебе что-то...— начал он каким-то просветленным голосом.— Вот слушай. Тому уже годов полста есть, а я хорошо это помню... По осени, когда выберут коноплю и складут в крестцы, воробьи о ту пору тьма-тьмущими кучами летают. И вот я — малоразумный жа был! — наберу в подол рубахи камушков и пуляю в воробьев... Как-то подкрался я к их стаду да как брошу камень — сильно так, со свистом. Все воробьи враз зачуяли беду и — фрр! А один сидит, крылышками шебуршит, головенкой крутит — и ни с места. Будто столбняком его хватило! Ну и дождался... Пришиб его мой камень, хотя воробей тот бог знает куда мог залететь, пока к нему камень достиг... Вот я и подумал теперь: значит, не должен был он трогаться! Стало быть, в моем камне судьба его была заложена! Вот! И кажинному земному тварю своя судьба определена, и никто ее не обойдет, не обминует...

В ответ на это утешение матрос не то кашлянул, не то охнул, но ничего не сказал; ненадолго хватило его и Матвею Егоровичу...

Утром их вывели из гамазеи. У крыльца стояли двое верховых. Матвей Егорович, узнав в одном из них рыжего, попятился было назад, но от дверей его несильно толкнул часовой прикладом:

— Иди-иди!

И он пошел, почти прислонясь к матросу, чувствуя своей безвольно опущенной рукой его тугое подрагивающее тело.

Выгон розовел зацветающим придорожником и диким клевером, тонко звенел досужей песней шмелей и пчел. От колокольни через всю площадь пролегла широкая бирюзовая тень, и в ней, у самого края дороги, Матвей Егорович первый различил высокие новые ворота. В их светлой раме, странно перекосив головы и заложив руки назад, медленно оборачивались вокруг себя, не переступая ногами, два человека.

— Это ж... виселка! — за два приема, с захолонувшим сердцем проговорил Матвей Егорович и тронул матроса. Матрос шел, плавно неся в обеих руках сына: широко раскрытыми чистыми глазами ребенок изумленно смотрел в небо, и, повинуясь какой-то непреодолимой силе, Матвей Егорович тоже поглядел вверх. Прямо над ними, будто нарисованный на синем полотне, парил матерый коричневый коршун. «Наседку с писклятами, стервец, караулит!» — привычно пронеслось в мозгу Матвея Егоровича, а матросов сын в это время засмеялся, пустив пузыри, и сказал: «Агу»...

Лишь на скотном проулке, куда их завернули от виселицы конные конвоиры, Матвей Егорович догадался, кто был один из повешенных: в память впаялось синее лицо, видневшееся из-под островерхого шлема, и обтерханные полы тулупа. «Суровец... Царство ему небесное».

— А напарник... кто ж? — всхлипывающе спросил Матвей Егорович у матроса. Тот по-прежнему плавно шагал, диковато и невидяще глядя куда-то вбок.— Напарник-то, говорю...— повторил Матвей Егорович, но от крика рыжего: «Побалакай у меня, сволочь!» — мгновенно смолк, теснее придвинулся к матросу.

Над проулком, густо обсаженным акацией, золотилась пронизанная солнцем пыль. Русло проулка было плотно усеяно пересохшими овечьими котяшками, твердыми, как орехи, и Матвей Егорович пошел по ним, ставя босые ступни с пальцев на пятку. «А ему, видать, и не больно»,— подумал он о матросе. Тот вдруг остановился и негромко и оцепенело проговорил:

— Напарник? Это наш комиссар.

— Иди, гад, в душу твою!..— осатанело крикнул рыжий конвоир, и надвинувшаяся лошадь обдала затылок Матвея Егоровича горячим травяным духом. Оглянувшись, он схватил взглядом оскаленную морду лошади,

черный зигзаг взметнувшейся в воздухе плетки и услыхал ее визг и всплеск удара.— Иди, говорю!!

Перегнувшись, заслоняя своим телом сына, матрос неловко побежал вперед, сведя лопатки и ожидая нового удара, а Матвей Егорович кинулся за ним, позвав утробно, испуганно:

— Погоди! А я-то куда ж?!

Он настиг матроса и, протянув руку, схватил его за тельняшку:

— Не бегай... Ради Христа, не бегай!

Так они подошли к околице села. Ребенок на руках у матроса извивался в осиплом крике, и матрос самозабвенно тер и гладил то место на пеленке, где конец плетки отпечатал коричневый дегтярный след. Завидя улицу села, Матвей Егорович опалился догадкой: «Пороть ведут на народе. А после отпустят. Что ж им больше делать с нами!»

В селе пахло парным молоком и кизячным дымом. У ворот, переговариваясь шепотом, стояли бабы, а вдоль улицы, в окружении чубатых конников, покорно и торопливо двигалась куда-то толпа мужиков с лопатами. Выйдя с проулка на середину улицы, Матвей Егорович и матрос нерешительно остановились, но рыжий конвоир — Матвей Егорович узнал его голос — крикнул:

— Ходи к речке!

И в ту же минуту из-за ближнего к ним плетня вспорхнул возбужденно-радостный детский голос:

— Кузяка, глянь, деда Матюшу с матросом на расстрел гоню-ут!

Матрос ощутил, как дробно задрожала рука старика, намертво сцепившая его тельняшку, и, качнув чубом, словно сгонял с лица овода, он отыскал своими глазами блуждающие глаза Матвея Егоровича.

— Отец... крепись. Это недолго.

— Чего такоича? — шепотом закричал Матвей Егорович и отступил от матроса.— О чем это ты? С-сукин ты сын, а! Куда ты меня вверг... К-куда?

Перемещая руки под своей живой невесомой ношей, матрос не видел, как подкошенно пал на колени Матвей Егорович, обернув лицо к конвоирам. Подняв

над головой руки и растопырив трясущиеся пальцы, он заговорил монотонно и страстно, будто творил молитву:

— Солдатики! Господа! Родимые мои... не винен я ни в чем! Ослобоните, ради бога!... Миколаевки есть, сало... Все возьмите, все! Избавьте от смертушки!..

Улицу мигом запрудила плотная толпа баб и ребятишек. Рыжий конвоир, вздыбив кобылу, дважды ударил плетью Матвея Егоровича и, отскакав к плетню, начал срывать с плеча винтовку:

— Иди!..

И Матвей Егорович снова вцепился в тельняшку матроса, и тот снова, уже машинально, сказал ему, что «это будет недолго».

На спуск к реке они двигались через податливо расступившихся баб и детей, и под свой плавный широкий шаг матрос не переставал просить:

— Может, кто взял бы ребенка, а? Восьмой месяц ему... Алексеем зовут, а?

Но бабы молча сморкались в фартуки, а ребятишки застенчиво хихикали и загораживали рты грязными ладошками...

Через речку арестованных перегнали вброд и узкой полевой дорожкой, заросшей чернобылом и пыреем, повели к Бешеной лощине. В лесу гремели соловьи, томно ныли горлинки и безмятежно и кротко сияли в росной траве безымянные шелковские «тветы». Матвей Егорович, с детства знавший тут любой куст, каждую ложбинку и тропку, вывел матроса и конвоиров, минуя заросли, на чистую полянку. Захваченный живой и мирной благодатью леса, он впервые за всю дорогу от села ободряюще взглянул на матроса. Тот с грустным и каким-то предсмертным вниманием всматривался в лицо сына, слезно дрожа подбородком, и, пронизанный внезапным горячим ужасом, Матвей Егорович почти закричал:

— Чего ты?! Они же шуткуют! Погоняют нас тут, острастку напустят и...

Он так и не понял, что было первым: обвальный грохот леса или рывок матроса в сторону. Но пробежал матрос всего лишь несколько шагов и, роняя сына, сам упал косо, с плеча. Подвернув под себя голову, он

судорожно начал подгребать одной рукой, будто искал что в траве или плыл к неведомому берегу.

Почти разом с матросом упал и Матвей Егорович. На мгновение он замер, крепко зажмурив глаза, и всем своим телом почувствовал приближение к нему чего-то страшного. Не открывая глаз, он торкнулся на голос ребенка, схватил его и приподнял навстречу конвоирам, как икону.

— Люди!.. Люди!..

Ему хотелось сказать конвоирам о какой-то великой и единственной правде на земле, которую сам он только что постиг в эти секунды и смысл которой выразить словами было нельзя.

— Люди! — шептал одно это слово Матвей Егорович, крест-накрест поводя перед собой ребенком. Он видел, как рыжебородый, раззявив темную дыру рта, поспешно выравнивал над конской холкой короткий ствол карабина и как его загородил крупом своего коня второй конвоир.

— Брось, Акимыч! — произнес он певучим голосом.

— Не лезь, Митрий!..

— Брось, говорю! В кого метишь-то? Ну? Опусти дуло, а то... знаешь?

Рыжебородый злобно выругался, вздыбил кобылу и повернул с полянки. Опуская в ножны до половины обнаженную шашку, второй конвоир постоял на месте и, не глядя на Матвея Егоровича, певуче сказал:

— Ты, дед, припрячься тут до вечера. Скоро мы уходим... Понял?

То невыразимое, о чем хотел и не смог сказать Матвей Егорович конвоирам, еще с большей полнотой и властностью охватило его, когда он остался в лесу наедине с ребенком и убитым матросом. Освобожденный от страха и уже дивясь ему, он был наполнен теперь глубокой и какой-то светлой печалью, перед которой отступили и померкли все те радости и горести, что довелись ему за всю его жизнь. Он никогда не подозревал в своих огрубевших руках той вдумчивой ласковости, с которой обнимали они теперь крохотное тельце ребенка; никогда его взгляд не был таким внимательным и пытливым, а слух так обострен и очищен... У него исчезла обычная суетливая порывистость в движениях, и на то, чтобы перевернуть под ребенком

пеленку, он потратил не менее часа времени. Было удивительно то внутреннее напряжение, с которым Матвей Егорович улавливал движение окружающего мира: сердце его слышало шорох роста травинок, а мохнатый коричневый шмель, хлопотавший у его ног над бутоном клевера, наполнял, казалось, лес тугим медным гулом...

До вечера Матвей Егорович просидел с ребенком на полянке — отгонял мух от убитого: изумрудные, настырные, они все подбирались к его тусклым незрячим глазам. Когда в кустах начали копиться сумерки, Матвей Егорович отер пучком травы лоб матроса и, став на колени, прислонил к нему лицо ребенка...

Ни издали, ни вблизи Матвей Егорович не узнал Шелковки. Там все оставалось по-старому — белые посады хат, замшелые колодезные журавли, разлатые ветлы, серые плетни. Но все это показалось ему непостижимо малым, не прежним и никому не нужным. Чужой, низенькой была и своя хата с приплюснутой набекрень соломенной крышей. На крыльце, закутанная в черный монаший платок, Матвея Егоровича встретила Пелагея:

— Тять, Лешку-то не дали... зарыли вчерась на выгоне со всеми вместе... А Петрака нынче нибилизовали... Трех ярок и кобылу свели...

Передавая ей ребенка и словно не постигая смысла ее слов, Матвей Егорович снова удивленно оглядел хату, пустынный двор, бесцветное небо и, сгорбившись, ставший за эти дни маленьким и сухим, полез с крыльца. Задевая ногу за ногу, он бездумно покружился по двору, все сторонясь ракитового корытца, и вдруг как-то охотно, всем телом припал рядом с ним на калачник и зарыдал, то затихая, то переходя на крик, прижав лицо к накаленной клеклой земле...

11

Из лета в лето одной и той же несказанной травой зарастал шелковский выгон. Из года в год по весне извечно проторенными незримыми путями прилетали в Уручье дикие утки. Все оттуда же, из-за церкви, по утрам вставало над Шелковкой солнце, и все там же, за Бешеной лощиной, по ночам садился месяц. В одном

и том же месте мелела в петровки Любач, и водились в ней все те же вьюны и головастики. Как и десять лет назад, горячей пылью отцвети дымились неоглядные ржаные поля, и с прежней истомой и страстью булькали там перепела. Все оставалось тут на своих исконных местах, сохраняя давние запахи и краски, и казалось, время и события не властны над Шелковкой.

Но это только казалось.

С северной, наиболее наветренной стороны крутые углы соломенных крыш шелковских сараев постепенно облепились широкими кривулинами деревянных сох — не пропадать же добру, раз в хозяйстве завелся плуг. На шляху давно уже обозначились новые, широкие, колеи от телег на железном ходу. Почти рядом с осевшим, провалившимся холмиком братской могилы продотрядцев на выгоне который уже год тарахтела паровая мельница Ходукина — «пыхтелка», как называли ее шелковцы.

Удивительно слаженной жизнью души и тела жил все эти годы Кузьма Михайлович — на селе не было человека, тверже его стоявшего за Советскую власть с ее нэпом. «Догадалась под конец, что без хозяйственного мужика гибеляка ей!» — решил он об этой власти и пятый год бессменно ходил в ктиторах и председателях сельсовета — выбрали, кому надо было. Обязанности по церкви и сельсовету Ходукин справлял с одинаковой неторопливой благопристойностью. Он как-то исподволь и незаметно изменился во всем. Разговор его стал степенней и загадочней, движения и жесты приобрели законченную уверенность, и даже глаза перестали щуриться — выискивать и опасаться было нечего: все на белом свете казалось простым и понятным — власть-то оказалась «своей»!

И лишь изредка в сердце Кузьмы Михайловича ворошилась печаль к себе и злость на бога — не дал детей. Об этом думалось почему-то всегда в церкви. «Что ж обошел-то? Кому пожалел? Тогда лета хоть продли мои. Все ведь откажу храму, все тебе оставлю!»

На этом и сошлись с хилым васильковоглазым старичком, изображенным на дымном овале церковного купола. А вот с людьми было труднее. Трижды пытался Кузьма Михайлович подыскать в Курске человека на свою мельницу — нужно же было кому-то пускать

и останавливать паровик. Но там ему попадались все какие-то с виду непутевые, худотелые, не дураки, видать, выпить и украсть. И таких нанимать на полста рублей в сезон и на хозяйских харчах?

— Городская лярва! — ругался в душе Ходукин, — а как быть — не знал.

Как раз тогда нежданно-негаданно вернулся года три пропадавший где-то Тишка Суровец. Не застав матери — побиралась в Рожновке, — Тишка оборвал веревочный запорчик на дверях своей хатенки и вволок в сенцы два грязных мешка, наполненных какими-то железками. А спустя час Тишка в круглой суконной кепочке с пуговкой на макушке, в широченных штанах из «чертовой кожи» и с парусиновой сумкой через плечо шел вдоль Шелковки и независимо, будто был чужим тут, пел:

— Ведры лата-ть, кружки пая-ать, чугунки лу-ди-ить, замки чини-ить можем!

Когда через неделю Суровчиха приплелась домой, ей некуда было положить свою побирушью сумку — вся хата оказалась загруженной прохудившимся жестяным хламом. Тишка встретил мать сурово. Собранные ею куски он выкинул во двор, оставив только самые большие — знал, видно, что щедрые люди хлеб пекут вкусный.

— Хватит тебе куковать, — сказал он матери. — Лупи теперь за все натурой...

И мать «лупила» за непривычное городское рукомесло сына полбутылкой конопляного масла, ведром картошки, совком муки — другого попросить стыдилась. Тишка же при расчете уходил из хаты, а когда мать отлучалась, выдавал работу «за так» — гордый был.

Может, из-за его штанов и кепки, а может, по другим причинам в Шелковке решили, что Тишка вожжался все эти годы с цыганами и те научили его уму-разуму. Тишка обиделся и пригрозил как-то на улице:

— Вот погожу тут еще немножко, да и вдарюсь опять на чугунку паровозы чинить!..

Это было вечером, а на второй день утром Кузьма Михайлович принес Тишке завернутые в суровую холостину старинные часы.

— Птаха не высигивает и не кукует. Спружинка, видать, ослабла.

— Поглядим,— сказал Тишка, а сесть гостя не пригласил. Так, стоя в дверях, Кузьма Михайлович и подвел Тишку к разговору о своем паровике. Может, завел бы, если умеет?

— Дело нам знакомое,— опять сказал Тишка. И вправду, он в тот же день пустил и остановил паровик, а после, через меру испачканный мазутом, долго ходил по селу, гордился.

С тех пор, ради одной славы, Тишка и засел на ходукинском паровике «пускальщиком».

— Мучицы бы взял,— предлагал ему иногда Ходукин.

— Не нуждаемся! — дерзко заявлял Тишка.— Своей хватает!

— Да откудава ж она у тебя?

— Из тех самых ворот, откудава весь народ!

— Ай, как складно! — качал головой Кузьма Михайлович, но сильно не настаивал.

12

Без сыновей,— Петрак не вернулся с гражданской,— без себя прежнего уронил хозяйство Матвей Егорович, странно откачнулся от дел и соседей. Сначала в угоду несмышленому сироте, а когда тот подрос — и себе на потеху развел он устрашающее множество кроликов, и те глубокими извилистыми туннельками изрыли двор, огород и земляной пол хаты. В ветреные дни, когда под полом начинал дико гудеть сквозняк, Пелагея кротко пугалась:

— Тять, развалют они хату. Жить негде будет...

— В амбар переселимся. Печку сложим, и живи на здоровье! — с непонятной беззаботностью отвечал Матвей Егорович.

Как сосунок-жеребенок не отстает ни на шаг от своей матки, так и Алешка-матросенок ни на минуту не отбивался от Матвея Егоровича. Оттого ли, что одевались они одинаково — зимой в дубленые шубы с кучерявыми выпушками и расшитой гарусом грудкой, а летом в белые замашные рубахи и темные картузы, но только здорово походили они друг на друга, хотя

одному шел шестьдесят девятый год, а второму — седьмой.

Все, что Алешка успел открыть в видимом им мире и чем он был пленен и захвачен в нем, все это заключалось для него пока в одном деде Матюше. Он ходил, размахивая руками, разговаривал, нарочито покашливая, как его дед. Во время еды он так же держал хлеб и ложку, так же неторопливо жевал, сосредоточенно глядел в миску и ел столько, сколько и дед,— ни одним глотком меньше или больше.

Уже несколько лет они управлялись по хозяйству вдвоем, и самой радостной зимней работой для Алешки было давать корм трем овечкам, мерину и корове. Мерин — самый прожорливый и самый почему-то близкий им из всей домашней скотины — творил столько навоза, что к весне доставал спиной матицу.

— Ишь, нагноил за зиму какую прорву, матери его дышло! Тут нам с тобой и до жнитвы не вычистить, а? — сокрушался Матвей Егорович.

— Нагно-ил, матери его...— согласно вторил Алешка, а Матвей Егорович спохватывался:

— Ты, брат, того... не шибко поспевай за мной в таких словах. Я ить это сдуру, по старости, а ты по младости...

То, к чему Матвей Егорович готовился давно и старательно — к разговору с Алешкой о гибели его родителей,— произошло совсем просто: Алешка воспринял это известие почти безразлично и только спросил об отце-матросе:

— А он с ружьем был?

— Да какой там с ружьем? С тобой был! — сердито ответил Матвей Егорович,— равнодушие малого вдруг странным образом огорчило его и обидело. «Не оказался бы бесчустным»,— подумал он, но вскоре догадался, что для Алешки настанет еще время, когда он создаст свои образы отца и матери, свои картины их смерти.

Ровным, усыпляющим шепотом, не отнимая своей теплой ладони от Алешкиной макушки, Пелагея учила его по вечерам разным молитвам, волновала и печалила туманными сказаниями о житии Алексея — божьего человека. На злых и грустных местах сказа Алешка

съеживался в комок, глотая слезы, прерывисто спрашивал:

— Он был... на дедушку похож, да?

— Святой он был.

— А дедушка... нешто не святой?

— Нет, детка. Он земной,— неясно объясняла Пелагея и заводила разговор о другом.— Видишь на небушке вон ту белую полосу?— показывала она на Млечный Путь.— Это божья серебряная дорога. Ею он ходит сам, архангелы его и праведные души померших людей — воинов, мирских страдальцев, младенцев...

— А ежели мы с дедушкой... когда потом, не скоро помрем ежели?— тревожился Алешка, вглядываясь в небо через окно.

Пелагея замолкала, прислушиваясь к шаркающим шагам в чулане. Матвей Егорович белым привидением вставал у лежанки, минуту отыскивал в полумраке хаты притихших собеседников, потом начинал браниться:

— И чего ты запыляешь ему темя разной монастырской трухой! Он и без твоего Алексея сам божий! Пошли-ка, брат, на печку. Я доскажу тебе вчерашнее!

«Вчерашнее» было про белого коня генерал-фельдмаршала Гурко, про поднебесную гору Шипку и про то, как пятеро русских солдат разгромили целую турецкую роту, а то, может, и весь полк.

— И побили? Всех турков, какие там ни на есть?— впадал в восторг Алешка.

— Всех к чертям смели!— молодел голосом Матвей Егорович.

— А за что они их, дедушк?

— Лезли. Расею хотели захватить.

— Ишь, чего! А черта в нос не хотели? Правда?

— Это-то правда. А вот говорить так не надо. Ты норови всегда таким манером: к примеру, захотелось иной раз матюгом или другим темным словом хватить, а ты возьми и стерпи.

— А ежели не стерпливается?— пытал Алешка.

— Ну... тут уж гляди сам, как ладнее будет. И давай-ка спать начинать, третьи кочеты уже кричат!

Взрослый люд Шелковки по-разному относился к Матвею Егоровичу с Алешкой. Одни — помоложе и поехиднее — говорили, что старик от страха тронулся головой тогда в Бешеной лощине, потому и прижил во дворе приблуда и кроликов; другие — постарше и позлее — толковали: «Работника годует. Сыновей-то растерял! Хитрый, дьявол!» Желая уберечь Алешку от уличной обиды, Матвей Егорович сказал как-то ему, как взрослому:

— Ты вот что. Не дай бог сбрешет кто о тебе да обо мне какую-нибудь чертовину — не верь. Ты тогда откажи назад тому раскурдяю, что мы с тобой не чужие. Нас сама мать сыра-земля свела! Смерть, значит. Постиг?

Сказал — и пожалел. Видно, что-то свое постиг в его словах Алешка: он притих, насупился и взглядывал на деда исподтишка с какой-то неизреченной тревогой отчуждения. Матвей Егорович растерялся. На все его расспросы, что с ним, Алешка глухо отвечал:

— Так.

— Может, ты захворал чем, а? Может, за яблоками мочеными сходить куда, разжиться?

— Я не хочу,— сторонился Алешка. Под конец он горько разревелся, уронив голову на лавку.— Теперь знаю... Я совсем-совсем не свой!

Смысл этих Алешкиных слов не сразу дошел до сознания Матвея Егоровича. Несколько секунд он беззвучно шамкал ртом, припоминая свой прежний рассказ Алешке о его отце и матери. «А я ить не сказал ему, кем они мне доводятся! Господи, он же почитал родней меня, а я...» И не зная еще названия тому пугающе-внезапному и мучительно-радостному чувству, которое властно ворвалось в его душу, Матвей Егорович впервые заорал на Алешку:

— Ты что такоича выдумал? Это по каким резонам ты мне не свой? С каких это времен родимые унуки начинают отрекаться от своих дедов? Отцу-то твоему кто был родителем, а?

Лазурными, осиянными каким-то ликующим светом глазами глядел на деда Алешка, а дед смешно кривил вбок поседевшую бороду, как от рези, жмурил свои глаза...

После такого объяснения что-то новое, большое и благостное пробудилось в Матвее Егоровиче к Алешке,— уверовал сам в сказанное. От этого несколько дней жилось как-то особенно хорошо и вместе с тем беспокойно: то и дело хотелось позвать Алешку «унучиком». Тот летел на непривычный зов сломя голову, и чтобы уже навсегда и бесповоротно жить им двоим этой правдой, Матвей Егорович до конца выполнил обряд родства: нашел предлог и небольно выпорол Алешку мокрым рушником.

— Ну вот, окрестил. Будешь теперь знать! — сам страдая и мучаясь, сообщил он внуку, но тот, не поднимая спущенные портчонки, стоял молча и пораженно глядел сухими глазами на рушник.

— Чего остолбенел? Ай не хватает до реву? Ну? Ты покричи, как все детишки делают, а не стой чучелой! — натужно прикрикнул Матвей Егорович под всколыхнувшийся в сердце испуг: «Никак я опять тут обмишурился? Дернул же меня домовой!»

Алешка так и не заплакал. Видно, новизна этого события показалась ему больше обиды. А Матвей Егорович, бесцельно послонявшись по хате и покряхтев, как от зубной боли, вдруг наскоро переобулся в сапоги,— справил их еще к венцу с Михалихой и с тех пор обувал только в церковь, и приказал Пелагее подать четвертную бутыль от керосина.

— В сельсовет мне надо. А заодно и в кооперацию загляну.

— Есть же у нас керосин. Почитай, половина бутыли,— напомнила ему Пелагея.

— Перелей и не учи ученого! — посоветовал дочери Матвей Егорович и подозвал Алешку: — Ну как, отлегла обида или нет еще? Эх ты, дурачок мой несмышленый! Да нешто я это по злобе какой? Ты погоди меня, ладно? Я, может, пряничков прихвачу тебе.

— Ла-адно,— сказал Алешка и до самых ворот проводил деда.

Была на исходе последняя неделя затяжного зимнего поста. Во дворах и проулках стояли глубокие лужи янтарной воды. Опроставшиеся от снега бугры дымились парным туманом. Любач вспухала, тяжко ворочa-

лась и устрашающе ухала. Оглядев из-под руки заречную даль пегих полей и смекнув, что по улице, изрезанной оврагами, уже не пройти, Матвей Егорович повернул на выгон. По осевшей санной дороге тут устало бродили мокрые исхудавшие грачи. В вершинах очерневших ветел звонисто тетенькали синицы, и в густом пахучем небе самозабвенно окликал весну первый жаворонок. Влажный, прослоенный белыми дурманящими струйками, дул с юга ветер. Он путался в фалдах зимней шубы Матвея Егоровича, подгоняя его, и вдруг выхватил из открытого горлышка бутыли какой-то непутево-трубный озорной звук. От неожиданности Матвей Егорович чуть не присел на дорогу, а поняв, засмеялся тонко и заливисто, как ребенок. «И чего только нетути на белом свете! — подумал он. — И хорошего и плохого. А все ж хорошего куда-а больше, ежели нутром видеть его... И до чего ненасытная тварь человек! На восьмой десяток воротит, а я все весну чую! Вот же согрешение!..»

С этим чувством ощущения молодости он и подошел к сельсовету, который ютился все в той же каменной хате, построенной селом еще в старые времена под «съезжую». Тут же, заняв большую и лучшую половину, размещалась уже несколько лет кооперативная лавка.

В комнате сельсовета плавал голубой угарный чад, стояли некрашеный обеденный стол и приземистая ракитовая скамейка. Все здесь: давным-давно не беленные глиняные стены, радужные стекла единственного окна, до черноты засиженный мухами потолок, — все это разом и непоправимо разорило весеннее настроение Матвея Егоровича.

— Развел нищету в казенном доме! — стоя у дверей и никого не видя, помянул он в душе свата. За печкой, занявшей правый угол, что-то завозилось, и через минуту оттуда вышел Кузьма Михайлович, оглаживая ладонями бороду, как перед причастием.

Сваты виделись редко: хозяйственную мелочь Матвей Егорович покупал в кооперации, а в церковь ходил только на пасху и троицу. При встречах же Ходукин не таил в глазах иронии, оглядывая Матвея Егоровича, как дурачка, — знал о матросенке, слыхал о кроликах, об упадке его хозяйства. Не здороваясь, Кузьма Михайло-

вич и на этот раз насмешливо посмотрел на свата и, зыркнув на его бутыль, спросил с нарочитым безразличием:

— В газке нуждишка? Что ж, сходим, налью. У меня он дешевле, чем тут,— кивнул он на стенку.

— И намного? — будто и в самом деле заинтересовался Матвей Егорович.

— На копейку с черпака.

— Ай-яй сколько скостил! Да я, видишь ли, сроду не гонялся за копейками и в алтаре за них...

— Чего? — вскинул голову Кузьма Михайлович, но Матвей Егорович не стал договаривать пословицу. Сваты стояли друг против друга внутренне напрягшись, издавна и втайне ненавидя свое нечаянное родство, и было в их позах что-то удивительно птичье: один, смуглый и плотный, смахивал на ворона, готового клюнуть, второй — на раскрылатившегося перед боем скворца.— Гляжу я на тебя и диву даюсь: до чего же ты злой! — оскорбленно проговорил Кузьма Михайлович.— За то, может, и наказал тебя бог!

— Это ты про детей моих? — пискливо спросил Матвей Егорович.— Бог наказал тебя дюжее моего. Он у меня двоих прибрал, а одного все же дал взамен! А тебе — шиш, хоть ты и ктитор! Подохнешь, и все прахом пойдет, все твои черпаки и копейки! Отказать-то некому?

— Не шибко много чего и ты кому оставишь! — утешил себя Ходукин, проходя к столу.

— Малому-то? — встрепенулся Матвей Егорович, двигаясь следом.— Хватит за глаза ему. С избытком аж. Хата, почитай, новая, сараи тоже.

— Хату-то, говорят, трусы подрыли. Завалится, поди, скоро,— деланно засмеялся Кузьма Михайлович. Матвей Егорович на какой-то миг смутился, но тут же нашелся:

— Она твою перестоит! А трусы... Это дело не хуже любой курятины. Каждый день едим, и все мало! — вдохновенно солгал он.

— Это в святой пост? Скоромную падлу потребляешь? — брезгливо искривил лицо Ходукин.— С Суровцами, значит, сравнялся...

Матвей Егорович ненужно долго возился с бутылью, устанавливая ее под столом, а когда выпрямился, лицо его пунцовело не то от натуги, не то от гнева.

— Нехристь ты, Кузьма! — с задушевной верой сказал он и вздохнул.— Без Тишки твою пыхтелку ржа давно б источила! На его хребте сидишь и его же поносишь!.. Ну да бог тебе судья. Я зашел не за тем. Скажи, ты печать круглую имеешь?

— А как же! — удивился Ходукин.

— И... она с гербом?

— С чем ей положено, с тем она и есть.

— Ага. Тогда вот что. Выдай-ка мне документ.

— Это какой?

— О рождении моего приемного унука.

— А он в церковную книгу заведен?

— Возьми и заведи,— простодушно посоветовал Матвей Егорович.— Это ж опять-таки по твоей части.

— Да ты что, бесева объелся али трусятины своей? — изумился Кузьма Михайлович.— Туда ж вписываются крещеные, а не всякий там...

— Какой всякий? А ну-ка скажи, какой? — недобро-тихо спросил Матвей Егорович, привставая на носки сапог.— Ты что такоича говоришь о советской сироте, а?

— Да ты сядь,— сам вставая, попросил Кузьма Михайлович.— Я к тому насчет книги, что нельзя супротив закона лезть!

— Его отец соблюдал главный закон в Бешеной лощине аж в девятнадцатом году, а теперича у нас двадцать шестой! — выкрикнул Матвей Егорович и яростно, вложив всю свою силу, треснул кулаком об стол.— И выше смертного закона другого на свете нетути! Пиши, и не вводи меня в грех!

Искоса, раздумчиво-пытающим взглядом окинув свата, Кузьма Михайлович грузно сел на скамейку и достал из стола чернильный пузырек, ученическую ручку и тетрадь.

— Ну, что писать-то?

— Погоди. Скажу,— не скоро и каким-то иссякшим голосом отозвался Матвей Егорович.— Довел ты меня... Пиши. «Свидетельство... тому, что гражданин Ястребов Алексей рожден в Красной Армии в 1919 го-

ду 16 числа июля... Теперича дальше. Отец его, Ястребов Алексей Матвеевич, и мать, Ястребова Екатерина, сгибли от белых в том же году в селе Шелковке, Обоянского уезда, Курской губернии...»

— Это как же? — выпрямился Кузьма Михайлович. — Стало быть, ты на свою фамилию их? И отчество ему свое клеишь!

— Ничего не клею. Он все свое имел. Мне-то лучше знать, как его величали? Матвеич он был!

— А мне пущай он хоть Авдеичем будет! — взорвался вдруг Ходукин и, округлив рот, утробно дыхнул на печать...

Домой Матвей Егорович возвращался прежней дорогой. Кованые каблуки его сапог вязли и оскользались в мутном снежном месиве, подол шубы намок и отяжелел. За эти несколько часов, проведенных им в сельсовете, преобразился мир: полдневное солнце растопило туманную хмарь, и небо было теперь иссиня-зеленым, как родниковая глубина. Непрерывными слепящими бликами сверкали в полях ручьи и лужи, и в текучем знойном мареве дрожал неоглядный круг горизонта.

У крутого Устиньина оврага, протянувшегося от реки до выгона, путь Матвею Егоровичу преградил сизый бурлящий поток. Прикинув его ширину и тоскующе поглядев на соломенный горб своей клуни, видневшейся издали, Матвей Егорович поплевал в свободную от бутыли руку, напружинил колени и прыгнул с непредполагаемой в себе резвостью. Он еще не коснулся ногами противоположного края потока, а уже знал, что упадет на четвереньки, и, выкинув вперед руки, не увидел бутыли с керосином. «Оборвалась, проклятая!» — падая, отметил он, но веревочное колечко на среднем и указательном пальце его левой руки было целым — оно только соскользнуло в рывке с горлышка бутыли.

Засунув руки в карманы шубы, Матвей Егорович зашагал по дороге, стараясь не думать о случившемся, и когда оглянулся назад, то над местом впадения потока в овраг изумленно увидел нарядный полукруг радуги, светившейся непорочно чисто и загадочно, словно сделали ее люди из своего несбывшегося счастья.

В ранние весенние дни на подсохшие проталины у завалинок хат первыми из всего живого приползали солдатики — безвредные нерасторопные козявки, разрисованные красным и черным. Они всегда появлялись откуда-то дружными кучками и, выстраиваясь в ровную шеренгу, часами неподвижно сидели под солнцем. Непостижимо и удивительно было чутье этих смешных и чем-то трогательных вестников лета: солдатики не боялись взрослых людей и по тревоге, ломая строй, разбегались, как только на проталину ступал кургузый лапоть мальчишки. Эти были их исконными невольными врагами. На таких пятачках проклюнувшейся из-под снега земли из поколения в поколение, из весны в весну шелковская детвора заводила азартно-суточные игры в пенки — осколки тарелок и чашек.

Этой чарующей своей незатейливостью игре — чья пенка легла вверх писаной стороной, тот должен с любого расстояния дважды попасть ею в пенку партнера и таким образом выиграть ее — постоянно предшествовал тяжелый изыскательский труд ее участников. Им приходилось излазить большие грязевые пространства в поисках фаянсовых осколков, потому что похлебку и щи дома ели из плотных глиняных черепушек, а воду и молоко пили из латунных кружек. Откуда ж тут взяться пенкам!

И все же наперекор этим тяготам, а может, благодаря им, порожденная неистребимым упорством и стремлением русской души — сызмальства первенствовать в любых схватках, игра жила, полонила все новые и новые ребячьи души, и Алешка Ястребов не миновал всеобщей участи.

Первая его игра состоялась в тот день, когда дед ушел в лавку за керосином. Четырнадцать Алешкиных пенок, накопленных им еще с прошлого лета, кон за коном переходили в собственность противников, и неизвестно, чем закончилось бы дело, если б не подоспел Матвей Егорович. Увидав у соседских ворот Алешку, готового в расступившемся круге ровесников метнуть своей последней пенкой в чужую, он еще издали предостерег его:

— Не так! Отставляй назад правую ногу! Наклоняйся вперед! Зажмуряй левый глаз! Во! Зараз лупи!

Алешка все сделал так, как наставлял дед, и промахнулся. Кто-то из игроков запел звонко, картаво и счастливо:

— Матросяка не попал, свою мать закопал!

Торопясь и пугаясь чего-то, Матвей Егорович рывком добыл из тайников шубы плоского пшеничного петуха в малиновых разводах и сунул его в руки Алешки.

— На-кась. Ешь его тут, при всех... Пущай поглядят!

Игроки мгновенно завистливо притихли, потом разом, преображенными голосками заканючили:

— Ле-ешк, дай капелькю-ю.

— Лизнуть хоть маненько...

— Продай полкочетка за три пенки, а?

Всем ртом вгрызаясь в сыпучего сахарного петуха, опаленный его мятным огнем и возможностью продлить игру, Алешка трепетно взглянул на деда.

— Пр-родать, дедушк?

— Не дури! — сказал Матвей Егорович. — Отдай так. У меня в запасе есть тебе...

— А пенки?

— Будут и они. Пошли домой! — и по дороге рассказал в утешение внуку, какую диковинную пенку он видел будто бы возле Устиньина оврага. — Величиной, почитай, с мою ладонь, а расписана как — не приведи господи! Что твоя рай-дуга!

— А где ж она? — поперхнулся Алешка.

— Да я, видишь, не стал подымать ее. Подумал, что и так их у тебя целая куча... А ты не тужи. Там, опричь нас, ни один домовой не увидит ту пенку — вода бушует кругом! Как схлынет чуток, так мы с тобой и двинемся туда. Ладно?

— Ла-адно, — неуверенно согласился Алешка. — Только б холява не пронюхала.

— Это кто ж такая? — смеялся глазами Матвей Егорович.

— Кузяка с того конца. Знаешь, как он умеет сигать?

— Туда не досигнет никакая холява, будь она хоть с саженными ногами. Как я сказал, так и будет...

В остаток дня они отводили ручьи от закут и клуни, хлопотали по хозяйству. Всю ночь хату наполнял широкий смутный шорох, доносившийся с речки. Матвей Егорович то и дело просыпался, выходил на крыльцо, вслушиваясь в весеннюю тревогу. По темному двору катались живые белые комочки и жалобно попискивали,— вода заливала кроличьи норы. «Пропадет трусиная детва! — вздыхал Матвей Егорович.— Пущай бы жили. Бураков хватит...» Неспокойно спал в ту ночь и Алешка. Ему снился Устиньин овраг, и на дне его бластилась большая пенка, расписанная золотой повиликой и малиновыми кочетами.

Кто-то все делал так, чтобы наступивший день на всю жизнь запомнился Матвею Егоровичу. Под утро небо окрасилось какой-то звонкой и чистой розовостью. Звонко и чисто было на улице, на проулках и на дворах. Смиренные цепким утренником в своих тесных руслах по-птичьи чилилюкали ручьи. Вчерашние непролазные дорожки были легки и хрустки, и подернутые ледяной склянью лужи манили разогнаться и проехаться по ним так, чтобы из-под ног брызнули синие искры! В такие часы молодым хорошо ходится по какому-нибудь желанному делу и покойно дремлется старикам.

Так это и случилось с Матвеем Егоровичем. Он не слыхал, когда Алешка снял с себя его легонькую руку и задом сполз с печки. В чулане, рядом с укрытой тулупом квашней, молилась после сна Пелагея. На загнетке, просохшие за ночь, теснились три пары лаптей. Алешка выбрал свои, по примеру деда переменил в них солому и старательно обулся.

— Куда ты в такую рань? — обернулась к нему Пелагея.

— На двор. Сикать захотелось,— сказал Алешка, но проделал он это не в своем дворе, а на полдороге от Устиньина оврага: ему казалось, что Кузяка уже выколупывает из подмерзшей грязи его пенку.

Село просыпалось. Сухо звякали щеколды калиток, оголтело кричали петухи, и, пронизанные заревым светом, из трубы каждой хаты неспоро росли зеленые букеты дымов, похожие на кусты перекати-поля. Овраг еще издали обдал Алешку зябкой сыростью и нарастающим гомоном не поддавшегося морозу потока,— он

бился в туманном сумраке дна оврага, заваленного крупитчатым покореженным льдом. В бурых рваных потеках оставался южный склон оврага, зато северный уже по-летнему желтел мелким песком, испещренным кружевом воробьиных следов.

С него и начал свой поиск Алешка. Может, час, а может, и два понадобилось ему на то, чтобы шаг за шагом добрести до самой речки. Ровный шум потока, ставший за это время привычной тишиной для Алешкиного слуха, постепенно растворился в мощном перекатном гуле большой воды. Любач вышла из берегов, затопила луг и низовые огороды. Теперь трудно было определить основное русло речки. Из воды повсюду торчали раздерганные гряды ракит, повсюду, но не с одинаковой скоростью плыли льдины, проносились снопы соломы и конопли — где-то в верховьях Шелковки подмыло, видать, бесхозяйственный двор.

Солнце поднялось уже дуба на два, когда Алешка увидал свою пенку. Она и вправду была с дедову ладонь и лежала на небольшой прибрежной льдине. Прошитый густым рядом тонких и острых сосулек, передний край льдины приподнимался над кромкой берега, и когда Алешка ступил на льдину, сосульки хрупко осыпались, проиграв, как балалайка. С этим звоном, чем-то напомнившим Алешке летнее воскресенье, совпали и два других его открытия. На пенке — половинке чайной тарелки — вместо обещанных дедом и сном рисунков чуть-чуть проступал маленький синий орел о двух головах. Но Алешка все же взял пенку и тут же заметил, что льдина, кренясь под его лаптями, тихо уплывает от берега — до него было уже сажени три...

15

Дважды в месяц Пелагея пекла хлеб, и каждый раз Матвей Егорович подолгу бродил по двору с топором, выискивая на дрова непригодную в хозяйстве ольшинку или слежку. В это утро он разобрал акациевую загородку в закуте. Белые и твердые, как кости, хворостины не поддавались топору, обрубки же со звоном отскакивали в сторону, как при игре в чижика. Матвей Егорович негромко и замысловато ругался, осерженный на запропастившегося Алешку, на Пелагею, не

умеющую соломой накалить печь, на себя за эту работу,— разорял ведь то, что когда-то любовно и ревниво сам сделал.

— А какой же тут разор? — не то самого себя, те то кого-то другого неожиданно вслух спросил Матвей Егорович.— Вырастешь, наживешь лишнюю лошадь — справишь и загородку. Не велика важность!..

Захватив беремя дров, он понес их в хату, и когда взбирался на крыльцо, чья-то по-праздничному разряженная молодайка с полными ведрами на коромысле степенно остановилась в калитке.

— Идите скореича на речку! — с поклоном сказала она.— Там матросенок ваш залился!..

Через улицу до перелаза в сад Матвей Егорович прошел прямой и медленной походкой ослепшего человека, роняя дрова себе под ноги. Отовсюду по скату горы к приречному полузатопленному колодцу бежал народ и кто-то по-пастушьи пронзительно и длинно свистел через пальцы. Не разбирая дороги, Матвей Егорович все так же незряче побрел к речке, но через несколько шагов остановился, ссыпал в грязь дрова и рядом сел сам. Он сидел и силился сообразить, кому и для чего нес свой хворост, куда и зачем бегут эти незнакомые ему люди. Он смутно помнил, что случилось что-то непостижимое разумом и противное всему, что он еще чувствовал и видел, но что именно случилось — забыл. Не сразу признал он Тишку Суровца и не скоро уразумел его просьбу дать вожжи и помочь снять с петель ворота.

— Нетути у меня, брат, ничего нетути. Сам скоро пойду побираться,— бормотал он и все норовил отодвинуться в сторонку. И лишь когда Тишка сказал, что без ворот и вожжей ему «туда» не добраться и малый утонет, Матвей Егорович схватил наконец какую-то мысль.

— Погоди! Кто такоича утонет? — выбросил он к Тишке руки, но сам уже вспомнил все: и кто такой Тишка, и то страшное, о чем его спрашивал.— Нешто он... живой?

Тишка долго наводил глаза Матвея Егоровича на невидимую ему точку в Любаче.

— Вон ту застрялую крыгу примечаешь? Прямо насупротив колодезя, меж трех ракит! Там он и кукует...

Далеко внизу, в крошеве льда и средь грязно-желтых бурунов воды Матвей Егорович с трудом разглядел застрявшую в ветках ракит белую и маленькую льдину, похожую на блюдце. Алешка темнел и елозил на ней, как муха.

— Тиш! — расслабленно позвал Суровца Матвей Егорович.— Ты покличь на подмогу кого-нибудь и сними ворота за ради Христа сам. И вожжи возьми. Они в сарае под поветью висят... А я посижу тут. Нельзя ж его совсем одного бросить, а?

Когда Тишка с ватагой ребят приволок к Любачу ворота, интерес собравшейся у колодца толпы переметнулся к нему,— никто толком не знал, что замыслил Суровец. А он, разгоряченный и неприступно гордый своей затеей, у всех на виду скинул пиджак и ботинки, заломил кепочку и привязал один конец вожжей к скобе ворот, а другой за свою босую ногу.

— А ить загубишься, голова садовая! — осуждающе проговорил кто-то из мужиков, но Тишка будто не слышал. Подобрав шест, он прыгнул на ворота, и они сначала осели под ним и заколыхались, а потом выровнялись и поплыли. Упираясь шестом на быстринах и отталкиваясь от коряг и льдин, Суровец все дальше и дальше продвигался от берега, но оттого, что ворота набухали и тяжелели, вода захлестывала Тишкины ноги, доходя до колен. Он раза два что-то крикнул, чего нельзя было разобрать, и тогда Матвей Егорович схлопнул ладони, обратил лицо на восток.

— Непорочная дева! — зашептал он.— Владычица наша небесная! Спаси ты нас грешных, дураков неразумных, укрой и защити! Тебе ж это ни шиша не стоит, а мы гибнем! — гневно молился он за себя, за Алешку и Тишку Суровца, страшась глянуть в его сторону. Текуч и неуловим был образ бога, к которому обращался Матвей Егорович,— он менялся в зависимости от поведения тех старых и малых шелковцев, что сбились на берегу Любача. Пока там мирно галдели, бог оставался самим собой — охочим до обрывков полузабытых Матвеем Егоровичем церковных молитв, верящим тому, что сулил он ему за помощь. Но когда от колодца доносились тревожные вскрики, бог представал перед ним непонятно враждебным, злым и несговорчивым, как сват Кузьма Михайлович. Тогда Матвей

Егорович кидал в него кощунственными словами, грозил собой, всем светом и каким-то другим, людским, богом.

Через час Суровец и Алешка прибились к берегу и сошли с ворот в километре от колодца — снесло течением. Еще издали завидев одиноко спешащего к ним деда, Алешка, мокрый по шею, потянул из кармана пенку:

— Ты эту видал, дедушк?

— Да, кажись, ее,— признал Матвей Егорович, часто моргая глазами.

— Она ж совсем неписаная! А ты говорил «райдуга»!

— Так нешто ж я... Значит, померещилось мне, будь она трижды проклята!..— И, неумело обняв Суровца обеими руками, Матвей Егорович зачастил просящим и рыдающим голосом: — Тиш! Голубчик... Ты б заглянул к нам на великдень, а? Труса зажарим... Они, говорят, сладкие, как ку... курятина!..

16

В тот год рано наступило лето,— за неделю до пасхи схлынуло половодье, а ракиты выметнули длинные изжелта-зеленые серьги. До пасхи в дремучий лозняк на берега Любача прилетели горлинки, и, услыхав их нежное рыданье, мужики потянулись в поля сеять овес. Торопко и буйно отцвели тогда сады, и никто в Шелковке не помнил, чтобы когда-нибудь еще из земли перла такая несметная сила одуванчиков,— заглушив траву, они сплошь покрыли выгон и заречный луг.

Как девичьи стеклянные монисты — яркие и звонкие — низались один к одному не по времени жаркие дни. Не по времени, рано, в вянущих зеленях полей запросили «пить» перепела. Каждый день, в обед, из Уручья с ревом врывалось в село стадо коров. Обезумевшая от жары и оводов скотина ломала тыны, вытаптывала огороды, и в поджаристом воздухе подолгу висела горячая пыль, перемешанная с куриным и одуваньим пухом.

По воскресеньям после обедни Кузьма Михайлович выносил из церкви большую икону божьей матери и,

сопровождаемый толпой богомольцев, шел в поля. Рассыпавшись по руслам пересохших меж, шелковцы не в лад и заунывно-угрожающе пели молитвы, яростно кропили святой водой из бутылок каждый свой загон, вожделенно оглядывали серо-белесую пустынь неба.

По вечерам за Бешеной лощиной долго тлели опаловые зори, и каждый раз в их недобром свете на одном и том же месте возникала сизая туча с жутковатым медным окоемом. В Шелковке наступала тогда странная вымученная тишина, начиненная воспаленными стонами ходукинской пыхтелки. Из жерла тонкой трубы паровика размеренно выпрыгивали круглые плотные дымы и, увязываясь один за другим в недвижимом воздухе, торили свой вечерний путь к прохладе реки прямо через хаты села. Каждый раз полет этих черных вонючих шаров гнетуще действовал на шелковских собак. Они вылезали на улицу, ощетинивали шерсть и, задрав морду к небу, завывали трубно, с одурелым захлебом.

Не доросла, увяла и пожухла в том году трава в заказных на покос местах, и шелковцы кинулись делить болото и Бешеную лощину в надежде хоть сколько-нибудь наскрести там сена. Ястребовскому двору в Учрчье выпала пайка голой трясины, поросшей стрелолистом и редкими кустами болиголовы. И хотя Матвей Егорович не готовился залезать с косой в болото, но обдел судьбы воспринял горестно и обидно.

— Всю жизнь так, черти б ее взяли: кому пышки, а мне одни шишки! — сказал он, разглядев свой жребий, вынутый из своего же картуза.

Через неделю после этого был назначен дележ Бешеной лощины. В тот день Матвей Егорович пришел туда еще на рассветной заре. Влажные, булькающие трели яростно били соловьи в глубине леса, на опушках по-кошачьи мяукали иволги, и над всей лощиной густым пластом лежал дух росного разнотравья.

Матвей Егорович несколько лет уже не бывал здесь. В его сознании Бешеная лощина давным-давно связалась с чем-то сурово-печальным, большим и заповедным, к чему всуе нельзя было прикасаться и куда он втайне готовился прийти вместе с внуком. Но каждую весну — на троицу — Алешка оказывался не готовым к

такому походу: он все был мал и мал, чтобы понять и осмыслить то, что ему предстояло услышать и увидеть в этом лесу...

С каким-то странным чувством изначального внимания ко всему тут живому и мертвому пришел на знакомую поляну Матвей Егорович. Он остановился у ее края рядом с кустом орешника и, наклонясь вперед, весь чутко напряженный и взволнованный, медленно оглядел строгими неморгающими глазами сначала зеленую луговину, потом голубую сумеречь окружающих ее кустов и, найдя то, что искал, снял картуз и выпрямился. Клен, у которого был похоронен матрос, оставался по-прежнему низкорослым и разлапистым, а продолговатый холмик осел, порос богородицыной травой, маргаритками и ничем не напоминал могилу.

— Ну вот...— проговорил Матвей Егорович.— Ну вот...

Он постоял, вслушиваясь в себя, не спеша надел картуз и бессознательно тронул рукой ветку орешника. С мохнатых листьев на него посыпались прохладные капли росы. Матвей Егорович зябко втянул голову в плечи и взглянул на куст. Почти у самой его руки, которой он продолжал держать ветку, сидела ярко-желтая и маленькая, как медный наперсток, птичка. Скосив голову, она пронзительно глядела черными бусинками глаз прямо в зрачки Матвея Егоровича, и, затаясь, он хорошо рассмотрел ее оперение, тоненькие, как сенные былинки, ноги и острые, тускло светящиеся коготки пальцев, впившиеся в кору. Ни в детстве, никогда потом Матвей Егорович не видел таких удивительно крохотных птиц. Он разжал пальцы и подвинулся ближе к кусту. Ветка качнулась и зашумела, а птичка скакнула вперед на самый ее край и пискнула нестерпимо тонко, слабо и жалобно. Неотрывно и уже против воли глядя в темные точки птичьих глаз, парализованный близостью и бесстрашием этого диковинного живого комка, Матвей Егорович, похолодев, стал медленно поднимать руку к голове и пятиться от куста.

— Это ж душа его... Господи! За что ж ты нас так, а? За какие перед тобой прогрешения не принимаешь к себе невинно убиенного?! — прошептал он и перекрестился.

Опушки леса Матвей Егорович достиг почти бегом и только здесь, на виду недалекого села, понял, что испуган смертно, тяжело. «Надо разуться, скореича тогда дойду»,— решил он, и когда присел на обочине тропинки, то долго потом не мог встать — ноги были квелые, как фитили.

Кучками и по одному к Бешеной лощине тянулись из села мужики. Матвей Егорович связал лапти, перекинул их через плечо и пошел домой не по дороге, а прямо по полю, на разминку с людьми,— не хотел, чтобы его кто-нибудь тут встретил. Он шел сгорбившись, путаясь ногами в жестких нитях повилики, затканшей межи, и казалось, что этот человек несет не лапти, а какую-то важную ношу, с которой далеко не уйдешь.

У перелаза через речку Матвей Егорович поднял голову и поглядел на свою хату. Сидя на отлете от других хат, покрытая соломой чуть набекрень, она давно уже приобрела какой-то лихо-несчастный вид, возбуждавший в Матвее Егоровиче сложное чувство обиды на жизнь и готовность вступить во вражду с тем, кто проявил бы к нему сочувствие или пренебрежение.

— Не ваше это дело! — резко сказал он кому-то, не сводя глаз с окон хаты.— Голова моя сыном его живым была занята, вот оттого я и забыл!..

Зайдя в сарай, он отыскал топор и почти бегом спустился в сад. В углу его, средь дикого рассева глухой крапивы и чернобыла, стоял вяз-подросток. Еще издали измерив глазами высоту дерева, Матвей Егорович с ходу опустился перед ним на колени и взмахнул топором. Он рубил плотно литый комель и время от времени поглядывал на садовую дорожку — не мелькнут ли на ней Алешкины ноги: ему не хотелось, чтобы тот застал его за этой запоздалой работой.

Алешка нашел его, когда обрубленные ветки вяза успели уже привять и у ног Матвея Егоровича лежали очищенные от коры, пахнущие пряной прохладой два бруса — один длинный, а второй покороче.

— Чегой-то ты делаешь, дедушк? — с обидой на то, что дед без него задумал что-то, спросил Алешка.

— Крест это,— помедлив, сказал Матвей Егорович и, не поднимая глаз, зачастил взмахами топора, ладя лезвие его к бревну так, чтобы паузы между ударами

были сплошь заполнены лютым звоном стали, куда Алешка не смог бы вклинить своего нового вопроса.

А тем часом жребий за ястребовский двор тянул по своей доброй воле кум Федор. Номер вышел недобрый — тринадцатый, а пайка травы пришлась на него лучшая во всей Бешеной лощине. Об этом Матвей Егорович узнал поздним вечером от самого же кума — пришел обрадовать, а может, и выпить магарыч с человека за его нечаянную удачу.

— Это внизу, где клен? — спросил Матвей Егорович.

— Как раз там, кум. Трава выше колен, и хоть бы один куст! Воза два наберешь сена...

— Что ж, значит, судьбой определена мне та чертова низина!

Больше он ничего не сказал, и недоуменный кум Федор ушел ни с чем.

Утром, чуть свет, Матвей Егорович уложил в телегу бочонок с водой, косу, лопату и тяжелый, отсвечивающий восковой желтизной крест. Со двора он выехал украдкой, боясь разбудить Алешку, наказав Пелагее, чтобы он принес ему в лес завтрак, как только солнце поднимется на одну ракиту выше клуни.

В Бешеной лощине продолжала таиться звонкая вчерашняя тишина. Очутившись в низине, Матвей Егорович начал громко покашливать, пытаясь погасить проникавшую в сердце знакомую оторопь, и прямо по траве своей пайки подъехал к могиле матроса, остановил мерина у ее изголовья. Торопясь, то и дело покрикивая для бодрости на коня, смирно стоявшего в оглоблях, он врыл в холмик крест и, отойдя в сторонку, уже успокоенный и задумчиво-строгий, опять сказал вчерашнее:

— Ну вот... Ну вот!..

Трава никла под крупными росными каплями. При первых же взмахах косы Матвей Егорович юно ощутил неповторимо-сладостный запах отворенных соков земли и, врезаясь в густой стан сверкающей зелени, жадно слушая сочный хруст подкоса и ветровой шелест падающей травы, вдруг ни с того ни с сего подумал: «А мне, наверно, и веку не будет. Долго проживу!..» До прихода в лес по-праздничному принаряженных косарей он успел пройти на своей пайке три длинных ряда

и трижды прильнуть к бочонку с водой. И ни завистливые шутки мужиков насчет подмокшей мотни у его порток, ни запропастившийся куда-то мерин, которого он забыл стреножить, ни восковое свечение креста — ничто не могло омрачить его внезапной бодрости и упрямства — «проживу-у!..».

В условленное время Алешка принес завтрак — чугунок крутого молочного кулеша. Пелагея то ли забыла, то ли не догадалась положить в сумку вторую ложку, и Матвею Егоровичу пришлось черпать кулеш коркой хлеба. Они расположились под кустом недалеко от могилы. Алешка сидел боком к деду. Жуя, Матвей Егорович исподтишка взглядывал на внука и видел его лопушистое оттопыренное ухо, кончик синего глаза, устремленного на крест, и полукруглый рядок длинных немигающих ресниц.

— Чего ты там блукаешь глазами? Садись вот так и гляди на посуду! — скороговоркой приказал Матвей Егорович, и Алешка повернулся спиной к кресту и, глядя в чугунок, спросил:

— А он... хороший был?

Матвей Егорович глубоко вонзил в кулеш корку и деловито принялся елозить ею по дну чугунка до тех пор, пока она, разопрев, не переломилась там надвое. И тогда ответил:

— Отец твой? Неимоверной красы был!

— Как ты? — Алешка взглянул на деда восторженно и пытливо.

— Вылитый! — мотнул головой Матвей Егорович. — Только куда статнее...

Может, он и еще что-нибудь сказал бы о матросе, но в это самое время на поляну ленивой рысцой выбежал мерин. Смешно запрокидывая голову и хлюпая губами, он пытался достать языком до ноздрей, измазанных чем-то белым и, видать, клейким. Вслед за мерином из кустов вышел кум Федор, волоча длинную свежевыломленную орешину.

— Ну, Егорыч! — обиженно заговорил он еще издали. — Нешто ж это по-свойски! Пущаешь одра без пута, а он, вражила, взял и все блюдо вылопал дочиста!..

— Чего такоича? — встревожился Матвей Егорович.

— Картохи на сметане. Только что принесли...

И надо ж ему ухитриться настольник развязать! Не лошадь, а прямо-таки кобель, прости господи!..

— Не знаю, кум, кто его приучил к такому делу,— смущенно стал оправдываться Матвей Егорович.— Он у нас сроду не потреблял сметану. Небось прохватит поносом попервам...

— А мне-то какой прок от того выйдет? — ошеломленно спросил кум Федор.— Балакаешь черт те что!

Он откинул орешину и пошел через поляну, по-хозяйски обходя грядку еще не кошенной травы. Проводив его озабоченным взглядом, Матвей Егорович раздумчиво сказал Алешке:

— Рассерчал мужик. Будто я нарочно велел тому домовому сметану его потрескать!..

К полудню неожиданно скопилась гроза. Сизая, вполнеба туча стремительно приползла с запада, закрыв солнце, и в лесу установилась истомно-пахучая недобрая тишина. Заслышав далекий протяжно-перекатный удар грома, Матвей Егорович проворно запряг мерина.

— Давай, давай, брат! — не без опаски поглядывая на небо, просил он.— Все тебя ждет, все тебя славит, все тебе воздает хвалу!

В поле было пустынно и тревожно. На фоне черного неба теперь с особенной явственностью проступала белесая хилость посевов, покорно приникших к сухой, как зола, земле.

17

Бодрое чувство живучести, постигнутое Матвеем Егоровичем во время сенокоса в Бешеной лощине, не оставляло его ни на минуту, и постепенно к нему вернулись прежнее беспокойство и хозяйская цепкость. Покрикивая на Пелагею и Алешку, он заново возвел загородку в закуте, подновил прошлогодней сторновкой углы крыши амбара, перешил на внука Алексеевы плисовые штаны и нанковую рубаху.

— Пинжак и сумку сошью к покрову дню, перед тем как итить в школу,— сказал он Алешке.

Рожь тогда поспела загодя до петровок. В хорошие жнитвы Шелковка, бывало, выводила на своих задах несметные посады скирдов, среди которых на недели

пропадала скотина, а в этот раз снопы-недоноски уместились в клунях. И лишь один Матвей Егорович выложил на огороде одонок. Оттого что снопы с воза подавал внук, с трудом орудуя длинным деревянным навильником, дед умышленно пропустил укладку нескольких рядов на краю подачи, и одонок получился кособокий, смешной.

— Ну и кляп с ним,— оглядев работу, сказал Матвей Егорович.— Все одно виден... Пущай сват Кузьма поглядит. Углы-то клуни у нас забиты как-никак сеном!

Молотили на открытом току в три руки — для внука Матвей Егорович почти вдвое укоротил Петраков цеп. Поначалу Алешка взмахивал и опускал цепинку не в лад с остальными, то и дело задевая держак цепа Пелагеи, и ритм ударов выходил спутанный, хромой.

— Разучилась? Или не умела сроду? — корил дочь Матвей Егорович.

— Да нешто это я? — обиженно дивилась отцу Пелагея.

— Нет, то дух святой,— ехидно говорил Матвей Егорович и повышал голос: — Отступи подальше от ребенка, чего ты к нему пристыла!..

Уже в сумерках кончали работу и шли домой. Пелагея выносила из хаты широкий и толстый, как веретье, настольник и расстилала его на траве посередине двора. Матвей Егорович с Алешкой садились у его края с восточной стороны и в суровом молчании согласно ждали, когда Пелагея подаст им миску с постной лапшой. Густое, утомившееся в большом горшке варево накрепко приставало к деревянным ложкам, склеивало бороду Матвея Егоровича.

— А молока у нас нетути, что ли? — осерженно спрашивал он.

— Говеены ж теперь, тять. Скоромное есть — грех...— напоминала Пелагея.

— Грех по полю бег. А поп его сгреб и...— начинал выходить из себя старик.— Принеси-ка кухлик утрешника, а сама хоть до рождества говей...

С протяжным вздохом Пелагея уходила в полутьму двора, а Алешка подвигался к деду:

— А чего поп исделал ему, дедушк?

— Кому?

— Ну тому греху?

— Там, брат, дело темное вышло... Давай-ка поскорее вечерять да погоним мерина в Уручье, а?

И повторялось все то, что случалось теперь каждую ночь. Матвей Егорович подводил к крыльцу мерина, аккуратно укладывал на его округлую спину две шубы, потом два зипуна и увязывал все это обрывком вожжей. Мерин надувался и переставал дышать.

— Ишь, распустил пузо, старый хитрюга! — бубнил Матвей Егорович и пинал кулаком в тугой живот коня, затягивая на нем вожжи как подпругу. Поверх поклажи садился Алешка. Матвей Егорович забирал повод в руку, кликал Полкана и влек мерина со двора. На выгоне у полусгоревшего ракитового пня мерин, вздохнув, останавливался сам. Алешка подвигался к холке, а на освободившееся место взбирался Матвей Егорович и в который уже раз стращал себя и внука:

— Увидят — засмеют нас с тобой... Испокон веков тут никто не ездил верхом по двое на одной лошади!

Валким шагом мерин самостоятельно выбирался на полевую тропу. К тому времени обычно наступал тот час ночи, когда Млечный Путь пересекает небо строго с востока на запад, нависая над выгоном и дорогой в Уручье. Он кипел и переливался прохладным голубым огнем звезд и метеоров, и, неотрывно глядя на него, Алешка начинал разговаривать шепотом:

— Дедушк, а это взаправду божья дорога?

— Кто ж ее знает, унучик. Может, она самая и есть,— отвечал Матвей Егорович и вздыхал. От неудобно поднятой головы у него немела шея, а все тело цепенело как-то отрадно и отдыхающе, и хотелось ехать так и ехать бесконечно долго, молча и неизвестно куда.

Уручье еще издали обдавало их маняще-сладким запахом болиголовы и горьковатой привялостью ольхи. В болоте отсыревшими голосами верещали коростели, гулко ухали выпи, и далеко на бугре ровно светился пронзительно малиновый глаз пастушьего костра.

— Ну, как мы с тобой, тут остановимся или подадимся к стойлу? — спрашивал Матвей Егорович.

— Подадимся к стойлу! — радостно отзывался Алешка.— Там сухих кизяков до ужастей, чтоб огонь запалить. А то нас комашки зажрут!

— Без огня непременно зажрут. Давай двигаться туда,— соглашался дед.

Стойло — лысый бугор, острым мысом врезавшийся в болото. Его отлогие берега густо поросли кустами дикой смородины, отавой и осокой. Тут же в тесном ряду зияют копаня — шириной с хату и глубиной до двух саженей искусственные бочаги, в которых шелковцы замачивают по осени конопляную тресту. Вода в копанях иссиня-зеленая — со дна, из расщелин белой глины, бьют упругие ключи, и никакая болотная живность не выносит их рьяной стужи.

У этих копаней и разбивали свой табор Ястребовы. Скинув на теплую землю зипуны и шубы, Матвей Егорович отводил мерина на отаву, треножил его и медленно брел назад. В темноте ему хорошо была видна то тут, то там мелькавшая белая рубаха Алешки, собиравшего пересохший коровий и лошадиный помет. Они оба хорошо знали, что на свете не было лучшего топлива для костра в Уручье. От серого вороха в небо протягивался прямой, плотный и желтый, как «куриная слепота», дымный столб. Он не колыхался, не вырастал и не уменьшался почти всю ночь, не подпуская к табору комаров и болотные страхи...

Так за большим и малым прошло то лето. И кто знает, как и чем обернулось бы к ястребовскому двору грядущее, не уродись тогда в их саду небывалая сила слив. Дважды с Алешкой и трижды сам один возил их Матвей Егорович в Курск на продажу, с каждым разом возвращаясь все больше колготным и скуповатым на подарки.

— Видал? — как-то не по-своему, нехорошо спрашивал он Алешку, пряча на божницу червонцы.— То-то ж! Мне, что ли, они нужны!..

Таким же манером — в тех же ивовых кошелях, что и сливы,— отвез потом Матвей Егорович в город и кроликов. Тогда же он и узнал, как дорого ценится курскими нэпманами пенька, и диву дался своей прежней бесхозяйственности: за сараем вот уже который год у него лежала большая скирда немоченой конопляной тресты...

Осень пришла яркая, вся в звонких кочетиных переливах, опутанная белыми мотками паутины, За неделю до покрова дня Матвей Егорович повел в школу

Алешку. В радужном пиджаке, сшитом из побитого молью поярковоғо зипуна Михалихи, с глубокой холщовой сумкой на широкой двойной тесьме Алешка казался маленьким невеселым старичком. На выгоне, заметив стайки детей, увешанных такими же сумками, годными на всякий случай жизни, Матвей Егорович вдруг накинулся на внука:

— Ты чего расквасился, будто побираться я тебя спроважаю? А ну, валяй без меня! Учителю скажешь так: хвамилия Ястребов, звать Алексеем, по отцу Алексеевичем. Запомнил? — И когда Алешка пошел, то и дело оборачиваясь назад, Матвей Егорович рывком настиг его и прижал к себе. — Ты вот что, — с обидой и жалостью зашептал он, — ты знай: жизня — зла, а люди... сладок будешь — расклюют, горек будешь — расплюют. Вот. А зараз иди с богом. Иди и не оглядывайся!..

Придя домой, Матвей Егорович долго сидел у конопляной скирды за сараем, не в силах отогнать от себя тягостное видение — перед глазами белела Алешкина сумка с откидным клапаном на медной пуговке с орлом. «А ить он мог и так, а? За кусками... по чужим селам. А в Липовце по три собаки в одном дворе, черти б их взяли!..»

Через час он шагал с лопатой и точильным каменным бруском в Уручье рыть копань...

18

Потом, когда стаял снег той зимы, Алешка ходил смотреть этот дедов копань — широкую белую яму, затопленную жуткой зеленой водой. Она не колыхалась и не дрожала под ветром, густая и тяжелая, как конопляное масло, и когда он кидал в нее камнем, то всплеск получался пугающе-двойной и приглушенный — гуль-гуль!

Копань...

Матвей Егорович рыл его пять дней посуху, а на шестой под порушенной плитой известняка проклюнулся и замурлыкал родник. Окрашенный низким осенним солнцем в какой-то непостижимо яркий травяной цвет, ключ разветвлялся и опадал тремя равномерными струйками, и Матвей Егорович торопливо

прибил их комками вязкой глины,— глубину копаня нужно было увеличить еще на один штык.

— Не шебурши, успеешь! — обрадованно сказал он пропавшей водяной ветке, но через несколько минут она, плотней и выше прежней, росла уже на новом месте. Тогда Матвей Егорович выбрался из копаня и нарвал беремя отавы. Он скрутил ее в тугой пук, перевязал осокой и вернулся назад. За это время на дне копаня собралась округлая лужа воды, не изменившей своей окраски. Сразу увязнув лаптями в клейком месиве и ощутив ногами колючий холод воды, Матвей Егорович нескоро нащупал одеревенелыми руками живую, мелко и нескончаемо вибрирующую силу ключа.

— Не шебурши, успеешь! — опять сказал он ему, запихивая в неподатливую глубину набрякшую водой и грязью затычку. Налегая на нее всем телом, он все больше и больше клонился вперед, и на какое-то мгновение руки его почувствовали как бы смиренную, затухающую дрожь родника.— То-то ж! — проговорил Матвей Егорович и затем сам не понял, что произошло: то ли он нечаянно поскользнулся и упал, потянув за собой затычку, то ли ее вместе с ним легко и мягко оттолкнул прочь родник. Темным, широким и низким буруном, как дым из трубы в ветреную погоду, из родника начала выталкиваться вода.

Матвей Егорович на четвереньках рванулся из копаня, но икры ног, затянутых онучами и оборками лаптей, сжались в неподвижные тугие клубки, разрываемые слепящей глаза болью: ноги не поддавались усилиям согнуть их в коленях, и он натужился и потащил свое тело на руках, высоко поднимая голову и мысленно отгоняя проникавший в душу холодок испуга: «Ничего, ничего! Это так... это судорга. Она зараз отпустит!»

Он двигался к тому месту, которым только что выбирался за отавой,— в стене копаня там была глубокая расщелина, послужившая ему тогда ступенькой. «Круто рыл. Не надо было так. Круто рыл...» — пронеслось у него в мозгу, и сейчас же он подумал, что надо остановиться, сесть и растереть ноги. Но он не остановился и не сел, потому что вода захлестывала уже его плечи, потому что позади раздавались пыхтящие, отвратительные всхлюпы родника.

До расщелины Матвей Егорович дотянулся сначала одной рукой, потом второй и, утопив их по локоть в теплый сухой паз, повис на стене, пробуя пошевелить ногами. Тяжелые, как мешки с просом, они были скрыты в воде и по-прежнему ломили и не гнулись в коленях. «Круто рыл. Не надо было так!» — с тоской подумал Матвей Егорович и лишь тогда вспомнил о лопате, оставленной возле жерла родника.

— Господи, порожки ж надо! Порожки! — выкрикнул он и вдруг затих, пораженный иным: по острому краю расщелины беспокойно сновали густые толпы солдатиков, то устремляясь вверх, то сбегая вниз, почти к самой воде, и было страшно подумать, кто это с такой злобной бессмысленностью распорядился на земле жизнью — зачем же неразумной твари дадено до десяти ног? Ну зачем?!

Копань постепенно наполнялся сумерками,— солнце, видать, заходило за грядку болотной ольхи. К тому времени вода подобралась к расщелине, и Матвей Егорович чувствовал, как тает и расплывается в его ладонях глина и как сам он наполняется какой-то душной и сонливой усталостью, гнетущей его вниз, ко дну. И все же раскаленный обруч воды, сдавивший все тело Матвея Егоровича, так и не достиг его глаз. Размеренно и упрямо Матвей Егорович все поводил и поводил головой, до хруста в позвонках вытягивал шею, запрокидываясь назад. Теперь его глаза уже не видели серой стены, заселенной чужой ненавистной жизнью,— теперь перед ним была первобытная синева неба с опалово-черным не то коршуном, не то вороном, недвижно повисшим над копанем. «Чего это он? Чего ему тут?!» — подумал Матвей Егорович, и в этот миг руки сами, вне всякой связи с его волей, согласным рывком отпустили край расщелины и выбросились вверх, царапая гладкую стену и пустоту.

Уходя в глубину, Матвей Егорович не закрыл глаз и, ослепленный зеленой мутью воды, закричал тягучим, враз изнурившим все его существо голосом:

— Уну-у-учик!

Но этот крик метнулся лишь в его мозгу. Это было последнее, что еще билось в нем и над чем оборвалась и погасла его память.

Из всего, что случилось в Уручье и что было потом дома, в церкви и на погосте, Алешка явственно запомнил лишь одно — страшную неподвижность бороды деда, высторченной как-то вверх и вбок. Он не подошел ни к лавке, на которой, обмытый и обряженный в смертные портки и рубаху, лежал Матвей Егорович, ни к гробу на столе, куда переселили его потом. Целый день и ночь он просидел на лежанке, глядя то на дедову бороду, то на Пелагею, ставшую вдруг просветленно радостной, как в годовой праздник. И оттого что он молчал и не шевелился, Кузьма Михайлович, распоряжавшийся похоронами свата, негромко сказал:

— Чужак чужаком и останется...

— Что ж поделать теперича, не свой он нам,— всепрощающе отозвалась Пелагея и сама заплакала легко и благостно.

При выносе из хаты гроба кто-то не то нечаянно, не то нарочно толкнул Алешку с крыльца. Из его рук выпал картуз, но он не поднял его, и шел до погоста далеко позади всех, и не моргал, не плакал и не изменял выражения лица — изумленного, затаенно ожидающего чего-то.

Но ни в день похорон, ни спустя неделю, ничего, что ожидал Алешка, не произошло — деда не было, и его место в хате, на дворе и во всем Алешкином мире оставалось пустым. Все, что Алешка умел — с утра вставать, обуваться, есть, разговаривать, ходить, видеть и слышать,— все это он когда-то делал вместе и поровну с дедом. Теперь же ему не хотелось это делать одному. И он днями просиживал на лежанке, не умывался, не просил есть и не откликался на зов Пелагеи.

В святом углу хаты не погасал теперь тихий голубоватый свет лампады. Знойным голоском Пелагея выводила нараспев нескончаемые молитвы, а в промежутках сушила зачем-то сухари и упрятывала их в узкие, как рукава, мешочки. На покров день она привела из церкви дебелого и рослого слепца, увешанного образками и сумками. Прямо от дверей тот прошел к лежанке и, зажав в коленях суковатый посох, воровато и больно ощупал Алешкины плечи.

— Хил! Куда ж мне такой поводырь? — вперил он в Пелагею белые глаза.

— Восьмой ему пошел, брат Антоний, — с поклоном сказала Пелагея.

Раздевался слепец медленно и копотко. Принимая от него темные дощечки иконок, Пелагея беззвучно и трепетно прикладывалась к ним губами и каждую отдельно рысцой относила в святой угол. На брате Антонии была пламенно-кумачная рубаха, перетянутая широким шленским поясом. Зряче, по-хозяйски, он прошел к столу и сел там на Алешкино с дедом место. Пелагея заметалась в хате. Она положила перед гостем чистый рушник и несколько позеленевших просвирок. Клоня то левое, то правое ухо к столу, слепец молча прислушивался к чему-то, потом протянул перед собой руки и плавно провел ими над просвирками.

— Что ж ты, а? — оставив на весу ладони, слезно спросил он Пелагею. — Тяпушку дай, бессовестная! Тяпушку-у! Она там в хлопушках сидит, в малой сумце...

И до позднего вечера слепец пламенел за столом перед широкой плоской бутылкой, завернутой в льняную куделю. После каждой рюмки он отваливался в угол и стонал там блаженно и яростно:

— А та-та-та! Как бог в лапотках прошелся по душе! А та-та-та!..

По хате давно уже расплылся какой-то слеглый прокисший дух. Он исходил от рук слепого — Алешка ощутил это, когда тот ощупывал его плечи. За день ненависть к рукам слепого выросла у Алешки в боль: слепец ел сметану дедовой ложкой, то и дело зачем-то отбрасывая, а потом лапая ее всей пятерней. И под конец, когда все за столом могло сойти благополучно, он зажал ложку в ладони и смял ее с легким хрустом, как яичную скорлупу.

С этой минуты и началась Алешкина самостоятельная жизнь. Он привстал на колени и крикнул надорванно, не по-детски:

— Ты чего наделал, дурак косоглазый! Это ж дедушкина!

Слепец оттолкнул стол и подошел к лежанке. Алешкину голову он нашел сразу и, уложив на нее емкую, как половник ладонь, проговорил голосом, в котором были хмель и сытость:

— Ты, чертопляс, не тявкай, а готовься лучше по зорьке в Коренную!

Алешка соскользнул с лежанки и встал у окна.

— Не хочешь? — надвинулся на него слепец. — Наша кошка тоже не хотела горчицу есть. А как ей намазали ее под хвост, так всю дочиста и вылизала... А ну, ходи ко мне!

Теплыми, вонючими пальцами он захватил Алешкино ухо и короткими рывками стал вертеть его голову влево и вправо под слова:

— Знай своих! Знай своих!

Синими нитями молний по хате округло понеслись перед Алешкой два огонька — лампада и отсвет на лезвии топора, лежавшего у дверей чулана. «Дедушка положил, когда загородку делал...» — мгновенно вспомнил Алешка и, рванувшись, услыхав, как хрумкнуло ухо, невольно выпущенное слепцом, кинулся к чулану. У топора была длинная, ладно изогнутая ручка, но Алешка не успел на ходу повернуть перед собой топор лезвием или обухом и удар по животу слепца пришелся плашмя. И тогда же, занеся топор для нового удара, он увидел розовые, как у кролика, глаза слепца — тот помешанно следил ими за топором, пятясь к лавке и повторяя одно и то же:

— Не дури! Не дури!

Пелагея издали что-то кричала Алешке и крестила себя обеими руками. Ошеломленный увиденным — у слепца были глаза! — Алешка смятенно отступил к лежанке, не опуская поднятого топора. Без посторонней помощи брат Антоний молча и опасливо собрал свои образки и уже на пороге, оттопырив зад в сени, коротко и зычно проклял хату.

— Иди-иди! Матери твоей кляп... — сохранив все дедовы интонации, осипло сказал Алешка, а Пелагея заголосила тоненько и упоенно...

Той ночью выпал снег, и новый день поманил Алешку в школу. Через двор, гумно и свой огород он прошел обычной дедовой походкой, но, когда показались выгон, купол церкви и неоглядная белая даль полей, он как-то сник и виновато притаился: все вокруг было молчаливо безответным, непостижимо большим и враждебным. Не своей, не прежней, оказалась и

школа. Еще в коридоре учитель пасмурно оглядел его и сказал:

— Сам ни в дудочку, ни в сопелочку, а неделями не являешься!

— У нас дедушка... залился,— не сразу, шепотом сообщил ему Алешка.

— Так что же теперь?

— Ничего... Схоронили...

Кличка «сопелка» недолго жила за Алешкой, потому что встретил он ее вяло и бесчувственно. Не достигали его сознания и слова учителя на уроках — перед Алешкой неизменно возникала тогда неподвижная борода деда, и, кроме нее, ему ничего другого не виделось...

Зима затягивалась. Пелагея нечасто варила обеды — постилась, и вечерами Алешка пек себе на день картошки в грубке, докрасна накаляя лежанку соломой. В закуте дни и ночи уныло мычала корова и ржал мерин — просили корма. Исхудавший, изъярившийся Полкан охрип от бреха — в незапертые ворота шли и шли откуда-то странники и побирушки. Они вольно располагались в хате, наполняя ее притворными вздохами и все тем же горько-прокислым слепцовым духом.

Как далекие и недлинные сны о сплошных радостях вспоминал Алешка в ту зиму свои прошлые весны. В такие минуты боль о деде незаметно отодвигалась куда-то в сторону — мыслям не легко и не просто было найти в траве дорогу с берега Любача на погост. И никогда весна не была так далека от него и желанна, как в ту зиму,— что-то большое и неизреченное несла она ему, с чем опять можно будет жить по-прежнему...

Весна и взаправду была прежней — опять, как тогда, горело солнце, а через Шелковку плыли и плыли куда-то — в Курск, может,— облака, разбредшиеся, как овечки без пастуха. За Любачом опять зажглись одуванчики, и всюду была разлита мечтательно-тревожная и какая-то застенчивая весенняя истома. Все было по-прежнему, кроме одного — Алешка не мог принять весь этот сверкающий мир один, без деда. В такие дни на него накатывала необоримая его разумом тоска, и он плакал подолгу, часами, забившись под куст акации...

20

В канун нового, тридцатого, года в Шелковке появился человек, странного вида, закутанный в медвежью доху шерстью наружу. Обува и шапка на нем были не то из звериной, не то из оленьей шкуры и тоже шерстью наверх.

Без провожатого прибывший пошел по селу, высматривая что-то, но Кузьма Михайлович не любил, когда заезжие барышники задарма миновали Советскую власть тут. Он еще издали окликнул в улице незнакомца, кивнув головой на сельсоветскую хату:

— А ну-ка, Колупай Сысоич, ходи со мной! Ходи-ходи!

Тот подошел к Ходукину молча, покоя на животе по-бабьи сцепленные руки. Оглядев гладкое, иссиня-желтоватое лицо его с широким тонким ртом, Кузьма Михайлович, под мысль «скопец, сукин сын», деловито и строго осведомился:

— Кого и по каким делам бог занес к нам?

Но это выяснилось лишь в сельсовете — человек в мехах, оказывается, был особоуполномоченным губкома партии и звали его Натальей Антоновной Рубакиной.

То, что под дохой на Рубакиной оказалась зеленая гимнастерка и там, где у других баб положено выпирать левой титьке, у нее висел орден, что она знала откуда-то имя-отчество Ходукина и была с ним сдержанно неприветлива,— все это возбудило в Кузьме Михайловиче невнятную тревогу. «Брешет, будто из губкома. Из ГПУ она»,— решил он, и голос у него опал и не хотелось садиться туда, где было его место. Так, стоя на середине комнаты, он и приготовился к беде, но Рубакина жадно и как-то въедливо курила, изредка лишь окидывая Кузьму Михайловича горящими, тронутыми сумасшедшинкой, тоской и усталостью глазами, и он снова подумал: «Из ГПУ. А в молодости, видать, потаскухой служила товарищам... Лахудра!»

Допрос Рубакина начала, как показалось Кузьме Михайловичу, с пустяков, поинтересовалась, кто секретарь сельсовета и где он сейчас. Кузьма Михайлович сказал, что с казенными бумагами он справляется сам. Рубакина отрывисто засмеялась и поднялась со скамейки.

— А в лавке вашей кто ж управляется?

— Свертываем это дело,— безразличным голосом ответил Ходукин.

— Кооперации мешает?

— На то она и казна.

— Конечно! Ну, а как действуют у вас члены бывшего комбеда?

— Не прижился он тут,— пасмурно сообщил Кузьма Михайлович, а Рубакина снова засмеялась и вдруг предложила:

— Вот что. Давайте-ка пройдем к вам на паровую мельницу. Она работает сейчас?

— Безветрие третий день, вот она и...— сказал Кузьма Михайлович, но продолжать не стал.

Они молча вышли на выгон. Не останавливаясь, Рубакина долго и недоуменно вглядывалась в церковь — запорошенный снегом купол ее был почти невидим, отчего темный крест казался повисшим в небе.

— Вы по-прежнему и ктитором здесь? — будто без интереса спросила Рубакина.

— Дело мирское, не мое,— неохотно отозвался Кузьма Михайлович, и тогда Рубакина задала последний и главный для него вопрос, словно разгадала его испуг и мысли:

— А где вы похоронили комиссара Верхоланцева?

Первое, что ощутил Ходукин,— это щекочущее тепло вялой старческой струи, побежавшей по левой ноге в ступню валенка. Все его тело безвольно опустилось и обмякло, и, слыша бесконечно долгое чурюканье струи, не пытаясь помочь себе, он ответил безголосо:

— Они все вместях тут... в одной яме.

Он не понял, что сказала тогда Рубакина, потому что слова ее не достигали его потрясенного сознания: она круто свернула с дороги и пошла к верхнему краю выгона, торя своими звериными сапогами прямую тропу в неглубоком снегу. И стоило ей пройти еще десяток шагов вперед, как весь этот белый зимний ужас, горячей волной захлестнувший Кузьму Михайловича, вырвался бы у него облегчающим душу криком:

— Не надо туда! Чего я там не видал!

Но этого не случилось. Рубакина так же внезапно вернулась на прежнюю дорогу, и братская могила продотрядцев осталась в стороне.

Кузьма Михайлович тяжело переставлял ноги — к промокшему валенку накрепко прилипал снег. Вслушиваясь в его отрывистое дыхание и веские хромкие шаги, Рубакина продрогло поежилась в дохе и, обернувшись, приказала:

— Идите рядом или впереди. Меня однажды зимой уже сопровождал так колчаковец!

На мельнице было завозно. В открытые двери машинного отделения на выгон выбивался чад и грохот. Измазанный копотью и мазутом у приводных маховиков с неиссякшим мальчишеским задором суетился Тишка.

— Ты кто? — с порога окликнула его Рубакина.

— А ты нешто не видишь? — с веселой обидой издали спросил Тишка.

— Вижу, что ты не очень почитаешь хозяина,— сказала Рубакина,— фамилия твоя как?

— Ну, допустим, Суровец.

— Это твоего отца расстреляли белые?

— Не. Его удушили,— уточнил Тишка.

— Дурак! — гневно сказала Рубакина, а Кузьма Михайлович взглянул на нее с неосознанной надеждой.— Кончай свое дело и к семи часам приходи в сельсовет на собрание. Понял?

В ту ночь, неожиданно для себя и для всех, Тишка и сменил Ходукина на посту председателя. Как диковинная забава малому, как двухрядная гармонь в воскресенье небогатому жениху пришлась ему сельсоветская печать. С неделю он лепил ею по два и по три густых чернильных оттиска на повестках мужикам, назначенным в суточное дежурство по сельсовету, но те являлись и по словесному наказу, и постепенно Тишка начал верить в то, что он председатель взаправду.

Тогда стояла непутевая зима. С утра тридцатиградусный мороз сменялся под вечер туманной отлыжкой и снегопадом, а утром вновь огнисто сверкала стужа. Вблизи и издали Шелковка казалась ненастоящей, не собой. Все в ней — деревья и плетни, крыши и стены, соломенные ометы и кизяковые скирды, овраги и взлобки — окуталось серебряной ризой большого инея, и село утратило свой облик и краски, свои запахи и звуки.

В один из таких дней, на зорьке, первым в селе раскулачили Кузьму Михайловича. В хату к бывшему сво-

ему хозяину по мельнице ходил один Тишка, пятеро членов ударной бригады застенчиво топтались во дворе, теснимые ярым кобелем на длинной привязи. В хате Тишка оставался недолго и вышел оттуда красный не то от стыда, не то от обиды, пряча в карман штанов завернутую в тряпочку печать. Следом за ним молчаливо и грузно шел Кузьма Михайлович. Он вывел из конюшни жеребца и, ни на кого не глядя, передавая Тишке повод уздечки, сказал одному ему:

— Запомнил, что я говорил? Брось это дело и ходи работай. С вечера и пущай паровик... Дур-рила!

У крыльца сельсовета Тишку и его бригаду встретила Рубакина. Видно, она долго оставалась на холоде: в снегу была плотно вытоптана круговинка, звездно расходящаяся в стороны четырьмя узкими тропками. Через воротник, закрывший лицо, Рубакина недоуменно помигала на Тишку опушенными инеем ресницами и спросила удивленно, шепотом:

— Что это такое?

— Это будет жеребец,— смущенно сказал Тишка, по-своему поняв то, о чем его спрашивали.— Племенник.

— О! — вырвалось у Рубакиной, будто оступилась она, а Тишка вдруг сообщил повинно:

— Расписку Ходукин потребовал...

— Ты дал? — в тон ему спросила Рубакина.

— Дал,— сказал Тишка, и тогда Рубакина пошла к нему стремительно и невесомо, судорожно сжимая и расправляя пальцы рук. Тишка смотрел на нее удивленно-ожидающе, и в эту минуту она впервые увидела всего его сразу — небольшой рост, по-детски тонкую шею, усыпанную пупырышками озноба, наивно припухлый рот, веселый с ямочкой подбородок. Коротенькая, задубевшая на морозе Тишкина фуфайка источала какой-то пронзительный запах железа и керосина; кепочка, с пуговкой на макушке, чудом висела на его затылке, обнажая лоб без единой морщинки и пунцовые, набухшие холодом уши. Все это Рубакина видела в нем одновременно и в то же время порознь и, остановившись в шаге от Тишки, проговорила потухшим голосом:

— Горе ты, а не председатель! Воротник-то хоть отверни...

Дораскулачивали Кузьму Михайловича вечером. Он наступил безветренный, задумчиво-кроткий и мягкий, и снег посыпался неожиданно, густой и теплый, как заячий пух. У ходукинских ворот ударную бригаду настиг оголтело-страстный петушиный запев, разом, как по команде, выметнувшийся из всех шелковских дворов. Шедший рядом с Рубакиной Тишка украдкой взглянул на нее и, поперхнувшись внезапной веселостью, сказал:

— Вот же черти!

— В чем дело? — не поняла Рубакина.

— Да кочеты... Ни в одном селе нетути таких, как у нас!

Боком, сострадательно глядя на Тишку, Рубакина первой ступила в калитку ходукинского двора, оттого и не видела молчаливо метнувшегося к ней кобеля, спущенного с цепи. В прыжке кобель ударил ее в плечо широкой, как у теленка, грудью, холостым капканом сомкнул челюсти в воздухе — не рассчитал, куда метил. Рубакина упала в сугроб женственно-неловко, навзничь. Кобель проскочил над ней, перевернулся у ног Тишки через голову, но Рубакиной не достиг, — Тишка швырнул в него своей кепочкой. Как муху в зной, кобель на лету поймал ее и брезгливо мотнул головой, но кепочка застряла в клыках, как приклеенная. С удавным клекотом кобель принялся разрывать ее, а Рубакина, сидя уже, трижды выстрелила в него неторопливо, сухо-отчетливо.

Издыхал кобель долго. Ластясь длинным бурым телом к земле, не выпуская пастью Тишкину кепочку, он пополз к крыльцу хаты, натужно и чуть слышно скуля, трудно влача толстое полено неподвижного хвоста. Белая борозда снега, проложенная им, густо метилась извилистой красной строчкой, тут же припорашиваемой снегом, будто она линяла на глазах. На середине двора кобель уложил на лапы лобастую голову и затих. Только тогда Рубакина пружинисто поднялась на ноги и проговорила со злой обидой:

— Это же собака! А сразу мне показалось...

Она не сказала, что ей показалось, и засмеялась неестественно, отрывисто. Тишка опасливо пошел к кобелю с намерением выручить свою кепочку, но Рубакина крикнула негодующе, звонко:

— Оставь ее! Что еще за глупость? Идите ближе, все!

Не пряча маленького черного браунинга и не сводя глаз с квадратного окна хаты, где смутно различалось большое бледное лицо Кузьмы Михайловича, Рубакина на крике объяснила Тишке и его бригаде, зачем они сюда пришли:

— Все, что есть — сюда, во двор! Печеный хлеб — тоже. Свозить нынче же в его бывшую лавку. Двери и окна хаты утром заколотить! Ну? Слышали!

Видно, слыхал о том и Кузьма Михайлович, потому что на протяжении трех часов, пока бригада оголяла хату, чулан, амбар и пуньку, он неподвижно просидел на лавке в святом углу, тяжко обняв тихонько всхлипывающую жену смуглой волосатой рукой. И лишь когда все было кончено и в хате остались одни иконы, он неспоро вышел во двор, догнал Тишку. Устремив застуженный взгляд на его непокрытую голову, спросил, как о милостыне:

— Тихон Игнатьевич... А мне с женой... куда ж завтра деваться, а?

Щурясь будто от соринок под веками, уводя глаза в сторону, Тишка торопливо сказал:

— Не знаю. Живите пока где-нибудь так.

21

За неполный месяц страды собраний, раскулачивания и коллективизации полсотни зажиточных дворов в Шелковке, по определению мужиков победнее, как Фома метелкой смел. Было тогда у людей, как и исстари, всего поровну — и слез, и смеха, но со стороны Шелковка выглядела празднично — никто ничего не делал по хозяйству, а ели сытно и много, валя под нож всяческую домашнюю живность. С утра и до ночи по селу крадучись растекались голубовато-сизые дымки, застенчиво выползавшие из сеней и приклетей вперемежку с веселым душком солода и хмеля. У ворот, под навесами уличных амбаров, возле стен недоделанных срубов с рассвета и дотемна табунились хороводы, разнобойно вызванивали балалайки, и под их певучую истому слаженным скороговором горячо «страдали» девки:

На дворе стоит туман,
Сушится пеленка.
Вся любовь твоя обман,
Окромя ребенка!

И сразу же крепнущими басами парни искренне звали подруг забыть проклятое прошлое:

Эх, давай, милка, пострадаем
На соломке д под сараем!..

Хотя и ненадолго, но веселье всегда стихало, если поблизости нечаянно появлялся Тишка, с каждым днем все больше и уверенней входивший во власть и силу. Не без помощи Рубакиной он приоделся — носил теперь зеленую фуражку со стоячим верхом и защитного цвета френч и галифе. Пуговицы на груди Тишка не застегивал, пряча зачем-то под полой френча правую руку. Все в нем оставалось прежним, тем, что было, когда он чинил ведра и подойники,— манера разговаривать, походка, жесты, выражение глаз и размет бровей,— но теперь все это стало в нем для других осанкой; коротышка имя, звучавшее полупрозвищем, растянулось в почтительное Тихон Игнатьевич, и вся его прежняя жизнь с побирушкой матерью многим казалась уже почти загадочной и чуточку чужой, непохожей на то, чем она была на самом деле.

Было удивительным то, что и сам Тишка, ничего не потерявший и не прибавивший к тому, что имел раньше, постепенно проникался невольным и пока еще робким уважением к собственной личности. Словоохотливый и общительный, он старался теперь говорить поменьше и пореже — это, оказывается, сильнее любых слов действовало на тех, перед кем он молчал.

Но все же природная честность и непоседливость Тишки не позволили ему до конца довольствоваться тем, что как бы авансом давала должность,— он хотел действовать сам. И на святой неделе, когда Рубакина отлучилась с отчетом в обком, Тишка во главе своих сельсоветчиков за одну ночь выпилил восемь звеньев церковной изгороди и установил ее вокруг братской могилы продотрядцев.

Наутро весть о разоре церковного ограждения разнеслась по селу, и на выгон потянулись бабы и старики

с нетайным замыслом водворить ограду на прежнее место. В разгар бабьих споров — кому первой браться за работу — к могиле подъехал на бывших кулацких дрожках Тишка. Сняв фуражку, он медленно обошел вокруг могилы и спросил собравшихся торжественно-строго, всех разом:

— Ну как, граждане? Здорово получилось?

Спросил и стал пристально оглядывать сельчан, неумело суровя брови и не вынимая правой руки из-за пазухи. Первой не перенесла его молчания и взгляда Пелагея Ястребова, ближе всех протиснувшаяся к ограде. Смахнув ладонью с усохших губ невидимую паутину, она кротко сказала за всех:

— Да вроде ничего, Тихон Игнатьевич... Решетка, она ить железная, долго простоит...

— Погодите, завтра тут не то еще будет! — сказал Тишка, и к утру следующего дня в центре могилы возвышалась, закрепленная четырьмя проволочными разводами, огромная труба с бывшего ходукинского паровика.

Рубакина тоже потом ходила к могиле, и на тревожно-немой вопрос Тишки: «Как?» — ответила раздумчиво-загадочно:

— Что ж, вообще говоря, это символично! Растешь, значит!..

22

Без хозяйских рук и глаза постепенно захирел ястребовский двор. Что-то в нем появилось схожее с человеком, который не в силах уже ни крикнуть, ни позвать, ни помочь другому. Двор по-прежнему был обнесен каменной стеной, но по ее верху цепко разрослись полынь и чернобыльник — бесприютные жильцы пустырей и оврагов. Лебеда и крапива подступили к самому крыльцу хаты, и даже на ее крыше свистел под ветром чудом проросший там овсюг.

За три года после смерти Матвея Егоровича Пелагея ни разу не платила налог, запихивая обкладные листы за божницу — дескать, бог с ними. И уже после того, как она отказалась записаться в колхоз — тоже бог с ним! — за недоимку со двора свели мерина и корову. Через неделю мерин пришел домой — без обрати, весь

в репьях и колючках,—пробирался, видно, откуда-то обочинами дорог да задворками.

По обочинам же дорог и троп черти надолго уносили Пелагею в дальние богомольные места. Она уже изредка теперь появлялась дома, навьюченная котомками, с ореховым посохом в руках, в растоптанных лаптях и холщовых онучах. Приходила она всегда одинаково, в сумерках, и долго отбивала поклоны у порога хаты, как чужая нищенка.

Всегда одинаково, стоя на середине хаты, встречал Пелагею Алешка.

— Пришла?—выждав, когда она полностью управится с обрядом возвращения, спрашивал он насмешливо.

— Со Христом, со господом...—блаженно бубнила Пелагея.

Неторопливо-мечтательно, как о недостижимо хорошем и ему нужном, Алешка говорил:

— Взять бы дрючок, да заголить на тебе исподницу, да как надавать, чтоб аж подплыла ты... Побирушкой исделалась! Кабы жил дедушка, он бы тебе показа-ал! Вон на загнетке картохи остались. Садись ешь.

На этом обычно и кончались их разговоры—Пелагея не любила и побаивалась Алешку за непутевые и «черные» слова, оставшиеся ему от деда. Они уже давно жили поделясь: Пелагея в чулане, а он во всей остальной хате. И питались они тоже порознь: она «чем бог пошлет», а Алешка—что найдет сам себе.

Уже давно на вершок, а может, и больше отодвинулась от Алешкиного сердца боль утраты деда—рано или поздно, но на живом теле все равно зарубцовывается любой шрам. Эту первую метину судьбы Алешка носил тайно, и с каждым днем жизнь сурово-заботливо перетряхивала его узелок с житейским добром, накопленный с дедом, заменяя в нем прежнее невесомое все новыми и новыми нелегкими сокровищами. Он уже не умел плакать, раз поблизости не было человека, который бы заметил его слезы, и потому они сами не хотели капать. Но тогда непременно появлялось чувство неосознанной обиды на кого-то, рядом с которой чутко жили настороженность и упрямство. Раз не было деда, то он должен делать все сам, и он умел плести себе лапти и вить путы для мерина, украдкой стирать на

речке портки и варить щи. Он многое узнал и запомнил без деда, и все было бы терпимо, коли б не соломенного отлива спутанно-курчавая волосня. Тут самому никак нельзя было справиться, потому что росла она с непостижимой быстротой в любое время года, нависая надо лбом и глазами, завиваясь над ушами и шеей. Каждые три-четыре недели Алешка ходил на «тот конец» села к дедову куму и просил его смущенно и невесело:

— Может, постриг бы опять, дядь Федор?

Стриглись большими овечьими ножницами под гребенку, рядами, и старик не переставал удивляться:

— Ну, малый, и виски ж у тебя! Как жесть. Видать, лютоват норовом будешь!.. А вошей морить надо знаешь чем? Щелокой от гречишной золы. Враз дохнут, одни опойки остаются...

И все же никакое лихо не приживалось надолго рядом с Алешкой — тому мешала его неукротимая страсть к выдумыванию смешных и грустных, а порой и небезобидных забав и радостей, выбор которых ему никто не запрещал. Видно, тут многое шло у него от веселого характера отца-матроса: Алешке всегда хотелось вовлечь в свою ребячью затею взрослых неласковых людей. Возможно, за неуспеваемость по арифметике, а может быть, за одёжу и волосы, только учитель так и не обернулся к нему сердцем, и Алешка подстерег его как-то осенним вечером на приречной тропе и шугнул из зарослей под ноги длинной и толстой, кроваво-огненной гремящей струей. Шугнуть можно было вторично — спичка не потухла в руке, и керосин еще оставался во рту, но Василь Палыч по-молодому ударился в бег, выкрикивая что-то тоненько и призывно. Кроме затаенного смеха на всю зиму, Алешка вынес из этой причуды и другое: он перестал бояться учителя, и дела его по арифметике пошли успешней.

Но настоящей, а не нарочно придуманной, ручной и радостной потехой для Алешки по-прежнему оставался мерин. От старости и постоянной Алешкиной ласки он ел все, что елось: сырую и печеную картошку, вчерашние и нынешние щи, пареную тыкву, пшенный кулеш. Но больше всего — в зимние месяцы — он держался на соломе: Алешка рубил застарелую сторновку

топором, поливал резку теплой подсоленной водой — и ничего, сходило.

В то лето, после побега от финансовых властей, мерин не дневал и не ночевал дома, пасясь на привязи за Любачом в ольшанике и вербаче. Трижды в день Алешка украдкой приносил ему ведро воды из речки, и каждый раз, заслышав шаги его, мерин настораживался и приглушенно всхрапывал — дичал, видно.

— Не пужайся, это я! — окликал его Алешка.— Про тебя там, может, давно позабыли...

Что-то новое, как бы жалостливое, появилось тогда в отношениях Пелагеи к Алешке. Уже несколько недель она не отлучалась на богомолье, была задумчиво-сосредоточена и работяща, и они вдвоем пропололи огород, побелили хату. «Остепенилась, блаженная!» — решил Алешка, но перед жнитвой Пелагея неожиданно объявила ему:

— Ну, вот что, детка. Я пойду, пока на дворе негоды нетути. Насовсем, может, теперь...

— Куда? — укоряюще и тревожно спросил Алешка.

— Пройдусь сначала в Киев, святым угодникам поклонюсь, а там куда бог покличет... Прощевай. Не ярись с людьми, гордыню свою в словах и деяниях смиряй... — и заголосила, как тогда на похоронах.

23

Эта осень протянулась для Алешки годом. По его расчетам уже должна бы наступить зима, но из-за клуни, со стороны Курска, все вставали и вставали теплые погожие зори, и было не до маетной школы, когда дни щедро одаривали его какой-то бескорыстной и безмолвной добротой: в садах и на огородах все было спелым и доступным. Он раньше других выкопал и снес в чулан свою картошку, с колхозного поля тайком натаскал в погреб тыкв и бураков — «прокормимся!». Почти ежедневно, в обед, он разжигал в лозняке на берегу Любача костер. Под ним в неглубокой ямке, обложенной капустными листьями, хорошо и незаметно пеклась курятина, чаще всего цыплята, забредшие из села в приречные конопляники.

Как-то сидя у костра, он услыхал размеренные водяные всплески, будто кто-то нехотя пытался выбрать-

ся из реки на берег. Притишив горстью песка костер, Алешка раздвинул прутья краснотала и увидел Ходукина. В засученных портках Кузьма Михайлович грузно возился с кошелем у куста рогозы, то затопляя, то опрокидывая кошель на берег. Путаясь в зеленых прядях илистой тины, он неумело и нескоро захватывал пальцами вертких пескарей и прятал их куда-то под широкую темно-гнедую бороду, клал, видно, за пазуху. Он весь был мокрый, давно, видать, не мытый и не чесанный, и в его согбенной фигуре Алешка улавливал что-то удивительно похожее на своего деда — то ли напряженный наклон головы, то ли крутой изгиб спины, то ли просто старость. Привстав от костра, он негромко позвал:

— Дед Ходукин, а дед Ходукин!

Не разгибая спины, Кузьма Михайлович обернулся и охрипшим голосом отозвался:

— Ну?

— Ходи-ка сюда,— еще тише сказал Алешка и попятился в кусты.

— Зачем? Что я тебе, ровесник?

— Иди, дед Ходукин... Тут... знаешь чего? Тут куренок зараз поспеет...

И Кузьма Михайлович пошел. Он устало опустился у костра, равнодушно отнесся к появлению из-под углей печеного цыпленка, и на вопрос Алешки, что ему больше хочется — крыло или гузку, бесстрастно ответил:

— Все одно.

Они разместились поодаль друг от друга, и Алешка снова попытался увидеть в Кузьме Михайловиче то, дедово, но оно исчезло теперь полностью: Ходукин сидел прямо, неподвижно и ел как-то невкусно, неряшливо и лениво. Он не узнал Алешку и спросил, чей он будет.

— Я... свой,— невнятной скороговоркой ответил Алешка.— А ты, дед Ходукин, зазря так гольцов ловишь. Ты сперва побольше размути воду, а потом поглубже черпай кошелем. Тогда они...

— Ты, случаем, не примак ли покойного Матвея? — перебил Кузьма Михайлович, и когда Алешка растерянно и недоуменно взглянул на него, спросил

опять: — Что ж ты, один живешь? Хозяйка-то в святые места, кажись, ушла?

— Ушла,— сказал Алешка.

— Ну, а чем же ты пробиваешься? Писклят-то чужих небось жаришь? — допытывался Кузьма Михайлович.

— Тут их много,— не сразу проговорил Алешка и, зажмурясь, стал зачем-то раздувать притухающие угли костра. Убежденно и горько-раздумчиво Ходукин тогда сказал:

— Теперь это не оказия. Все на воровстве да разбое держится!.. Вот и меня... всего разорили, все разнесли такие ж вот чужаки да приблуды! В землянке живу... Думалось ли?!

Он перестал жевать и бессмысленно уставился в сутемень дальних кустов, кинув на колени большие серые кулаки. Виновато и старательно Алешка зарыл в пепел дочиста обглоданные цыплячьи кости, вытер рукавом липкие губы и поднялся на ноги. То, что постоянно испытывал он у своих костров — вольную радость немеркнущему дню,— сменилось теперь стыдом и тревогой, и, весь подтянувшись, он спросил полушепотом:

— А чужак... кто бывает?

Ходукин не ответил, занятый своими думами, и, будто крапивой не в своем саду, Алешка обжегся обидой и смутным подозрением, что он взаправду, может, только матросов, а не дедов? Как с горы на салазках, когда в груди накрепко западет дыхание, он мысленно промчался через свои годы, и перед его расширенными глазами, как живой, внезапно и строго встал образ деда — в белой рубахе встал, в картузе. Отступив за раздерганный куст ивняка, смутно различая расплывчатую фигуру Ходукина, Алешка крикнул с гневом и вызовом:

— Ты, матери твоей кляп, не бреши про меня да про дедушку! Это ты сам, может, чужак! Черт!..

Кузьма Михайлович пугающе тупо поглядел на Алешку и ничего не сказал. Ушел он как-то странно: согнувшись, неся перед собой порожние руки,— кошель остался у костра.

А на второй день жизнь снова — и уже в последний раз — свела Алешку с Кузьмой Михайловичем. На зоревом коровьем реву кто-то из шелковцев, пойдя по воду, издали, с горы еще, заметил висевший на стояке колодезного журавля мешок не мешок, но что-то на то похожее. Через полчаса все село было на ногах — удавленника нашли! Кузьма Михайлович не висел, а упирался коленями в землю, обхватив руками дубовый стояк и, видать, в рывке, как при ударе, откинув в сторону голову. От сизой, набухшей смертным холодом и мукой шеи его к стояку невидимо протягивалась тонкая ременная супонь. И не эта страшная смерть односельчанина была дивом для шелковцев, а то, отчего выбрал он для встречи с нею такое непотребное место. Стало быть, жил человек с крутой злобой к миру, раз на всем виду его пожелал срам принять...

24

Уже вечером этого дня Алешка понял, что зря ходил глядеть на Ходукина,— с подогнутыми ногами, с тем же самым ременным удавчиком на шее поселился тот в потемках святого угла хаты, и несколько ночей Алешка провел в закуте. На ощупь отыскивая в пахучей тьме теплую морду мерина, он с ходу прижимался к нему телом и лишь после этого заговаривал спокойным баском рачительного хозяина:

— Ну, как ты тут? Жив-здоров? Пришел проведать тебя... Не спится, хоть тресни. И керосину нетути, чтоб свет зажечь...

Зима тогда запаздывала, снег выпал на рождество, и перед тем как собраться в школу, Алешка пошел постричься. Со звоном отхватывая на его затылке выгоревшие завитушки волос, дедов кум безразлично спросил, что у него хорошего.

— А все,— сказал Алешка.— Мерин когда уже пришел, а тетки Пелагеи нетути пока...— и вдруг пропавшим голосом добавил: — Дражнются вот только... чужаком, а после приблудом.

Алешка утаил, от кого услыхал эти слова. Вобрав голову в плечи, он ждал подтверждения своего ответа

Ходукину у костра, и дедов кум сначала рассмеялся чему-то, а потом посоветовал:

— А ты скажи: какой бы, мол, бычок ни прыгал, а теленочек наш!

Локтем отстранив от себя ножницы, Алешка крикнул шепотом:

— Чей?!

— Как «чей»? — весело удивился старик. — Ну, свой, стало быть... Отец-то твой кто? Нешто не знаешь?

— Знаю. Матрос... дедушкин!

— Да не-е! Он у тебя сам по себе был. А у кума Матвея ты вроде примака...

Все, что до этого времени окружало в селе Алешку, что было там живым или мертвым, близким или далеким, понятным или тайным, все это виделось им с бессловесным, но чутко ревнивым чувством родства и близости, потому что в нем уже жило безотчетное сознание своей кровной связи со всем этим, им пока еще не обжитым миром. И хотя по временам ему приходилось до крика холодно в нем, но ведь после смерти деда и в их хате каждую зиму мерзла вода в кружке, а хата все не становилась оттого чужой. Она была дедушкина и его, Алешкина, а значит, своя, как и все тут в Шелковке...

От дедова кума он возвращался по-над речкой. В вечерних сумерках свежий снег был иссиня-голубым, и пахло от него капустными листьями, и хрустел он по-капустному — сочно и звонко. За всю дорогу Алешка ни разу не поднял глаз на село. В своем саду у перелаза он подождал, пока чья-то баба прошла с ведрами, и бегом пересек улицу. С радостно-просящим нытьем во дворе кинулся к нему Полкан, а из закуты мерин подал окрепший на морозе голос — есть просил.

Примак...

Не заходя в хату, Алешка прошел на огород. Припорошенная снегом крыша клуни зияла в одном месте темным косым провалом, это там, где Алешка вот уже третью зиму выбирал из крыши сторновки на топку и резку. Взобравшись на оголенные скользкие решетины, он ощутил давний сладкий дух сенной трухи, слежавшейся по углам клуни. Тогда, в последний свой раз, дедушка накосил в Бешеной лощине целых три

воза сена... А мерин взял и слопал у кума Федора всю дочиста картошку на сметане...

Примак?

А зачем же дедушка говорил тогда, что матрос совсем-совсем был похож на него, только куда, сказал, статнее? И крест на его могиле поставил...

Подспудные снопы крыши были сухие, туго стянутые перевяслами, и Алешка вспомнил, как сложили они когда-то с дедом кособокий одонок. Дедушка еще сказал тогда: пущай поглядит сват Кузьма! Это было незадолго до... копаня. А сколько слив наросло в ихнем саду? Прорва! Дедушка пять полных возов отправил в Курск... «Мне, что ли, они нужны?» Это он сказал про деньги. Они, наверно, так и лежат за иконами...

В хате уже накопилась стылая и по-ночному звучная темнота. Не глядя в святой угол, Алешка с нарочным шумом свалил у грубки сторновку, трепетно нащупал на лежанке коробку и, с огузка запихнув сноп в топку, сразу тремя спичками поджег его курчавые, облегченно шуршащие колосья. В призрачном красновато-дымном свете он и обыскал божницу,— ему хотелось теперь же ощутить и увидеть то, что дедушка готовил и берег ему — одному только ему.

Но божница оказалась пустой. Там ничего не было, кроме пыльных мотков паутины с застрявшими в них сухими мухами, и только на средней большой иконе лежала какая-то пожелтевшая бумажка, свернутая порошковым пакетиком. «Блажная, унесла! А может... да нет, он все прятал сюда. Блажная... Но все равно дедушка берег это мне!..» Он зарядил грубку новым снопом сторновки, и, когда пламя охватило его, развернул пакетик — половину тетрадочного листа, исписанного выцветшими большими буквами. Это было «свидетельство тому, что гражданин Ястребов Алексей рожден в Красной Армии в 1919 году 16 числа июня» и что «отец его Ястребов Алексей Матвеевич и мать Ястребова Екатерина сгибли от белых в том же году в селе Шелковке, Обоянского уезда, Курской губернии...»

Он не раздевался и не ложился спать. Трижды за ночь он ходил еще за сторновкой, а в промежутках цепенел у огня,— сердце набухало каким-то мучительно-неизъяснимым горем и обидой. Дед всю ночь стоял

с ним рядом и за всю ночь не мог ответить: почему же он, Алешка, примак?..

Уже перед зарей он напек картошки, чисто подмел жарко натопленную хату и покрыл стол суровым настольником — «Может, когда-нибудь блажная явится». Потом слазил в погреб и набрал в полу пиджака несколько бураков. Мерин, видно, так и простоял всю ночь у дверей, ждал.

— Ну, как ты тут? — по привычке спросил Алешка, но не сладя с тем, что всю ночь накапливалось в его сердце, не зная своему чувству ни границ, ни имени, заплакал в голос, выронив бураки.— Вот... прощевай. А я ухожу зараз... в Курск пойду, к своей армии. Брешут тут все про нас с дедушкой... Брешут!..

Напрягаясь, дрожа и приседая, мерин пытался разгрызть бураки. «Надо б нарезать ему,— подумал Алешка,— зубы-то небось чуть живы...» Он пошел за ножиком, но с полдороги вернулся и обратал мерина.

— Иди в колхоз лучше. С кем же ты тут останешься...

К колхозной конюшне они добрались по огородам. Было еще рано и тихо: из труб безмолвных хат кое-где лишь тянулись в рассветное небо витые столбы дымов. У конюшни Алешка привязал мерина и расправил у него между ушей подбитую проседью челку. Мерин кивал головой и хлюпал губами, зовя Алешкины руки. Видно, с голоду и потому, что в снегу тонули щиколотки ног, он казался маленьким, жалким, и только глаза его оставались прежними — круглыми, лиловыми, с дотлевающей в них тихой стариковской печалью.

— Прощевай! — шепотом сказал Алешка и быстро пошел через сугроб, чтоб поскорее достичь угла конюшни.

А на опустевшем дворе его ждал Полкан.

— Пошли вместе,— сказал Алешка и потянул его за ухо. Полкан упрямо попятился назад, покойно лег на бок, притворно смежив глаза. Тогда Алешка попробовал надеть ему на шею веревочный калачик, но кобель оскалился и зарычал.— Не хочешь, матери твоей кляп? — крикнул Алешка.— Пошли! Ну!

Но Полкан сжимался в комок, сипло кряхтел под ударами и не двигался с места.

Потом, годами позже, Алешка понял, что в жизни нельзя уйти куда-нибудь всему разом, потому что тогда не с чем будет жить памяти. Видно, поэтому позади у него остался грустный неуют двора и дряхлый бродяга мерин, заглохший сад и таинственная Бешеная лощина, горячий лепет Любача и пасмурное затишье Устиньина лога, жуткое Уручье и манящие костры стойла, лютая оскомина от украденных яблок и липовый дух скошенных лугов. Все — все это, пополам с живой памятью о деде, осталось там, где ему и положено быть, и, причудливо — тесно вместившись в Алешкино сердце, навсегда стало для него тем, что люди извечно называют любовью к Родине.

1960

КРИК

Уже несколько дней я командовал взводом, нося по одному кубарю в петлицах. Я ходил и косил глазами на малиновые концы воротника своей шинели, и у меня не было сил отделаться от мысли, что я лейтенант. Встречая бойца из чужого взвода, я шагов за десять от него готовил правую руку для ответного приветствия, и, если он почему-либо не козырял мне, я окликал его радостно-гневным: «Вы что, товарищ боец, не видите?» Обычно красноармеец становился по команде «смирно» и отвечал чуть-чуть иронически: «Не заметил вас, товарищ лейтенант!» Никто из них не говорил при этом «младший лейтенант», и это делало меня их тайным другом.

Наш батальон направлялся тогда на фронт в район Волоколамска. Мы шли пешим порядком от Мытищ и на каждом привале рыли окопы. Сначала это были настоящие окопы,— мы думали, что тут, под самой Москвой, и останемся, но потом бесполезный труд осточертел всем, кроме командира батальона майора Калача. Он был маленький и кривоногий и, наверное, поэтому носил непомерно длинную шинель. Мой помощник старший сержант Васюков назвал его на одном из привалов «бубликом». Взводу это понравилось, а майору нет,— кто-то был у нас стукачом. После этого Калач каждый раз лично проверял качество окопа, отрытого моим взводом. У всех у нас — я тоже рыл — на ладонях вспухли кровавые мозоли: земля была мерзлой — стоял ноябрь.

На шестой день своего землеройного марша мы вступили в большое село. Было уже под вечер, и мы долго стояли на улице — Калач с командирами рот све-

рял местность с картой. Весь день тогда падал редкий и теплый снег. Может, оттого, что мы шли, снежинки не прилипали к нашим шинелям, и только у майора — он ехал верхом — на плечах лежали белые пушистые эполеты. Он так осторожно спешился, что было видно — ему не хотелось отряхивать с себя снег.

— Гляди-ка, товарищ лейтенант! Бублик наш подрос!

Это сказал мне Васюков на ухо, и мне не удалось справиться с каким-то дурацким бездумным смехом. Майор оглянулся, посмотрел на меня и что-то сказал моему командиру роты. Я слышал, как тот ответил: «Никак нет!»

Село стояло ликом на запад, и мы начали окапываться метрах в двухстах впереди него, почти на самом берегу ручья. Воды в нем было по колено, и она казалась почему-то коричневой. Моему взводу достался глинистый пригорок на правом фланге в конце села. Дуло тут со всех сторон, и мы завидовали тем, кто окапывался в низинке слева.

— Застынем за ночь на этом чертовом пупке,— сказал Васюков.— Может, спикировать в хаты за чем-нибудь?

Я промолчал, и он побежал в село. У него была плоская стеклянная фляга с длинным узким горлом, оплетенная лыком. Он носил ее на брючном ремне, и она не выпирала из-под шинели. Васюков называл ее «писанкой».

Я ждал его часа полтора. За это время на нашем чертовом «пупке» побывали Калач и командир роты.

— Окоп отрыть в полный профиль,— распорядился Калач.— Отсюда мы уже не уйдем.

Когда они ушли, я спустился к ручью. Он озябло чурюкал в кустах краснотала. За ним ничего не виделось и не слышалось. Мне не верилось, что мы не уйдем отсюда.

Васюков ожидал меня, сидя на краю полуотрытого окопа.

— Не достал,— шепотом сообщил он.— Шинель хотят...

— За сколько?— спросил я.

— За пару литров первача... Жителей совсем мало. Ушли.

— А за что сам тяпнул? — поинтересовался я.

— Да не-е, это я пареных бураков порубал, — сказал он.

Лишних шинелей у нас еще не было. А Васюков все же выпил, — я с самых Мытищ знал, чем отдает самогон из сахарной свеклы.

— Между прочим, тут есть валяльня, — сказал он. — Полный амбар набит валенками. И никого, кроме кладовщицы... Бабец, между прочим, под твой, товарищ лейтенант, рост, а под мою...

— Давай-ка рыть, — предложил я. — Отсюда мы, между прочим, не уйдем, понял?

Становилось совсем темно, но мы продолжали работать и ругаться, — ветер дул с запада и забивал глаза землей и снегом.

— Если на самом деле тут засядем, то не худо бы первыми захватить валенки, а? — сказал Васюков. От него хорошо все-таки пахло. Закусывал он, видать, не бураками. Он был прав насчет валенок. Хотя бы несколько пар. Почему не попытаться?

— Давай сходим, — сказал я.

Село как вымерло. Нигде ни огонька, ни звука — даже собаки не брехали. Мы миновали сторонкой школу, где разместился на ночь штаб батальона, потом завернули в темный двор, и там я минут десять ждал Васюкова. Из хаты он выходил шагом балерины, но сначала я увидел белую чашку, а затем уже его протянутые руки.

— Держи, — таинственно сказал он, и, пока я пил самогон, он не дышал и вырастал на моих глазах — приподнимался на цыпочки.

После этого мы выбрались на огороды села. У приземистого деревянного амбара Васюков остановился и постучал ногой в дверь.

— Ктой-то? — песенно отозвался в амбаре чуть слышный голос.

— Мы, — сказал Васюков.

— А кто?

— Командиры, — сказал я.

Амбар и на самом деле был забит валенками. Они ворохами лежали по углам и подпрыгивали — мигала «летучая мышь», стоявшая у дверей на полу. Я приподнял фонарь и увидел у притолоки девушку в черной

стеганке, в большой черной шали, в серых валенках. Она держала в руках железный засов.

В жизни своей я не видел такого дива, как она! Да разве об этом расскажешь словами? Просто она не настоящая была, а нарисованная — вот и все!..

— Ну, что я говорил? — сказал Васюков.

Я сделал вид, будто не понял, о чем он, и сказал:

— Забираем сейчас же!

— Все? — обрадованно спросила девушка, глядя на меня так же, как и я на нее.

— Пока тридцать две пары,— сказал Васюков.

Он подмигнул мне и побежал во взвод за бойцами, а мы остались вдвоем. Мы долго молчали и почему-то уже не смотрели друг на друга, будто боялись чего-то, потом я спросил:

— Кладовщицей работаете тут?

Она ничего не сказала, вздохнула и поправила шаль, не выпуская из рук засова. Да! Ни до этого, ни после я не встречал такой живой красоты, как она. Никогда! И Васюков говорил правду — ростом она была почти с меня.

Я всегда был застенчив с девушкой, если хотел ей понравиться, и сразу же превращался в надутого индюка, как только оставался с нею наедине. Что-то у меня замыкалось внутри и каменело, я молчал и делал вид, что мне все безразлично. Это, наверно, оттого, что я боялся показаться смешным, неумным.

Все это навалилось на меня и теперь. Я щурил глаза, начальственно осматривал вороха валенок, стены и потолок амбара. Руки я держал за спиной. И покачивался с носков на каблуки сапог, как наш Калач.

— А расписку я получу? — спросила хозяйка валенок.

Я понял, что подавил ее своим величием и кубарями, и молча кивнул.

— Ну, тогда пишите,— сказала она.

Я написал расписку в получении тридцати двух пар валенок от колхоза «Путь к социализму» и подписался крупно и четко: «Командир взвода воинской части номер такой-то м. лейтенант Воронов». Я проставил число, часы и минуты совершения этой операции. Она прочла расписку и протянула ее мне назад:

— Не дурите. Мне ж правда нужен документ!

— А что там не так? — спросил я.

— Фамилия,— сказала она.— Зачем же вы мою ставите? Не дурите...

Никогда потом я не предъявлял никому своих документов с такой горячей радостью, почти счастьем, как ей! Она долго рассматривала мое удостоверение — и больше фотокарточку, чем фамилию,— потом взглянула на меня и засмеялась, а я спросил:

— Хотите сахару?

Я достал из кармана шинели два куска рафинада и сдул с них крошки махорки.

— Берите, у меня его много,— зачем-то соврал я.

Она взяла стыдливо, покраснев, как маков цвет, и в ту же минуту в амбар ввалился Васюков с четырьмя бойцами. Конечно, он пришел не вовремя: мало ли что я мог теперь сказать и, может, подарить еще кладовщице. Она стояла, отведя руку назад, пряча сахар и глядя то на вошедших, то призывно на меня, и я, ликуя за эту нашу с нею тайну на двоих, встал перед нею, загородив ее, и не своим голосом распорядился отсчитывать валенки.

Через минуту она вышла на середину амбара. Руки ее были пусты.

Васюкову не хотелось нагружаться, но связывать валенки было нечем, и каждый боец мог унести лишь шесть-семь пар.

— Давай забирай остальные,— сказал я ему.

— А может, кто-нибудь из бойцов вернется за ними? — спросил он, но, взглянув на меня, взял валенки.

— Пошли,— сказал я всем и оглянулся на кладовщицу.— А вы разве остаетесь?

— Нет... Я после пойду,— сказала она. Васюков протяжно свистнул и вышел. Я догнал его за углом амбара.

— Смотри там за всем, я скоро! — сказал я.

— Да ладно! — свирепо прошептал он.— Гляди только, не подхвати чего-нибудь в тряпочку.

Я постоял, борясь с желанием идти во взвод, чтобы как-нибудь нечаянно не потерять то хорошее и праздничное чувство, которое поселилось уже в моем сердце, но потом все же повернул назад, к амбару. Внутрь я не пошел. Я заглянул в дверь и сказал:

— Я вас провожу, хорошо?

— Так я же не одна хожу,— песенно, как в первый раз, сказала кладовщица, пряча почему-то руку за спину.

— А с кем? — спросил я.

— С фонарем.

Я не хотел, чтобы она шла с фонарем. Он был третий лишний, как Васюков, и я сказал:

— С фонарем нельзя теперь. Село на военном положении.

В темноте мы долго запирали амбар,— петля запора не налезала на какую-то скобу, и мне надо было нажимать плечом на дверь. Наши руки сталкивались и разлетались, как голуби, и, поскользнувшись, я схватился за концы ее шали. Мы оказались лицом к лицу, и я смутно увидел ее глаза — испуганные, недоуменные и любопытные. В глаз и поцеловал я ее. Она отшатнулась и прикрыла этот глаз ладонью.

— Я нечаянно. Ей-богу! — искренне сказал я.— Вам очень больно?

— Да не-ет,— протянула она шепотом.— Сейчас пройдет.

— Подождите... Дайте я сам,— едва ли понимая смысл своих слов, сказал я.

— Что? — спросила она, отняв ладонь от глаза. Тогда я обнял ее и поцеловал в раскрытые, ползущие в сторону девичьи губы. Они были прохладные, упруго безответные, и я ощутил на своих губах клейкую пудру сахара.

Странное, волнующее и какое-то обрадованно-преданное и поощряющее чувство испытывал я в тот момент от этого сахарного вкуса ее губ. Я недоумевал, когда же она успела попробовать сахар, и было радостно, что сахар этот был моим подарком, и мне хотелось сказать ей спасибо за то, что она попробовала его украдкой... Я думал об этом, насильно целуя ее и чувствуя слабеющую силу ее рук, упершихся мне в грудь. О том, что она заплакала, я догадался по вздрагивающим плечам,— лицо ее было в моей власти, но я его не видел, и испугался, и стал умолять простить меня и гладить ее голову обеими руками.

— Я хороший! — убежденно, почти зло сказал я.— У меня никогда никого не было... Вот увидишь потом сама!

Что и как могла она увидеть потом, я до сих пор не знаю и сам, но я говорил правду, и, видно, она ее услышала, потому что перестала плакать.

— Я больше не прикоснусь к тебе пальцем! — верующе сказал я.

Она подняла ко мне лицо, держа сцепленные руки на груди, и с укором сказала:

— Хоть бы узнали сначала, как меня зовут!

— Машей,— сказал я.

— Мари-инкой,— протяжно произнесла она, а я качнулся к ней и закрыл ее рот своими губами.

Я чувствовал, что вот-вот упаду, и вдруг блаженно обессилел; я куда-то падал, летел, и мне не хватало воздуха. Я разнял свои руки и прислонился к стене амбара, а Маринка кинулась прочь.

— Подожди! — крикнул я.— Подожди минуточку!

Она вернулась, издали тронула пальцем пуговицу на моей шинели и сказала:

— Ну, что это вы? А шапка где?

Она нашла ее под ногами и протянула мне.

— Мари-и-инка,— произнес я как начальное слово песни и стал целовать ее — напряженную, трепетную, прячущую лицо мне под мышку.

— Не надо... Пожалуйста! Ну разве так можно!..

— Скажи: «Ты, Сергей»,— просил я.

— Нет,— отбивалась она.— Не буду...

— Почему?

— Я боюсь...

— Чего?

— Не знаю...

— Ты мне не веришь?

— Не знаю... Я боюсь... И, пожалуйста, не нужно больше целоваться!

— Хорошо! — отрешенно и мужественно сказал я.— Больше я к тебе пальцем не прикоснусь!

До ее дома мы дошли молча. Она поспешно и опасливо скрылась за калиткой палисадника и, невидимая в черных кустах, песенно сказала:

— До свидания!

— Я приду завтра! — шепотом крикнул я.

— Нет-нет. Не надо!

— Днем приду, а потом еще вечером... Хорошо?

— Я не знаю...

Через пять минут я был в окопе.

— В девять утра на наш «пупок» прибыл Калач в сопровождении своего начальника штаба и нашего командира роты.

— Младший лейтена-а-ант! — не останавливаясь, идя с подсигом, как все маленькие, закричал Калач еще издали, и я враз догадался, что сейчас будет,— ему доложили о валенках. Может, еще ночью кто-то стукнул, черт бы его взял! Я побежал к нему, остановился метров за пять и так врезал каблуками, что он аж вздрогнул.

— Командир второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона младший лейтенант Воронов по вашему приказанию явился!

У меня получилось это хорошо, и, наверно, я правильно смотрел в глаза майору, потому что он скосил немножко голову, как это делают, когда разглядывают что-нибудь интересное, потом обернулся к командиру роты:

— Видал орла?

Капитан Мишенин пощурился на меня и вдруг подмигнул. Ему не нужно было это делать — я ведь тогда весь был захвачен широкой и бездонной радостью, поэтому не выдержал и засмеялся.

— Что-о? — рассвирепел Калач.— Тебе весело? Мародерствуешь, а потом зубы скалишь? В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ майор! — доложил я.

— Куда девал государственное имущество? — спросил он.

Я не совсем понял, и тогда Мишенин негромко сказал:

— Это кооперативное, товарищ майор.

— Все равно! — отрезал Калач.— Где валенки, я спрашиваю?

— У бойцов на ногах,— ответил я.

— На ногах? — опешил майор.— Сейчас же возвратить! Немедленно! Самому!

— Есть возвратить самому! — повторил я и обернулся к окопу: — Разуть валенки-и!

Я любил в эту минуту Калача. Любил за все — за его рост, за то, что он майор, за его ругань, за то, что он приказал мне самому отнести валенки в амбар... Они все, кроме двух пар, были изрядно испачканы землей

и растоптаны, и бойцы начали чистить их, а Васюков, когда удалилось начальство, спросил меня:

— Может, вдвоем будем таскать?

— А ты не слыхал, что сказал майор? — ответил я.— Мне одному приказано.

— Да откуда он узнает?

— От стукача, который доложил ему!

— Это верно,— вздохнул он.

Я захватил под мышки шесть пар валенок, и побежал к амбару, и за дорогу раза три складывал валенки на землю и поправлял на себе то шапку, то ремень и портупею. Сердце у меня давало, наверно, ударов полтораста в минуту, и когда я увидел запертые двери амбара, то даже обрадовался — я боялся увидеть Маринку днем, боялся показаться сам ей.

Я долго сидел на крыльце амбара — курил и глядел в поле и, когда от махры позеленело в глазах, неожиданно решил идти за Маринкой.

В селе оказалось много изб с палисадниками, и я выбрал тот, где кусты были погуще, и, ссыпав валенки во дворе, постучал в двери сеней. Я на всю жизнь запомнил дверь эту — побеленную зачем-то известью, с засаленной веревочкой вместо ручки. Большими печатными буквами-раскоряками пониже веревочки объявлялось:

«МАРИНКА ДУРА»

Открыл мне пацаненок лет семи — это был Колька, Маринкин братишка, как узнал я потом.

— Марина Воронова тут живет? — спросил я его.

— Она сичас не живет,— сказал Колька,— она за водой пошла.

Я сошел с крыльца и увидел Маринку, входившую с ведрами в калитку. Заметив меня, она даже подалась назад и покраснела так, что мне стало ее жалко.

— Вот принес валенки,— сказал я вместо «здравствуй».

— Не налезли? — виновато спросила Маринка. Ближнее ко мне ведро раскачивалось на коромысле, и вода плескалась на мои сапоги.

— Налезли,— сказал я,— но приказано вернуть. Все. Ясно?

— Ага,— сказала Маринка.— Сейчас выйду. Подождите...

Я подобрал валенки и пошел со двора, но меня окликнул Колька:

— А ты красноармеец или командир?

— Командир,— сказал я, и в это время из сеней вышла Маринка, и я был благодарен Кольке за его вопрос: мне казалось, что она тоже не знает, что я лейтенант, хоть и младший.

По улице села мы прошли молча — я впереди, а она сзади, и, когда на околице я оглянулся, Маринка остановилась и начала хохотать как сумасшедшая, взглядывая то на мое лицо, то на валенки. Конечно, я, наверно, был смешон до нелепости.

— Ну и что тут такого? Подумаешь! — сказал я, выронил валенки и пнул их ногой.

Обессилев от смеха, Маринка повалилась прямо на снег. Я кинулся к ней и губами отыскал ее рот.

— Увидят же... все село... бешеный,— не просила, а стонала она, да мне-то что было до этого? Хоть весь мир пускай бы смотрел!

Кое-как мы дошли до амбара,— как только она начинала хохотать, я бросал валенки и целовал ее. На крыльце амбара она пожаловалась:

— У меня уже не губы, а болячки. Хоть бы не кусался...

— Больше не буду,— сказал я.

— Да-а, не будешь ты...

Разве мог я после этого сдержать свое слово?

Когда я вернулся в окоп за очередной порцией валенок, взвод мой гудел, как улей:

— Товарищ лейтенант! Давайте отнесем разом — и шабаш! Что же вы будете мотаться один до обеда?!

Знали бы они, что я согласен «мотаться» так не только до обеда, а хоть до конца своей жизни! Конечно, я не позволил бойцам помочь мне, сославшись на приказ Калача...

Подходя к амбару, я еще издали услыхал музыку Маринкиного голоса. Она пела «Брось сердиться, Маша...»

То, чего я больше всего боялся и не хотел — возможного марша вперед,— в этот день не случилось: мы остались на месте. Я чуть дожил до темноты: в двадцать ноль-ноль мы договорились с Маринкой встретиться у амбара. Перед моим уходом у нас состоялся с Васюковым мужской разговор.

— Почапал, да? — мрачно спросил он.— А что сказать, ежели начальство явится?

— Скажи, что я забыл свою расписку на валенки. Скоро вернусь.

— Порядок! — сказал Васюков.— Гляди, распишись там, как положено. В случае нужды — свистни. Поддержу...

Я поманил его подальше от окопа.

— Если ты хоть один раз еще скажешь это, набью морду. Понял? — решенно пообещал я.

— Так я же думал... Я же ничего такого не сказал,— растерянно забормотал он.— Мне-то что?

На следующий день утром через ручей переправилась какая-то кавалерийская часть. Маленькие заморенные кони были одной масти — буланой — и до того злы, что кидались друг на друга. Они грудились в улице села, привязанные к плетням и изгородям, а кавалеристы шли и шли с котелками к нашим кухням. Изголодались, видать, ребята.

День был низенький, туманный и тихий, как в апреле, и все же в обед черти откуда-то принесли к нам девятку «юнкерсов». Бомбили они не окопы, а село и сбросили ровно девять бомб. Я сам считал удары. От них подпрыгивал весь наш «пупок» — до такой степени взрывы были мощны и подземно-глухи.

— Железобетонные,— сказал Васюков.— Из цемента. По тонне каждая. Я точно знаю!

— Ну и что?— — спросил я.

— А ничего. Воронка с хату. Озеро потом нарождается...

Над селом клубился серый прах; истошно, не по-лошадиному визжали и ржали кони, кричали и стреляли куда-то кавалеристы, хотя «юнкерсы» уже скрылись.

Я схватил Васюкова за локоть. Он отвел глаза и отчужденно сказал:

— Ну, тут... сам понимаешь. Они могут сейчас завернуть и к нам. Так что решай, где ты должен находиться...

— Пять минут! — сказал я.— Только взгляну, узнаю... Ну?!

Он молчал, и я отвернулся к ручью и стал закуривать.

Удивительно, какая осмысленная, почти человечья мука может слышаться в лошадином ржании!

— Вообще-то можно и сбегать,— сказал позади меня Васюков.— Ну, сколько тут? Двести метров!

Я сунул ему незажженную цигарку и бросился в село.

На улице валялись снопы соломы, колья и слеги заборов — это сразу, а глубже, уже недалеко от Маринкиной хаты, я увидел огромную круглую воронку, обложенную метровыми пластами смерзшейся земли. Рядом с нею, у раскиданного плетня, высокий смуглолицый кавалерист, одетый в бурку и похожий на Григория Мелехова, остервенело пинал сапогами в разорванный сизый пах коня, пробуя освободить седло. Конь перебирал, будто плыл, задранными вверх ногами, тихонько ржал, изгибал длинную мокрую шею, заглядывая на свой живот, и глаза у коня были величиной в кулак, чернильно-синие, молящие.

Через минуту я увидел — нет, не Маринкину еще — разрушенную хату. Наверно, тут было прямое попадание, потому что даже печка не сохранилась. Да там вообще ничего не уцелело. Просто это была исковерканная куча бревен и соломы, осевшая в провал.

В тесовой крыше Маринкиной хаты, прямо над сенцами, темнела большая круглая дыра. Во дворе и на крыльце валялась пегая щепа дранки. Я решил, что крышу прободал осколок. Цементный. Но дыра была чересчур велика, и у меня похолодело во рту: «Бомба замедленного действия!» Я мысленно увидел ее почему-то никелированно-блестящей, тикающей и побежал со двора пригнувшись, как бегал в детстве с чужих огородов. Я то и дело оглядывался и видел белую дверь и веревочку, а пониже ее, там, где вчера было «Маринка дура»,— бурое продолговатое пятно. «Стерла, чтобы

я опять когда-нибудь не прочитал»,— понял я и повернул назад.

Дверь я открыл с ходу, плечом, и в полутьме сеней, под белым столбом света, проникавшего в дыру крыши, увидел лошадь. Она лежала комком, подвернув под себя ноги и голову, и на ее мертвой спине выпячивалось и блестело медной оковкой новенькое комсоставское седло.

В хате никого не было, но на столе, в крошеве стекла, лежал хлеб, три ложки и стоял чугунок. От него шел пар,— окна на улицу были разбиты. Я заглянул в чулан и позвал:

— Есть кто-нибудь?

— Есть! — слабо донесся откуда-то Колькин голос.

— Где ты? — спросил я.

— А тут... В погребе!

Прямо у моих ног приоткрылся люк, и Колька вылез первым, за ним мать, а потом Маринка. Она была непокрытой, и я впервые увидел ее волосы — черные до синевы, в двух косах. Она смотрела на меня так, будто хотела предупредить о чем-то, боялась, видно, что я брякну ей что-нибудь лишнее тут, при матери, и я сказал:

— Лошадь там в сенцах. Убитая. Пришел посмотреть...

— Господи! — запричитала мать.— Да как же она там очутилась? Ваша, что ли?

— Нет, она чужая,— сказал я.— Вечером мы ее вытащим.

В сенцах, увидав пробитую крышу и лошадь, мать сказала, что это не к добру, и заголосила. Что я мог тогда сделать для них? Мне даже подарить им было нечего...

Васюков сказал, что я отсутствовал ровно восемнадцать минут. Я сообщил ему о лошади.

— С седлом? — спросил он.

— С седлом.

— Хорошее?

— Новое. Комсоставское.

— Порядок! — сказал он.— Пригодится.

— Для кого?

— Ну, мало ли! Может, довоюемся до майоров, а тут такой случай... Они же уходят, видишь?

Конники покидали село, уходя в тыл. Некоторые шли пешком, неся уздечки и седла.

Вскоре во взвод явился связной Мишенина.

— Младший лейтенант Воронов! К капитану! — прокричал он, глядя куда-то мимо меня. Все эти связные старших были на один манер: для них мы, командиры взводов, не начальство, которое нужно приветствовать. Сволочи!

Мишенину оборудовали землянку между селом и первым взводом. Землянка получилась роскошная, с печкой и в четыре наката сухих бревен. Значит, мы не уйдем отсюда!

Капитан вызывал всех командиров взводов роты. Совещание было коротким и для меня как праздник — нам предстояло делать проволочные заграждения по эту сторону ручья. Колья — в селе. Проволока — в четвертом взводе. Интересно, откуда она там взялась?

Я побежал в свой взвод и еще издали не прокричал, а пропел, потому что у меня все команды теперь пелись:

— Старший сержант Васюков! Ко мне!

Он, конечно, понял, что я не с плохим вернулся, и точь-в-точь как я вчера перед Калачом врезал передо мной каблуками и доложил:

— Помощник командира второго взвода третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона старший сержант Васюков по вашему приказанию явился!

— Пьяница ты! — шепотом сказал я ему.— Самовольщик! В штрафной захотел?

— Никак нет, товарищ лейтенант! — тоже шепотом ответил он, и мы разом почему-то оглянулись на окоп. Тридцать обветренных, знакомых и дорогих мне лиц, тридцать пар всевидящих и понимающих глаз смотрели в нашу сторону. Что-то горячее, благодарное и преданное к этим людям пронизало тогда мое сердце, и я быстро отвернулся, потому что мог заплакать, а Васюков спросил: — Ты чего?

— Ничего,— сказал я.— Просто ты пьяница. Самовольщик...

Пока принесли колючку — смерклось, и мы с Васюковым отправились в село «на разведку кольев». Маринка ожидала меня во дворе. Она смущенно поздоровалась с Васюковым, а мне сказала:

— Я думала, уже не придешь...

— У нас так не бывает,— с важностью заявил Васюков.— Что сказано, то сделано. Ну-ка, показывайте, где лошак!

— Лошадь? — спросила Маринка.— Она вот там, за сараем лежит.

— Это почему там? — удивился Васюков.— А седло где?

— Казаки взяли. Которые выволакивали...

Васюков остервенело плюнул, хотел что-то сказать мне, но раздумал.

— Давай хлопочи насчет кольев,— сказал я ему.— Назначь два отделения. А я через час буду. Ладно?

Он посмотрел на свои большие кировские часы и пошел со двора. Маринка взяла меня за указательный палец и повела за угол сарая. Там, на снегу, обрывая темный извилистый след, страшной неподвижной кучкой лежала лошадь. Я стал к ней спиной, обнял Маринку и забыл, что я на земле и на войне. Она подалась ко мне и зажмурилась, а минут через пять сказала:

— Мама спрашивала, зачем ты приходил.

— А ты что сказала?

— Колька сказал...

— Что?

— Ну, что ты ко мне...

— А она что?

— Так... Ничего.

— А все же?

— Ну... чтобы это было в первый и последний раз.

Я поцеловал ее, и она, сронив мне на плечо голову, западающим шепотом сказала:

— Ох, Сережа! Пропала, видно, я...

— Почему? — с непонятной обидой к кому-то спросил я.

— Люблю я тебя... Так люблю, что... пропала я!

— Дурочка ты! — сказал я, и почему-то никакое другое слово не было мне нужнее, роднее и ближе, чем это.— Дурочка! Тебя-то уж я не потеряю!

— А я тебя?

— Куда я денусь?

— Не де-енешься! — пропела Маринка. — Я же хоро-ошая, красивая. Ты думаешь, я это не знаю?

— Дурочка ты...

Может, оттого, что я в третий раз называл ее так и сразу же целовал, Маринке нравилось это слово...

Второй день уже я не ходил, а бегал. Васюков сказал, что отсутствовал я всего лишь пятьдесят три минуты.

— Не дотянул до часа, — не удержался он. — Хотя на войне, конечно, быстрее все делается...

— Будешь болтать — и я дотянусь как-нибудь до твоей рожи. Пьяница несчастный! — сказал я.

— Вообще-то выпить не мешало бы, — мечтательно протянул он. — И какого это черта не дают нам фронтовые сто граммов! Ты не знаешь?

— А ты не знаешь, что на закуску ста граммов полагается фронт? — спросил я.

— Так мы бы занюхали тут чем-нибудь...

Бойцы носили из села колья и бревна. Где они их там брали — было неизвестно. Мы работали всю ночь — врывали стояки для колючки, а за ручьем, по заснеженному лугу, елозили батальонные минеры. Неужели в темноте можно минировать? Что за спешка?

Отделения моего взвода попеременно отдыхали в трех крайних хатах. До сих пор я был только в одной — там, где спал сам. Я пошел туда уже перед утром. До этого я лишь один раз видел хозяина хаты — маленького и щуплого, с русой бородкой и темными умными глазами. Он чему-то коротко и недобро засмеялся, когда увидел меня, и я не заметил у него зубов. Может, он засмеялся тогда не надо мной, а просто так. И все же он не понравился мне.

В хате спало третье отделение. Бойцы лежали на соломе, настланной толстым слоем на полу. Командир отделения Крылов стоял посредине хаты и курил. У дверей, прислонясь спиной к притолоке, сидел на корточках — как чужой тут — хозяин хаты. Он взглянул на меня и опять нехорошо как-то улыбнулся. Что за тип? Я прошел в угол и с удовольствием нырнул в солому. В хате было тепло и сумрачно — на завешенном рябой попонкой окне мерцала лампа без пузыря. Интересно,

чего этот беззубый хрен оскаляется? Что во мне смешного? Сам-то на всех чертей похож! И дочь — тоже. Я столкнулся с нею вчера, выходя из хаты... У нее такой нос, будто она все время плачет втихую... Любопытно, как ее звать! Феклой, наверно! Я улыбнулся Маринке, обнял солому и стал засыпать. Откуда-то издалека в мое затихающее сознание толкнулся голос Крылова:

— Значит, говорите, отпустили?

— Пришлось выпустить... Видно, не до нас теперь тюремщикам,— шепеляво, но со сдержанно-едкой силой ответил хозяин.

Крылов долго молчал, потом почти безразлично спросил:

— И документик имеете?

— А то как же! Дают,— в тон ему отозвался хозяин.

— А он у вас далеко?

— Не так чтоб слишком...

Я уже был на краю сна и яви, когда Крылов произнес чуть слышно:

— Предъявите мне документ.

— Можно и предъявить,— со спокойной ехидцей сказал хозяин.— Вы что же, старшой тут по таким делам?

— Может, и старшой,— ответил Крылов. Видно, он решил, что я сплю.

— Ну-ну! — поощрил хозяин, и оба они замолчали — Крылов читал документ, и в хате был слышен лишь ровный, покойный храп бойцов.

— Та-ак,— сказал наконец Крылов.— А за что отбывал?

— За что сидел? — будто не расслышал хозяин.— За испуг воробьев на казенной крыше...

Я чуть не прыснул — здорово придумал мужик, а Крылову ответ не понравился. Он сказал: «Ну все!» — и стал укладываться. Я слышал, как он сердито шуршит соломой, и слышал, как неприятно хрустят колени хозяина, проходившего в чулан...

Весь следующий день мы укрепляли свой берег ручья и снабжались боеприпасами,— мой взвод получил два ручных пулемета, одно ПТР, несколько ящиков патронов, гранат и бутылок с бензином. Калач прибыл на наш «пупок» в полдень и сам выбрал место для пуле-

тов и ПТР — на правом фланге, так как соседей там у нас пока не было. Он опять накричал на меня, но уже не за кооперативное имущество, а за беспечность при распределении бойцов на отдых.

— Что за человек, у которого ты дислоцируешься? — спросил он.

— Маленький такой, — сказал я.

— А мне плевать, большой он или маленький! — покраснел Калач. — Найдите другое место! Мало вам пустых изб, что ли? Залезают черт знает куда!..

Всем остальным майор остался доволен. Он спросил Мишенина, ознакомлен ли я со схемой минного поля впереди ручья, и ушел. Интересно, за что он меня не любит? А вот капитан любит, я ведь это вижу и знаю. И я люблю его тоже.

Я рассказал Васюкову о хозяине хаты и о Крылове.

— Все ясно, — сказал он. — Сознательный малый. Один на весь взвод оказался... Валенки тоже его работа! Что ж, бдительные люди нам с тобой позарез нужны... Как ты думаешь, не закрепить ли ПТР за младшим сержантом Крыловым? Оружие это грозное, отношение к себе требует бережное. Доверим?

— Конечно, доверим, — сказал я.

В двадцать ноль-ноль я был за углом сарая, как штык. Маринка уже ждала меня, и я снова стал спиной к убитой лошади и полетел над землей.

— Давай уйдем отсюда. Нехорошо как-то тут... — сказала Маринка.

— А куда? — спросил я.

— К амбару.

— Я на один час только...

— А мы бегом.

— Ну давай, — сказал я, и мы побежали по огородам, и она держала меня за указательный палец, как маленького.

Крыльцо амбара было припорошено снегом, и я стал разметать его шапкой, а Маринка наклонилась ко мне и изумленно-испуганно спросила на ухо:

— Что ты делаешь?

— Сядем, — сказал я. — Ты не бойся... Я же обещал...

Я притянул ее к себе на колени и ощутил грудью стук ее сердца — как у голубя.

— Дурочка! Что ты во всем этом понимаешь!

— В чем? — спросила она.

— В том, какая ты у меня... В нашей с тобой любви.

— Непутевая она у нас... Если б не война!..

— Тогда бы я не встретил тебя.

— А я и без тебя встретила б!

— Кого?

— Как кого? Тебя. Ты где жил?

— В Обояни.

— Ну и приехала б!.. А там у вас одеколон делают?

— Кирпичи, — сказал я.

— Обоя-ань... Расскажи мне о себе. Все-все!

Я рассказал все-все и сам удивился тому, как это было немного. Мы жили с матерью в Медвенке. Это райцентр. Мать была там учительницей. Я закончил десятилетку, но не в Медвенке, а уже в Обояни...

Я ругнулся.

— Не ругайся, — попросила Маринка. — Ты очень любишь ругаться. Прямо как мой отец. Он тоже часто выражался...

— А где он? — спросил я.

— На фронте... Два месяца нету писем... Где это Шклов находится, не знаешь?

Я подумал о своем последнем письме маме, посланном еще из Мытищ, о крыше и выбитых окнах в Маринкиной хате, о погребе и Кольке, и что-то обидное шевельнулось во мне к самому себе. Почему-то мне вспомнилось, что самым ненавистным словом у мамы было «проходимец». Хуже такого определения человека она не знала.

— Ты чего замолчал? — спросила Маринка.

— Думал, — сказал я.

— О чем?

— О себе... И о тебе тоже... Знаешь, у нас все с тобой должно быть хорошо и правильно! Давай поженимся...

То, что я сказал — поженимся, — отозвалось во мне каким-то протяжным, изнуряюще-благостным звоном, и я повторил это слово, прислушиваясь к его звучанию и впервые постигая его пугающе громадный, сокровенный смысл. Наверно, Маринка также ощутила это, потому что вдруг прижалась ко мне и притаилась.

— Поженимся! — опять сказал я.

— Что ты выдумываешь,— произнесла наконец Маринка.— Где же мы... Война же кругом!

— Черт с нею! — сказал я.— Мы поженимся так пока, понимаешь? А после войны только будем как настоящие муж и жена. Хорошо?

— Что ты выду-умываешь!..

— Завтра поженимся, в день моего рождения...

— Господи! Что ты говоришь?! — воскликнула Маринка, и в эту минуту она была очень похожа на свою мать, когда та увидела лошадь в сенцах и сказала: «Господи!» — У меня же тоже двадцать второго ноября день рождения! Ты вправду?

— Ну да. Двадцать один стукнет. Ты думаешь, я молоденький?

— Не-ет, я и не думала... А мне тоже восемнадцать стукнет. А ты думал сколько?

— Пятьдесят шесть,— сказал я.

— Что ты! Маме и то сорок пять только!..

— Дурочка ты!..

Возвращался я бегом, и подмерзший снег не скрипел, а пел у меня под ногами, и мысленно я пел сам, и со мной пела вся та ночь — чутко-тревожная, огромная, заселенная звездами, войной и моей любовью. Я хорошо понимал, что моя радость «незаконна»,— немцы ведь подходили к Москве, но все равно я не справлялся с желанием поделить свое счастье поровну со всеми людьми.

В окопе с дежурным отделением был Васюков.

— Как дела? — спросил я его.

— Все в порядке,— ответил он.— А у тебя?

Мы сошли с ним к проволочному заграждению, широкой кривулиной уходившему в лунно-дымную даль центра обороны. На кольях и колючей основе проволоки мерцали блестки легкого инея, и все это безобразное нагромождение казалось теперь осмысленно-безобидным, нарядным, кружевным.

— Послушай, Коля... Понимаешь, я женюсь! Завтра женюсь,— бессвязно и благодарно сказал я Васюкову.

Он посмотрел на меня, отступил в сторону и спросил, давясь хохотом:

— Только жениться? А иначе, значит, никак? Молодец девка!..

Я ударил его дважды, и в окоп мы вернулись порознь.

Никто из нас по-настоящему не нюхал еще войны. Пока что мы ощущали ее морально и только немножко физически, когда рыли окопы. Мы не встречали ни убитых, ни раненых своих, не видели ни живого, ни мертвого немца. Мы видели лишь — да и то со стороны — вражеские самолеты. Они всегда пролетали большими журавлиными стаями, и рев их надолго заполнял небо и землю. Я никогда не слыхал, чтобы в этот момент кто-нибудь произнес хоть слово. Тогда бойцы почему-то избегали смотреть друг на друга, торопились закурить, и лицо у каждого было таким, будто он только что получил известие о несчастье в доме. Зато надо было слышать тот по-русски щедрый, приветственно-напутственный и ласковый мат по адресу своего самолета, когда он появлялся в небе! Заслушаешься и ни за что не утерпишь, чтобы не прибавить чего-нибудь и от себя...

Утро дня моего рождения выдалось крепким, ясным и звонким. Взвод занимался гречневой кашей с салом, когда над нами появился странный самолет с прямоугольным просветом на фюзеляже. Такого я еще не видел. Небо было бирюзово-розовым, и самолет казался на нем как грязная брызга. Он повис над нашим окопом, и мы отчетливо видели белые кресты на его крыльях и слышали натужно вибрирующий гул моторов.

— Разведчик ихний,— не глядя на меня, сказал Васюков.— Разрешите мне из ПТР... Может, ссажу!

Я сказал: «Действуйте» — мы были теперь на «вы»,— и он бросился к Крылову за ружьем, но долго не мог прицелиться — самолет кружил прямо над нами, а длина ПТР достигала двух метров, и его не на что было приладить.

— Кладите ствол на меня! — приказал я и уперся руками в стенку окопа.

Васюков так и сделал. Ствол ружья плотно прилегал к моему левому уху, и я на всякий случай зажмурился и раскрыл рот. Выстрел я ощутил спиной и головой: наверно, так чувствуешь себя просле удара колом.

— Ну, что? — крикнул я.

— Не берет сразу,— отозвался Васюков.— Станьте-ка повыше...

Я стал, а он, повозясь и покряхтев сзади меня, снова ударил.

— Ну? — крикнул я.

— Не берет, гад! Станьте пониже...

— Стань сам, раз не умеешь стрелять! — сказал я, но сразу мне не удалось освободиться от ружья,— Васюков, видать, налег на приклад, заорав что-то несуразное:

— Ага-а, располупереэтак твою!..

Взвод тоже орал. Я не сразу поймал глазами самолет и закричал вместе со всеми: он кривобоко тянул на запад, пачкая небо серым, бугристым следом дыма. По нему бил теперь весь батальон, и я не знал: как же мне доказать Калачу, что разведчика подбил мой взвод? Он может и не поверить...

Я выстроил взвод позади окопа и скомандовал:

— Старший сержант Васюков! Три шага вперед!

Он вышел строевым шагом и стал «смирно».

— За проявленное мужество и находчивость при уничтожении вражеского самолета старшему сержанту Васюкову от лица службы объявляю благодарность!

И тогда с Васюковым что-то случилось. Он насупился, покраснел и ответил чуть слышно:

— Служу... служу Советскому Союзу...

С ума сошел! Разве можно отвечать таким тоном, да еще перед строем! Я повторил благодарность, а Васюков взглянул на меня плачущими глазами, махнул рукой и пошел в строй, как больной.

Очумел мужик! Я распустил строй и кивнул Васюкову, чтобы он остался на месте. Он и в самом деле плакал. Не по-настоящему, а так, одними глазами.

— Ты чего? Обиделся за вчерашнее? — спросил я.— Нашел тоже время... сводить личные счеты!

— Да нет,— сказал он и высморкался в полу шинели.— Это я так... Подперло что-то под дыхало... Сам посуди: летают как дóма... Почти половину России захватили, а мы...

— Да ты же подбил его, чудак! — сказал я.

— Конечно, подбил. А где? Под самой Москвой? А, как будто ты сам не понимаешь!.. Выпить бы сейчас, а?

— Ты... извини, пожалуйста, за вчерашнее,— попросил я.— Ладно?

— Ладно, за тобой останется... На свадьбу только позови,— полушутя-полусерьезно сказал он.

Я напрасно беспокоился: самолет был учтен за нашим взводом. Капитан Мишенин вынес нам с Васюковым благодарность. Мне вроде бы не за что, но старшим возражать не положено.

А день выдался как по нашему с Маринкой заказу. Впервые хорошо и глубоко проглядывалось поле впереди ручья. Оно поднималось наизволок, и почти на горизонте виднелись сквозные верхушки деревьев и пегие крыши построек. Справа, где у нас не было соседей, голубел лес. Он тянулся по пригорку и чуть ли не вплотную подступал к тому, еле видимому селению. Временами оттуда прикатывались к нам невнятные орудийные выстрелы и широкие, осыпающиеся гулы. У нас это никого не тревожило — даже синиц. Они густой стайкой сидели на проволочном заграждении — и хоть бы что.

Я все время был в окопе. Васюков давно ушел на батальонную кухню. Оттуда он должен был зайти в знакомую хату насчет выпивки. Для этого я дал ему пару своего запасного фланелевого белья. Вернулся он немного выпивши — не утерпел человек.

— Полный порядок! — доложил.— Есть кусок сала и полная писанка... А на кухне достал пару банок трески в масле. Хватит, я думаю. Хлеб-то там найдется?

— Не знаю,— сказал я.

— Как же так? Зять, а положение тещи не знает! Ты хоть видел ее?

— Один раз.

— И как она к тебе?

— Так себе...

— Не понравился, выходит?

— Война. Сам понимаешь...

— То-то и оно! И не крути-ка ты, командир, девке голову. Слышишь? Она же своя. Русская... И честная, видать...

— Старший сержант Васюков! Кто тебе помог подбить самолет и первый вынес благодарность? — спросил я.

— Ну, ты.

— Не «ну, ты», а младший лейтенант Воронов! И я запрещаю тебе обсуждать его действия, потому что

он малый хороший, а не какой-нибудь там пьяница, как некоторые.

— Ясно. А выпить хорошему малому не хочется?

— Хочется. Но надо подождать до вечера.

— Тогда отнеси все туда. А то у меня такой настрой, что могу не вытерпеть. Самолет все-таки подбил я.

Мы сошли к ручью, и там в кустах краснотала я забрал у Васюкова писанку, консервы и сало. «Приду,— думал я,— положу все на стол и скажу: вот бойцы, командиры и политработники нашей части прислали подарок... на день рождения вашей дочери... Нет, это глупо. Скажу что-нибудь другое...»

На дворе я увидел Кольку, и он еще издали сказал:

— Хочешь поглядеть, сколько у нас крови?

— Где? — испугался я.

— В сарае. Маринка петуха зарезала. Варится уже...

У меня больно и радостно ворохнулось то знакомое чувство благодарности и преданности к Маринке, которое я испытывал тогда в амбаре, когда подарил ей сахар, и я схватил Кольку и поднял на руки. У него соскользнули на снег валенки — велики были, и, когда я присел и стал обертывать его ноги ситцевыми ветошками, на крыльцо вышла мать.

— Ну чего ты залез к чужому человеку? Маленький, что ли! — кринула она Кольке.

— Я не залез, это он сам,— ответил Колька.

Я поздоровался с матерью по команде «смирно». Она велела Кольке идти в хату и скрылась в сенцах.

— Позвать Маринку? — сочувствено посмотрел на меня Колька.

— А мать не заругается? — спросил я.

— Что ты! Она уже ругалась. За петуха...

Маринка выбежала в одном платье. Я снова будто впервые увидел ее — невообразимую, с громадными черными косами, со свадьбой в глазах. Я взглянул на них, как на солнце, и сказал:

— Принес вот кой-чего...

Я начал доставать из карманов сало и консервы, а Маринка оглянулась на хату и схватила меня за руки.

— Не надо сейчас, спрячь скорей! Лучше вечером... И не говори ничего маме... Потом я скажу ей про все сама...

— Я очень не нравлюсь ей? — спросил я.

— Она же не зна-ает, какой ты...

Первый раз в своей жизни я поцеловал тогда руку девушке. Маринка ахнула, вырвала руку (она пахла палеными перьями) и почти гневно сказала:

— Ну зачем ты так? Что я тебе, чужая?!..

Этот день и угас ярко — солнце закатывалось чистым, малиновым, и оснеженное поле за ручьем тоже было малиновым, жарко сверкающим. На нем, прямо перед нашим окопом, колготилась большая стая ворон и галок. Васюков сказал, что это они к морозу рассаживаются на ночь на земле.

— Они всегда это чувствуют,— сказал он.— А вообще ворона ни к черту птица. Несчастье вещует, яички соловьиные пьет...

Он оглядел горизонт, потом долго прислушивался, обратив на запад левое ухо, хотя там ничего не было слышно, кроме заглушенного пространством, еле различимого моторного гула.

— Ну, что ты слушаешь? Там фронт,— сказал я.

— Думаешь, фронт? — странно спросил Васюков.

— А что же?

— Черт его знает. Может, просто немцы одни...

— Не распространяй в тылу панику,— сказал я.— Лучше обернись назад.

За селом и над ним проникновенно-обещающе зеленело небо, и на нем уже высеивались желтые просинки звезд. Оттуда, с северо-востока, тянуло подвальным холодом, и редкие белесые дымки, выползавшие из труб сумеречных хат, манили к уюту, огню и разговору шепотом.

Васюков оглядел все это — небо, село, витые столбики дымов — и, повернувшись ко мне, сказал:

— Слушай, Сергей. Ты давай справляйся без меня. Ладно? Я, понимаешь, не могу так... обманывать девку на глазах у матери!..

Что можно было ему ответить?

Хату освещала знакомая мне по амбару «летучая мышь». Из окон выпячивались разноцветные узлы-затычки. Стол был подвинут к печке и застлан чем-то новым, большим и белым, простыней, наверно. Около него сидел и томился Колька, одетый в свежую рубаху.

Мать стояла в проходе чулана с полотенцем в руках. В ситцевом белом платьишке Маринка шла ко мне от окна, напряженно глядя перед собой и закинув назад голову. Все это в единый миг я вобрал в себя глазами и сердцем, стоя у дверей навытяжку. Я по-военному, чересчур громко поздоровался, и мать не ответила, а Колька засмеялся. Маринка сказала: «Здравствуйте»,— и попросила проходить вперед. Я шагнул к столу, положил на него консервы, сало и писанку и сказал матери:

— Извините... тут вот наши бойы прислали вам... на день рождения.

Она усмехнулась, взглянула искоса на Маринку и сказала:

— Что ж, спасибо им... Садитесь, гостем будете.

— Раздевайтесь, пожалуйста,— предложила Маринка.

— Холодно же у нас,— сказала мать.

Но я снял шинель, и когда вешал ее у дверей, то чувствовал, как люто горит мой затылок,— наверно, от него можно было прикурить. Я долго возился с шинелью, придумывая, что бы такое еще сказать матери, когда обернусь, и вдруг вспомнил — никому не нужное тут,— и пошел к ней мимо испугавшейся Маринки.

— Извините,— сказал я,— вы случайно не знаете, за что сидел хозяин четвертой хаты с краю?.. Маленький такой?

Я спросил с таким видом, будто именно это и привело меня сюда, и мать посмотрела сперва на меня, потом на Кольку.

— Маленький? Не знаю,— оробев, ответила она.

— Это, наверно, Устиночкин Емельян,— обрадованно сказала Маринка.— Он недавно только вернулся.

— У него еще дочь некрасивая такая... Вроде она плачет все время,— напомнил я.

— Это Мотька,— засмеялась Маринка.— А отец ее сидел за Северный полюс... Помните, когда папанинцев спасали? Ну вот, тогда у нас проходило общее собрание. Уполномоченный из Волоколамска проводил. Насчет героизма. И другие про героизм да про героизм... А Емельян на взводе был... Встал да и болтнул: пусть бы в нашем колхозе перезимовали. И все. А на третий день его забрали...

Я мысленно увидел Емельяна на собрании — он, конечно, сидел с цигаркой возле дверей, маленький, в большой заячьей шапке,— вспомнил его ответ Крылову, когда тот спрашивал, за что он «отбывал», и захохотал. Глядя на меня, заливался Колька, смеялась Маринка, улыбалась, хоть и невесело мать, и, когда я кое-как спросил, в какой шапке был на собрании Емельян и Маринка ответила: «В заячьей»,— я уже не мог стоять и повалился на скамейку...

Так злополучный Емельян и этот мой нечаянный, бездумный смех помогли мне в тот вечер: у Маринкиной матери оттаяли глаза; она взглянула на меня уже без прежней настороженной отчужденности.

— Родители-то хоть есть у вас? — спросила она.

Минут через пять мы сидели за столом. На нем стояли миска с огурцами и тарелка с петушатиной. Нам с Колькой мать положила ножки. Я откупорил писанку и наполнил три стакана изжелта-сизым самогоном. Мы с Маринкой взглянули друг на друга и разом встали.

— Давайте,— начал я не своим голосом,— выпьем за...

Я не знал, что нужно сказать дальше, и взглянул на Маринку. Она неуловимо повела головой — «Не говори!» — и в это время мать сказала:

— За то, чтобы все вы живы остались...

У нее навернулись слезы, и к самогону она не притронулась, а мы с Маринкой выпили свой до капли. Мать удивленно посмотрела на Маринку и спросила почему-то не ее, а меня:

— С ума она сошла, что ли? Сроду не пила, а тут целый стакан выдуганила!

Я почувствовал, как хорошо, ладно и нужно улегся в мою душу этот обращенный ко мне вопрос, и, подстегнутый радостью сближения со всеми и всем тут, сказал:

— Больше она у меня не получит!

В мой сапог под столом трижды и мягко торкнулся Маринкин валенок — «Молчи, молчи, молчи»,— но мне уже не хотелось молчать. Я оглядел затычки в окнах и сказал:

— Завтра вставлю стекла. Найду где-нибудь и вставлю...

Мать ничего не ответила и вдруг прикрикнула на Кольку, чтобы он не таращился. Маринка резко толкнула мою ногу, и я запоздало понял, что о стеклах сболтнул зря.

— Мам, а он тоже Воронов,— сказала Маринка.

— Теперь, дочка, все вороны... все с крыльями. Нынче тут, а завтра нету! — назидательно ответила мать и поднялась из-за стола.

Я тоже встал, завинтил пробку на писанке и пошел за шинелью. «И пусть. Подумаешь! И не надо! И нечего меня провожать»,— думал я, неведомо за что разозлясь на Маринку и прислушиваясь к ее шагам, шуршашим по полу хаты.

Я оделся, и когда обернулся для прощания, то лицом к лицу увидел Маринку в телогрейке и шали.

— Чтоб недолго! — приказала ей мать.

Во дворе Маринка приблизила ко мне свое лицо, и я увидел, что она готова заплакать. Я поцеловал ее в глаза, и она всхлипнула и спросила растерянно, обиженно:

— Мы уже поженились? Больше ничего?

Я взял ее за руку, и мы побежали «к себе», к амбару. Мы бежали молча, и под шинелью у меня звонко булькала писанка, и с каждым шагом больно разрасталось мое сердце, набухая ожиданием чего-то неведомо, неотвратимо зовущего и почти страшного.

На промерзло-гулком крыльце амбара мы зашли в сумеречный угол, и я загородил собой Маринку от ветра и взял в ладони ее лицо. Оно было горячее и мокрое.

— Ну чего ты плачешь? Дурочка, ворониха моя...

— Я же... У меня же ключи от амбара,— напевно сказала Маринка и заревела по-детски, в голос.

Я опустился на корточки, обнял ее круглые, испуганно вздрагивающие колени и стал утешать и придумывать для нее слова и названия, не существовавшие в мире. И когда слова иссякли и голос мой стал чужим, толстым и хриплым, я поднял Маринку на руки и понес домой. Я часто спотыкался на огородных грядках, и каждый раз затихшая Маринка поднималась и становилась так, чтобы мне удобнее было снова взять ее на руки...

Во дворе мы молча и трудно расстались, и я побежал к себе в окоп. Западный горизонт был уже не малиновый, а чугунно-серый, остылый, и там, где днем проступали верхушки деревьев и крыши построек, в небе вдруг расцвели и падуче рассыпались две большие мертвенно-зеленые звезды.

В окопе дежурили два отделения. Не взглянув на меня, Васюков сказал отрывисто, зло:

— Видал ракеты? Это не наши.

Минут пять спустя я получил приказание капитана Мишенина привести взвод в боевую готовность...

Вороны так и просидели всю ночь в поле. Они начали колготиться, когда уже совсем развиднелось, но с места не снимались, и Васюков сонно и брезгливо сказал:

— Шарахнуть бы по ним залпом, что ли!

Я не успел ответить ему: воронья стая взгаркнула и разом взмыла двумя косяками, будто расчлененная ударом кнута, и через наш окоп с гнетущим воем перелетела мина. Она взорвалась недалеко от Емельяновой хаты. Мы все пригнулись и тут же выпрямились, но в поле за ручьем возникли тонкие жала новых запевов, с каждым мигом нарастающих, проникавших в душу мятным холодком страха. Мины взрывались где-то в глубине дворов, но мы кланялись полету каждой. Я стоял в окопе спиной на запад — для меня все мины попадали в Маринкину хату,— и бойцы тоже обернулись лицом к селу. Только Васюков все время смотрел в сторону немцев. Не оборачиваясь, он сказал мне ворчливо, тоном старшего:

— Ну чего ты переживаешь? Она давно сидит в погребе... И вообще мина пробивает только крышу, а потолок не берет, ясно?

Я обернулся к западу, и то же самое взвод проделал как по команде. По склону поля слепяще сиял снег,— солнце взошло по-вчерашнему, и мы опять отчетливо увидели вдали фиолетовые верхушки деревьев и приплюснутые крыши построек.

— Оттуда бьют,— раздумчиво сказал Васюков.— Что, если из ПТР садануть по ним, а? Тут, пожалуй, не больше трех километров.

Он, конечно, и сам понимал, что противотанковое ружье — не гаубица, но мы же были пехота!

— Давай садани,— сказал я, и, когда он с Крыловым устанавливали ружье на бруствере окопа, оно, после вчерашнего случая с самолетом, показалось мне грознее и таинственнее, чем было на самом деле.

При выстреле приклад резко отталкивал Васюкова, и он каждый раз произносил одно и то же ругательство, а бойцы натужно крякали, не то разделяя с ним толчок, не то прибавляя этим вес крохотному снарядику ПТР. После пятого раза я махнул Васюкову рукой — хватит! Он опростал ружье от дымящейся гильзы и плюнул через бруствер, а я подумал, что гильзы нужно потом незаметно собрать и подарить Кольке.

Минный налет длился минут тридцать, затем был часовой перерыв, а потом опять обстрел и снова затишье. Ни одна мина не взорвалась вблизи наших окопов — падали в селе, и Васюков дважды еще разъяснял мне, что они не пробивают потолок хаты.

В полдень — в момент затишья — на наш «пупок» прибыли майор Калач, начальник штаба батальона старший лейтенант Лапин и капитан Мишенин. Я встретил их шагах в пяти от окопа рапортом о том, что во втором взводе третьей роты четыреста восемнадцатого стрелкового батальона никаких происшествий нет. Калач и Лапин слушали меня «вольно», а капитан Мишенин «смирно», держа правую ладонь у каски. Он поздоровался со мной за руку, глядя на меня так, будто хотел сообщить что-то по секрету, но в это время Калач сказал:

— Младший лейтенант! Слушайте меня внимательно. Сейчас вы отправитесь в разведку боем. Ваша задача — выявить в населенном пункте Немирово силы врага, разведать и зафиксировать его огневые средства и точки... Подробную инструкцию получите у начальника штаба. Ясно?

— Так точно, товарищ майор! — ответил я и спросил: — Один пойду?

— То есть как это один? — сердито сказал Калач.— Пойдете с двумя отделениями!

— Может быть, вызвать добровольцев, как мы и думали? — вкрадчиво спросил Калача Лапин. Майор кивнул, и Лапин красиво поставленным голосом про-

играл: — Внимание! Товарищи бойцы! Кто хочет добровольно пойти в разведку боем? Нужно пятнадцать человек!..

Из окопа выпрыгнул Васюков, и в наступившей тишине было слышно, как у него под шинелью звонко булькнула писанка. Он оторопело взглянул на меня, затем на Калача, и тот сразу же приказал:

— Старший сержант, останетесь здесь за командира взвода!

Васюков козырнул, четко повернулся, и невидимая на нем писанка опять вкусно булькнула, а я отвернулся, чтобы спрятать лицо.

— Есть добровольцы? — снова пропел Лапин.

Я посмотрел вдоль окопа. Бойцы занято суетились, переступая с ноги на ногу, и каждый поправлял на себе что-нибудь: ремень, противогаз или патронташ,— и у каждого был сосредоточенно-напряженный вид — вот-вот человек выпрыгнет из окопа, как только приведет на себе в порядок «вот эту штуковину». Но «штуковина» почему-то не поддавалась усилию рук,— видно, с ними боролось за что-то сердце,— и тогда Калач спросил:

— Комсомольцы есть?

Первым из окопа выкатился Васюков — на этот раз майор не остановил его, за ним готовно, разом, вышли еще двенадцать человек. Они встали рядом со мной лицом на запад, и мы все увидели Крылова. Он расслабленно вылезал из окопа, волоча ПТР, и лицо его было белым как снег. Белыми, косящими к переносице глазами он смотрел куда-то сквозь нас, во что-то далекое, неведомое и страшное. Глядя на него, я ощутил, как мгновенно отмерзли у меня пальцы ног, а в груди стало пусто и горько. Я хотел посмотреть на своих добровольцев, но не мог отвести глаз от Крылова,— я как будто видел в нем все то, за чем мы должны идти сейчас туда, на запад... Он уже подходил к нам, когда я услыхал голос Калача:

— Товарищ Крылов! Оставайтесь с ПТР на месте!

Крылов округло повернулся и зигзагами пошел к окопу, обняв ПТР...

После инструктажа нам принесли обед, но есть не хотелось. Мы сдали парторгу роты комсомольские билеты и все «личные вещи». Каждый взял десять обойм

патронов к своей винтовке, четыре противопехотные и две противотанковые гранаты. Еще нам придавался ручной пулемет. Нес его Васюков. От окопа к ручью нас провожал капитан Мишенин. Он шел рядом со мной, но смотрел куда-то вбок. Через ручей мы перешли по бревну.

— Ну, все,— негромко, хрипло сказал капитан, остановившись на берегу.— Не забыли, где минный проход? Ну, все!..

Мы пошли гуськом — впереди я, замыкающим Васюков. Справа от нас по снегу двигались наши голубые тени, и то, что они были тесно-дружные, большие, свои, действовало ободряюще, как что-то живое и нам подспорное. Минное поле кончилось в конце луга, и там, на уклоне поля, мы перестроились в развернутую цепочку. Главным своим флангом я считал левый, потому что начинался он с меня, и я укрепил его Васюковым.

— Как будем действовать, короткими перебежками или...

Он не докончил вопрос,— высоко над нами завизжали мины. Мы пригнулись все — это ведь получалось невольно,— и вот тогда я услыхал Маринкин голос. Он вонзился мне в темя, как нож, и я оглянулся и в слитно мелькнувшей передо мной панораме села увидел на пригорке взрыв и в нем летящую Маринку... Я сразу же зажмурился, отвернулся и побежал вперед, на запад, и со мной рассредоточенной, наступающей цепью побежали все тринадцать человек. У меня не было ни одной стройной, отчетливой мысли, кроме желания не оглядываться, и я тупо ощущал свое тело и не мог задержать бег — ноги работали самостоятельно. Только потом я понял, почему тогда не оглянулся: в недрах души я не верил тому, что увидел. Мало ли как может еще быть, если ты не знаешь всего до конца!.. Мы бежали долго, и, когда пошли шагом, Васюков тронул меня за локоть:

— Может, глотнешь, а?

Он совал мне писанку, а сам оглядывался назад, и я спросил:

— Ну? Что там?.. Ну, говори!

— Да там... ничего уже не видно...

— Унесли?

Ему надо было — я хотел этого — прикрикнуть на меня: «Что унесли?», или «Кого унесли?», или объяснить, что немецкие мины безвредны, но он ответил:

— Да там... все уже. Ты бы глотнул, а?

Я скомандовал «бегом», и мы бежали до тех пор, пока из-за белого гребня поля не показались верхушки деревьев.

Деревья вырастали с каждым нашим шагом, и в мое онемевшее сердце постепенно входило новое, могучее и незнакомое мне чувство, сдвигая и руша все то, что там шлаком спеклось и застыло, как уже пережитое. Нет, это не был только страх перед возможной смертью. Смерть что! Я ведь втайне «поспел» для нее в ту самую минуту, когда услыхал Маринкин голос и увидел ее парящей в сизом кусте взрыва. Тут было что-то другое, более значительное и важное — и не только мое, личное. Когда показались крыши построек, я взглянул на свой «фронт» и увидел всех бойцов сразу и каждого в отдельности: каждый шел, чуть наклонясь вперед, выставив винтовку и завороженно глядя в какую-то точку перед собой.

Немирово открылось неожиданно,— мы вышли на самый гребень поля, и сразу же над нами прекратился шелест пролетающих мин. Наступила какая-то неверная тишина — даже снег не скрипел под ногами: мы все замедляли и замедляли шаги, и я заметил, что сам иду как по бревну через ручей, ставя ногу на носок. Наша цепочка сузилась — мы сошлись поплотнее и двигались в створе широкого каменного здания, обращенного к нам глухой стеной. Вдоль нее суетились, готовясь к чему-то, маленькие серые люди.

— Ну, как будем? Перебежками или так? — не спросил, а прокричал Васюков.

И тогда я оглянулся назад. Я искал не Маринку. Я хотел только знать, видят ли нас свои, не идут ли они следом,— нельзя же нам больше оставаться тут одним!.. Но я увидел лишь свои следы на снегу — четырнадцать длинных и прямых пунктирных линий. Два из них — левофланговые — почти соприкасались и кое-где перебивались: это мы так шли с Васюковым.

— Как будем, говорю? — снова прокричал он мне в ухо.

Чудак, разве я знал, как нам быть? Вот если б я увидел кого-нибудь позади себя или шел сюда не в первый, а во второй раз... Если бы до Немирова оставалось немного подальше... Если бы это было ночью, а не днем... Если бы они хоть начали скорей стрелять!..

— Бег-гом! — скомандовал я, и мы побежали, но не споро, почти на месте, и каждый высоко подбрасывал ноги и ставил их крепко и сильно, зарывая в снег, и я знал, для чего это делалось: чтобы быть пониже.

Мы бежали, а немцы не стреляли. Они накапливались вдоль стены каменного здания, возле деревьев и в поле. Их было много. Они размахивали руками, смеялись и что-то кричали нам. Я различал уже лица, не виданные до того автоматы, широкие раструбы чужестранных сапог. Я хорошо видел трех офицеров, стоящих впереди остальных: они рассматривали нас в бинокли. Я бежал и коротко взглядывал раз влево, раз вправо, — на своих, раз вперед — на немцев. У моего левого локтя топотал и булькал писанкой Васюков. Пулемет он нес, как кол. Справа с запасными дисками к РПД утиной перевалкой бежал красноармеец Перемот, уралец-старовер с маленькими черными глазами ворожуна. Еще в Мытищах Крылов доложил мне, что Перемот верующий, — крестик носит латунный. Я сказал тогда, что приму к нему меры, но так и не принял...

Немцы не стреляли и не кричали, упокоив руки на автоматах. Может, по моей команде, а может, и без нее мы изменили тогда направление, забрав правее каменного здания, туда, где немцев было поменьше. Мы бежали молча, тесной кучей, и эта живая, своя теснота была единственной нашей защитой и поддержкой.

— Сереж! Не надо дальше... Перебьют же! Хватит! Я и так все вижу... Все дочиста! Сереж!..

Это кричал мне Перемот, занося поперед моих ног пулеметные диски и заглядывая мне в лицо не черными, а белесо-льдистыми глазами. Эти чужие у него глаза, диски у меня под ногами, заклинающий шепотный крик, произнесенное имя мое, а не чин; эта наша братская сутолочь и предказневая тишина у немцев заставили меня скомандовать: «Ложись». Мы рухнули,

как бежали,— кучей. Перемот протянул руку в сторону Немирова и бредово заговорил:

— Вот тут, за сараем, ихние минометы... Восемь штук. Четыре, значит, больших и четыре маленьких...

— Полковые и батальонные,— раскосо глядя мне в лоб, сказал Васюков.

— Во-во! — подхватил Перемот.— А вон там, под ракитами, танки... Кажись, девять.

— Семь,— торопливо сказал Васюков.

— Пушек вроде не видно,— самозабвенно, на одной ноте твердил Перемот,— стало быть, это пехота. Числом тыщи полторы, а может, чуть побольше...

— Полк,— сказал я Васюкову, и он кивнул.

Это заняло у нас не больше тридцати секунд времени,— мы разговаривали на крике, и у нас было полное взаимодоверие. Я уже знал, как нам быть и что делать. Мы сейчас рванемся назад, но не так, как бежали сюда, а по-другому — как убегают от смерти двадцатилетние, а пока немцы одумаются и поймут, зачем мы сюда приходили, мы достигнем гребня поля. Там мы откроем по ним огонь. Они тоже начнут тогда стрелять, и у них будет убито человек девять, а у нас никого!.. Нет, у нас должны быть раненые, но совсем легко и не много — трое. Больше я не хотел для капитана Мишенина, а меньше для майора Калача — иначе он ничему не поверит...

Мы с Васюковым поднялись одновременно, и я приказал отход, но в это время немцы загалдели и двинулись к нам толпой, будто шли поглазеть на что-то диковинное и несуразное. Трудно сказать, кто первый лег снова лицом к ним — я или Васюков, но думаю, что он, потому что я не услыхал своих пистолетных выстрелов: их заглушил васюковский пулемет. Я стрелял не целясь, так как мне приходилось то и дело оглядываться и кричать своим, чтобы они скорей уходили. Последняя моя команда совпала с разрывом небольшой мины метрах в пяти позади нас с Васюковым. Я увидел приземистый буро-огненный кустик разрыва, заслонивший убегавшего Перемота. И тут же я увидел над собой рот Васюкова, раскрытый в беззвучном крике...

Я лежал на левом боку. Зрячим у меня был только левый глаз — на правый сбилась шапка, и левым глазом из-под низу я видел солому и опрокинутые веялки. Они не могли оказаться возле меня даром, и я не мог зазря очутиться тут с ними, и о том, как это произошло, лучше было не думать. Я помнил все — от парящей Маринки до убегающего Перемота, а дальше мне ни о чем не хотелось вспоминать. Я лежал и боялся узнать, отчего мне трудно дышать и чем забит мой рот. Я попытался сплюнуть, но что-то застряло в гортани, и тогда я потянулся рукой ко рту и вытащил темно-розовый длинный шматок. Я зажмурился и второй рукой сунулся в рот. Язык был цел. После этого я откинул от себя то, что достал изо рта, и оно шлепнулось на солому где-то рядом. Я подождал и ощупал петлицы. Кубари были на месте. Оба. Тогда я перевалился на спину, и мне открылось и явилось все сразу — боль в спине и где-то внутри, отсутствие ремня и пистолета, пологие заиндевелые стропила, опирающиеся на плотные каменные стены, мысль, что я в плену и лежу в немировском сарае...

Прямо надо мной в крыше сарая светились пять продолговатых, узких щелей. Края серой дранки в этих местах были желтые, свежие. Это, наверно, Васюков просадил тогда из противотанкового ружья. Высоко брал!.. Я заплакал, и ртом пошла кровь. В щели осыпалась снежная пыль. Я раскрыл рот, высунул язык, и кровь прекратилась. А Васюков все же высоко брал. Надо б ниже...

Мне нельзя было ни о чем думать — тогда начинала идти кровь, но щели все время были перед глазами, и Васюков с Маринкой тоже, и капитан Мишенин, и мой взвод, и Колька, и я сам...

Под вечер я увидел Васюкова. Он сидел у меня в ногах, спиной ко мне, и раскачивался взад и вперед, будто молился. Я лежал и не шевелился: даже если это и не на самом деле Васюков — все равно пусть сидит. Потом, может, увижу еще кого-нибудь...

А Васюков все раскачивался и раскачивался. Я бы мог тронуть его носком сапога — рядом сидит. У него на шинели не было почему-то хлястика, и горб смеш-

но топорщился и ломался. Интересно, пропадет Васюков, если взглянуть на щели в крыше сарая? Я посмотрел на них — они посинели и померкли, — перевел взгляд и опять увидел Васюкова. Как и до этого. Он сидел и что-то грыз. Раскачивался и хряпал.

— Коль, — позвал я.

Васюков дернулся и оглянулся, и я увидел в его руке бурак. Он выронил его в солому и на коленях полез ко мне. На его шапке не было звездочки, а в петлицах треугольников. Нос у него был большой, не его, и сидел на боку. Васюков! Живой Васюков... Он примостился слева от меня и молча поправил на мне шапку.

— Всех? — спросил я.

— Лежи, — сказал Васюков. — Кроме нас да Перемота — никого. Сволочи, бросили...

— А где Перемот?

— Остался там. Да он и не пикнул.

Я подумал, что все вышло так, как я хотел: троих. Троих вполне хватит для майора Калача. А куда же попало Васюкову? По носу только? Нос у него совсем сидел на боку, а серый пух вздыбился на щеках и даже завился колечками. Отрос за время разведки боем, что ли?

— Куда тебе попало? — спросил я.

Васюков полуотвернулся от меня и назвал место, какого у него не было. Он сидел и раскачивался взад и вперед. Я положил свою руку на его колено и спросил:

— Меня в спину?

— Наискось... А под мышкой выскочил.

— Осколок?

— А то хрен, что ли!

— Большой?

— Фатает! — сказал Васюков и выругался в прахриста. — Ну что будем делать, а? Если б ты мог бечь! Кура пошла, фрицы все по хатам сидят...

— Давай сматывайся один, — сказал я. — Мне все равно хана.

Васюков наклонился ко мне и проговорил в глаз:

— Да там и рана-то с гулькин нос. Дня через три присохнет — и все!

Это Васюков врал. Зачем же он говорил об осколке, что его хватает? Для чего хватает? А запекшаяся кровь, которую я вытащил изо рта? Про рану он врал, но это

было то, что я всем телом хотел от него услышать. Конечно ж, она с гулькин нос и через три дня присохнет. Присохнет — и все!..

...От края и до края земля засеяна красным маком. Махровые цветы растрепаны и повернуты головками в одну сторону — к маленькому багровому солнцу, встающему над горизонтом. Стебли мака не стоят на месте. Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный поток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь надо открыть веки. Так продолжалось, пока я снова не увидел Васюкова. Он наплыл на меня лохматым пятном, спросил: «Может, пить охота?» — и пропал в темноте сарая за веялками. Через некоторое время он вернулся и дал мне большой серый комок снега. Снег вонял махорочным дымом и ружейным маслом, и в нем то и дело попадались остья ржаных колосьев. Как только я съел его, Васюков сказал:

— Главное — ночь протянуть. Если теперь очухаешься, значит — все! Ты не рассолаживайся.

Я не рассолаживался. Я не чувствовал никакой боли и только мерз. Васюков захватил беремя соломы, навалил ее на меня и сам подлез ко мне с правого бока. Он отыскал мою руку и притих — пульс щупал. Я понимал, что он только Васюков, старший сержант и больше ничего, но под шапкой у меня начали выпрямляться волосы, — я ждал, что он скажет — останусь жив или... Он не дышал, не отпускал мою руку и молчал, и я отодвинулся от него и спросил как в то утро, когда он бил с моего плеча по самолету:

— Ну?!

— Как молоток, — сказал Васюков, и мне сразу стало жарко и хорошо.

В соломе возились и попискивали мыши, и от этого тоже было хорошо. Я подумал о маме, о Мытищах и обо всем, что потом было.

— Ты видел их? Вблизи? — спросил я Васюкова про немцев.

— Полк,— сказал он.— Все точно. Девять танков, шестнадцать минометов. Вот тут, за сараем стоят... Надо было драпать тогда, и все. А теперь вот...

Он снова ругнулся в прахриста и замолчал. Мне хотелось знать про немцев, про то, что они сделают с нами, я попытался опять:

— Ты видел их? Какие они?

Васюков не ответил и через некоторое время спросил сам:

— Не знаешь, что по-ихнему петролеум означает?

— Кажется, керосин,— сказал я.— А что?

— Писанку, понимаешь, отобрали. Допрашивали, что в ей такое...

— А ты что?

— Самодельная водка, мол.

— Ну?

— Да ничего. Пить заставили... А после один там хрен моржовый закричал: «Петролеум!» — и ударил пустой писанкой.... Да мне и не больно было,— сказал Васюков.

Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе, и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал:

— Зря валенки тогда не оставили. Крылов, курва стукнул... Между прочим, тут бураки есть. Цельная куча.

Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому.

Васюков почти лежал на мне и дышал в мое ухо протяжно и глубоко — не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать — соображал, наверно, потом сказал:

— Да на вид они как мы. Одежа только не наша... Зараз бы валенки пригодились. Крылов, курва, испортил все...

Когда ты не знаешь, о чем надо думать,— заживет ли рана и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину навылет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или Калач назначит взводным курву Крылова, кто напишет про тебя матери — Лапин или капитан Мишенин,— лучше б Мише-

нин, потому что письмо у него получится длинней и мать не сразу начнет плакать,— когда ты не знаешь, об этом или о многом-многом другом надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами и вот-вот ринешься вниз и взорвешься миной.

— Ты не спишь? — хриплым полушепотом спросил Васюков.— В наступление, наверно, пошли. Чуешь?

За стенами сарая ревели немецкие танки.

— Может, забудут про нас, а?

Васюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно, разом, начали углубляться-вдавливаться в солому. В ней внизу непуганно и занято шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами,— может, не заметят. Но как только танки двинулись и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали ногами на запад — это я определил еще раньше по исходу щелей в крыше сарая, просаженных Васюковым из ПТР, и грохот танков постепенно иссяк впереди нас, на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали: они — вдвоем, видать,— лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами.

— Русен, во зайд ир? Ауфштеен! Шнель!

Говорил один, а второй чему-то смеялся — негромко и нестрашно, как русский. Я знал, что означало слово «ауфштеен», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверно, не мог сразу перестать чурюкать — ровно и напорно, как из спринцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами: «Ауфштеен!» — и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ним одновременно полезли из соломы — я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица, в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот, я уви-

дел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие и широкие. Я не стал поднимать голову, чтоб не встретиться с немцами одному, без Васюкова, а он запутался в распущенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким, тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на петлицы. Я машинально поднял руку к кубарям и ощупал их — сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом — о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей; что они, наверно, наши с Васюковым ровесники, но что я выше их ростом; что они пришли в сарай так, зачем-нибудь, потому что смеялись; что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать!.. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого, зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем, голодно-моровом у нас на Курщине, году мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо, и я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке набекрень и с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, расставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полунаклонясь, коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукне воротника,— еще в Мытищах я прикрутил кубари так, чтоб держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в косо сведенных на него глазах, а гайка

не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с «мясом», но очкастый крикнул: «Найн!» — и я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми, эмалевыми и серебряными знаками отличий не известных нам с Васюковым армий, а на второй кровенилась одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно — между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго...

Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себе автомат, я снова взглянул на коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил: «Найн» — и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова.

— Вильст раухен?

Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал: «Битте» — и протянул маленькую, на пять сигарет, голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, и я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубых коробки и три чужих руки,— глаза заплакали сами, без меня. Васюков почти вплотную притянул голову к руке немца — разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что мне нельзя закуривать, но коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и, когда я потянулся к ней, Васюков сказал: «Не дури!» — и забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого: тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным красным пальцем, будто подзывал. Васюков вопрошающе глянул на меня, блаженно дымя из обеих ноздрей.

— Он, наверно, требует мою сигарету,— сказал я.— Отдай скорей!

— Вот же ж падла! — тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней.

Очкастый, склонился еще ниже, выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на васюковский набрякший кулак и сказал: «Шайзе». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе...

Они ушли и заперли ворота на засов.

Мы остались вдвоем.

На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки — по одному галуну на каждом рукаве...

Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но неглубоко, потому что это не имело уже смысла. Васюков прикурил от своего окурка «мою» сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки.

— Как вата, — сказал он и цыкнул через зубы куда-то вверх.

Я промолчал.

— Тебе ж все равно нельзя было, — проговорил он.

— Ладно, — сказал я. Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота. В Немирове тоже было тихо.

— Могут и не перейти, — немного сгодя сказал Васюков. — Она ж как-никак обрывистая. И вода там как-никак есть...

Он говорил про канаву-ручей впереди наших окопов, и я напомнил о минном поле, о ПТР и о проволочном заграждении. Как-никак колья стоят. Они ж теперь вмерзли и... мало ли!

— Понятно, что вмерзли! — сказал Васюков.

Он опять цыкнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную.

— Слушай, Сергей, — заговорил он и оглянулся на веялки. — Я вот чего не пойму... Скажи, а куда ж делись наши танки?! И самолеты? А? Или их не было? Понимаешь, ить с одними ПТР да с пол-литрами... Ну ты же сам все знаешь!

Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб, и спросил Васюкова:

— Про что это я знаю?

Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться.

— Да я ж одному тебе только! — напомнил Васюков и опять оглянулся на веялки. — Что ж тут такого...

— Вот и помалкивай! — сказал я.

Там, у себя на воле, Васюков не спросил бы про это. Ни у меня не спросил бы, ни у себя, ни у кого другого. И я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни родине, ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про «чужую территорию» и ни про наши трудности, ни про майора Калача и ни про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое, — мало ли о чем тут захочется поговорить! Если мы тут ни о чем т а к о м не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза смелыми... и вообще тогда все будет с нами быстрей и лучше. Не надо только разговаривать тут про плохое — и все!

Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул:

— Махал я их! Слышишь? Махал!

— Кого это? — спросил я.

— Ты знаешь. Особистов твоих!.. Вот теперь взять нас... Ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как?

— Боем. Огневые точки врага, — сказал я.

— Ты не прикидывайся дурачком, — сказал Васюков. — Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам — кисло было или как?

Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать.

— Не подымай фост! — ответил Васюков. — Что, с самолета нельзя разведать, да?

— А если его нету? — спросил я.

— Куда ж он делся?

— А его и не было!

— Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех! Ну? — фальцетом выкрикнул Васюков.

Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про Перемота, про свою рану и плен и с мстительной обидой

к себе, будто я один да еще он, Васюков, виноваты во всем, сказал в солому:

— Трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет!

— Ну, это ты не свисти! — угрожающе и уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел похоронно-трудно. Я ревел в голос, с верующим причетом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же: — Кляп им в горло, чтоб голова не шаталась! Ясно? Кляп им в горло!

Он так и не придвинулся ко мне и, когда у меня не осталось ни слез, ни слов, сказал:

— Из ПТР тоже можно затокарить будь здоров! Ссадил же я «раму»? Ссадил или нет? Чего молчишь?

— Ну, ссадил, — сказал я. — Ты же с моего плеча бил.

— Конечно, с твоего!.. Капитан обещал к ордену представить.

— Потом получишь, — примирительно сказал я.

— Вместе получим, — заявил Васюков. — И носить будем поровну, неделю я, а неделю ты.

— Ладно, — сказал я, и он пошел за веялки и вернулся с двумя небольшими бураками.

В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, пощурился на веялки и дважды проговорил: «Раус». Немец не видел нас, и, когда мы зашевелились, он стащил в плеча винтовку и отступил за ворота.

— Раус! Лёс!

Я сидел и что-то искал в соломе. Я не знал ни имени ему, ни размера — что-то доступное только сердцу и без чего нельзя было встать и идти, и немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы.

— Чего он, Сереж? А?

Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом.

— Это он так, Коль! Так зачем-нибудь! — сказал я, и Васюков поспешно кивнул.

Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем-то назвал меня по имени и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливаясь, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге, и немец три-

жды и не злобно проворчал: «Лёс!» На нем низались две шинели, и нижняя была длинней верхней. Он отступил в сторону, зайдя нам в тыл, и скомандовал: «Форвертс». Мы пошли вдоль стены сарая к гряде не то ракит, не то вязов. Там виднелись большие крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать Перемот, а справа в седой дымке кучились постройки Немирова,— снег падал густой, липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя я мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступать и раза два больно задел локтем мою спину.

— Ты б поохал! — шепнул он, клонясь подо мной, и я тихонько охнул раз и второй.

— Погромче не можешь? — изнуренно спросил Васюков, и я заохал громче, а он еще ниже склонился и понес меня вихляючись, как мешок с солью.

В кузове крытой машины, куда нас стволом винтовки подсадил конвоир, лежали порожние железные бочки. За нами захлопнули дверку, и мы не стали садиться и взялись за руки...

— Надо было туда! Туда! Надо было туда!..

Мы стояли, вцепившись друг в друга, а бочки раскатывались и гремели, и Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюкову, а себе, и не одно и тоже, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало — «нас везут п о л е м!» — и мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти войне, разведке боем, немцам и самому себе!.. Машину кидало и подбрасывало, и, когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались друг на друга. Тогда Васюков замолкал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я тряс Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно — «надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок, и надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русые с завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрю-

чить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо...». Это получалось длинно, и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины, а того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл последнего в нашей жизни, я не находил. Я только тряс Васюкова и видел в темноте, как углисто блестят его глаза. Мы одновременно почуяли конец тряски, но не присели, а только подались назад, к дверке, потому что машина резко набрала скорость. Бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным звонистым гулом. Мы стояли и держались друг за друга. Машина все ускоряла и ускоряла ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог.

— На сашу́ выехали, Сереж! Чуешь? На сашу́! — сказал он так, будто мы были там, у себя.

— Ага, Коль! По саше́ едем! По саше́! — сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу,— так было ближе к своим.

Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговариваясь, сели и уперлись ногами в бочки. У меня больно и свербяще ныла спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась в меня под толчки сердца все глубже и глубже. Мне хотелось, чтобы Васюков спросил про рану,— может, полегчало бы, но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам.

— Это рубаха отлипла,— сказал он.— Давай обопрись на меня.

Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней — у Васюкова, как молоток, стучало сердце прямо в мою рану. Наверно, он догадался про это, потому что подложил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про сашу́, и я повторил за ним его фразу...

Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же «немировским» приемом держал винтовку и таким же «сарайным» голосом сказал: «Раус». Васюков полез из машины первым. Он пя-

тился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная, какая-то прозрачно-кружевная, белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки.

— Сереж! Уже все! Иди скорей!

Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал: раненого оставят в машине, а здорового поведут одного,— и толкнул его сапогом в грудь.

— Чего ты?! Иди скорей! Ну? — позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно — все вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю.— Все теперь! Уже все! — сказал он клекотно.

Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел — совсем рядом,— обындевевшую проволочную стену и зыбуче-миражные — потому что шел снег — сторожевые вышки. За ними, в далекой глубине, неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обоянские клуни. От их приплюснутых желтовато-талых крыш всходил и метался под ветром густой, радужный пар, а вокруг построек, по замкнутому кругу, текла и водопадно шумела серая, плотно сбитая толпа наших — я увидел и узнал их сразу, издали, одновременно с вышками и с проволочной стеной. Васюков тогда тоже оглянулся и увидел все сам, но я опередил его и крикнул:

— Коль! Наши! Видишь?

Он обернулся и зачем-то прикрыл мне рот ладонью. Немец пнул в нас стволом винтовки и озябло сказал: «Форвертс». За машиной у проволочной стены стояла невидимая нами до этого будка. Она тоже была белой от инея, и на часовом низались две шинели, одна короче другой. Он распахнул перед нами белые проволочные ворота, и мы с Васюковым побежали к постройкам — он впереди, а я сзади, и мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев,— тут, на виду у своих, казалось, что я вижу их в последний раз...

— Братцы! Может, скажете, где мы находимся, а? Как называется это место, а?

Васюков спрашивал это на бегу, и **н а ш и** что-то ответили перебойными голосами, и он обернулся ко мне и прокричал:

— Это Ржев, товарищ лейтенант! Ржев!..

В колонне **н а ш и х** не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалясь на плечи и спины друг другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся валообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев: тут был не один и не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено при моих серебряных галунах, на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то ссыпно-обвальный гул. Неизвестно зачем я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль.

— Товарищ лейтенант!

Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно.

— Не надо, товарищ лейтенант!

У него были белые и пустые глаза, а губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не имело смысла. Мы приблизились к колонне и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засушь, метался не то пар, не то дым. Постройки стояли попарно, метрах в тридцати одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши «клунь» вызывали почти отрадное воспоминание о немировском сарае, и я спросил у Васюкова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, и я сместил его к губам, чтоб он оттаял. Васюков подступил к крайнефланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча обледенелая и запаскуженная чем-то каска, подвязанная обмоткой. Васюков спросил его хорошо, как знакомого, и дотронулся до каски. Пленный диковато зыркнул на

него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего.

— Братики! Не давайте ему! Заступитесь, братики! — непутево заголосил он и лягнул Васюкова ногой, запеленутой в брезентовый лоскут.

В колонне заругались озлобленно и бессильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь, но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ярились крысы — много крыс, и я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверно, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже у всех, кто мог слышать:

— Граждане, не знаете, что там такое, а?

Ему никто не ответил — не знали, может, о чем он, и Васюков пожаловался всем сразу:

— У меня командира ранило!

В колонне поинтересовались, куда мне угодило, и Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли, и он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирово, и что мы попали только вчера вечером. Кто-то отточенно-тонким голосом попытал, куда переехали из Кремля партия и правительство — в Самару или в Куйбышев, но Васюков этого не знал. Он, наверно, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, но мне хотелось лечь, а не охать, и я подогнул колени.

— В гроб мать! В сараях, говорю, что? — на крике спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили:

— А то не сараи. То склады «Заготзерно».

— А теперь что там?

— Раненые да тифозники... Там, брат, жи-изня! Там крыша и нары небось! — распевно и завистливо сказал кто-то.

Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отрадно лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топырилась щеткой и была белой, как у святого на картине,— обындевела.

Он подождал, чтобы я полежал немного, потом присел передо мной на корточки.

— Все. Там, вишь, нары. Ты не рассолаживайся.

— Да я не рассолаживаюсь,— сказал я.— Полежу тут, и все пройдет. Ладно?

— В складе лучше пройдет. Там нары и крыша... Давай руки! — приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога.

Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная, обшитая просмоленными досками стена, а под ней навально-раздерганная поленница, отсвечивающая иссиня-белесым и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова — от них всегда не то дым, не то пар, но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад, к колонне. Он крикнул, чтобы я не рассолаживался, и выругался в бога. Он семенил, склонясь почти до самой земли, оттого и не видел того, что различал я.

— Там мертвецы лежат! Голые! — сказал я под свои пинки ему в зад, и Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая:

— Сиди! Сиди!

У поленницы он споткнулся и выпустил мои руки.

Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими белыми глазами, и он прокричал большим белым ртом:

— Это они от тифа, понял? Раненых тут ни одного нету!

Справа, метрах в тридцати, топотала и гудела, минуя нас, колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услыхал — голоса не было, он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленницы мертвецов зачерпнул его ладонью.

— Смочи горло! — крикнул он.— Слышишь?

Я перевалился на живот и спрятал лицо. Васюков разговаривал со мной, как с глухим, на крике в ухо, но я слышал все — темный безъязыкий гул в колонне, какой-то неумолчно-ровный шум в складе, будто там, как

в спичечной коробке, сидел и возился обессилевший шмель, слышал и ощущал удары своего сердца — «как молоток!», — слышал шепотную, про себя, на меня, матерщину Васюкова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленницы, в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери-ворота, обросшие желтой, бугристой наледью. Через пазы створок наружу высовывались обрывки шинелей, гимнастерок, нательного белья, и пробивались вялые струи не то дыма, не то пара. Не ссаживая меня, Васюков постучал кулаком в ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбито-плотная и серая, она колыхалась и гудела в каких-нибудь тридцати метрах от нас. Васюков толкнул ворота ногой и не удержался. Мы упали плашмя, и я остался лежать, а он поднялся, разогнался и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще. То правым плечом, то левым.

— Откройте! Мать вашу в гроб! В причастие!..

Я лежал и глядел в небо. Оно все сдвигалось и сдвигалось куда-то вбок, потом понеслось на меня и оказалось нашей Обоянью, только вместо тюрьмы на площади был амбар, и Маринка взяла меня за указательный палец, и мы побежали к нему...

Это мое видение пропало, когда от колонны подошел к нам коренастый, черноликий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязной кавалерийской венгерке. Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил:

— Второй не успел сорвать, да?

Он спросил злобно, оскалив зубы, и я догадался, о чем он — о моем оставшемся кубаре.

— Сволочи! Как чуть что — амуницию в канаву и под ополченца!

— Дура еловая! Не видишь, что человек ранен? — мирно сказал ему Васюков. — Давай подмогни стучать!

— Тимоха так тебя стукнет, что костей не соберешь! — мстительно проговорил пленный и пошел к колонне.

Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще разгонялся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косо и стремительно, и я не мог уловить его ртом — тут была неветреная сторона.

— Давай руки,— сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась.

Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным, дрожащим голосом — пожилой, видно, был:

— Вы бы, ребята, поменьше пили, а побольше закусывали. А то вишь оно как получается...

Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно,— наверно, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он тут служит. В колонне молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном.

— Говорю, Тимоха кем тут у вас, а?

Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не услыхал, что ответили пленные Васюкову...

Я сидел у подветренной стены склада, рядом с тем штабелем. Наушники моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, и на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в тридцати, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, по тому, как были укрыты полами шинели мои колени и как я полусидел-полулежал совсем рядом с поленницей, я догадался, что Васюков меня бросил, а сам, может, убежал уже! Мои руки были засунуты в карманы шинели — Васюков, конечно, засунул, навсегда, перед своим уходом, и я потянул их, чтобы пощупать пульс,— сам же говорил, что он у меня как молоток, а рана с гулькин нос! Я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки — на кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки,— это тоже он, сволочь, зачем-то заправил, а сам...

Пульс бился. На обоих запястьях. Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал: ветер улегся, и небо

расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых вышек и еще рядом со мной, у поленницы. Тут он целел плотным настом, и лишь в нескольких местах в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзагообразный след. Из поленницы — и все почему-то вверх, в небо,— торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону, к колонне, стриженые обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат...

Пленный был в пилотке, натянутой чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я боднулся, и пленный побежал к колонне. Были стылые, прозрачные сумерки: над предворотной будкой в небе обозначился ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как от ворот в глубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от поленницы попятилась назад, споткнулась и заржала — трудно и длинно, и к ней тогда половодно хлынула колонна пленных...

Это продолжалось долго — смятенная поваль, крики и стоны,— а потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон, издали, и я приподнял руку.

— Тимоху искал,— рыдающе сказал он.— А после вот лошадиную легкую достал. Она совсем... теплая.

Когда я снова увидел Васюкова, месяца над предворотной будкой уже не было и колонна пленных почти не различалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал:

Ува-ува-ува-ва!
Ува-ва! Ува-ва!

Мне было жарко и хотелось пить.

От поленницы несся колокольный звон.

Потом я увидел, как Перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечо к плечу, и у него влажно

и сладко булькала под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по немировскому полю — красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья — там же минное поле! — стоял и ждал нас по команде «смирно» капитан Мишенин, и я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным, большим, круглым словом доложил ему обо всем сразу — о числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немца с ромбом, шпалой и моим кубарем, о растерзанной пленными трехногой белой лошади и поленнице...

1961

УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ

...Нам свои боевые
Не носить ордена,
Вам все это, живые,
Нам — отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,—
Вы должны его знать,
Вы должны были, братья,
Устоять, как стена,
Ибо мертвых проклятье —
Эта кара страшна.

А. Твардовский

1

Учебная рота кремлевских курсантов шла на фронт. В ту пору с утра и до ночи с подмосковных полей не рассеивалась голубовато-призрачная мгла, будто тут сроду не было восходов солнца, будто оно навсегда застряло на закате, откуда и наплывало это пахучее сумеречное лихо — гарь от сгибших там «населенных пунктов». Натужно воя, невысоко и кучно над колонной то и дело появлялись «юнкерсы». Тогда рота согласно приникала к раздетой ноябрем земле, и все падали лицом вниз, но все же кто-то непременно видел, что смерть пролетела мимо, и извещалось об этом каждый раз по-мальчишески звонко и почти радостно. Рота рассыпалась и падала по команде капитана — четкой и торжественно напряженной, как на параде. Сам капитан оставался стоять на месте лицом к полегшим, и с губ его не сходила всем знакомая надменно-ироническая улыбка, и из рук, затянутых тугими кожаными перчатками, он не выпускал ивовый прут, до половины очищенный от коры. Каждый курсант знал, что капитан называет эту свою лозинку стеком, потому что каждый — еще в ту, мирную, пору — ходил в увольнительную с такой же хворостинкой. Об этом капитану было давно известно. Он знал и то, кому подражают курсанты, упрямо нося фуражки чуть-чуть сдвинутыми на

правый висок, и, может, поэтому самому ему нельзя было падать.

Рота шла вторые сутки, минуя дороги и обходя притаившиеся селения. Впереди — и уже недалеко — должен быть фронт. Он рисовался курсантам зримым и величественным сооружением из железобетона, огня и человеческой плоти, и они шли не к нему, а в него, чтобы заселить и оживить один из его временно примолкших бастионов...

Снег пошел в полдень — легкий, сухой, голубой. Он отдавал запахом перезревших антоновских яблок, и роте сразу стало легче идти: ногам сообщалось что-то бодрое и веселое, как при музыке. Капитана по-прежнему отделяли от колонны шесть строевых шагов, но за густой снежной завесой он был теперь почти невидим, и рота — тоже как по команде — принялась добивать на ходу остатки галет — личный трехдневный НЗ. Они были квадратные, клеклые и пресные, как глина, и капитан скомандовал: «Отставить!» в тот момент, когда двести сорок ртов уже жевали двести сорок галет. Капитан направился к роте стремительным шагом, неся на отлете хворостину. Рота приставила ногу и ждала его, дружная, виноватая и безгласная. Он пошел в хвост колонны, и те курсанты, на кого падал его прищуренный взгляд, вытягивались по стойке «смирно». Капитан вернулся на прежнее место и негромко сказал:

— Спасибо за боевую службу, товарищи курсанты!

Рота угнетенно молчала, и капитан не то засмеялся, не то закашлялся, прикрыв губы перчаткой. Колонна снова двинулась, но уже не на запад, а в свой полутыл, в сторону чуть различимых широких и редких построек, стоявших на опушке леса, огибаемого ротой с юга. Это сулило привал, но если бы капитан оглянулся и встретился с глазами курсантов, то, может, повернул бы роту на прежний курс.

Но он не оглянулся. То, что издали рота приняла за жилые постройки, на самом деле оказалось скирдами клевера. Они расселись вдоль восточной опушки леса — пять скирдов, — и из угла крайнего и ближнего к роте на волю, крадучись, пробивался витой столбик ды-

ма. У подножия скирдов небольшими кучками стояли красноармейцы. В нескольких открытых пулеметных гнездах, устланных клевером, на запад закликающе обернули хоботки «максимы». Заметив все это, капитан тревожно поднял руку, останавливая роту, и крикнул:

— Что за подразделение? Командира ко мне!

Ни один из красноармейцев, стоявших у скирдов, не сдвинулся с места. У них был какой-то распущенно-неряшливый вид, и глядели они на курсантов подозрительно и отчужденно. Капитан выронил стек, нарочито заметным движением пальцев расстегнул кобуру ТТ и повторил приказание. Только тогда один из этих странных людей не спеша наклонился к темной дыре в скирде.

— Товарищ майор, там...

Он еще что-то сказал вполголоса и тут же засмеялся отрывисто-сухо и вместе с тем как-то интимно-доверительно, словно намекал на что-то, известное лишь ему и тому, кто скрывался в скирде. Все остальное заняло не много времени. Из дыры выпрыгнул человек в короткополом белом полушубке. На его груди болтался невиданный до того курсантами автомат — рогато-черный, с ухватистой рукояткой, чужой и таинственный. Подхватив его в руки, человек в полушубке пошел на капитана, как в атаку — наклонив голову и подавшись корпусом вперед. Капитан призывно оглянулся на роту и обнажил пистолет.

— Отставить! — угрожающе крикнул автоматчик, остановившись в нескольких шагах от капитана. — Я командир спецотряда войск НКВД. Ваши документы, капитан! Подходите! Пистолет убрать.

Капитан сделал вид, будто не почувствовал, как за его спиной плавным полукругом выстроились четверо командиров взводов его роты. Они одновременно с ним шагнули к майору и одновременно протянули ему свои лейтенантские удостоверения, полученные лишь накануне выступления на фронт. Майор снял руки с автомата и приказал лейтенантам занять свои места в колонне. Сжав губы, не оборачиваясь, капитан ждал, как поступят взводные. Он слышал хруст и ощущал запах их новенькой амуниции — «прячут удостоверения» — и вдруг с вызовом взглянул на майора: лейтенанты остались с ним.

Майор вернул капитану документы, уточнил маршрут роты и разрешил ей двигаться. Но капитан медлил. Он испытывал досаду и смущение за все случившееся на виду курсантов. Ему надо было сейчас же сказать или сделать что-то такое, что возвратило и поставило бы его на прежнее место перед самим собой и ротой. Он сдернул перчатки, порывисто достал пачку папирос и протянул ее майору. Тот сказал, что не курит, и капитан растерянно улыбнулся и доверчиво кивнул на вороватый полет дымка.

— Кухню замаскировали?

Майор понял все, но примирения не принял.

— Давайте двигайтесь, капитан Рюмин! Туда двигайтесь! — указал он немецким автоматом на запад, и на его губах промелькнула какая-то щупающая душу усмешка.

Уже после команды к маршу и после того, как рота выпрямила в движении свое тело, кто-то из лейтенантов запоздало и обиженно крикнул:

— А вы, думаете, куда идем? В скирды, что ли?!

В колонне засмеялись. Капитан оглянулся и несколько шагов шел боком...

-

Курсанты вошли в подчинение пехотного полка, сформированного из московских ополченцев. Его подразделения были разбросаны на невероятно широком пространстве. При встрече с капитаном Рюминым маленький, измученный подполковник несколько минут глядел на него растроганно-завистливо.

— Двести сорок человек? И все одного роста? — спросил он и сам зачем-то привстал на носки сапог.

— Рост сто восемьдесят три, — сказал капитан.

— Черт возьми! Вооружение?

— Самозарядные винтовки, гранаты и бутылки с бензином.

— У каждого?

Вопрос командира полка прозвучал благодарностью. Рюмин увел глаза в сторону и как-то недоуменно-неверяще молчал. Молчал и подполковник, пока пауза не стала угрожающе длинной и трудной.

— Разве рота не получит хотя бы несколько пулеметов? — тихо спросил Рюмин, а подполковник сморщил лицо, зажмурился и почти закричал:

— Ничего, капитан! Кроме патронов и кухни, пока ничего!..

От штаба полка кремлевцы выдвинулись километров на шесть вперед и остановились в большой и, видать, когда-то богатой деревне. Тут был центр ополченской обороны и пролегал противотанковый ров. Кособрывистый и глубокий, он тянулся на север и юг — в бескрайние, чуть заснеженные дали, и все, что скрывалось впереди него, казалось угрожающе-таинственным и манящим, как чужая неизведанная страна. Там где-то жил фронт. Здесь же, позади рва, были всего-навсего дальние подступы к Москве, так называемый четвертый эшелон.

2

В северной части деревня оканчивалась заброшенным кладбищем за толстой кирпичной стеной, церковью без креста и длинным каменным строением. От него еще издали несло сывороткой, мочой и болотом. Капитан сам привел сюда четвертый взвод и, оглядев местность, сказал, что это самый выгодный участок. Окоп он приказал рыть в полный профиль. В виде полуподковы. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в ту самую пахучую постройку. Он спросил командира взвода, ясен ли ему план оборонительных работ. Тот сказал, что ясен, а сам стоял по команде «смирно» и изумленно глядел не в глаза, а в лоб капитана.

— Ну что у вас? — недовольно сказал капитан.

— Разрешите обратиться... Чем рыть?

Командир взвода спросил это шепотом. У капитана медленно приподнялась левая бровь, и от нее наискось через лоб протянулась тонкая белая полоска. Он качнулся вперед, но лейтенант поспешно сам ступил к нему навстречу, и капитан сказал ему почти на ухо:

— Хреном! Вас что, Ястребов, от соски вчера отняли?

Алексей сразу не понял смысла сказанного капитаном. Он лишь уловил в его голосе приказ и выговор,

а на это всегда надо было отвечать одним словом, и он сказал: «Есть!»

— Окоп отрыть к шести ноль-ноль! — строго напомнил капитан и пошел вдоль улицы — прямой, высокий и в талии как рюмка. Через несколько шагов он вдруг обернулся и позвал:

— Лейтенант!

Алексей подбежал.

— Взвод разместите в крайних семи домах. Спросите там лопаты и кирки. Ясно?

Взвод перекуривал у церкви. Алексей отозвал в сторонку своего помощника и отделенных и слово в слово передал им приказ капитана. Он сохранил все оттенки его голоса, когда спрашивал, ясен ли план оборонительных работ. Любой из этих пяти курсантов сразу и навсегда обрел бы в нем тайного друга, если б задал вопрос, чем рыть окоп. Тогда все повторилось бы — от хрена с соской до лопат и кирок — и горючая тяжесть стыда перед капитаном оказалась бы поделенной с кем-то поровну. Но помкомвзвода сказал:

— Рыть так рыть. Третье отделение, живо по хатам шукать ломы и лопаты, пока другие не захватили!

И через час четвертый взвод рыл окоп. Полуподковой. В полный профиль. С ходами сообщения в церковь, на кладбище и в опустевший коровник. Только на этот срок и хватило Алексею досады и горечи от разговора с капитаном. У него снова и без каких-либо усилий образовался прежний порядок мыслей, чувств и представлений о происходящем. Все, что сейчас делалось взводом и что было до этого — утомительный поход, самолеты, — все это во многом походило на полевые тактико-инженерные занятия в училище. Обычно они заканчивались через три или шесть дней, и тогда курсанты возвращались в казармы и учебные классы, где опять начиналась размеренно-скучная жизнь с четкой выправкой тела и слова, с тревожно-радостной, никогда не потухающей мечтой об аттестации. Дальше этого не избалованный личным напряжением мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определенно зримое.

В то, что он уже две недели как произведен в лейтенанты и назначен командиром взвода, Алексей верил с большим трудом. Временами ему казалось, что это

еще не взаправду, это только так, условно, как на занятиях, и тогда он тушевался перед курсантами и обращался к ним по имени, а не так, как было положено по уставу.

С еще более нечетким и зыбким сознанием воспринималась им война. Тут он оказывался совершенно беспомощным. Все его существо противилось тому реальному, что происходило,— он не то что не хотел, а просто не знал, куда, в какой уголок души поместить хотя бы временно и хотя бы тысячную долю того, что совершалось,— пятый месяц немцы безудержно продвигались вперед, к Москве... Это было, конечно, правдой, потому что... потому что об этом говорил сам Сталин. Именно об этом, но только один раз, прошедшим летом. А о том, что мы будем бить врага только на его территории, что огневой залп нашего любого соединения в несколько раз превосходит чужой,— об этом и еще о многом, многом другом, непоколебимом и неприступном, Алексей — воспитанник Красной Армии — знал с десяти лет. И в его душе не находилось места, куда улеглась бы невероятная явь войны.

Окоп был отрыт к установленному сроку. Только ход сообщения в церковь вывести не удалось: двухметровой толщины каменный фундамент уходил куда-то в преисподнюю. Помкомвзвода предложил пробить в фундаменте брешь связкой гранат, но Алексей сказал, что на это нужно разрешение капитана.

Утро наступило немного морозное, сквозное и хрупкое, как стекло. Прямо над деревней стыло мерк месяц. Первый снег так и не растаял. За ночь он слежался в тонкий и гладкий, как бумага, пласт. К ротному КП Алексей пошел по задворкам, ненужно далеко обойдя кладбище,— снег тут был нетронуто чист, и он осторожно и радостно печатал его новыми сапогами, и они казались ему особенно уютными и фасонистыми. «В хромовых бы сейчас! Я их еще ни разу не надевал...»

Командный пункт размещался в центре деревни в кокетливом деревянном домишке под железной крышей. Над его крыльцом висел бурый лоскут фанеры с чуть проступавшими синими отечными буквами: «Правление колхоза «Рассвет». Связной курсант доло-

жил Алексею, что капитан только что ушел в третий взвод.

— Это на левом фланге,— вдруг с начальническим видом объяснил он, но, смущенный своим тоном, тут же добавил: — А ваш правый, товарищ лейтенант...

Алексей снова вышел на задворки, неся в себе какое-то неуемное притаившееся счастье,— радость этому хрупкому утру, тому, что не застал капитана и что надо было еще идти и идти куда-то по чистому насту, радость словам связного, назвавшего его лейтенантом, радость своему гибкому молодому телу в статной командирской шинели — «как наш капитан!» — радость беспричинная, гордая и тайная, с которой хотелось быть наедине, но чтобы кто-нибудь видел это издали. Он шел мимо обветшалых сараев, давно, видать, заброшенных и никому не нужных, и в одном из них, горбатом и длинном, как рига, еще издали заметил настежь распахнутые ворота, а в их темном зеве — неяркий свет не то фонаря, не то костра. Алексей направился к сараю и в глубине его увидел кухню с разведенной топкой, облепленную засохшей грязью полуторку, старшину и несколько курсантов из первого взвода. Ни кухни, ни полуторки на марше не было, но у Алексея даже не возник вопрос, откуда они появились, и, не расставаясь со своим настроением, он громко и весело крикнул:

— Здравия желаю, товарищи тыловики!

Ему ответили сдержанно, по-уставному,— старшина тоже, и из-за кузова полуторки вышел капитан. Он опять был с хворостинкой и застегнут и затянут так, словно никогда не раздевался. Он козырнул Алексею издали, какую-то долю секунды подержал поднятой левую бровь и сказал:

— Старшина! Четвертый взвод получает еду первым, третий — вторым, а первый — последним. Лейтенант! Возьмите здесь каски для взвода и три ящика патрон. Сообщите об этом лейтенанту Гуляеву. Окоп готов?

Алексей доложил. Подорвать фундамент церкви капитан не разрешил. По его мнению, четвертый взвод должен беречь свои гранаты для других целей.

Соседом слева у Алексея был второй взвод. Его окоп извилисто пролегал в глубь деревни на виду противотанкового рва. На стыке взводов в кольце голых

осин одиноко стояла опрятная, побеленная снаружи изба, за десяток шагов еще пахнувшая простоквашей — когда-то тут был сепараторный пункт. Командира второго взвода Алексей нашел в этой избе: тот заканчивал банку судака в томатном соусе.

— И пуля попэ-эрла по каналу ствола! — остановившись у порога, сказал Алексей, подражая преподавателю внутренней баллистики в училище майору Сучку. Они несколько минут хохотали, не сходясь еще, мимикой и жестами копируя движения и походку чудаковатого майора, потом разом подобрались, вспомнив о своих званиях, и Алексей сказал о кухне, касках и патронах.

— Вам все ясно, лейтенант Гуляев?

— Ясно, — солидно отозвался Гуляев. — Сейчас пошлю получать. Второй взвод не задержится, это вам не какой-нибудь там четвертый.

— При отступлении тоже?

— Русская гвардия никогда не отступала, лейтенант Ястребов! Пошли, покажу свое хозяйство.

На крыльце надо было зажмуриться. Снег не блестел, а сиял огнисто, переливчато-радужно и слепяще — солнце взошло прямо за огородами деревни. Свет все нарастал и ширился, и вместе с ним, по рву, в деревню накатно, туго и плотно входил рокот. Алексей и Гуляев обогнули угол избы. Впереди рва, пока хватало глаза, пустынно сиял снег, и на нем нарисованно голубел лес, а ближе и левее чуть виднелось какое-то селение.

— Самолеты! — сказал Гуляев. — Видишь? На четыре пальца правее леса гляди... Ну?

— Это галки там, — не сразу, но слишком своим голосом сказал Алексей, а рокот уже перерос в могучий рев, и теперь было ясно, что лился он с неба. Самолеты и в самом деле шли кучной и неровной галочьей стаей; они увеличивались с каждой секундой, и круги пропеллеров у них блестели на солнце, как матовые зеркала. Их было не меньше пятидесяти штук. Каждый летел в каком-то странном ныряющем наклоне, с растопыренными лапами, с коричневым носом и отвратительным свистящим воем.

— Заходят на нас! — почти безразлично сказал Гуляев, и Алексей увидел его мгновенно побелевший, со-

вершенно обескровевший нос и сам ощутил, как похолодело в груди и сердце резкими толчками начало подниматься к горлу.

— Пошли по взводам? — спросил он у Гуляева. Тот кивнул, и каждый подумал, что не побежит первым. Они пошли под осинами томительно медленно, но бессознательно тесно, и оба были похожи на людей, застигнутых ливнем, когда укрываться негде и не стоит уже. Рев в небе превратился к тому времени в какую-то слитную чугунную тяжесть, отвесно падающую на землю, и в нем отчетливо слышался прерывистый шелест воздуха. Упали они одновременно, плашмя, под одной осиной, и мозг каждого одновременно отсчитал положенное число секунд на приближение шелестящих смертей. Но удара не последовало. Наверное, они одновременно открыли глаза, потому что разом увидели метавшиеся по снегу, по осинам и по ним самим лохматые сумеречные тени от пролетавших самолетов. И они разом поднялись на ноги, и Гуляев устало сказал:

— На Клин пошли...

У него по-прежнему был белый и острый, как бумажный кулечек, нос. Не сводя с него глаз, Алексей сказал шепотом:

— Ну, я пойду к себе, Сашк.

— Ну, пока, Лешк. Заглядывай.

3

Через час над деревней к востоку прошла новая группа самолетов. Потом еще, еще и еще. Капитан распорядился не дразнить их оружейным огнем: деревню населяли молчаливые женщины да дети, и нужно было попрятать их в убежище. Землянки для них предполагалось рыть на околице, но бабы ни за что не хотели вылезать из погребов, расположенных во дворах.

Всякий раз, когда самолеты скрывались и наступала расслабляющая тишина, земля еще долго сохраняла в своих глубинах чуть ощутимую зябкую дрожь. Это было особенно заметно в окопе, и тогда почему-то хотелось зевать и тело непроизвольно льнуло к стенке окопа. В такие межсамолетные паузы из сверкающей дали лениво прикатывались заглушенные обвальные

взрывы: где-то там впереди по-живому ворочался и стонал фронт.

Четвертый взвод маскировал, прихорашивал и обживал свой окоп. Желто-коричневый гребень бруствера присыпали снегом, дно устлали соломой, в передней стенке нарыли печурок и углублений. Для Алексея курсанты оборудовали что-то похожее на землянку, только без наката и насыпи, но со множеством замысловатых по форме ниш — помкомвзвода разложил там гранаты и расставил бутылки с бензином. Все тут: приглаженно-ровный козырек бруствера, отшлифованно-четкий срез стен, какой-то русско-византийский овал печурок и ниш — все это было сделано и отделано с тем сосредоточенным старанием, которое полностью исключает чувство тревоги и опасности. Видно, оттого окоп и не выглядел так, как положено на войне: в нем было что-то затаенно мирное и почти легкомысленное.

Во второй половине дня самолеты не появлялись, но оттуда, где синей извилиной лес призрачно намечал зыбучую кромку горизонта, в окопы все чаще и явственней доносился раздерганно-клочковатый гул. Временами, когда гул спадал, можно было расслышать протяжные и слитные звуковые вспышки, словно кто-то недалеко и скрытно разрывал на полосы плащ-палатку.

Прекратилось это внезапно, сразу. А часа через полтора от опушки леса начали отрываться и двигаться по полю темные точки. С каждой минутой их становилось все больше и больше, и было уже ясно, что это люди, но шли они как-то зигзагами, рассеянно, мелкими кучками и поодиночке.

— Товарищ лейтенант! Видите? — тревожно и радостно крикнул Алексею кто-то из курсантов. — Может, это ихние диверсанты просочились? Подпустим? Или как?

В разрыве леса и чуть видимого селения висело лохматое закатное солнце, похожее на стог подожженной соломы. Смотреть вперед можно было лишь сквозь ресницы, и все же Алексей угадал своих. Свои были у людей походки, свои шинели, свои каски и шапки.

— Это наши, славяне! — разочарованно сказал помкомвзвода, и Алексей чуть не спросил у него — откуда это они так? На виду рва бредшие по полю сошлись

вместе и построились в колонну по три. В строю людей казалось совсем немного — не больше взвода, и они долго почему-то стояли на месте, совещаясь, видно, потом разделились на четыре группы и пошли к деревне, сохраняя дистанцию и забирая в сторону окопа четвертого взвода. Еще утром, возвращаясь от Гуляева, Алексей заметил в скосе противотанкового рва напротив коровника небольшой оползень. Его надо было срыть и почистить, но он забыл о нем, и теперь незнакомые бойцы избрали это место для прохода через ров.

Первым по оползню выбрался невысокий человек в темной командирской шинели. Оглянувшись на окоп, он припал на колени и начал кого-то тянуть к себе то ли за ремень, то ли за конец палки. Алексей вызвал двух курсантов и пошел ко рву. У того, что стоял там на коленях, в выцветших черных петлицах алели капитанские шпалы, и тащил он из рва за ствол винтовки грузного пожилого красноармейца в непомерно широкой шинели. Узенький брезентовый ремень опоясывал бойца чуть ли не ниже бедер, и это, возможно, мешало ему переступать ногами: ухватившись за винтовку, он откидывался назад, повисая над уклоном всем корпусом, и сразу же начинал раскачиваться из стороны в сторону, как маятник.

— Разрешите помочь, товарищ капитан! — сказал Алексей. Капитан молча кивнул и судорожно переложил оголенные руки на стволе винтовки, освобождая место. Алексей потянул за винтовку, и красноармеец мелкими спутанными шагами пошел наверх. У него было по-женски белое и круглое лицо без признаков растительности; старенькая пилотка нелепо сидела поперек бритой головы, и, подымаясь, он как-то болезненно-брезгливо глядел куда-то мимо капитана и Алексея.

— Ногами работай, друг! Ногами! — посоветовал один из курсантов. Стоявшие внизу бойцы сдержанно засмеялись, а Алексей спросил капитана:

— Он ранен?

— Нет, — сквозь зубы сказал капитан.

— А что же?

— Ну... не может... Не видите, что ли?

Очутившись наверху, красноармеец отошел в сторонку и обиженно отвернулся, закинув руки за спину. Остальные бойцы преодолели ров легко и споро, подпирая друг друга прикладами. Без команды, они торопливо построились на краю рва и остались стоять там, переговариваясь полушепотом. Капитан спросил, чья у него винтовка, и из строя вышел маленький боец, увешанный по бокам вещмешком и противогазной сумкой. Винтовку он взял у капитана рывком, будто отнял, и сразу же кинулся назад, к своим. Пониже спины в его шинели виднелась большая округлая дырка с обуглившимися краями, и на ходу боец все пытался прикрыть прожог ладонью.

Если б капитан сразу же приказал своему отряду двигаться, у Алексея не возник бы вопрос, откуда и куда он идет. Но капитан долго и старательно вытирал руки подолом шинели, хотя были они чистые, и то и дело поглядывал в сторону обособленно стоявшего красноармейца. Тот по-прежнему смотрел куда-то за окоп, и ремень на нем совсем съехал вниз. «Наверно, вестовой его,— решил Алексей,— мне бы с ним минут сорок заняться по-пластунски!..» К бойцам, тихо стоявшим в строю, из окопа начали подходить курсанты со своими СВТ. Алексей заметил, как испытующе-тревожно поглядел на них капитан, и неожиданно для самого себя спросил:

— Откуда вы идете, товарищ капитан?

Тот опять взглянул на одинокого красноармейца и не ответил. Алексей подвинулся к курсантам и повторил вопрос.

— Мы вышли из окружения! — озлобленно сказал капитан и носком сапога сбил комок глины в ров.— И нечего нас тут допрашивать, лейтенант! Накормите вот лучше людей! Двое суток, черт бы его драл...

— Почему вы сюда... Где фронт? — торопясь и все больше пугаясь чего-то непонятного, перебил Алексей, и в наступившей тогда тишине к нему тяжело пошел безоружный красноармеец.

— А ты где находишься? Ты не на фронте? Где ты находишься? А? — не вынося из-за спины рук, кидал он под свой шаг гневным, устоявшимся в обиде голосом. Алексей едва ли сознавал, зачем он пошел навстречу красноармейцу и почему спрятал руки в карманы ши-

нели. Он столкнулся с ним грудь с грудью и, задохнувшись, визгливо выкрикнул за два приема:

— Где ваша... винтовка, товарищ боец?!

— Я воевал не винтовкой, а дивизией, лейтенант! — тоже фальцетом крикнул красноармеец и стал по команде «смирно». — Приведите себя в порядок! Как стоите? Я генерал-майор Переверзев! Кто у вас старший? Что за подразделение? Проведите меня к своему командиру!

Забыв отступить и только качнувшись назад, Алексей вытянулся и расправил плечи, как на учебном плацу. За какую-то долю секунды стоявший перед ним человек преобразился в его глазах полностью и совершенно — в нем все теперь казалось ему иным, большим, генерал-майорским, кроме ремня, шинели и пилотки, и, вспомнив, как он переходил ров, Алексей враз постиг и поведение капитана, и почему бойцы не помогли ему снизу прикладами, а после стояли в стороне и переговаривались шепотом... Не сходя с места, Алексей крикнул через плечо:

— Помкомвзвода! Проведи товарища генерал-майора к капитану!

— Сам пойдешь! — сказал Переверзев, и Алексей пошел с левой ноги строевым шагом, тесно прижав руки к бокам. Следом за ним двинулся генерал-майор, потом капитан и бойцы. Миновав окоп своего взвода и выйдя на улицу, Алексей еще издали увидел капитана Рюмина: он стоял у сепараторного пункта и что-то объяснял Гуляеву, показывая лозинкой то на осины, то на окопы и ров. Заметив подходивших, капитан выжидающе поднял лицо, а Алексей пошел как под знаменем, вскинув к голове руку.

О генерал-майоре он докладывал путано, и с каждым его словом у капитана Рюмина все выше приподнималась левая бровь. Как зачарованный, он смотрел на ремень Переверзева и вдруг побледнел и сказал чуть слышно:

— Предъявите ваши документы!

— Я попрошу не здесь, — увялым баском сказал Переверзев.

Рюмин повернулся к нему спиной и приказал Алексею:

— Назначьте себе связного! Вы не должны каждый раз отлучаться... Ваше место во взводе, лейтенант!

Вечером капитан вызвал к себе командиров взводов и приказал им выдвинуть за ров по одному отделению. Курсанты там должны встречать и направлять в обход своих окопов всех, кто будет идти от леса.

— Всех в обход! — сказал капитан. — В разговоры ни с кем из них не вступать! Бойцам и командирам объяснять, что переформировочный пункт и госпиталь, куда они направляются с фронта, находятся в четырех километрах правее и сзади нас.

В четвертый взвод капитан пришел почти вслед за Алексеем и, не спускаясь в окоп, долго стоял молча, не то вслушиваясь, не то вглядываясь в то, что смутно проступало впереди рва. Было тихо. Луна взошла задернутая желто-коричневой пеленой, и стало еще тягостнее и тревожнее от ее мутно-бутылочного света и оттого, что в деревне начали кричать еле слышными подземельными голосами петухи, — в погребах, видно, сидели. Алексей стоял в шаге от капитана, непроизвольно вытягиваясь в струнку, и, не глядя на него, капитан сказал:

— Бросьте тянуться, Ястребов! Вы не на экзамене... Кстати, что вам говорил о фронте... красноармеец Переверзев?

Пачка «Беломорканала» слежалась лепешкой, и Алексей никак не мог ухватить сплюснутый мундштук папиросы. Он хотел предложить капитану папиросу, но не сделал этого и закурил без его разрешения. Он молчал, затягиваясь до тошнотворной рези в груди, и тогда капитан спросил еще:

— Курсанты все слышали?

— Все, — сказал Алексей. — Генерал-майор...

— Хорошо, — перебил капитан. — Объясни, пожалуйста, взводу, что это был не генерал, а боец... Контуженый. Установил это я сам. Понимаешь?

— Я все понял, — негромко сказал Алексей, с какой-то обновленной преданностью глядя в глаза Рюмина.

— Обстановка не ясна, Алексей Алексеевич, — неожиданно и просто сказал капитан. — Кажется, на нашем направлении прорван фронт... — И все тем же, немного не своим и немного не военным, тоном капитан сказал, что ночью за ров пойдет разведка и что от

штаба ополченского полка должны тянуть сюда связь и должны подойти соседи слева и справа. Ушел Рюмин тоже не по-своему — он не приказал, а посоветовал выставить за кладбищем усиленный пост, порывисто сжал руку Алексея и легонько толкнул его к окопу.

До полночи от невидимого леса мимо деревни прошло до батальона рассеянной пехоты, проехали несколько всадников и три повозки. Все это двигалось в сторону, где, по словам капитана Рюмина, находился переформировочный пункт: отступающие наталкивались в поле на посты курсантов, забирали вправо, и рядом с ними по полю волочились длинные четкие тени. Все это время Алексей был в окопе с дежурным отделением, и когда скрылись повозки и поле очистилось от их копнообразных теней, он решил ничего не говорить курсантам о красноармейце, выдавшем себя за генерала. К чему? Теперь и без контуженых все было ясно...

В половине третьего из-за рва возвратились наряды, а ровно в пять капитан отдал приказ привести взводы в боевую готовность. «Наверное, вернулась разведка!» — подумал Алексей, и с него мгновенно слетела та продрогло-цепенящая усталость, которая обволакивает человека в зимнюю бессонную ночь. Почти бессознательно он надел каску, затянул на одну дырочку поясной ремень и только после этого распорядился поднять по тревоге остальные отделения, отдыхающие в крайних избах.

Еще днем курсанты плотно утоптали и приноровили к собственному характеру и к оружию свои места в окопе, — тогда каждый был друг от друга на расстоянии в полметра. Теперь же все пятьдесят два человека образовали слитную извилистую шеренгу и, толкаясь локтями и гремя винтовками, не думали разойтись попросторнее. Может, каски, а может, лунный полусвет делали курсантов противоестественно высокими и обманчиво загадочными. Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и поля. В деревне в это время начали дымиться трубы — украдкой, через две-три хаты, и в окопах запахло хвоей, жареным луком и картошкой. Как удар, Алексей ощутил вдруг мучительное чувство родства, жалости и близости ко всему, что было вокруг и рядом, и,

стыдясь больно навернувшихся слез, он крикнул исступленно, с непонятной обидой и злостью ко всему тому, над чем только что чуть не плакал:

— Рассредоточиться, черт возьми! Всем по своим местам!!

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из погребов опять пробились петушиные голоса. Кто-то из курсантов сказал мечтательно, в сладком молодом потяге:

— Сейчас бы кваску покислей да... рукавичку потесней! А-ахх! — И вокруг озорно и сочувственно засмеялись.

За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли звезды. У сепараторного пункта стали проглядываться верхушки осин. Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий простылый крик,— наступало утро. Алексей изо всех сил боролся с дремотой, и было невозможно унять мелкую трепетную дрожь мышц, и поминутно надо было ходить по малой нужде. Он стоял спиной ко рву, когда несколько курсантов разнобойно крикнули: «Стой, кто идет?» От пролаза во рву к окопу не спеша шел широкий приземистый человек в хитро надетой шапке — один ушной клапан был опущен, а другой поднят вверх, и винтовку человек нес по-охотничьи, стволом в землю, и было ясно, что это свой, и окликали его для порядка, о чем он, видно, хорошо знал, потому что не останавливался и не отзывался. Подойдя к брустверу и оглядев окоп, красноармеец напевно сказал:

— Ну во-от. Не шибко прилаживался, а хорошо попал. Пер, пер по этой вашей канаве, а тут гляжу — маковка церковная...

Он выглядел за сорок — возраст, на взгляд курсантов, уже стариковский, и у него было поранено ухо, темневшее комком запекшейся крови. Он сел в окопе у ног Алексея на свою противогазную сумку, и она даже не поморщилась под ним — до такой степени оказалась набитой каким-то солдатским хозяйством. Его никто ни о чем не спрашивал, и он сам сказал о своем ухе:

— Прикроешь шапкой — и сразу нудить начинает. А на холоде вроде ничего...

— Перевязать надо,— морщась, сказал Алексей.— Чем это вас?

— Осколком. Как перепел: фрр — и ни его, ни уха. Даже не почуял.

Он улыбнулся, но как-то больно, одной стороной лица, и помкомвзвода спросил тогда:

— У вас командиром дивизии был не генерал-майор Переверзев?

— Этого не знаю, брат,— ответил боец.— С начальством я знаком мало. А что?

— Товарищ генерал на полсуток пораньше тебя переправился тут,— баском сказал кто-то из курсантов.

— Ну, большой меньшего в таких делах не дожидается,— назидательно рассудил боец.— Что ему: голова на плечах, шапка небось нахлобучена на оба уха...

— Он в красноармейской пилотке... и в шинели без петлиц,— опять сказал тот же курсант, но уже с особой интонацией в голосе.

— Да ну? — бесстрастно, для вида, удивился раненый. И, помолчав, добавил: — Выходит, недавно человек ослеп, а уже ничего не видит... Нас там хотя и полегла тьма, но живых-то еще больше осталось! Вот и блуждаем теперь... А он вроде того мужика — воз под горой лежит, зато вожжи в руках...

— Ну, вот что, нечего тут,— растерянно сказал Алексей.— Кончай разговоры. Всем по местам!

Курсанты снова четко и молча выполнили приказание, а боец, только теперь разглядев кубари Алексея, начал было привставать с сумки, но раздумал и больно улыбнулся одной стороной лица.

— Тут горе вот какое, товарищ командир,— виновато заговорил он, косясь на нишу, где синели бутылки с бензином.— Ведь танку в лоб не проймешь такой поллитрой! Тут надо ждать, покуда она репицу свою подставит тебе... Мотор там у нее спрятан, вот штука-то! А тогда уже поздно бывает — окопы распаханы, люди размяты... Что делать-то будем, а?

— Вы давайте в госпиталь! Это вон в том направлении,— строго сказал Алексей и зачем-то загородил собой нишу.

— А может, мне у вас остаться? — спросил боец.— Ухо мое и без докторов присохнет.

— Давайте в госпиталь! — повторил Алексей. — У нас вам оставаться нельзя. Мы... — и не сказал, что хотел. Боец насмешливо оглядел его с ног до головы, встал и разом вскинул на плечи винтовку и сумку.

— Ну что ж... Тогда пошли кургузка, недалеко до Курска, семь верст отъехали, семьсот ехать! — стихом проговорил он и умеючи вылез из окопа.

В десятом часу к четвертому взводу — тоже, видать, на церковную маковку — от леса петляюче и осторожно поползли два грязно-серых броневика. Еще на середине поля они немного разъехались в стороны, и к деревне беззвучно и медленно потянулись от них разноцветные фосфоресцирующие трассы. Пули воробьиной стаей прочирикали над окопом, и потом уже долетел слитный стрекот пулеметов и стал натужнее вой моторов, — броневики на малых скоростях закружили на месте.

Алексей не спеша обнажил пистолет и перестал дышать. Вот они, немцы! Настоящие, живые, а не нарисованные на полигонных щитах!.. Ему было известно о них все, что писалось в газетах и передавалось по радио, но сердце упрямилось до конца поверить в тупую звериную жестокость этих самых фашистов; он не мог заставить себя думать о них иначе как о людях, которых он знал или не знал — безразлично. Но какие же эти? Какие? И что сейчас надо сделать? Подать команду стрелять? «Нет, сначала я сам. Надо все сперва самому...»

С локтя, в напряженном ожидании какого-то таинства, Алексей дважды выстрелил из пистолета в тупое рыло одного и второго броневика, сразу же взвод ахнул залпом, а дальше выстрелы посыпались в самозабвенной торопливой ярости, и Алексей опять начал прицельно бить — раз по одному броневику, раз — по второму. Не отвечая, броневики развернулись и помчались к лесу.

И только тогда Алексей понял, что стрелять было нельзя, и поглядел вдоль окопа. У курсантов возбужденно блестели под касками глаза; они молча и спешно наполняли магазины патронами.

— Вот врезали! Правда, товарищ лейтенант? — У помкомвзвода блестели зубы и трепетали ноздри.

— Сейчас нам капитан не так за это врежет,— сказал Алексей, заглядывая в ствол теплого пистолета.— Это ж разведчики были, а мы обнаружили себя раньше времени.

— Ну и черт с ними! Пускай знают!

— Что «знают»? — невольно входя в роль капитана, спросил Алексей.

— А все! — вызывающе сказал помкомвзвода.— Подумаешь! Пускай знают! Не прятаться же нам в скирды! Пускай знают!

Алексей помолчал и сказал:

— Ну пускай. Давай хлопочи насчет кормежки людей. Десятый час уже.

Вскоре во взвод пришел политрук роты Анисимов — тихий сутуловатый человек с большими молящими глазами. Курсанты давно знали, что у него катар желудка, и всем казалось, что ему постоянно нехорошо и больно, и всем становилось легче и веселее, когда он кончал политинформацию и уходил. Как-то весной еще Анисимов сказал на политзанятиях, что Англия наконец-то потеряла свое былое мифическое значение на морях и океанах. Он произнес это неуверенно и смущенно, и с тех пор курсанты называли его «мифическим значением».

Анисимов неловко сполз в окоп и спросил почти жалобно:

— Ну что, Ястребов, не подбили?

Наверное, его мутило — сине-желтый был, а глаза черные, круглые, просящие участия. Виновато и сострадательно глядя в них, Алексей негромко сказал:

— Задымил один, товарищ политрук...

— Ага! Вы их бронебойно-зажигательными?

— Наполовину с простыми. А первый, по-моему, задымил... Точно.

— Ну, пусть знают!

Анисимов сообщил взводу о результатах ночной курсантской разведки — деревня, что впереди, занята противником. Он призвал кремлевцев к стойкости и сказал, что из тыла сюда тянут связь и подходят соседи.

5

Погода испортилась внезапно. На окоп то и дело сыпалась дробная льдистая крупа, и каски звенели у всех по-разному. По-разному — то мягко-заглушенно, то резко-отчетливо — далеко за кладбищем прослушивался налетный, волнами, громовой гул, и тогда каски округло и медленно поворачивались туда, вправо. Политрук все не уходил, а на завтрак был плов, и неплотно прикрытый котелок Алексея давно стоял в нише и остывал каким-то нестерпимо томительным духом. «Гуляев небось не постеснялся бы. У того хватило б смелости и при капитане пожрать,— обиженно подумал Алексей,— а это «значение» до вечера может сидеть тут. Что ему? У него катар!» Тогда Анисимов, все время клонивший ухо к низовому отдаленному грохоту справа, сказал: «Да!» Сказал убежденно и потерянно, как нечаянно открывший что-то ненужное, и в эту минуту высоко над церковью ломко и сочно разорвался пристрелочный снаряд. Неколебимо, как приклеенное, в небе повисло круглое черное облако, а немного погодя рядом с ним и все с тем же характерным чоком образовались еще два дегтярных пятна.

— Это шрапнель? — спросил Алексей. Анисимов, стоявший рядом, трижды зачем-то хрумкнул кнопкой планшетки и не ответил: воздух пронизал тягучий, с каждым мигом толстеющий вой, пересекший окоп и оборвавшийся где-то за коровником резко, облегченно, рассыпчато. И сразу же, еще над полем за рвом, возникли тонкие жала новых запевов. Как невидимая игла, звук сразу же впивался в темя, сверлил череп, придавливая голову вниз, и ничего нельзя было поделать, чтобы не присесть и не зажмуриться в момент его обрыва. Это проделывали в окопе все — мерно, слаженно и молча, как физзарядку, и стволы винтовок на бруствере то приподнимались, то выпрямлялись, и никто из курсантов не оборачивался назад, туда, где рвались мины...

Через дворы и улицу линия взрывов медленно подвигалась ко рву. За гуляевским взводом большой ковылиной вырос и вверху пышно завился белый с желтыми прожилками дымный ствол. Из-под руки взглянув на него, Анисимов как-то отрешенно полез из окопа,

но Алексей бессознательно-властно потянул его за хлястик назад. Они на мгновение встретились глазами, и, приседая на дно окопа — над ними близко взвыло,— Анисимов торопливо сказал:

— Хорошо. Я останусь с вами, но командовать будете вы. Прикажите убрать сверху винтовки. Покорежит ведь...

То было первое боевое распоряжение Алексея, и хотя этого совсем не требовалось, он побежал по окопу, отрывисто выкрикивая команду и вглядываясь в курсантов — испытывают ли они при нем то облегчающее чувство безотчетной надежды, которое сам он ощущал от присутствия здесь старшего? Сразу же после его команды курсанты пружинисто садились на корточки спиной к внешней стене окопа, зажав между коленями винтовки, и, встречаясь с его взглядом, каждый улыбался растерянно-смущенно, одними углами губ — точь-в-точь как это только что проделал Алексей под взглядом политрука.

Мины падали теперь уже в нескольких шагах от окопа. Они взрывались, едва коснувшись земли, образуя круглые грязные логовца, и ни один осколок, казалось, не залетал в окоп вслепую, дуром,— до того как удариться в бруствер или стенку, он какое-то время фурчал и кружился вверху, будто прилаживался, куда сесть. Пробегая по окопу под гнетущим излетным воем мин, Алексей каждую из них считал «своей» и инстинктивно держался поближе к той стене, в которую вжались курсанты. «Сейчас в меня... В меня! В меня!» Он знал,— а может, только хотел того,— что каждый курсант испытывал то же самое, и это неразделимо прочно роднило его с ними.

На стыке окопа и хода сообщения к кладбищу Алексей затормозил бег, оглядев узкий извилистый паз хода. По нему и еще по тем двум, что уходили к церкви и коровнику, взвод мог одним рывком пересечь приближающийся к окопу минный вал. «Надо туда! Скорее туда!» Это не было решением. Это походило на внезапное открытие, когда в душу человека нежданно врывается что-то радостно большое, живое и победное. Жарким, никогда собой не слыханным голосом Алексей пропел:

— Взво-о-од! Поодиночке-е...

Курсанты начали привставать, выбрасывая перед собой винтовки и неизвестно к чему готовясь, и голосом уже иным — резким и испуганно-злым — Алексей крикнул: «Отставить!» — и побежал назад, к политруку, почти не наклоняясь и работая локтями, как бегал только в детстве. «Я скажу, что это не отступление! Мы же сразу вернемся, как только... Это ж не отступление, разве он не поймет?»

Но Алексей убеждал не политрука, а себя. Он твердо знал, что без приказа сверху Анисимов не разрешит оставить линию обороны. «Он подумает, что я... трус! Да-да! А если я уведу взвод без него, меня тогда...»

Впереди увязающе-глухо, не по-своему, треснула мина, и в грудь Алексея упруго двинул горячий ком воздуха. Он упал на колени, и сразу же его поднял тягучий, в испуге и боли крик.

— Я-ястре-ебо-ов!

Он побежал на голос, необыкновенно ясно видя и навсегда запоминая нелепо скорчившиеся фигурки курсантов, и когда сзади с длинным сыпучим шумом обрушился окоп, а его медленно приподняло и опустило, он еще в воздухе, в лете, увидел на дне окопа огромные глаза Анисимова и его гипсово-белые руки, зажавшие пучки соломы.

— Отре-ежь... Ну, пожалуйста, отре-ежь...— Анисимов ныл на одной протяжной ноте и на руках подвигался к Алексею, запрокинув непокрытую голову. Первое, что осознал Алексей,— это нежелание знать смысл того страшного, о чем просил Анисимов, но он тут же почему-то подумал, что отрезать у него нужно полы шинели — они всегда мешают ползти... Он вскочил на четвереньки и заглянул в ноги Анисимова — на мокрой, полуоторванной поле шинели там волочился глянцево-сизый клубящийся моток чего-то живого... «Это «они»...— понял Алексей, даже в уме не называя своим именем то, что увидел. Он также почему-то не мог уже назвать Анисимова ни по фамилии, ни по чину и, преодолевая судорожный приступ тошноты, закричал, отворачивая глаза:

— Подожди тут! Подожди тут! Я сейчас...

Он бросился по окопу, не зная, куда бежать и что должен сделать, и тогда же окоп накрыло сразу несколькими минами. Еще до того, как упасть, Алексей

с ужасом отметил, что ему никто не встретился из курсантов. Увидав нишу, он пополз к ней, выкрикивая шепотом:

— Я сейчас! Сейчас!

Он почти полностью затиснулся в нишу, обхватил голову руками и зажмурился, и в темном грохоте и страхе в одну минуту понял все: и где находится взвод — «они сами ушли... по ходам сообщения», и зачем Анисимов просил отрезать «то» — «там у него была вся боль и смерть», и почему разрывы мин теперь слышались как из-под подушки — «огневой вал сполз в ров, сейчас все кончится».

К церкви он пошел по открытому месту, и, заметив его, из-за ее колонн и с кладбища к ходам сообщения побежали курсанты. Алексей остановился, ощущая в себе какую-то жестокую силу и желание пережить все сызнова.

— По местам! Бегом! — отчужденно и властно крикнул он. — И без моего приказа ни шагу!

Он уже знал, что и как ему делать с собой в случае нового обстрела, и знал, что прикончит любого, кто, как он сам, потеряет себя хоть на секунду...

Обстрел прекратился, как только несколько мин взорвалось за рвом. Над деревней пластом колыхался мутно-коричневый прах, и пахло гарью, чесноком и еще чем-то кисло-вонючим, липко оседавшим в гортани. Кроме политрука, убитых в четвертом взводе не было. Раненых — все в спину — оказалось четверо, и помощник несколько раз спрашивал Алексея, что с ними делать.

— Дойти до КП могут? Где они? — спросил наконец Алексей.

— В коровнике. Лежачий только один... Воронков.

— Его надо отнести к санинструктору... И политрука тоже... Я пойду сам. А те трое пускай самостоятельно идут.

Он смотрел издали, как двое курсантов завертывали в плащ-палатку тело Анисимова, и смотрел только на их лица — курсанты отвернулись, когда сгребали вместе с соломой то, что было у ног убитого.

— Быстрее! — исступленно крикнул Алексей, злясь на себя, потому что к горлу опять подступил тошнотворный ком. Курсанты неумело взялись за концы

плащ-палатки и долго вылезали из окопа, а наверху то и дело останавливались, менялись местами и переругивались шепотом. Идя шагах в пяти сзади, Алексей не знал, снять ему шапку или нет. Они вошли в улицу, когда в воздухе послышался знакомый ведьмин вой, и курсанты присели рядом с ношей, не выпуская ее из рук, но мины взорвались на огородах — начиналось все сначала.

— Куда теперь, товарищ лейтенант?

Курсанты выкрикнули это удивительно похожими голосами и разом. Алексей махнул рукой в сторону осин, и они побежали, волоча по земле ношу. Она шарахалась из стороны в сторону и шумела, и за ней стлался черный зигзагообразный след, и Алексей бежал по его обочине, зачем-то ступая на носки сапог. Стволы осин у сепараторного пункта светились белыми ранами. На крыльце валялись ветви и крошево стекла.

— Кладите туда, и за мной! — приказал Алексей и побежал назад — в окоп влекло, как в родной горящий дом.

Еще издали, часто припадая к земле, он слышал в паузах между взрывами беспорядочную оружейную стрельбу в своем взводе. «Что там такое? Неужели атака?» Он взглянул на ров, но поле оставалось пустынно-дымным. «Куда они стреляют? В небо?»

Но курсанты били не вверх, а по горизонту.

— Прекрати-ить! Прекрати-ить! — на бегу закричал Алексей. Помощник с лета подхватил команду, но сам выстрелил еще дважды.

Все повторялось с прежней расчетливой методичностью, огневой вал медленно катился ко рву. «Как только подойдет к улице, так мы... Я первым или последним? Наверно, надо первым... это ж все равно что при атаке... А может, последним? Как при временном отступлении?..» Алексей загодя набрал в легкие воздух, и когда разрывы взметнулись на улице и сердце подпрыгнуло к горлу и затрепыхалось там, он снова не своим голосом, но уже до конца скомандовал взводу поодиночный побег из смерти... Он бежал последним по ходу сообщения к церкви и все время видел два полукруга желтых, до блеска сточенных гвоздей на каблуках чьих-то сапог — они будто совсем не касались земли и взлетали выше зада бегущего. Он так и не по-

нял, когда курсанты успели закурить и присесть на корточки за церковью. И не узнал, кто бежал впереди. И не догадался, что это не икота, а загнанный куда-то в глубь живота ненужный слезный крик мешает ему что-нибудь сказать курсантам...

Алексей тоже закурил торопливо и молча протянутую кем-то папиросу. Спичку зажег прибежавший откуда-то помощник. Он выждал, пока Алексей затянулся, и проговорил все разом, без запинки:

— За коровником — бывший погреб, а может, другое что... ямка такая — под яблоней — они все там шестеро... Четверо допрежь раненых и двое, что я послал...

— Ну?

— Всех. Прямым. У Грекова полголовы, и Мирошника...

«Я не пойду... Не пойду! Зачем я там нужен? Пусть будет так... без меня. Ну что я теперь им...» Но он поглядел на курсантов и понял, что должен идти туда и все видеть. Все видеть, что уже есть и что еще будет...

До часу дня, когда наступило затишье, взвод четырежды благополучно бегал в свой тыл и возвращался в окоп.

— Попьют кофе и опять начнут, — сказал помкомвзвода, глядя через поле. Алексей промолчал.

— Я говорю, опять начнут! — повторил помощник.

— Ну и что? — отозвался Алексей, тоже вглядываясь через ров в невидимое селение.

— Что ж мы, так и будем мотаться туда-сюда?

— А ты думал как? И будешь! Один ты, что ли, мотаешься?

— В том-то и дело, что не один. В одиночку я согласен бегать тут хоть до победы. Лишь бы... Может, выбить его оттудова?

— Хреном ты его выбьешь? — бешено спросил Алексей. — Я, товарищ Будько, не прячу в кармане гаубичную батарею, ясно?

— У нас бронебойно-зажигательные патроны есть, — все тем же ровным, уныло-обиженным тоном сказал Будько и губы сложил трубочкой.

— Ты что, ополченец или будущий командир? Тут же верных четыре километра!

— А пуля летит семь!

— Ну вот что. Иди на свое место. Нашелся тут маршал... Давай вон лучше окоп исправлять, ясно? И выдели мне постоянного связного. Надо ж доложить капитану о политруке... А то подкинули во второй взвод и помалкиваем. Давай быстрей!

Будько пошел по окопу, но сразу же вернулся и, не глядя на Алексея, угрюмо спросил:

— Командира второго отделения Гвозденку хотите в связные? Ему как раз каску просадило...

— Так что? — удивился Алексей.

— Ничего. Волосья на макушке начисто сбрило. Голова у него трусится...

— Он же, наверно, контужен!

— Да не-е. Это у него от переживаний. Смеется там братва над ним...

Боевое донесение капитану Рюмину Алексей составил по всем правилам, четко выписав в конце листка число, часы и минуты. Гвозденко понес его бегом, а во взвод тут же явился с большой парусиновой сумкой ротный санинструктор. Он сообщил, что в третьем, первом и втором взводах ранено восемь человек.

— А у вас богато?

— Убито шестеро курсантов и политрук, — вызывающе ответил Алексей. — Раненых нет!

— Ага. Ну, значит, мне у вас нечего делать, — обрадовался санинструктор. — Я побегу. Сейчас, наверно, будем отправлять раненых...

Утробный гул, что временами доносился с утра еще откуда-то справа, теперь разросся по всему тылу, и его вибрирующее напряжение Алексей не только слышал, но и ощущал грудью. «Танки накапливаются. КВ, может. Этих нам достаточно будет и четырех штук. Мы бы рванули тогда вперед километров на двадцать! Мы бы «их» пошшупали!..»

Он так и подумал: «Пошшупали» — и повторил это слово вслух.

6

Донесение о результатах ночной разведки капитан Рюмин отправил в штаб полка в пять часов. В нем запрашивались ближайшая задача роты, связь и подкрепление соседями.

Связной возвратился в восемь двадцать с устным распоряжением роте немедленно отступать.

Рюмин приказал курсанту описать внешность командира полка.

Курсант сказал, что он ростом с него, а по званию майор.

Рюмин видел, что связной говорит правду,— он был в штабе ополченского полка, но выполнять устный приказ неизвестного майора не мог.

С командиром первого взвода лейтенантом Клочковым Рюмин подтвердил свое донесение и запросы, и тот в восемь тридцать выехал в штаб полка на полуторке по прямой.

В восемь сорок в поле за рвом появились броневики — разведчики противника, неожиданно обстрелянные четвертым взводом, и в него отправился политрук Анисимов. Командование над первым взводом Рюмин принял сам.

В десять пятнадцать начался минометный налет.

В тринадцать ноль пять Рюмин получил донесение лейтенанта Ястребова о гибели Анисимова и шести курсантов.

Лейтенант Клочков все еще не возвращался из штаба полка.

В четырнадцать тридцать минометный обстрел возобновился, но уже без прежней системы и плотности.

Клочкова не было. В тылу ревели танковые моторы.

И Рюмин понял, что рота находится в окружении. Он был человеком стремительного действия, не способным ожидать, таиться и выслеживать, оттого каждое поисковое положение, мгновенно рождавшееся в его мозгу, казалось главным, и в результате главным представлялось все, о чем бы он теперь ни думал.

Ему понадобилось не много времени, чтобы построить свои мысли в ряд и рассчитать их по порядку номеров. На первое место встала возможная танковая атака немцев с тыла. Рюмин мысленно немедленно отбил ее. Атака повторилась, и снова он увидел раздавленные сараи и хаты, уничтоженные танки и живых курсантов... Но он тут же спохватился и понял, что одним сердцем

поражать танки курсантам будет трудно. В роте насчитывается двести двадцать винтовок. Есть свыше четырехсот противопехотных и полтораста противотанковых гранат. И есть еще бутылки с бензином, но Рюмин не считал их оружием... «Атаки с тыла мы не выдержим,— думал Рюмин.— Паника сметет взводы в кучу, а танки раздавят...»

И у него осталась одна слепая надежда на то, что атака все-таки начнется из-за рва. Это было не только надеждой — это стало почти желанием, потому что Рюмин, как и все те десятки тысяч бойцов, что однажды попадали в окружение, устрашился невидимого врага в своем тылу.

День истекал. Мины изредка перелетали через окопы и грохотко садились на огородах. Ни с тыла, ни с фронта ничто не предвещало атаки. Рюмину пришла мысль, что немцы, занимавшие село впереди, находятся на временном отдыхе. Иначе зачем бы они маскировали во дворах машины? Разведчики видели там автобусы. Что это, хозчасть? Мотомехполк? Батальон? Рота? А что, если броском вперед... И разгромить, и выйти к лесу, а по нему на север и... Но обязательно разгромить! Курсанты должны поверить в свою силу, прежде чем узнать об окружении! А как же раненые? Их восемь человек. И уже семеро убитых...

В семнадцать часов обстрел кончился. Рюмин послал связного в четвертый взвод с приказанием подготовить братскую могилу. Он решил с наступлением темноты двигаться по рву на север, захватив раненых, и где-нибудь по болоту или по лесу выйти к своим...

...Хату никто не тушил, и к вечеру она истлела до основания. В середине пожарища непоколебимо устремленно, как паровик, нетронуто стояла черная русская печь с высокой красной трубой, и вокруг нее бродил пацан без шапки и что-то искал в золе. «Гвозди собирает!» — с яростной болью подумал Рюмин и оглянулся назад. Курсанты шли в ногу и все смотрели на пацана, и все же Рюмин не сдержался и свирепо скомандовал:

— Тверже шаг!

Мальчишка испуганно спрятал за спину руку, попятился к печке и прижался к ней.

На кладбище скапливались вечерние тени. Четвертый взвод полукругом неподвижно стоял поодаль широкой темной ямы, а перед нею полукругом лежали семеро убитых, завернутые в плащ-палатки. Рюмин вполголоса приказал роте построиться у могилы в каре и, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Откройте их.

Никто из курсантов не сдвинулся с места. Молча, взломав левую бровь, Рюмин осторожно повел глаза по строю, и Алексей понял, кого он ищет, и не стал ждать. Он подошел к мертвецам и, полузажмурясь, начал одной рукой развязывать концы плащ-палаток, и это же стал проделывать Рюмин, и тоже одной рукой. Они одновременно управились над шестью убитыми и разом подошли к седьмому. Это был курсант Мирошник. Он лежал лицом вниз, а в разрез шинели, между его ногами, торчмя просовывалась голая, по локоть оторванная рука. На ней светились и тикали большие кировские часы. Рюмин издал птичий писк горлом и выпрямился, враз поняв, что все, что он задумал с похоронами,— негодно для жизни, ибо, кроме отталкивающего ужаса смерти и тайного отчуждения к убитым, никто из курсантов — сам он тоже — не испытывает других чувств; у всех было пронзительное желание быстрее покончить тут, и каждый хотел сейчас же что-то делать, хотя бы просто двигаться и говорить. Тогда Рюмин и понял, что «со стороны» учиться мести невозможно. Это чувство само растет из сердца, как первая любовь у не знавших ее...

По тем же самым причинам — вблизи обращенные на него глаза живых — Рюмин не смог на кладбище сообщить роте ее истинное положение, и тогда же у него окончательно созрело и четко оформилось то подлинное, на его взгляд, боевое решение, путь к которому он искал весь день.

Уже в сумерках рота покинула кладбище и безымянную братскую могилу. У церкви Рюмин снова построил взводы в каре, и курсанты видели, что капитану очень не хватает сейчас стека.

— Товарищи кремлевцы! Утром мною получен приказ...— Рюмин замолчал и что-то подумал, кто-то еще боролся с ним и хотел одолеть,— приказ командования уни-что-жить мотомехбатальон противника, что

находится впереди нас, и выйти в район Клина на соединение с полком, к которому мы приданы. Атакуем ночью. Огневой подготовки не будет. Раненых приказано оставить временно здесь. Их эвакуирует другая часть... По местам!

Курсанты заняли свои окопы. Минут десять спустя по селу метнулся горячий, с удавными перехватами щекочущий визг, и старшина сообщил вскоре взводам, что на ужин будет кулеш и бесхозная свинина.

Санинструктор нашел помещение под раненых.

— Главное, товарищ капитан, две пустые комнаты,— доложил он Рюмину.— А под ними какой-то двухэтажный подвал. БУ прямо... Только вам самим надо поговорить с хозяином.

Домик был старый, широкий, покрытый черепицей вперемежку с тесом и подсолнечными будыльями. Рюмин оглядел его издали. Ему не хотелось входить в него и видеть пустые комнаты и «БУ прямо». «Надо оставить у них не только винтовки, но и гранаты... И санинструктора». Тот стоял рядом рост в рост, и сумка съехала на живот, и верхний рожок у креста на ней оторвался, образовав букву «Т».

— Вы... москвич? — негромко спросил Рюмин.

— Не понял вас, товарищ капитан,— сказал санинструктор и поправил сумку.

— Можете готовить раненых к переводу. Я здесь договорюсь,— мягко сказал Рюмин.

На крыльце домика отрадно пахло моченым укропом. При тусклом каганце в сенцах возился над кадкой маленький старик в дубленом полушубке. Рюмин встал на пороге и поздоровался. Старик пощурился на него и незаметно выпустил из рук огурцы обратно в кадку. На вопрос Рюмина, он ли хозяин, старик сказал, что хозяин теперь всему война. «Наши раненые и санинструктор тоже должны знать это,— поспешно подумал Рюмин,— хозяин теперь всему война. Всему!» Но осматривать комнаты и БУ он не стал.

Старик ничему не противился. Он только спросил:

— А кормить раненых вы сами будете?

— Да,— сказал Рюмин.— С ними остается и наш доктор.

— А вы все... никак уходите?

У него были белесые тихие глаза, готовые смотреть на все и всему подчиняться, и Рюмин подумал, что, может, не следует к нему определять раненых. Погасив каганец, старик проводил Рюмина с крыльца и во дворе сказал:

— А взяли они вас, сынок, как Мартына с гулянья!

Рюмин снова неуверенно подумал, что, может, не следует оставлять в этом доме раненых.

— Мы вернемся через три дня! — вдруг таинственно сказал он, вглядываясь в стариковы глаза.— И тогда заплатим вам за помощь Красной Армии. Понимаете?

7

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи, и с какого бы направления он ни подводил роту к невидимому селению и сколько бы там ни было немцев, они все до одного обрекались на смерть, потому что предоставить им плен в этих условиях курсанты не могли. Все, что роте предстояло сделать в темноте, Рюмин не только последовательно знал, но и видел в том обостренно резком луче света, который центрировался в его уме предельным напряжением воли и рассудка. Он был уже до конца убежден, что избрал единственно правильное решение — стремительным броском вперед. Курсанты не должны знать об окружении, потому что идти с этим назад значило просто спасаться, заранее устрашась. Нет. Только вперед, на разгром спящего врага, а потом уже на выход к своим...

Но почти безотчетно Рюмин не хотел сейчас думать о грядущем дне и о своих действиях в нем. Всякий раз, когда только он мысленно встречался с рассветом, сердце просило смутное и несбыточное — дня не нужно было; вместо него могла бы сразу наступить новая ночь...

Взводы покинули окопы в урочное время и сошлись и построились в поле за рвом. Тут немного метелило и было яснее направление ветра — он дул с востока. Рюмин пошел перед строем, зачем-то высоко и вкрадчиво, как на минной полосе, поднимая ноги, и в напряженном безмолвии курсанты по-ефрейторски выкидывали перед ним винтовки с голубыми кинжальными штыками и сами почему-то дышали учащенно и шум-

но. Рюмин будто впервые увидел свою роту, и судьба каждого курсанта — своя тоже — вдруг предстала перед ним средоточием всего, чем может окончиться война для Родины — смертью или победой. Он вполголоса повторил боевой приказ и задачу роте, и кто-то из курсантов, забывшись, громко сказал:

— Мы им покажем, на чем свинья хвост носит!

Рота двинулась вперед, и рядом с большим, тревожным и грозным в мозгу Рюмина цепко засела ненужная, до обиды ничтожная и назойливая, как комар, мысль: «А на чем она его носит? На чем?..»

Занятое немцами село рота обошла с юга и в половине четвертого остановилась в низине, поросшей кустами краснотала. Рюмин приказал четвертому взводу выдвинуться к опушке леса в северной части села и, заняв там оборону, произвести в четыре десять пять залпов по дворам и хатам бронебойно-зажигательными патронами. Тогда остальные взводы, подтянувшись к селу с тыла, бросаются в атаку. Четвертый взвод остается на месте и в упор расстреливает отступающих к лесу голых фашистов. Рюмин так и сказал — голых, и Алексей на мгновение увидел перед собой озаренное красным огнем поле и молчаливо бегущих куда-то донага раздетых людей. Он пошел впереди взвода тем самым шагом, каким Рюмин обходил роту перед ее выступлением — как на минной полосе, и курсанты тоже пошли так, и неглубокий снег, перемешанный с землей и пыреем, буграми налипал к подошвам сапог, и приходилось отколупывать его штыками.

Лес завиделся издалека — темная кромка его обрисовывалась в беловато-мутной мгле как провал земли, и уже издали к пресному запаху снега стал примешиваться горьковато-крутой настой дубовой коры. В окостеневшем безмолвии нельзя было отделаться от щемящего чувства заброшенности. Алексей пристально всматривался в троих разведчиков, шедших недалеко впереди с осторожной непреклонностью слепых людей, готовых каждую секунду натолкнуться на преграду, то оглядывался назад и, благодарный кому-то за то, что он не один тут, видел рассредоточенный строй кур-

сантов, далеко выкинувших перед собой винтовки и пригнувшихся, как под напором встречной бури.

Но лес был пуст, таинствен и звучен, как старинный собор, и от его южной опушки до села оказалось не больше трехсот метров. Взвод залег плотной цепью, и сразу летуче запахло бензином — у кого-то пролилась бутылка. Алексей лежал в середине цепи, ощущая животом колкие комочки двух «лимонок» в карманах шинели. Стрелки его наручных часов, казалось, навсегда остановились на цифрах 12 и 4. Село виделось смутно. Оно скорее угадывалось, придавленное к земле оцепенелой тишиной. Когда длинная стрелка часов сползла с единицы, Алексей воркующим тенором — волновался — сказал: «Внимание!» — и медленно стал поднимать пистолет вверх. Он до тех пор вытягивал руку, пока не заломило плечо. Указательный палец окоченел на спусковом крючке. Не доверив ему, Алексей подкрепил его средним, и контрольный выстрел сорвался ровно за минуту раньше времени...

Этот первый залп получился удивительно стройным, как падение единого тела, и сразу же в разных местах села в небо взметнулись лунно-дымные стебли ракет, и было видно, как стремительно понеслись куда-то вбок и вкось пегие крыши построек. Остальным залпам не хватало слаженности — они хлестали село ударами как бы с продолговатым потягом, и Алексей не знал, это ли нужно капитану Рюмину.

После пятого залпа какую-то долю минуты во взводе стояла трудная тишина затаенного ожидания и все вокруг казалось угрожающе непрочным, опасным и зыбким. Курсанты начали зачем-то привставать на четвереньки, и только тогда к лесу прикатился поспешно согласный крик атакующих взводов, будто они троекратно поздоровались в селе с кем-то. Крик тут же слился с разломным треском выстрелов и взрывами гранат. При очередной вспышке серии ракет Алексей хищно окинул взглядом поляну. Она была голубой и пустынной, и он обещающим и виноватым голосом прокричал своему взводу:

— Сейчас побегут! Сейчас мы их!..

Бой в селе нарастал с каждой минутой. К размеренным выстрелам курсантских самозарядок все чаще и чаще начали примешиваться слитные трели чужих

автоматов. Этот звук, рождавшийся и погасавший с какой-то подавлявшей волю машинной торопливостью, был в то же время игрушечно легок и ладен. В нем не чувствовалось никакого усилия солдата. Он был как издевательская потеха над тем, кто лежит с немой винтовкой и слышит это со стороны.

Когда в северной части села гулко и звонисто заработали крупнокалиберные пулеметы и там же неожиданно бурно вспыхнуло высокое пламя пожара и завыли моторы, Алексей вскочил на ноги и воркующим тенором скомандовал атаку...

Горел сарай. Поляну заливал красный мигающий свет. Былинки бурьяна отбрасывали на снег толстые дрожащие тени, и курсанты, боясь споткнуться о них, неслись смешными прыжками, и кто-то от самого леса самозабвенно ругался неслыханно сложным матом, поминая стужу, бурю, святого апостола и селезенку. Оказывается, подбегать к невидимому врагу и молчать — невозможно, и четвертый взвод закричал, но не «ура» и не «за Сталина», а просто заорал бессловесно и жутко, как только достиг околицы села.

Взвод вонзился в село, как вилы в копну сена, и с этого момента Алексей утратил всяческую власть над курсантами. Не зная еще, что слепым ночным боем управляет инстинкт дерущихся, а не командиры, очутившись в узком дворе, заставленном двумя ревущими грузовиками, он с тем же чувством, которое владело им вчера при расстреле броневиков, выпалил по одному разу в каждый и неизвестно кому приказал истошным голосом:

— Бутылками их! Бутылками!

Тогда же он услыхал рядом с собой, за кучей хвороста, испуганно недоуменный крик:

— Отдай, проститутка! Кому говорю!!

Как в детстве камень с обрыва Устиньина лога, Алексей с силой швырнул в грузовики «лимонку» и прыгнул за кучу хвороста. Он не услыхал взрыва гранаты, потому что все вокруг грохотало и обваливалось и потому что из-за хвороста к нему задом пятился кто-то из курсантов, ведя на винтовке, как на привязи, озаренного отсветом пожара немца в длинном резиновом плаще и с автоматом на шее. Клонясь вперед, тот обеими руками намертво вцепился в ствол СВТ, а штык по са-

мую рукоятку сидел в его животе, и курсант снова испуганно прокричал: «Отдай!» — и рванул винтовку. В нелепом скачке немец упал на колени и, рывком насаживаясь на полуобнажившийся рубиново-светящийся штык, запрокинул голову в каком-то исступленно страстном заклятье.

— Lassen Sie es doch, Herr Offizier. Um Gottes willen![1]

Ни на каком суде, никому и никогда Алексей не посмел бы признаться в том коротком и остро-пронзительном взрыве ярости и отвращения, которые он испытал к курсанту, разгадав чем-то тайным в себе темный смысл фразы поверженного немца.

— Стреляй скорей в него! Ну?! — стонуще крикнул он, и разом с глухим захлебным выстрелом ему явственно послышался противный мягкий звук, похожий на удар палкой по влажной земле.

Горело уже в разных концах села, и было светло как днем. Одуревшие от страха немцы страшились каждого затемненного закоулка и бежали на свет пожаров, как бегают зайцы на освещенную фарами роковую для себя дорогу. Они словно никогда не знали или же напрочь забыли о неизъяснимом превосходстве своих игрушечно-великолепных автоматов над русской «новейшей» винтовкой и, судорожно прижимая их к животам, ошалело били куда попало. Эти чужие пулеметно-автоматные очереди вселенской веской силой каждый раз давили Алексея к земле, и ярой радостью — «Меня не убьют! Не убьют!» — хлестали его тело рассыпчато-колкие и гремуче-тугие взрывы курсантских «лимонок» и противотанковых гранат. Он все еще пытался командовать или хотя бы собрать вокруг себя несколько человек, но его никто не слушал: взводы перемешались, все что-то кричали, прыгали через плетни и изгороди, стреляли, падали и снова вставали. Он тоже бежал, стрелял, падал и поднимался, и каждая секунда времени разрасталась для него в огромный период, вслед за которым вот-вот должно наступить что-то небывало страшное и таинственное, непосильное разуму человека. Он уже не кричал, а выл,

[1] Оставьте, господин офицер. Ради бога! *(нем.)*

и единственное, чего хотел,— это видеть капитана Рюмина, чтобы быть с ним рядом...

Ни тогда, ни позже Алексей не мог понять: почему сапог, желтый, короткий, с широким раструбом голенища, стоял? Не лежал, не просто валялся, а стоял посередине двора? Сахарно-бело и невинно-жутко из него высовывалась тонкая, с округлой оконечностью кость. Он не разглядывал это, а лишь скользнул по сапогу краем глаз и понял все, кроме самого главного для него в ту минуту — почему сапог стоит?!

Он побежал на улицу мимо амбара и длинного крытого грузовика, похожего на автобус. Грузовик неохотно разгорался в клубах черного грузного дыма, и оттуда, как из густых зарослей, навстречу Алексею выпрыгнул немец в расстегнутом мундире. Наклонившись к земле, он оглядывался на улицу, когда Алексей выстрелил. Немец ударился головой в живот Алексея, клекотно охнул, и его автомат зарокотал где-то у них в ногах. Алексей ощутил, как его частыми и несильными рывками потянуло книзу за полы шинели. Он приник к немцу, обхватив его руками за узкие костлявые плечи. Он знал многие приемы рукопашной борьбы, которым обучали его в училище, но ни об одном из них сейчас не вспомнил. Перехваченный руками пистолет плашмя прилегал к спине немца, и стрелять Алексей не мог — для этого нужно было разжать руки. Немец тоже не стрелял больше и не пробовал освободиться. Он как-то доверчиво сник и отяжелел и вдруг замычал и почти переломился в талии. Терпкий уксусный запах рвоты волной ударил Алексею в лицо. Догадавшись, что немец смертельно ранен им, Алексей разжал руки и отпрянул в сторону. Немец не упал, а как-то охоче рухнул бесформенной серой кучкой, упрятав под себя ноги. Пятясь от него, Алексей бессознательно откинул полу шинели, чтобы увидеть зачем-то свои ноги. Пола шинели была тяжелой и мокрой. Что-то белесовато-розовое и жидкое налипало к голенищам и носкам сапог. «Это он... облевал»,— со стыдом, обидой и гадливостью подумал Алексей. Внутренности его свились в клубок и больно подкатились к горлу, и он кинулся за амбар и притулился там у плетня в узком закоулке, заваленном вязанками картофельной ботвы...

Его рвало долго и мучительно. В промежутках приступов он все чаще и явственней различал голоса своих.— бой затихал. Обессиленный, снятый холодной внутренней дрожью, Алексей наконец встал и, шатаясь, пошел к убитому им немцу. «Я только посмотрю.. Загляну в лицо, и все. Кто он? Какой?»

Немец лежал в прежней позе — без ног, лицом вниз. Задравшийся мундир оголял на его спине серую рубаху и темные шлейки подтяжек, высоко натянувшие штаны на плоский худой зад. Несколько секунд Алексей изумленно смотрел только на подтяжки: они пугающе «по-живому» прилегали к спине мертвеца. Издали, перегнувшись, Алексей стволом пистолета осторожно прикрыл их подолом мундира и пьяной рысцой побежал со двора. По улице, в свете пожаров, четверо курсантов бегом гнали куда-то пятерых пленных, и те бежали старательно и послушно, тесной кучей, а курсанты каким-то лихо-стремительным подхватом держали перед собой немецкие автоматы, и кто-то один выкрикивал командно и не в шутку:

— Айн-цвай! Айн-цвай!

Алексей пропустил пленных, пытаясь заглянуть в лицо каждому, и, пристроясь к курсантам, спросил на бегу у того, что отсчитывал шаг:

— Куда вы их?

— В распоряжение лейтенанта Гуляева, товарищ лейтенант! — строго ответил курсант и властно повысил голос: — Айн-цвай! Айн-цвай!

Невольно ладя шаг под эту команду, Алексей побежал сзади курсантов, то и дело поворачивая голову влево и вправо — у плетней и заборов лежали знакомые серые бугорки. Курсанты повернули пленных в широкий, огороженный железной решеткой сад. Там у ворот стояла на попа́ длинная узкая бочка в подтеках мазута, и над ней ревел и бился плотный столб красно-черного огня и дыма. Несколько курсантов и Гуляев держались в сторонке, направив в бочку немецкие автоматы, и у Гуляева на левом боку ярко блестела лакированная кобура парабеллума.

— Ну, Лешк! — закричал Гуляев, увидев Алексея.— В пух разнесли! Понимаешь? Вдрызг! Видал?!

Он не мог говорить, упоенный буйной радостью первой победы, и, вскинув автомат, выпустил в небо

длинную очередь. И тут же взглянул на пленных, но искоса, скользяще, и совсем другим голосом — невнятно, сквозь сжатые зубы — сказал окружавшим его курсантам:

— Туда!

Пленных окружили и повели в глубину сада, а Гуляев с прежним счастьем сказал Алексею:

— В пух, понимаешь? Расположились тут, сволочи, как дома. В одних кальсонах спят. Видал? Вконец охамели...

Ожидающе вглядываясь в сад, суетясь и пряча от Гуляева полу своей шинели, Алексей спросил, где капитан.

— В том конце, возле школы,— сказал Гуляев.— Там сейчас мины и разное барахло взорвут. В твоем взводе большие потери? У меня всего лишь пятеро...

Алексей не ответил и побежал из сада, и все время в его мозгу звонисто отсчитывалось «айн-цвай, айн-цвай», и он выбрасывал и ставил ноги под эту команду. Он испытал внезапную, горячую и торопливую радость, когда увидел Рюмина.

...Рота вступила в «свой» лес только в седьмом часу, и к тем пятнадцати, которых несли на плащ-палатках, сразу же прибавилось еще двое раненых,— спасаясь, несколько немцев проникли сюда. Чужим приемом — рукоятки в животы — курсанты подняли в лесу разноцветную пулевую пургу. Тут уже били ради любопытства и озорства, подчиняясь чувству восхищенного удивления и негодования — «как из мешка!». Плотность огня трофейных автоматов и в самом деле была поразительной: они, как пилой, срезали молодые деревья, и на то, чтобы расчистить себе путь, курсантам понадобилось не много времени. Как только утихла стрельба, раненые один за другим снова начали стонать и просить пить, и с какой-то своевольной властностью курсанты приказывали им потерпеть.

— Ну чего развели нуду? К утру доставим в госпиталь, а через неделю будете с орденами и кубиками!

— Это точно! Там их не меньше батальона сыграло...

— Одних автобусов штук сорок было!..

— Да шесть броневиков...

Рота двигалась медленно. Потери немцев росли по мере отдаления курсантов от села, и каждый знал, что он умалил там и к чему прибавил. Это нужно было не им, здоровым и живым, а семнадцати раненым и тем еще одиннадцати, что навсегда остались в горящем селе, кому уже никогда не придется носить ни кубарей на петлицах, ни орденов на груди...

8

Лес выпуклым полукругом обрывался в поле. Северо-западным краем оно уходило в возвышенность, а восточным — сползало в низину, и там стояло несколько хат, а за ними тянулась какая-то рыжая приземистая поросль. Дальше ничего не виделось, потому что день застрял на полурассвете — узенький, серый и плоский: небо начиналось прямо над верхушками деревьев. Рота присела на опушке, и Рюмин заколдованно стал смотреть на хаты и на то, что было позади них, — туда предстояло идти, а раненые все время просили воды, и трое из них умерли перед утром, но их несли, потому что Рюмин не останавливался.

Все эти пять или шесть километров, что отделяли роту от места ночного боя, она прошла по восточной опушке леса, и в темноте он казался нескончаемым, широким и неизведанным, как тайга. Он словно по заказу все время заворачивал к северо-востоку, и мысленно Рюмин не раз уже переходил в нем с курсантами ту незримую и таинственную линию, за которой сразу же исчезало представление об окружении и где лишь только тогда изумительно дерзкой победой кремлевцев заканчивался прошлый ночной бой. Но к этому рубежу окончательной победы роту могла привести только ночь, а не этот стыдливый изменник курсантам, плюгавый недоносок неба — день! О если б мог Рюмин загнать его в черные ворота ночи!! Загнать его туда на целые сутки, ненужного сейчас русским людям, запоздалого пособника битых в темноте!..

Рюмин повел роту в глубину леса — чуть-чуть назад и больше на запад, и лес уже не был прежним: он мог быть значительно гуще, запущенный, а в нем то и дело

попадались давно и аккуратно сложенные кучки валежника, давно и чисто прибранные полянки и просеки. Он был избит глубокими скотными тропинками и стежками, припорошенными снегом, и на их обочинах в кустах орешника пугано тетенькали синицы. Западная опушка показалась еще издали. Лес кончался тут густым мелким осинником. За ним полого поднималось наизволок серое поле, сливавшееся с серым небом...

Такие сигареты можно было не курить — хорошо тлели сами, и дым от них отдавал соломенным чадом, больно царапавшим горло, и есть после этого хотелось еще больше. Но потому что сигареты были трофейные, в красивых ярко-зеленых и малиновых пачках, никогда до этого не виданных, и потому что рота не лежала, а сидела в лесу в круговой обороне, курсанты курили их молчаливо, изучающе-въедливо. Раненые, перевязанные и забинтованные индивидуальными пакетами, лежали в середине круга. Они стонали, подлаживаясь тоном друг под друга,— может, им легче так было, и уже через час их голоса стали для роты привычной тишиной леса. Разведгруппы, посланные Рюминым к востоку и западу от леса, возвратились разновременно. Гуляев, ходивший на запад, доложил, что с бугра, километрах в двух отсюда виден красный купол водонапорной башни. Наверно, совхоз. А может, станция какая-нибудь. Уточнить не удалось. Не идти же туда днем? Командир третьего взвода лейтенант Рыжков с тремя курсантами принес ведро с водой и четыре ковриги хлеба. Он сказал, что хаты, видневшиеся с восточной опушки, называются Красными Двориками. Немцев там не было. Свои прошли на Москву позавчера ночью. Рюмин достал карту и тонким кружком обвел на ней зеленое пятно леса рядом с населенным пунктом Таксино, что в 37 километрах западнее Клина.

Такие же кружочки старательно потом вывели на своих картах и командиры взводов.

День разгуливался — небо углублялось, а лес становился прозрачнее и мельче. В одиннадцатом часу над ним неизвестно откуда неслышно появился маленький черный самолет с узкими, косо обрубленными крылья-

ми. Он не гудел, а стрекотал, как косилка, и колеса под его квадратным фюзеляжем искалеченно торчали в разные стороны. Он снизился к самым верхушкам деревьев и начал елозить над лесом, заваливаясь с крыла на крыло, помеченные черно-желтыми крестами.

Кто-то из невесело-раздумчивых русских солдат с первых же дней войны назвал этот чужой самолет-разведчик «костылем», вложив в это слово презрение и горькую обиду,— его трудно было сбить. Он часто попадал в сосредоточенный огонь нескольких зенитных батарей и, искореженный, почти бескрылый и бесхвостый, не улетал, а утягивался, сволочь, туда, откуда появлялся, после чего наступало жесткое лихо бомбежки. Курсанты впервые видели «костыль». Он трижды прошел над ротой, и казалось, что этому летучему гробу достаточно одной бронебойно-зажигательной пули, чтобы он рухнул. Но Рюмин трижды повторил команду не стрелять: до вечерних сумерек было каких-нибудь пять часов, и желание остаться незамеченными перерастало у него в уверенность, что разведчик не видит роту.

— Вверх не смотреть! Не шевелиться! — застыв на месте, вполголоса кричал Рюмин, и курсанты гнули к коленям головы, исподтишка косясь в небо, и тоном Рюмина Гуляев попросил:

— Товарищ капитан! Разрешите мне бутылкой его... Залезу на сосну и шарахну! Никто не услышит, товарищ капитан!

Рюмин внимательно посмотрел на Гуляева и ничего не сказал.

На пятом залете самолет неожиданно взревел и трудно полез вверх. Из-под его колес вываливалось что-то бесформенное, сразу же развернувшееся широким белым веером, и на роту в медленном трепете начали опадать листовки. Они застревали в верхушках деревьев, садились на каски и плечи курсантов, порошили раненых. Прислонясь к сосне, Рюмин смотрел на роту. Он видел ее всю сразу и каждого курсанта в отдельности, и то, чего он ждал, было ему противным, немым и темным, но он продолжал ждать и не снимал с рукава листовку, прилипшую к отсыревшему ворсу, и никто из курсантов не прикасался к листовкам. «Нет,

они не возьмут листовки,— подумал Рюмин.— Они боятся. Кого? Меня или друг друга?»

Озлобленно и хватко Рюмин ударом ладони накрыл листовку и поднес ее к глазам. И сразу же листовки взяли все,— Рюмин хорошо это видел,— и кто-то из раненых стонуще спросил:

— Ребята... что там написано, а?

Ему никто не ответил — читали, и Рюмин весь превратился в слух и почти зажмурился.

— Что там, а? — снова простонал раненый.

— Да ни хрена тут нету! — с нажимом на басы и с какой-то гневной верой в то, что он понял, сказал позади Рюмина курсант.— В плен Гитлер кличет... А пропуск такой: «Бей жида — политрука, рожа просит кирпича!» Ясно?

— Как Пу-ушкин! — протянул раненый.

— П...юшкин! — окончательно сбился на басы курсант, и Рюмин засмеялся первым и повторил то, что сказал курсант...

Решение...

Была минута, когда Рюмину захотелось принять его всей ротой, но он мысленно представил себе, как по открытому месту, днем, в тылу у немцев на восток двигается колонна из ста шестидесяти трех курсантов, трех лейтенантов, одного капитана и двадцати восьми «санитаров», несущих четырнадцать раненых... Очевидно, другого решения рота принять не могла, и раненых непременно понесли бы впереди, потому что враг на востоке для курсантов не существовал. Если же сообщить курсантам, что рота находится в окружении, то тем более все выскажутся за то, чтобы немедленно идти на восток — там ведь свои! В этом случае роту ожидало единственное и неминуемое — разгром. Лучше было встретить врага в лесу, чем в поле, потому что лес, как и грядущая ночь, был союзником курсантов.

Разведчик еще стрекотал, утягиваясь на юг, когда Рюмин приказал роте залечь в цепь, но не на западной, а на восточной опушке, лицом к лесу. Это было уступкой сердцу — оно ждало врага только с запада, и отсюда ему на целых двести метров было ближе к своим...

Четвертый взвод лежал на левом фланге. В ночном бою он не понес потерь, и поэтому транспортировка и присмотр за ранеными были поручены ему. Алексей распорядился отнести их чуть-чуть в тыл и левее взвода — там была воронкообразная котловинка, заросшая орешником. Санитаром и сиделкой к раненым он назначил своего связного Гвозденко, и вскоре тот доложил:

— Кушать просят.

— А можно им? — зачем-то спросил Алексей.

— Не все,— значительно сказал Гвозденко.

— А что можно?

— Это пока неизвестно. Что достану, если разрешите сходить вон в те хаты. Воды тоже нету.

Он побежал к Красным Дворикам, гремя ведром. Алексей подумал, что раненых надо бы снести туда, и через плечо стал рассматривать хаты и то, что виднелось за ними. Гвозденко то и дело почему-то оглядывался, потом остановился, поднес к глазам ладонь, задрав голову, и бросился назад.

— Самолеты сюда... Много! — крикнул он и лег рядом с Алексеем, поставив в головах ведро.

— Ты давай к себе,— сказал ему Алексей, улавливая слабый отдаленный гул, и Гвозденко нехотя поднялся и побежал в котловинку, а Алексей снова подумал, что раненых следовало бы перенести в хаты. Самолетов еще не было видно, но с каждой секундой рокот усиливался, и в изголовье Алексея вдруг надсадно-тонко и чисто запело ведро. Острый ноющий звук жил и упрямо бился с мощным ревом неба и чем-то далеким и полузабытым больно пронизывал набухавшее тоской сердце Алексея. Он приподнялся на четвереньки и глянул в небо, но тут же припал к земле и сжался — из длинного журавлиного клина, каким шли самолеты, прямо на четвертый взвод отвесно падали три передних бомбардировщика. «Надо броском вперед или назад, как тогда в окопе»,— мелькнуло в его мозгу, и он крикнул: «Внимание!» — и услыхал над собой круто нараставший свист оторвавшихся от самолетов бомб. Они легли позади и слева, колыхнув и сдвинув землю, и в грохоте обвала сразу же обозначился очередной, до самой души проникающий вой. Эта серия бомб взорвалась тоже позади взвода, но зна-

чительно правее, и Алексей мысленно крикнул «Внимание!» — и непостижимо резким рывком кинулся вперед, в глубь леса. Он упал возле сосны и когда оглянулся, то на мгновение увидел наклонно бегущих в лес и падающих у кустов и деревьев курсантов, клубы синеватого праха на опушке, а в их промежутках — далекие силуэты хат и над ними несколько штук заваливших на нос черных самолетов. Вид этих пикирующих на Дворики «юнкерсов» уколол его сердце надеждой — «может, они все перекинутся туда», и одновременно он подумал, что раненых переносить в хаты было нельзя... Он видел, как в одиночку и группами разбегались по лесу курсанты. «Что ж он... его мать, завел, а теперь...» Это он подумал о Рюмине, но тут же забыл о нем, придавленный к земле отвратительным воем приближающихся бомб. Мысли, образы и желания с особенной ясностью возникали и проявлялись в те мгновения, которыми разделялись взрывы, но как только эти паузы исчезли и лес начал опрокидываться в сплошную грохочущую темноту, Алексей ни о чем уже не думал — тело берегло в себе лишь страх, и он временами лежал под деревом, вцепившись в него обеими руками, то куда-то бежал и в одну и ту же секунду ощущал дрожь земли, обонял запах чеснока и жженой шерсти; видел над лесом плотную карусель самолетов, встающие и опадающие фонтаны взрывов, летящие и заваливающиеся деревья, бегущих и лежащих курсантов, до капли похожих друг на друга, потому что все были с раскрытыми ртами и обескровленными лицами; видел воронки с месивом песчаника, желтых корней, белых щепок и еще чего-то, невыразимого словами; видел куски ноздреватого железа, похожего на баббит, смятые каски и поломанные винтовки... Поддаваясь великой силе чувства локтя, он бежал туда, где больше всего накапливалось людей, и дважды оказывался в поле и дважды возвращался в лес — в поле было страшнее: десятки самолетов чертили над ним широкие заходные виражи...

Наконец для тех, кто был жив, наступила минута тягостного провала в глубину времени, свободного от воя и грохота бомб, но заполненного напряженным ожиданием окончательного взрыва земли: бомбы не рвались, а самолеты продолжали кружить над лесом,

и облегченно-ровный их рокот постепенно увязал и растворялся в другом — накатно-тяжком, медлительном и густом.

Под это водопадное слияние звуков мало кто заметил, с какого направления вошли в лес танки и пехота противника...

9

...Курсант лежал лицом вниз, а нависшая над воронкой круглая лепеха соснового корня отекала на него сухим песком, и, полузасыпанный, он казался мертвым. В падении Алексей оттолкнул его плечом и лег под самым корневищем.

— Больше тебе некуда, да? — ошалело, не поднимая из песка головы, заглушенно вскрикнул курсант и подвинулся на свое прежнее место. Алексей дышал часто и трудно, будто только что вынырнул из воды.

— Наложил или ранен? — уже миролюбивее спросил курсант, все еще не открывая глаз.

— М...к! — выдохнул Алексей.— Лежи тихо! Танковый десант!..

Тот одним рывком повернулся на бок и подтянул к животу ноги. Алексей проделал то же самое, и колени его оказались прижатыми к заду, а голова — к спине курсанта. Они разом глубоко вздохнули и затихли. Все, что им слышалось, доносилось к ним не сверху, а как бы из-под земли: отрывисто-круглые выстрелы танковых пушек, гул моторов, протяжно-раскатный стон падающих деревьев, прореди автоматных очередей, и все это мешалось в единое и казалось отдаленным и неприближающимся.

«Может, это тоже пройдет... Как-нибудь пройдет и кончится»,— подумал Алексей, и тут же он вспомнил и увидел роту, свой взвод, раненых, капитана Рюмина, вспомнил и увидел курсанта, к которому прижимался под этим спасительным земляным зонтом. «А ведь он дезертир!.. Он трус и изменник! — внезапно и жутко догадался Алексей, ничем еще не связывая себя с курсантом.— Там бой, а он...»

Наверху, рядом с воронкой, гремуче прокатился железный вал и послышались близкие автоматные выстрелы, голоса немцев, улюлюканье и свист. Алексей

всем телом подался к курсанту, затаенно молясь корню, осыпавшемуся на него песком и глиной. Валы катились рядом, слева и справа, и, ощущая коленями тепло и дрожь тела курсанта, Алексей уже смертно ненавидел булькающее урчанье его живота, эту тесно прильнувшую к нему спину, весь его мерзкий, скрюченный облик.

— Где твоя СВТ? — свистящим шепотом спросил он курсанта.

— Тут! — к чему-то готово отозвался курсант.— И немецкий автомат тоже... А твоя?

У него опять голодно зарычал живот, и курсант еще круче выгнул спину и сказал:

— Вот же сволочь! Ему хоть бы что...

В буреломном грохоте леса неожиданно явственно (и совсем недалеко) вспыхнула раздерганная ружейная пальба и раздались крики, потом несколько раз (знакомо по учебному полигону) звучно взорвались противотанковые гранаты, и все откатилось в сторону, и Алексей обнял курсанта и затрясся в сухом истерическом плаче.

— Тихо! Цыц, в душу твою!..— обернулся курсант и стал ловить горячими пальцами прыгающие губы Алексея.— Ты что...— Он осекся, с писком сглотнул слюну и отнял руку.— Это вы, товарищ лейтенант? Не бойтесь! Нас тут не найдут... Вот увидите! — зашептал он в глаз Алексею.

— Вставай! — крикнул Алексей.— Там... Там все гибнут, а ты... Вставай! Пошли! Ну?!

— Не надо, товарищ лейтенант! Мы ничего не сможем. Нам надо остаться живыми, слышите? Мы их, гадов, потом всех... Вот увидите!.. Мы их потом всех, как вчера ночью! — исступленно просил курсант и медленно, заклинающе нес ладонь ко рту Алексея. Алексей ударил его в подбородок, и курсант встал на колени, упершись каской в корневище.

— Стреляй тогда! — тоже в полный голос крикнул он, и лицо его стало как бинт.— Или давай сперва я тебя! Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен...

И Алексей впервые понял, что смерть многолика. Курсант — Алексей видел это по его жутко косившим к переносице глазам, по готовно поддавшемуся на пистолет левому плечу, по мизинцу правой руки, одино-

ко пытавшемуся оторвать зачем-то пуговицу на шинели,— курсант не боялся этой смерти и почти торопил ее, чтобы не встретиться с той, другой, которая была там, наверху. «Что это, страх или инстинктивное сознание пользы жертвы?» — мелькнуло у Алексея.— «Лучше это самим, чем они нас... раненых... в плен». «Мы их потом всех, как вчера ночью!..»

Тогда-то и открылось Алексею его собственное поведение, и, увидя себя со стороны, он сразу же принял последнее предложение курсанта — самих себя, но еще до этого мига его мозг пронизала мысль: «А что же я сам? Я ведь об этом не думал! А может, думал, но только не запомнил того? Что сказал бы я Рюмину перед его пистолетом? То же, что этот курсант? Нет! Это было б неправдой! Я ни о чем не думал!.. Нет, думал. О роте, о своем взводе, о нем, Рюмине... И больше всего о себе... Но о себе не я думал! То все возникало без меня, и я не хочу этого! Не хочу!..» Веруя в смертную решимость курсанта и гася в себе чей-то́ безгласный вопль о спасении, Алексей выбросил руку с пистолетом и разжал пальцы. Курсант обморочно отшатнулся, но тут же схватил пистолет.

— Психический! — измученно прошептал курсант и лег.

Они лежали валетом и слышали, как над ними остановились двое и стали мочиться в обрыв воронки, под корень. Это были немцы. Они перебросились несколькими фразами, и скоро все стихло. Ушли.

Ночь была глухой и пустынной. Сквозь белесую пелену туч звезды просачивались желтыми масляными пятнами, а по земле синим томленым чадом стлался туман, и все окружающее казалось полуверным и расплывчатым. Курсант шел в двух шагах сзади с винтовкой на правом плече и с автоматом на левом, и, оглядываясь, Алексей каждый раз встречал его радостно-смущенные глаза. Он был из третьего взвода. Фамилию его Алексей не помнил, а спрашивать не хотелось. Не хотелось ничего: ни думать, ни разговаривать, ни жить, и все свое тело Алексей ощущал как что-то постороннее и ненужное. Он был пуст, ко всему глух и невосприимчив, и он не мог прибавить или убавить

шаг — ноги двигались самостоятельно, без всякого его усилия и воли. Где-то далеко справа размеренно работали тяжелые орудия. Сначала слышалось обрывистое «дон-дон», а через десять шагов впереди на краю света ворчали взрывы, и Алексей невольно забирал влево, на север.

— Так и дурак кашу съест, была бы ложка,— сказал раздумчиво курсант, прислушиваясь.

Алексей промолчал.

— Воюют-то они чем,— подождав, снова начал курсант,— минометами, пикировщиками да танками?

— Это ты кому следует скажешь, чем они воюют... А как мы с тобой воевали нынче... тоже доложишь! — озлобленно проговорил Алексей, не оборачиваясь.

— Нынче никто из нас не воевал, товарищ лейтенант! — угрюмо сообщил курсант.— И докладывать мне некому и нечего. Я весь день пролежал один в воронке...

— Один? А я где был? — парализованно остановился Алексей.

— Не знаю. Мало ли... Там кто-то все время стрелял из пистолета по «юнкерсам». Кажется, сбил одного... Может, это вы были?

— Вот гад! — изумленно, самому себе сказал Алексей.— Рота погибла, а он... Вот же гад.

— Да кому это нужно, чтоб мы тоже там погибли? — так же изумленно, шепотом спросил курсант.— Немцам?

— Ты знаешь, о чем я говорю!

— Может, и знаю. Об НКВД, наверно?

— Вот-вот. И о своей и твоей совести...

— Ну, моя совесть чиста! — сказал курсант.— Я вчера ночью честно, один на один, троих подсадил, как миленьких... А из НКВД с нами никого не было. Ни вчера, ни нынче. Так что нечего...

Он обиженно замолчал и пошел рядом, но через минуту спросил почти весело:

— А вы как... многих вчера, товарищ лейтенант?

— Одного,— не сразу, устало сказал Алексей.— Худой, как скелет...

Курсант удивленно и немного насмешливо посмотрел на него сбоку.

— Щупали, что ли?

— Документы проверял... Он офицер был,— солгал Алексей и рукавом отер лицо.

— А я, дурак, и не подумал насчет трофеев! — сокрушенно сказал курсант.— Один вот только автомат прихватил...

Они дважды присаживались в поле и молча курили перемешанную с песком и галетными крошками махорку курсанта, запрятав цигарки в рукава, потом опять шли на северо-восток, потому что орудия по-прежнему били справа. Когда посреди неожиданно обозначилась в полумгле бурая горбатина леса, курсант сцепил локоть Алексея и захлебно крикнул:

— Немцы! Над самыми верхушками... Четверо!

Было все сразу — волна горячего испуга («Он сошел с ума!»), вид четырех гигантов, возвышавшихся над лесом тускло блестевшими касками («Я тоже?»), и голос капитана Рюмина:

— Свои! Подходите!

Лес был шагах в двадцати, и на бегу курсант не то смеялся, не то плакал и до боли сжимал локоть Алексея. Как только под ногами с морозным сухим треском стала ломаться рыжая заросль, Алексей догадался, что это всего-навсего подсолнечные будылья, и перестал противиться руке курсанта и сам закричал что-то слезно и призывно...

10

Это оказались те самые скирды, где четыре дня тому назад роту встретил майор в белом полушубке. Скирды узнали еще издали, с опушки леса, и Рюмин, шедший впереди, так и не понял — сам ли он замедлил шаг или же курсанты с Алексеем настигли его, и он очутился в середине и даже немного позади группы. Так, в тесной кучке, все шестеро и подошли к ним, и сразу же каждый почувствовал ту предельную усталость, когда тело начинает гудеть и дрожать и хочется единственного — упасть и не вставать больше. Остановившись, Рюмин удивленно и опасливо оглядел скирды, лес, светлеющее небо, потом перевел взгляд на Алексея и спросил его снова:

— Все? Больше никого?

Алексей ничего не ответил — это было сказано в десятый раз,— и тем же изнуренным и бесстрастным голосом Рюмин произнес:

— Тогда обождем здесь.

Курсанты один за другим молча нырнули в готовую дыру в западной стенке крайнего справа скирда, и, когда Алексей тоже наклонился над ямкой, Рюмин просительно тронул его за плечо и с отчаянным усилием сказал:

— Не нужно туда! Сделаем сами...

Они подошли к соседнему скирду, и Рюмин, захватив в горсть несколько травинок, понес их к себе, как букет, а потом стоял и с неестественно пристальным, почти тупым любопытством следил за тем, как легко и хватко Алексей вынимал из скирда круглые охапки слежавшегося клевера и тимофеевки.

— Все. Давайте, товарищ капитан,— сказал Алексей.

— Что? — непонимающе спросил Рюмин.

— Заходите, а я свяжу затычку.

Рюмин согнулся, но пролаз был низок, и он опустился на колени и локти и пополз в пахучую темень дыры под немым страдающим взглядом Алексея. И хотя влезть в дыру можно и нужно было иначе — задом, уперев руки в колени, Алексей зачем-то в точности повторил прием Рюмина. Он загородил затычкой вход и лег, стараясь не задеть капитана, и, затаясь, несколько минут ждал какого-то страшного разговора с Рюминым. Но Рюмин молчал, изредка сухо и громко сглатывая слюну. В недрах скирда шуршали и попискивали мыши, и пахло сокровенным, очень давним и незабытым, и от всего этого томительно-больно замирало сердце, и в нем росла запуганно-тайная радость сознания, что можно еще заснуть.

Было светло и спросонок зябко, потому что затычка валялась в стороне,— видно, Рюмин отбросил ее ударом кулака, он лежал на животе, наполовину высунувшись из устья дыры, и, уложив подбородок в ладони, глядел в небо. Там, над лесом, метались три фиалково-голубых «ястребка», а вокруг них с острым звоном спиралями ходили на больших скоростях четыре «мес-

сершмитта». Алексей впервые видел воздушный бой и, подтянувшись к пролазу, принял позу Рюмина. Маленькие, кургузые «ястребки», зайдя друг другу в хвост, кружили теперь на одной высоте, а «мессершмитты» разрозненно и с дальних расстояний кидались на них сверху, с боков и снизу, и тот «ястребок», который ближе других оказывался к атакующему врагу, сразу же подпрыгивал и кувыркался, но места в кругу не терял.

— Хорошо обороняются, правда, товарищ капитан? — возбужденно спросил Алексей. Рюмин не обернулся: на лес убито падал, медленно перевертываясь, наш истребитель, а прямо над ним свечой шел в небо грязно-желтый, длинный и победно остервенелый «мессершмитт».

— Мерзавец! Ведь все это давно было показано нам в Испании! — прошептал Рюмин. — Негодяй! — убежденно-страстно повторил он, и Алексей не знал, о ком он говорит.

Вслед за первым почти одновременно погибли оба оставшихся «ястребка» — один, дымя и заваливаясь на крыло, потянул на запад, второй отвесно рухнул где-то за лесом. Рюмин повернулся на бок, поочередно подтянул ноги и сел.

— Все, — старчески сказал он. — Все... За это нас нельзя простить. Никогда!..

У него теперь было худое узкое лицо, поросшее светлой щетиной, съехавший влево рот и истончившиеся в ненависти белые крутые ноздри. Увидав на его шее две набрякшие, судорожно бившиеся жилы — плачет?! — Алексей, встав на четвереньки и забыв сесть, одним дыханием выкрикнул в грудь Рюмину все то, что ему самому сказал курсант:

— Ничего, товарищ капитан! Мы их, гадов, всех потом, как вчера ночью! Мы их... Пускай только... Они еще не так заблюют!.. У нас еще Урал и Сибирь есть, забыли, что ли! Ничего!

Несколько минут они молчали. Лицо Рюмина сохраняло прежнее выражение — невидящие глаза, скосившийся рот, приподнятые крылья ноздрей, но он сидел теперь затаенно-тихий, как бы во что-то вслушиваясь или силясь постигнуть ускользающую от него мысль, и, как только это удалось ему, черты лица его

сразу же обмякли, и он как-то сожалеюще-любовно посмотрел в глаза Алексею.

— Покурить бы,— виновато сказал он.

— Это я сейчас,— вырвалось у Алексея.— У ребят есть, я знаю!..

Курсанты понуро сидели кружком у своего скирда. На охапке клевера перед ними стояла расковырянная штыком банка судака в томатном соусе. Они, видно, приготовили ее давно, до начала воздушного боя, и все еще не ели, может, потому, что не решили — чем. При подходе Алексея они не встали, но ожидающе подобрались. Сразу же, увидав банку, Алексей хотел вернуться и прийти попозже, но уйти, ничего не сказав курсантам, было нельзя, и он спросил, как они отдохнули.

— Как у тещи,— с мрачной иронией сказал кто-то, и оттого, что курсанты сидели и ждали от него чего-то другого, а не этого только вопроса, потому что Алексей стоял прямо над банкой и старался не глядеть на нее и не глотать приток слюны, он устыдился и покраснел от одной лишь мысли попросить сейчас закурить.

— Ну ладно,— торопливо проговорил он,— я зайду после...

Его догнал тот самый курсант из третьего взвода и на ладонях, залитых ржавым соусом, почти к самому лицу Алексея протянул банку.

— Ну-ка, берите с капитаном! — строго и загодя возмущенно на предполагаемое неповиновение сказал он.— И под низ давайте, а то разольете к такой матери!..

Бессознательно подчиняясь приказному тону, Алексей машинально снял с его ладоней банку и тут же протянул ее назад, но курсант, на отлете поддерживая руки, побежал к своим и на полпути обернулся и напутственно кивнул Алексею.

— Я же только так... Закурить хотел! — слабо крикнул Алексей.

— Потом принесу! — отозвался курсант, но уже не оглянулся.

Рюмин встретил Алексея вопрошающе-длинным взглядом, и, когда Алексей, приемом курсанта, поднес к его лицу банку, он отшатнулся и пораженно спросил:

— Что это?

— Консервы... Ничего нельзя было сделать,— растерянно проговорил Алексей.— А табак, сказали, принесут после...

— Сказали?— переспросил Рюмин.— Зачем? Черт знает... Как же ты не понимаешь всего этого! — И, побелев, скривив рот и пытаясь встать на колени, осипло крикнул: — Отнеси сейчас же! Бегом! И никакого табака! Ничего! Они не этим должны нас... Не этим!..

Все того же курсанта и Алексея, бежавших со своими ношами навстречу друг другу, разделяли шага три или четыре, когда в скирде позади Алексея треснул притушенный, до конца не окрепший выстрел. Видно, курсант тоже враз понял, кто и куда стрелял, потому что он сам выхватил из рук Алексея банку, рассыпав табак, а потом бежал следом за Алексеем и ярым полушепотом ругался в бога...

Рюмин лежал на спине. Левая бровь его была удивленно вскинута, а расширенные глаза осмысленно глядели в сумрак дыры. Он часто и слабо икал, выталкивая языком сквозь белеющие зубы розоватую пену, и правой рукой, откинутой далеко в сторону, зажимал пучок клевера. Все это Алексей вобрал в один короткий обыскивающий взгляд, и, когда он позвал капитана и подхватил его под мышки, по всему телу Рюмина прошла бурная живая дрожь, но тело тут же опало и налилось тяжестью, а глаза вспугнуто померкли.

Это было впервые, когда Алексей не устрашился мертвого. Наоборот, он испытывал какую-то странную близость и согласность к той таинственно-неподвижной позе Рюмина, в которой он лежал, и то, что он сделал, не вызывало у Алексея ни протеста, ни жалости. Как в полусне и с выражением просветленной оцепенелости он расстегнул на Рюмине шинель и стал ощупывать его грудь, ощущая пальцами угасающее тепло и липкую влажность. В проходе дыры молча стояли курсанты, и, когда Алексей бессмысленно взглянул на них, кто-то спросил:

— Куда он попал, товарищ лейтенант?

Алексей не ответил. Курсант из третьего взвода сказал: «Какая разница»,— и выругался в бога.

Все, что делал потом Алексей — снимал с Рюмина планшетку и полевую сумку, вытаскивал из нагрудных карманов его гимнастерки крошечный блокнот и партийный билет, разглядывал и прятал в свой карман рюминский пистолет,— все это он совершал внимательно-прочно, медленно и почти торжественно. То оцепенение, с которым он встретил смерть Рюмина, оказывается, не было ошеломленностью или растерянностью. То было неожиданное и незнакомое явление ему мира, в котором не стало ничего малого, далекого и непонятного. Теперь все, что когда-то уже было и могло еще быть, приобрело в его глазах новую, громадную значимость, близость и сокровенность, и все это — бывшее, настоящее и грядущее — требовало к себе предельно бережного внимания и отношения. Он почти физически ощутил, как растаяла в нем тень страха перед собственной смертью. Теперь она стояла перед ним, как дальняя и безразличная ему родня-нищенка, но рядом с нею и ближе к нему встало его детство, дед Матвей, Бешеная лощина... По очереди разглядывая лица курсантов, он раздельно и бесстрастно сказал:

— Надо его на опушке, под кленом.

— Как теперь узнаешь клен? Листьев-то нету,— сказал кто-то, но Алексей повторил с тупым упрямством:

— Чтоб небольшой клен... Разлапый.

Он сам нашел его метрах в ста от скирдов. Молча ходившие сзади него курсанты составили в козлы СВТ, а под ними выставили две бутылки с бензином. Немецкий автомат курсант из третьего взвода повесил на ветку клена. Алексей, проследив за действием каждого, снял шинель и свернул ее пакетом. То же самое проделали и курсанты, но шинели свои сложили поодаль от лейтенантской.

— Дай мне свой штык,— сказал Алексей курсанту из третьего взвода.

— Да полно вам, мы сами выроем! — с досадой взглянул на него тот.

— Дай, говорю, ну? — прошептал Алексей. Курсант обратил кинжалообразный штык лезвием к себе и протянул его Алексею.

Земля промерзла всего лишь на ладонь, но ее верхний черный пласт был густо перевит и опутан белыми

нитями пырея — жесткого и неподатливого, как проволока. «Пырей растет по всей, наверно, России... Бывало, пока нарежешь дерна, иступишь лопату... А земляные плитки назывались в Шелковке корвегами. После дождя ребятишки запруживали ими ручьи на проулках села...»

Первую плитку Алексей вырезал трудно и долго. Это всегда так бывало: первая корвега самая трудная... Трое курсантов, дробивших до того землю на мелкие кусочки, начали тоже вырезать плитки. Их принимал и складывал в штабель курсант из третьего взвода.

— Потом выложим ими верх,— сказал он Алексею.

Под черноземом слоем залегал нетолстый пласт глины, а дальше показался песок. Его черпали касками и выбрасывали на восточный край могилы. Он был теплый. Теплым и обмякло-рыхлым было небо, затянутое сплошными тучами, и теплыми были снежинки, липнувшие к рукам.

Танки показались в северной стороне поля, и стрелял лишь тот, кто шел на скирды, а второй молчал и двигался к опушке леса. Алексей видел, как курсанты, несшие Рюмина, повернули назад, в скирды, и капитана уносил уже только один — курсант из третьего взвода. Он тащил его на спине, как мешок, и голова мертвого держалась очень прямо, и каска сидела на ней удивительно по-рюмински — чуть-чуть набекрень. Не переставая думать, как положить Рюмина — головой на север или юг,— Алексей вылез из могилы и сначала собрал шинели, потом винтовки, автомат и бутылки с бензином и все это не сбросил, а сложил в углу могилы. Молчавший танк достиг опушки и шел теперь вдоль нее к Алексею, поводя из стороны в сторону коротким хоботом орудия. Но он был еще сравнительно далеко, а второй елозил уже между скирдами, и из крайнего, где спрятались курсанты, нехотя выбивался, повисая над землей, сырой желтый дым. Почти равнодушно Алексей отвел от него глаза и встал лицом к приближающемуся танку, затем не спеша вынул рюминский пистолет и зачем-то положил его на край могилы у своего правого локтя. Наклоняясь за бутылкой, он увидел испачканные глиной голенища сапог и колени и сперва почистил их, а потом уже выпрямился. До танка оставалось несколько метров,— Алексей хорошо

различал теперь крутой скос его стального лба, ручьями лившиеся отполированные траки гусениц и, снова болезненно-остро ощутив присутствие тут своего детства, забыв все слова, нажитые без деда Матвея, пронзительно, но никому не слышно крикнул:

— Я тебя, матери твоей черт! Я тебя зараз...

Он не забыл смочить бензином и подджечь паклю и швырнул бутылку. Визжащим комком голубого пламени она перелетела через башню танка, и, поняв, что он промахнулся, Алексей нырнул на дно могилы. Он падал, на лету обнимая голову руками, успев краем глаз схватить зубчатый столб голубого огня и лаково-смоляного дыма, взметнувшегося за куполом башни.

— Ага, матери твоей черт! Ага!..

Он успел это крикнуть и плашмя упасть в угол могилы, где лежали шинели, и успел вспомнить, что то место в танке, куда он попал бутылкой, называется репицей...

Когда грохочущая тяжесть сплюснула его внутренности и стало нечем дышать, он подумал, что надо было лечь так, как они лежали вчера с курсантом в лесу — на боку, подогнув к животу колени...

Он лежал и с протяжным нутряным воем втягивал в себя воздух. На каждый вдох и выдох приходился удар сердца, болью отдававшийся во лбу и пальцах рук. Он забыл все, что с ним произошло, и не знал, где находится. Телу ничего не хотелось, кроме одного — дышать, и он продолжал захлебно сосать из шинелей воздух, пропахший потом, ружейным маслом и керосином. А затем пришло все сразу — память, ощущение неподатливой тяжести, взрыв испуга, и он с такой силой рванулся из завала, что услышал, как надломленно хрумкнул позвоночник и треснули суставы рук, метнувшись вниз откуда-то сверху, от затылка. Теперь он опирался грудью на локти, как на колышки. Они тряслись и вот-вот должны были переломиться, но вокруг них была пустота и воздух, и, захватывая его ртом, Алексей по-прежнему утробно выл, — иначе он не мог, боялся дышать. Он повторил рывок и очутился поверх комьев земли и глины. Привалясь к обвалившейся стене могилы, он долго сидел обессиленный и обмякший, следя

за тем, как из носа на подол гимнастерки размеренно стекали веские капли крови.

— Это только так,— гнусаво сказал Алексей.— Зараз пройдет...

Он лег, вытянувшись во весь рост, зажмурился и раскрыл рот. Падали крупные, лохматые и теплые снежинки. Они липли к бровям, наскоро превращаясь в щекочущую влагу, заполнявшую глазные впадины, и Алексею казалось, что это плачут глаза одни, без него...

Сначала он отрыл свою шинель и рукавом гимнастерки старательно очистил петлицы от налипшего песка и глины. Кубари были целы. Не вставая с колен, Алексей оделся и в десятый раз взглянул в сторону темного, неподвижно приземистого танка. В нем все еще что-то шипело и трескалось, и в белесом сумраке вечера над откинутым верхним люком виднелся трепетный черный сноп чада.

— Стерва,— вяло, всхлипывающе сказал Алексей.— Худая...

По-прежнему избегая глядеть на догорающие скирды, он отрыл бутылку с бензином, СВТ, рюминский пистолет и подолом шинели протер оружие. Винтовки он повесил на плечи — по две на каждом, пистолет спрятал в карман брюк, а бутылку взял в руки. Не глядя в сторону скирдов, он пошел от могилы по опушке леса, постепенно забирая вправо, на северо-восток.

Было тихо и сумрачно. Далеко впереди беззвучно и медленно в небо тянулись от земли огненные трассы, и Алексей шел к ним. Он ни о чем отчетливо не думал, потому что им владело одновременно несколько чувств, одинаково равных по силе,— оторопелое удивление перед тем, чему он был свидетелем в эти пять дней, и тайная радость тому, что остался жив; желание как можно скорее увидеть своих и безотчетная боязнь этой встречи; горе, голод, усталость и ребяческая обида на то, что никто не видел, как он сжег танк...

Подавленный всем этим, он шел и то и дело всхлипывающе шептал:

— Стерва... Худая...

Так было легче идти.

1963

ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..

Луце жъ бы потяту быти,
неже полонену быти[1].

«Слово о полку Игореве».

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Немец был ростом вровень с Сергеем. Его колючие поросячьи глаза проворно обежали высокую статную фигуру советского военнопленного и задержались на звезде ремня.

— Офизир? Актив офизир? — удивленно уставился он в переносицу Сергея.

— Лейтенант...

— Зо? Их аух лейтнант![2]

— Ну и черт с тобой! — обозлился Сергей.

— Вас?

— Што ви хофорийт? — помог переводчик.

— Говорю, пусть есть дадут... за три дня некогда было разу пожрать...

...Клинский стекольный завод был разрушен полностью. Следы недавнего взрыва, как бы кровоточа, тихо струили чад угасшего пожара. В порванных балках этажных перекрытий четко застревало гулкое эхо шагов идущих в ногу немцев. Один из них нес автомат в руках. У другого он просто болтался на животе.

— Хальт! — простуженным голосом прохрипел немец.

Сергей остановился у большого разбитого окна, выходящего в город. В окно он видел, как на площади, у памятника Ленину, прыгали немецкие солдаты, пытаясь согреться. На протянутой руке Ильича раскачивалось большое ведро со стекаемой из него какой-то жидкостью.

---

[1] Лучше быть убиту от мечей,
чем от рук поганых полонёну! (Поэтическое переложение Н. А. Заболоцкого.)

[2] Вот как? Я тоже лейтенант!

Конвоирам Сергея никак не удавалось прикурить. Сквозняк моментально срывал пучочек желтого пламени с зажигалки, скрюченные от ноябрьского мороза пальцы отказывались служить.

— Комт, менш![1]

Пройдя еще несколько разрушенных цехов, Сергей очутился перед мрачным спуском в котельную.

«Вот они где хотят меня...» — подумал он и, вобрав голову в плечи, начал спускаться по лестнице, зачем-то мысленно считая ступеньки.

Обозленными осенними мухами кружились в голове мысли. Одна другой не давали засиживаться, толкались, смешивались, исчезали и моментально роились вновь.

«Я буду лежать мертвый, а они прикурят... А где политрук Гриша?.. Целых шесть годов не видел мать!.. Это одиннадцатая? Нет, тринадцатая... если переступлю — жив...»

— Нах линкс![2]

Сергей завернул за выступ огромной печи. Откуда-то из глубины кромешной тьмы слышались голоса, стоны, ругань.

«Наши?» — удивился Сергей. И сейчас же поймал себя на мысли, что он обрадован, как мальчишка, не тем, что услышал родную речь, а потому, что уже знал: остался жив, что сегодня его не застрелят эти два немца...

Привыкнув, глаза различили груду тел на цементном полу. Места было много, но холод жал людей в кучу, и каждый стремился залезть в середину. Только тяжелораненые поодиночке лежали в разных местах котельной, бесформенными бугорками высясь в полутьме.

— Гра-а-ждане-е-е! Ми-и-лаи-и... не дайте-е помере-е-еть!.. О-о-й, о-о-ох, а-а-ай! — тягуче жаловался кто-то, голосом, полным смертельной тоски.

— Това-а-рищи-и! О-ох, дороги-ия-а... один глоточек воды-и... хоть ка-а-пельку-у... роди-и-имаи-и!

— Прими, говорят тебе, ноги, сволочь, ну!..

— Эй, кому сухарь за закурку?..

---

[1] Идем,человек!
[2] Налево!

— ...и до одного посек, значит... вот вдвоем мы только и того... без рук... попали к «ему»...

— Хто взял тут палатку?

— В кровь исуса мать!..

— Земляк, оставь разок потянуть, а?..

Разнородные звуки рождались и безответно умирали под мрачными сводами подвала, наполняя сырой вонючий воздух нестройным, неумолчным гамом.

Сергей, постояв еще минуту, медленно направился к груде угля и, аккуратно подстелив полу шинели, сел на большой кусок антрацита. Волнение первых минут как-то незаметно улеглось. На смену явилось широкое и тупое чувство равнодушия ко всему да голодное посасывание под ложечкой. В кармане галифе Сергей нащупал крошки махорки и, осторожно стряхнув его содержимое в руку, завернул толстую неуклюжую цигарку.

«Ну-с, товарищ Костров, давайте приобщаться к новой жизни!» — с грустной иронией подумал он, глубоко затягиваясь терпким дымом. Но сосредоточиться не удавалось. Разрозненные, одинокие осколки мыслей скользили в памяти и, легко совершив круг, задерживались, преграждаемые одной и неотвязной мыслью: почему он, Сергей, бравировавший на фронте своей невозмутимостью под минами немцев, никогда не думавший о возможности смерти, сегодня вдруг так остро испугался за свою жизнь? Да еще в каком состоянии! Пленный... когда желанным исходом всего, казалось бы, должна явиться смерть... Не все ли равно, какая смерть, каким руслом она ворвется в душу, мозг, сердце... Смерть есть смерть!

«Значит, просто струсил?!»

В памяти отчетливо встал недавний фронтовой случай. Рота Сергея занимала богатую деревню недалеко от Клина. Знали, что впереди, в небольшом леске, засели немецкие автоматчики, готовя наступление. Им организовывали встречу. Подходы к деревне были густо заминированы, десять дэзсовских пулеметов притаились на небольшой поляне, вероятном месте атаки. Ждали.

Каждый день немцы обстреливали деревню. С душераздирающим воем мины тупо рыли улицу и огороды колхозников, наводя ужас на стариков и женщин.

Однажды солнечным октябрьским утром Сергей и политрук Саша Жариков возвращались из штаба батальона.

— Без трех минут девять,— взглянул на часы политрук,— фрицы и францы допивают кофе. В девять ноль-ноль начнется минопускание по нашей вотчине...

Почти в ту же минуту тишина утра нарушилась диким воем мин.

— Ии-иююю-у-юю... Гахх! Гахх! Ии-юю-уу-юю...

— Пожалуй, укроемся, лейтенант?

Перепрыгнув плетень, зашли в небольшой сад. Под развесистой грушей, в давно заброшенном погребе, сидел ротный писарь и составлял строевую записку. Одна за другой две мины залетели в сад.

— Бац, телеграммы! — воскликнул писарь, наклоняясь к полу погреба. То же самое, как-то невольно, проделали Сергей и политрук.

— Грешно, комиссар, кланяться каждой немецкой мине,— пошутил Сергей.

Поднявшись, они отошли несколько шагов от ямы, договорившись: по очереди одному падать, а другому стоять при разрывах мин.

— Потренируем нервишки, а?

— Пи-и-июю-у-ю! — вдруг слишком близко завыло в воздухе.

Политрук медленно присел на колени. Сергей, зажмурив глаза, остался стоять. Сухой обвальный взрыв огромными ладонями ударил в уши. Что-то с силой рвануло за полы плаща Сергея, крошки недавно замерзшей земли больно брызнули ему в лицо. Открыв глаза, Сергей увидел плавающие в воздухе белые листки тетради. Колыхаясь и описывая спирали, они медленно садились на седую от изморози траву, как садятся измученные полетом голуби. С самой верхней ветки груши бесформенной гирляндой свисали какие-то иссиня-розовые нити. Тяжелые бордовые капли медленно стекали с них.

— Мина залетела в яму,— проговорил Сергей,— писарь убит,— указал он политруку глазами на ветви груши...

По улице шли медленно, не обращая уже внимания на рев и разрывы мин.

— А у тебя полы ведь нет у плаща, лейтенант! — удивился политрук.

— Да-да,— отвлеченно ответил Сергей, занятый своими мыслями. Он думал о смерти и тогда же понял, что, в сущности, не боится ее, только... только умереть хотелось красиво!

Всплыли и другие боевые моменты. И ни в одном из них Сергей не отыскал и тени намека на сегодняшнее свое поведение.

«Что ж, я молод и хочу жить. Значит, хочу еще бороться!» — решил он, сидя на куче угля...

Нескончаемо долго текла первая ночь плена. Только к утру задремал Сергей, уткнув нос в воротник шинели. Разбудили его вдруг поднявшийся шум и движения среди пленных.

— Немцы бомбить идут! — крикнул кто-то в дальнем углу.— Прячь, братва, что у кого есть!..

Ничего не понимая, Сергей вглядывался в бледную полоску света, идущую от лестницы. Там стояла группа немцев, видимо, только что пришедших и оживленно разговаривающих с часовыми. Все они, как-то разом повернувшись, направились к пленным. Острые полосы света от ручных фонарей запрыгали по серым, нелепым от распущенных хлястиков шинелям, пилоткам, шапкам.

— Комагерр![1] — зарычал рослый фашист, схватив за плечо Сергея.

— Мантиль ап! Ап, шнелль![2]

Сергей снял шинель. Торопливо немец облапал его карманы. Вдруг его рука, дрогнув, замерла на грудном кармане гимнастерки.

— Вас ист дас? О, гут, прима![3] — осклабился он, рассматривая массивный серебряный портсигар. Это был подарок от друзей ко дню двадцатилетия Сергея. Затейливый вензель из инициалов хозяина распластался на крышке. На внутренней ее стороне были выгравированы в шутку слова: «Пора свои иметь». Углубление этих букв было залито черной массой, и бравший

[1] Ко мне!
[2] Шинель снимай! Снимай, быстрей!
[3] Что такое? О, хорошо, красиво!

папиросу из портсигара непременно прочитывал это назидание.

Сергей грустным взглядом проследил, как портсигар утонул в кармане зеленых измызганных брюк.

— Это же память!

— Вас бамат?

— Память, знаешь, скотина?!

В полутьме немец видел, как лицо военнопленного покрылось меловым налетом, и, рванув пистолет, со страшной силой опустил его на висок Сергея...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Декабрь 1941 года был на редкость снежным и морозным. По широкому шоссе от Солнечногорска на Клин и дальше на Волоколамск нескончаемым потоком тек транспорт отступающих от Москвы немцев.

Ползли танки, орудия, брички, кухни, сани.

Ползли обмороженные немцы, напяливая на себя все, что попадалось под руку из одежды в избе колхозника.

Шли солдаты, накинув на плечи детские одеяла и надев поверх ботинок лапти.

Шли ефрейторы в юбках и сарафанах под шинелями, укутав онучами головы.

Шли офицеры с муфтами в руках, покрытые кто персидским ковром, кто дорогим манто.

Шли обозленные на бездорожье, на русскую зиму, на советские самолеты, штурмующие запруженные дороги. А злоба вымещалась на голодных, больных, измученных людях... В эти дни немцы не били пленных. Только убивали!

Убивали за поднятый окурок на дороге.

Убивали, чтобы тут же стащить с мертвого шапку и валенки.

Убивали за голодное пошатывание в строю на этапе.

Убивали за стон от нестерпимой боли в ранах.

Убивали ради спортивного интереса, и стреляли не парами и пятерками, а большими этапными группами, целыми сотнями — из пулеметов и пистолетов-автоматов! Трудно было заблудиться немецкому солдату, воз-

вращающемуся из окрестной деревни на тракт с украденной курицей под мышкой. Путь отступления его однокашников обозначен страшными указателями. Стриженые головы, голые ноги и руки лесом торчат из снега по сторонам дорог. Шли эти люди к месту пыток и мук — лагерям военнопленных, да не дошли, полегли на пути в мягкой постели родной страны — в снегу, и молчаливо и грозно шлют проклятия убийцам, высунув из-под снега руки, словно завещая мстить, мстить, мстить!..

...Сергей открыл глаза и встретился ими с волосяной рыжей глыбой, свисающей к его подбородку.

«Где это я?» — подумал он.

Вдруг щетина зашевелилась, и мягкий, гортанный голос заставил его шире открыть опухшие веки. «Да это же борода!» — обрадовался он, встретившись с чуть насмешливым взглядом ее обладателя.

— Эх ты, мил человек, горяч, нечего сказать! Чай, запамятовал, где ты? — урчал бородач, наклоняясь над Сергеем. — Портсигар пожалел... велика важность! Убить германец ить мог тебя, вот оно как...

Голос бородача напомнил что-то знакомое, и, силясь припомнить, где он его слышал, Сергей закрыл глаза.

— Полежи, я схожу погляжу — снег растаял ли. Попьешь водички...

«Да Горький так говорил! В кинокартине «Ленин в 1918 году», — вспомнил Сергей.

— Как зовут-то тебя, мил человек? — подавая Сергею консервную банку с полурастаявшим снегом, спрашивал бородач.

— Серегой, стало быть...

— Ну, добре, а меня Хведором, мил человек, Никифорычем, значит... Ярославский я, из Данилова, может, слыхал?

Остаток дня и ночь Сергей провел в разговорах с Никифорычем. Задушевная простота и грубоватая ласковость его советов и нравоучений заставили Сергея проникнуться к старику чувством глубокой приязни, почти любви. Сергей сознавал, что Никифорыч неизмеримо практичнее, опытнее его; крепче стоит на земле чуть кривыми мускулистыми ногами, многое видел и знает и многое имеет «себе на уме». Не удивился по-

этому Сергей, когда Никифорыч, подтащив вещевой мешок, долго рылся в белье, портянках, старых рукавицах, пока не нашел белую баночку с какой-то мазью.

— Помогает, слышь, крепко при побоях,— объяснил он, зачерпнув черным мизинцем солидную дозу снадобья. Сергей не возражал. «Значит, верно, помогает при побоях»,— решил он и дал Никифорычу вымазать вздувшийся разбитый висок. Когда Сергей отказался от предложенного сухаря, Никифорыч вдруг урезонил его:

— Ты, мил человек, бери и ешь. Приказую тебе...— А помолчав, добавил: — Помогать будем друг другу. Это хорошо, слышь...

На второй день ранним утром всех пленных выгнали из котельной во двор завода. Построенные по пять, тихо двинулись по Волоколамскому тракту, окруженные сильным конвоем. Сергей и Никифорыч шли в первой пятерке. Колючий, пронизывающий ветер дул в лицо, заставлял в комок сжиматься исхудавшее тело.

— Лос! Лос![1] — торопили конвойные, пытаясь ускорить процессию. Не успели отойти и трех километров от города, как сзади начали раздаваться торопливые хлопки выстрелов — то немцы пристреливали отстающих раненых. Убитых оттаскивали метров на пять в сторону от дороги. У Сергея тупо и непрестанно болело бедро, пораженное осколком... Контуженая левая часть лица часто подергивалась дикой гримасой. С каждым шагом боль в бедре все усиливалась.

— Держись крепче, Серег, не то убьют! — посоветовал Никифорыч.— Есть у меня три сухаря, подкрепимся малость,— продолжал он, невозмутимо шагая вперед.

Чем дальше шли, тем больше становилось убитых. Нельзя отстать от своей пятерки. На место выбывшего сразу становился кто-нибудь другой, место терялось, а вышедшего на один шаг из строя немедленно скашивала пуля конвоира. Люди шли молча, дико блуждая бессмысленными взорами по заснеженным полям с чернеющими на них пятнами лесов.

— Братцы, ну как жа оправиться? — взмолился вдруг кто-то из пленных.

---

[1] Давай! Давай!

— Ай вчера от грудей? Снимай штаны — и дуй! — поучали его из строя.

— Не умею, родненькие, на ходу, я жа не жеребец...

— Пройдешь верст пять и сумеешь, — обещали несчастному.

— Ишь, чего захотел! Знать, не голодный...

— Черт плюгавый!..

Плохо быть одному сытому среди сотни голодных. Его не любят, презирают. Этот человек чужой, раз ему не знаком удел всех.

К полудню впереди показалась небольшая деревенька, расположенная на шоссе.

— Журавель, ребята, виден, попьем водички!

— Эти напоят... захлебнешься...

— Ан, слава богу, третью недельку живу в плену и ничего, пью... Самому нужно быть хорошему, тогда и камраты будут хороши...

— Штоб твои дети всю жизнь так пили, как ты тут!

— Ишь, сука паршивая, камрата заимел...

Лениво переругиваясь, пленные вошли в деревню. На крыльце каждого домика толпились женщины и дети, торопливо выискивая глазами в толпе пленных знакомых или родных.

— Тетя, вынеси хоть картошку сырую...

— Пить...

— Корочку...

— Окурок...

— Да-а... Сюда-аа... Аа-я-оо-а-яя!..

Двести голосов просящих, умоляющих, требующих наполнили деревеньку. На крыльце одной особенно низенькой и ветхой избенки старуха, кряхтя, тащила большую корзину с капустными листьями. Видно, не под силу была ноша бедной, и тогда, схватив ревматическими пальцами охапку листьев, она бросила их в толпу пленных. Думала мать сына-фронтовика, что и ее Ванюша, может быть, шагает где-нибудь вот так, умоляя о глотке воды и единственной мерзлой картошке. И вынесла бы старуха мать ковригу хлеба и кринку молока, да живет она, горемычная, на бойком месте, давным-давно взяли немцы корову, очистили погреб от картошки, съели рожь и пшеницу... Только и осталась корзина капустных листьев пополам с навозом.

Как морской шквал рвет и бросает из стороны в сторону пенную от ярости волну, так пригоршни капусты, бросаемые старухой, валили, поднимали и бросали в сторону обезумевших людей, не желающих умереть с голода. Но в эту минуту с противоположной стороны улицы раздалась дробная трель автомата. Старушка, нагнувшаяся было за очередной порцией капусты, как-то неловко ткнулась головой в корзину, да так и осталась лежать без движения.

Как бы вторя очереди первого автомата, застучали выстрелы со всех сторон. Конвойные открыли огонь по пленным, сбившимся в одну кучу. Стоны, вопли ужаса огласили деревеньку.

— Ложись, Серег,— предложил Никифорыч, но, сразу побледнев, схватился руками за грудь.

— Что такое? Что? — бросился к нему Сергей.

— Убили-таки, ироды! — хриплым и тихим голосом проговорил Никифорыч, ложась на спину.— Вот... тебя тоже убьют, Серег... беги,— хрипел он.— Володька похож на тебя... сын. На фронте он... Ну, возьми мешок... Иди!

Выстрелы так же внезапно прекратились, как и начались. Сергей, распахнув шинель и фуфайку, увидел на груди Никифорыча две ямки выше левого соска. Коричневая густая кровь, пенясь, сочилась из них. Долго возился Сергей с бородой, пытаясь уложить ее горизонтально. Она упрямо торчала вверх, волнуемая холодным декабрьским ветром.

Вновь, построенные по пять, двинулись пленные в путь. Восемьдесят убитых остались лежать на снегу. Раненых не было, их добивали на месте. Сергей оглянулся еще раз на развевающуюся бороду Никифорыча и, поправив мешок, зашагал по снежному тракту.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ржевский лагерь военнопленных разместился в обширных складах Заготзерна. Черные бараки маячат зловещим видением, одиноко высясь на окраине города. По открытому, ничем не защищенному месту гуляет-аукает холод, проносятся снежные декабрьские вихри, стоная и свистя в рядах колючей проволоки, что

заключила шесть тысяч человек в страшные, смертной хватки объятия. Все дни и ночи напролет шумит-волнуется людское марево, нижется в воздухе говор сотен охрипших, стонущих голосов. Десять гектаров площади лагеря единственным черным пятном выделяются на снежном просторе. Кем и когда проклято это место? Почему в этом строгом квадрате, обрамленном рядами колючки, в декабре еще нет снега?

Съеден с крошками земли холодный пух декабрьского снега. Высосана влага из ям и канавок на всем просторе этого проклятого квадрата! Терпеливо и молча ждут медленной, жестоко-неумолимой смерти от голода советские военнопленные...

...Лишь на седьмые сутки жизни в этом лагере Сергей получил шестьдесят граммов хлеба. У него хватило сил ровно столько, чтобы простоять пять часов в ожидании одной буханки в восемьсот граммов на двенадцать человек. Диким и жадным огнем загорались дотоле равнодушно-покорные глаза человека при виде серенького кирпичика.

— Ххле-леб! — со стоном вырывается у него, и не было и нет во вселенной сокровища, которое заменило бы ему в этот миг корку месяц тому назад испеченного гнилого хлеба!

Сергей видел, как курносый белоголовый парень из его шеренги бережно и осторожно, как что-то воздушно-хрупкое и святое, принял из рук полицейского буханку хлеба. Смешно расширенными глазами глядел он на нее, покачивая в заскорузлых, давным-давно не мытых руках.

— Айда, ребята, к третьему бараку,— почему-то шепотом проговорил он.— Разделим хлебушко...

Опасался орловец, что вот тот же полицейский вдруг одумается да и крикнет:

— Эй, ты, ... в рот, отдай буханку!

Раздевшись, парень разостлал шинель, положил на нее хлеб. Одиннадцать человек сверлили глазами этот жалкий бугорок серой массы, терпеливо ожидая конца священнодействия орловского хлебороба.

Не так-то просто разрезать буханку хлеба! Из восьмисот граммов должно выйти двенадцать кусочков, но ровных, абсолютно ровных по величине. Крошки, размером в конопляное зерно, должны быть тщательно

подобраны и опять-таки поровну разложены на двенадцать частей.

Сергей наблюдал за ножом и худым грязным лицом разрезающего хлеб и не мог понять: то ли желтоватые скулы орловца двигаются в такт ножу, то ли он нагнетает слюну, предвкушая горьковато-кислый хлеб...

— Ну как, братва, ровна? — спросил парень, закончив раскладку крошек.

— Вон там от горбушки надоть...

— Добавить суды...

— Ну, будя, будя! — проговорил парень. — Теперя становитесь по одному, чтоб номера помнить.

Сергей присутствовал первый раз при дележке паек и потому охотно и покорно исполнял правила этой процедуры. Нужно было запомнить свой порядковый номер. Один из участников дележки оборачивался спиной к пайкам хлеба и на вопрос: «Кому?» — называл тот или другой номер.

Таким образом устранялись всякие нарекания на делящего, что он поступил в данном случае нечестно. Номер Сергея был пятый, называющий сказал его последним, и в минуты ожидания, видя, как за два укуса исчезал ломтик хлеба во рту его обладателя, Сергей почувствовал, как водянистая слюна заполнила весь его рот, не успевая проталкиваться в глотку...

С каждым часом все тяжелей становились ноги. Они отказывались слушаться, вечно замерзшие и сырые. Все эти дни Сергей ночевал в третьем бараке на третьем этаже нар. Бараки не могли вместить и пятой части людей, находящихся в лагере. Спали там вповалку друг на друге. На четырехъярусных нарах ложились в три слоя. Счастливцем был тот, кто оказывался между верхним и нижним. Было теплей.

Каждый день по утрам пленные выносили умерших за ночь. Каждый день около шестидесяти человек освобождали места для других. В середине лагеря, внутри одного барака, во всю его ширь и глубь вырыли пленные огромную яму. Не зарывая, сносили туда умерших, и катился в нее воин с высоты четырех метров, стукаясь голым обледеневшим черепом по костяшкам торчащих рук и колен братьев, умерших раньше его...

Тяжелым ленивым шаром катились дни. Подминал этот шар под тысячепудовую тяжесть тоски и отчаяния людей, опустошая душу, терзая тело. Не было дням счета и названия, не было счета и определения думам, раскаленной массой залившим мозг...

Соседом Сергея слева был обладатель синего прозрачного личика с заострившимся носиком. Личико тихо и размеренно дышало, выглядывая из-под полы шинели черными, похожими на зерна смородины глазами. Было в них что-то торжественно-печальное. То ли успокоение сознанием, что, слава богу, все это скоро кончится для него, то ли мольба... Личико не шевелилось.

— Давно здесь? — стараясь придать своему голосу тон сострадания, спросил Сергей.

— Месяц... нет, меньше,— тоненьким голоском пропищало личико.— Болен я... Пальцы отваливаются,— продолжал сосед, по-прежнему не шевеля ни единым членом тела.

— Как отваливаются?

— Гнали нас... на дороге танкист-немец... снял с меня валенки... пять верст босой... ноги отмерзли. Вот семь пальцев отвалились... Теперь только три... завтра, наверное, тоже отвалятся... И ноги гниют тоже... Тут нас много таких...

В гаме голосов терялся тихо шелестящий, часто прерывающийся звук речи. Личико не могло, а может быть, не желало усилить этот шелест. Зачем? Все равно бесполезно. Все равно!.. Но вдруг шелест повторился. Сергей, облокотившись, приблизил лицо к говорящему.

— Шесть верст до дому... Знала б мама... принесла бы картошки вареной, хлеба тоже... На шоссе мы живем... деревню Аксеновку знаете? Колей меня зовут... И как сообщить маме, вы не знаете?

Сергей глядел на влажный агат глаз тоскующего по маме сына и думал: «Да, принесла бы мать своему единственному Коле картошки вареной... и хлеба тоже... Долго бы ходила вокруг лагеря, утопая в снегу веревочными лаптями, до боли щуря слезоточащие глаза, ища ими Колю. Билось бы частыми толчками ее изнывшее сердце, и не поняла бы, не услышала она лающего окрика немца со сторожевой вышки. Прицелился бы

тот по склоненной голове в дырявом черном платке, и тихо опустилась бы мать в снег, схватясь руками за грудь, словно пытаясь задержать еще на минуту свою материнскую любовь к сыну, вырванную вдруг кем-то злым и ей непонятным...»

— Нет, не знаю, Коля, как сообщить твоей маме,— ответил Сергей и, пытаясь успокоить его, весело проговорил: — Ничего, Коля, все будет хорошо! Ты еще вернешься в свою Аксеновку!

— Э, нет! Поглядите-ка вот...

Ухватясь одной рукой за брезентовый ремень, прибитый к доске верхних нар, Коля пытался встать. Это ему никак не удавалось, и Сергей, поддержав его худую, ребристую спину, помог ему сесть. Обеими руками Коля бережно взял одну ногу и, пододвинув ее ближе к Сергею, начал разматывать полотенце.

— Как же я дойду? — повторил он, печально глядя на свою ногу.

Фиолетовый налет гангрены покрыл всю ступню. Ни одного пальца на ноге не было. В их основаниях торчали белые острые косточки или зияло углубление с сочившейся оттуда сукровицей.

— Вот я какой теперь! — проговорил Коля, ложась и накрываясь шинелью...

В этот день было объявлено, что в два часа будет выдаваться «баланда». Сергей уже знал, что в лагере так называют суп. Но именно это бессмысленное слово в точности определяло по достоинству ту несказанную по цвету и вкусу жидкость, которой питались пленные. Варилась баланда в полевых кухнях. Состояла она из чуть подогретой воды, забеленной отходами овсяной муки.

Сергей не имел ни котелка, ни ложки. Опечаленный сознанием своей немощи, он положил голову на вещевой мешок, служивший ему подушкой.

«Но что же в нем все-таки есть?»

Привстав, Сергей начал развязывать мешок Никифорыча. На самом верху там лежали серые суконные портянки. Потом аккуратно сложенное белье, рукавицы, старая пилотка и противоипритная накидка. Вынимая, Сергей раскладывал все это по порядку. На дне мешка лежала совершенно новая плащ-палатка — предмет, особо интересовавший полицейских. Она была

свернута заботливо и толково. Развернув ее наполовину, Сергей увидел две небольшие пачки концентрированного гороха.

— Мы с тобой пообедаем сегодня, Коля! — обрадовался искренне Сергей.— Только вот котелка у меня нет...

Не меняя позы, Коля пошарил рукой в тряпье изголовья и протянул Сергею ржавую жестяную банку из-под консервов.

— На черпак баланды хватает,— пояснил он.

...Третий барак выстроился за получением баланды.

— Сказывают, гушша имеется в баланде...

— Потому наш барак последний, так она на дне...

— Не напирай, не напирай!

— Люди добрые, иделайте божескую милость, получить ба на двоих... посудинки нету...

Медленно переступая с ноги на ногу, подвигаются пленные к бочке с баландой. Белые лохмотья пáра крутятся над ней, отрываются, смятые ветром, разнося щекочущий нос запах варева.

— Ну, добавь... ради христа, добавь!..

И полицейский «добавлял». Вылетал из слабых пальцев смятый задрипанный котелок, выливалась из него сизая дрянь-жидкость, бухался горемыка на ток земли, утоптанный тысячью ног, и, не обращая внимания на побои, слизывал-грыз место, оттаявшее от пролитой баланды...

Вдруг по толпе прокатился гул удивленных и испуганных голосов:

— Больше нету баланды?!

— Будьте вы прокляты, ироды! Три часа простоять зря...

— Р-расходись в б-барак! — кричали полицейские, крутя дубинками.

Помахивая пустой баночкой, Сергей вернулся в барак. С трудом поднявшись на вторые нары, он вдруг не увидел Коли. Лишь в его изголовье валялась одна рукавица да сиротливо свисал, напоминая ужа, зеленый брезентовый ремень, что служил поручнем его хозяину. Не было также и мешка Никифорыча.

— Какой-то мешок не давал малец полицаям... ну, и того — сбросили с нар. В четвертый понесли... помер, стало быть,— пояснил сосед.

Низко плывут над Ржевом снежные тучи-уроды. Обалдело пялятся в небо трубы сожженных домов. Ветер выводит-вытягивает в эти трубы песню смерти. Куролесит поземка по щебню развалин города, вылизывает пятна крови на потрескавшихся от пламени тротуарах. Черные стаи ожиревшего воронья со свистом в крыльях и зловещим карканьем плавают над лагерем. Глотают мутные сумерки зимнего дня залагерную даль. Не видно просвета ни днем, ни ночью. Тихо. Темно. Жутко.

Взбесились, взъярились чудовищные призраки смерти. Бродят они по лагерю, десятками выхватывая свои жертвы. Не прячутся, не крадутся призраки. Видят их все — костистых, синих, страшных. Манят они желтой коркой поджаристого хлеба, дымящимся горшком сваренной в мундирах картошки. И нет сил оторвать горящие голодные глаза от этого воображаемого сокровища. И нет мочи затихнуть, забыть... Зацепился за пересохший язык тифозника мягкий гортанный звук. В каскаде мыслей расплавленного мозга не потеряется он ни на секунду, ни на миг:

— Ххле-епп, ххле-еп... хле-е...

На тринадцатые сутки умышленного мора голодом людей немцы загнали в лагерь раненую лошадь. И бросилась огромная толпа пленных к несчастному животному, на ходу открывая ножи, бритвы, торопливо шаря в карманах хоть что-нибудь острое, способное резать или рвать движущееся мясо. По образовавшейся гигантской куче людей две вышки открыли пулеметный огонь. Может быть, первый раз за все время войны так красиво и экономно расходовали патроны фашисты. Ни одна удивительно светящаяся пуля не вывела посвист, уходя поверх голов пленных! А когда народ разбежался к баракам, на месте, где пять минут тому назад еще ковыляла на трех ногах кляча, лежала груда кровавых, еще теплых костей и вокруг них около ста человек убитых, задавленных, раненых...

...В одно особенно холодное и вонючее в бараке утро Сергей с трудом поднял с нар голову. В висках серебряные молоточки выстукивали нескончаемый поток торопливых ударов. В первый раз не чувствующие хо-

лода ноги казались перебитыми в щиколотках и коленях.

«Тиф»,— спокойно догадался Сергей и, сняв шапку, положил ее под голову.

Чуден и богат сказочный мир больного тифом! Кипяток крови уносит в безмятежность и покой иссыхающее тело, самыми замысловатыми видениями наполнен мозг. Лежит это себе такая мумия на голых досках нар с открытыми глазами, прерывисто дыша, и тихим величием светятся ее зрачки, как будто она только одна на свете вдруг вот теперь поняла смысл бытия и значение смерти! Какое ей дело до миллиардных полчищ вшей, покрывших все тело, набившихся во впадины ключиц, шевелящих волосы на голове, ползающих по щекам, лбу, залезающих в нос... Нарушается это величие лишь жаждой капли воды. От сорокаградусной жары в теле трескаются губы и напильником шершавится горло. Мумия тогда издает хрип:

— Пи-и-ить... ии-ить...

А потом вновь затихает — иногда навеки, иногда до следующего «ии-ить».

Командирское обмундирование Сергея прельщало полицейских. «Чаво гадить, все равно подохнет!» И на третий день забытья Сергей был раздет догола. Лишь на левой ноге остался белый пуховый носок, полный вшей. Получил эти носки Сергей на фронте. То был подарок-посылка от девушек какого-то уральского мясокомбината. Лежала тогда в носке и записка: «Желаю тебе, дорогой боец, до самых дырок износить эти носки. С любовью — Тося».

До слез смеялись тогда над этим Тосиным пожеланием. И, бережно надевая носки, Сергей урезонивал ржущих: «Вы вникните, черти, в смысл этих слов! Девушка с любовью желает, чтоб не убили меня... Ну-ка попробуй износить такие носки! К тому времени последний из фрицев в ящик сыграет...»

Ничего не стоило потом обитателям барака сбросить голый полутруп с нар и занять его вшивое место. В один миг Сергей оказался на полу, раскинув длинные ноги-циркуль поверх вповалку лежащих там людей. Где же ему место, как не под нижними нарами, куда сгартываются испражнения! И Сергея затискали-затолкали под нары, благо парень не издает ни звука...

Да крепок был костлявый лейтенант! Слишком мало уж было крови в его жилах, устала смерть корежить гибкое тело спортсмена, и выполз Сергей из-под нар через двое суток, волоча правую отнявшуюся ногу.

— Слезь... с моего... места,— прошептал он занявшему его «жилплощадь».

На хрип этого привидения удивленно уставилась стриженая дынеобразная голова.

— Ты што, из четвертого появился?

— Слазь...

— Откуда этот хлюст взялся?

— Место, слышь, требует...

— В чем дело? В чем дело, почему голый, а?

Сергей медленно повернул голову по направлению голоса со звучащей в нем ноткой власти. В дверях барака стоял в белом халате низкорослый и крупноголовый детина.

— Где твоя гимнастерка, а? — протискиваясь к Сергею, спрашивал он.

По петлицам Сергей догадался, что это доктор. «Неужели тут есть доктора?» — мелькнула мысль.

— Я болен... видимо, тиф.

— Вижу, что ты болен. Но голый, голый ты почему?

— Раздели полицейские... обмундирование комсоставское... трудно не взять...

— Вы командир?

— Лейтенант... Помогите же, доктор... я потерял силы... Это вот мое место... сбросили, лежал там...

— Идите за мной.

В третьем же бараке, в небольшой загородке, лежало около двадцати командиров, больных тифом. Там и поместился Сергей на вторых нарах в самом тесном и темном углу. Пустотой и легкостью была наполнена затуманенная голова, не было в теле ни позыва, ни недуга.

Перед вечерними сумерками пришел доктор.

— Как живем, лейтенант? — спросил он, взобравшись к Сергею.— Правая нога? Гм... явление частое после тифа, да. Не чувствует? Ампутировать... как-нибудь, да!

— Резать не дам! — упрямо выговорил Сергей.— Я еще буду драться!..

— Дерутся здоровые, лейтенант... конечно, и в моральном смысле, да! Но... одну минуту! — Доктор, легко спрыгнув с нар, вышел из барака. Вернулся он с объемистым пузырьком беловатой жидкости и котелком в руках. — Растирать. Очень часто. Можно носком. Посмотрим, да. Спирт отечественный, у меня последний... И вот — баланда, ешьте. Я зайду. Поговорим, да!..

Аспидного цвета налет покрыл кончики пальцев ноги Сергея. Не чувствовала нога ни щипков, ни укола булавки.

«Я не нужен себе калекой, нет», — думал Сергей и всю ночь через небольшие промежутки изо всех сил растирал спиртом ногу. Тот бил в нос, колесом крутил слабую голову. На второй день в пальцах появилась тупая, ноющая боль. Она все усиливалась, по мере растирания ноги спиртом.

— Отлично! Будет толк. Боль — не что иное, как представление о боли, да! — отчеканивал доктор. — Но кусайте себе губы. Терпите. Нога останется...

И Сергей терпел. Превозмогая боль, он яростно комкал носок, растирая ногу.

Доктор заходил часто, засиживался у Сергея, расспрашивал его об учебе, жизни, фронте. Когда уж, казалось, обо всем поговорили, каждый, однако, сознавал, что о самом главном-то и умолчено, к чему и вели все беседы. Однажды, когда доктор помог Сергею остричь кишащие вшами волосы, он особенно долго засиделся на вторых нарах. Лежа Сергей всматривался в мясистый профиль эскулапа, потом сказал:

— Владимир Иванович, вы согласны с тем, что в представлении нашем, ровесников революции, честность, порядочность и... доброта, скажем, неизменно ассоциируются с понятием о любви к Родине, к русским людям?..

Доктор, насторожившись, внимательно слушал, наклонясь к Сергею.

— И, — продолжал Сергей, — я поэтому предполагаю в вас наличие такой же полноты второго достоинства, как и первого.

— Следовательно?

— Я люблю мою Родину!

— И?

— Вы ведь немного старше меня!..

— Вставайте. Учитесь ходить, да. Баланды сумеем достать. Приходите в амбулаторию. Там наши. Познакомитесь. Решим, да...

Лагерная амбулатория, где работал доктор Лучин, была единственным светлым пятном на фоне всего черного и безнадежного. Лаконичный в словах и действиях доктор подобрал себе в помощники трех боевых ребят, аттестовав их перед немцами как людей с медицинским образованием. На самом же деле этот народ занимался тем, что осторожно выискивал «в доску своих», приобщал их к амбулатории, а там думали-решали, как бежать, притом большой группой, сумевшей бы приобрести в пути оружие...

Прошло несколько недель, пока Сергей смог окончательно встать и наступать на ногу. За это время Лучин принес ему не один котелок баланды и не один кусок лошадиной печенки. Как-то солнечным февральским днем Сергей в первый раз зашел в «амбулаторию». На нарах лежал Лучин, а на единственном табурете сидел, широко расставив ноги, лучинский «санинструктор». Он выслушивал трубкой повернувшегося к нему спиной полицейского.

— Та-ак. Ничего серьезного. Помажем...

Навернув грязную тряпку на палочку, «санинструктор» быстро сунул ее в чернильницу и, пристально поглядев на Сергея, ловко вывел свастику на спине дуралея, окантовав ее густыми мазками.

— Чрезвычайно полезно. Иди!

— Дело в том,— объяснил Лучин Сергею,— что имеющиеся медикаменты мы в первую очередь должны употреблять на эту сволочь, да. Приказ немцев. Мы же изыскиваем средства лечения этих господ на месте. Вы видели... Так-то, товарищ лейтенант, да!..

Осторожно мусолило снег солнце еще холодными щупальцами своих лучей. Все выше и выше взбиралось оно на небо, суля близкую весну и охапку надежд. Толковали одни:

— Весной должна кончиться война. Попомните мое слово! Потому што пропали мы тут...

Думали другие: «Зелень, лес... Пробраться к своим будет легче. Лишь бы удрать».

Март принес частозвон утренних капель с крыш бараков и тихие непроницаемые ночи. Столбом валит из

дверей бараков зловоние оттаявших испражнений и трупный запах разлагающихся тел. Не спят уже на полу вповалку люди. Поредела за зиму толпа пленных, умещаются теперь на нарах. Каждый день выдается баланда — почти пол-литровый черпак воды пополам с грязью, соломой, копытами лошадей и двумя-тремя картошками величиной с голубиное яйцо. Неохотно отошел-отступился от бараков тиф, переваляв почти всех до единого. Поддерживая друг друга, выползают пленные из бараков, садятся с подветренной стороны, бьют вшей пока еще в шинелях. Кровавятся от них ногти больших пальцев, а «пройдено» только полрубца плечевого! Расстилается на проталинках шинелишка, становится ее обладатель в очередь за бутылкой. Ох, как нужна тут пивная бутылка! Прижал ее руками да и покатил по шинели — и сыпанет тогда в уши дробный треск лопающихся вшей...

Шли дни. По утрам в чистом весеннем воздухе плыли к лагерю орудийные стоны. Торопливей и злей становились немцы, настороженней — пленные.

— Стучат, доктор, а?

— Зовут, лейтенант, да! Вот подтает снежок — обстановка улучшится. Махнем, да!..

Но вышло все иначе. Однажды в помещение, где ютился Сергей, вошел комендант лагеря. Щуря подслеповатые глаза и поблескивая кокардой, он приказал сопровождавшему его унтеру построить командиров. Жидкой шеренгой вытянулись пленные вдоль нар. Унтер, макая новенькую кисть в красиво разрисованную баночку, лепил на левом рукаве каждого командира густой желтый крест.

На второй день поезд мчал пленных командиров на запад.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Клейка и непролазна вяземская грязь. Словно искусно сваренный клей, вяжется желто-бурая жидкость на мостовых, доходя до щиколоток, а кое-где и до колен. Хорошо взмешена грязь тысячью ног каждый день проходящих на работы пленных. Хлюпают-чавкают в грязи сапоги, валенки, лапти, ботинки. Оборвется

шпагат, которым привязаны на ногах тряпки, и тогда пишут узоры по грязи босые ноги...

За городом, на незасеянном поле, поросшем пыреем и мелким воробьиным щавелем, раскинулось немецкое кладбище. Сотни крестов торчат из глинистой земли, рябя в глазах черными пауками-свастикой. Роют пленные ямки-овражки; часто подползают к ним грузовики с трупами фрицев и французов из вяземских лазаретов. И, уложив двадцать, тридцать гитлеровцев в ямку-овражек, забрасывают их пленные тонким слоем глины, а потом ставят пять или десять крестов. Ну кто догадается из живых еще фрицев, что тут двадцать покойников? Пять! Об этом говорят кресты...

В тот день ни минуты не передохнул Сергей. Желтая вязкая глина липнет к лопате; огнем жжет ладони шершавая ручка; раскис-расползся сапог, которым нажимает Сергей на ушко лопаты... Красноватые пупырышки цветущего щавеля машут, зовут голодный блестящий взгляд. Да как отойти от могилы? Как нагнуться, чтобы вырвать пучок травы и запихать его в рот?

— Лос, лос, менш! — рычат конвоиры, многозначительно потряхивая автоматами...

...Попыхивает комендант лагеря гамбургской сигаретой. Досасывает ее до самых пальцев. Брызгается его пенсне искорками солнечных зайчиков, но не загораживают они горбатой мушки пистолета. Чиркнул в кучу пленных «бычок», бросились на него со всех ног двадцать человек. И поднимет торжественно пистолю фашист, и качнется назад, оттолкнутый выстрелом. Шарахнутся девятнадцать пленных в сторону, но обязательно останется лежать в грязи обладатель окурка, нелепо дергаясь телом. Да, плохо стреляет немец! Не может он сразу вырвать жизнь из русского. Долго колотит тот каблуками землю, словно требуя второй выстрел...

Партиями от десяти до двухсот человек каждый день гоняют немцы пленных на работы. На станцию железной дороги для выгрузки песка из вагонов всегда требовалось двести человек. Там от шести часов утра до восьми вечера пленные не получали даже капли воды. Зато через день в железных бочках из-под красителей варилась для них крапива. Рвали ее сами же пленные в оврагах и буераках близ станции. Целыми охап-

ками запихивали ее в бочки, заливали водой и кипятили. Да не получишь ведь и этого больше установленной нормы! Согласно немецкому «закону», пленному полагалось 0,75 литра «варева»...

За городом, в дымке утренних паров, вставало хохочущее до дрожи в лучах молодое весеннее солнце. Его появление каждый день встречали пленные, выстроившись по пяти. Становились по старшинству звания — майоры и равные им, капитаны и равные им — и, окруженные автоматчиками, уныло и молча шли на работу.

Вот уже третий дèнь Сергей с партией в десять человек шел работать у зенитчиков. Располагались те в лесу, в пятнадцати верстах от города. Была там надежда получить граммов сто — двести хлеба и «великая возможность смыться», как говорил новый приятель Сергея капитан Николаев. На работе старались держаться вместе. Несет ли Сергей полено дров — Николаев шагает сзади, поддерживая конец дровины и поглядывая: авось отвернется конвоир...

Как-то Сергей и Николаев работали в складе масел и красок.

— Подозрительна эта штука,— сказал капитан на притаившийся в углу пузатый бочонок.— Спирт у них в таких бывает...

— И что?

— Как что? Фляга есть у меня, понял?

— Ну?

— На носу баранки гну!.. Полицейским отдадим — килограмм хлеба получим в побег.

Немец-старик ни на минуту не спускал глаз с работающих. Притулившись на бочке, он посасывал трубку, опершись на винтовку.

— Задушить бы — и айда! — кивнул на него капитан.

— Закричит гад, немцы за стеной...

— Вот что,— предложил Николаев,— захоти-ка ты в уборную. Он меня оставит, так я установлю, что в бочонке...

Жестами и движениями кое-как объяснил Сергей немцу, что́ он хочет. Тот неохотно вскинул на ремень винтовку и ворча поплелся за Сергеем, оставив капита-

на в закрытом складе. Долго сидел в кустах Сергей, поглядывая на полуотвернувшегося от него немца.

— Шнелль, менш! — наконец не выдержал тот.

— Не лезет, дедушка!

— Вас ист дас, гедюшка?

— Трудно, говорю. Запеклось к черту все!

— Лос, сакрамент![1] — разозлился фашист и, подойдя к Сергею, потащил его за плечо. Каково же было его удивление, когда он не увидел результатов сидения пленного!

— Ду люгст. Вильст нихт арбайтен?![2]

Подталкиваемый прикладом, Сергей вернулся в склад. Николаев сосредоточенно продолжал перекатывать бочки.

— Готово! — пояснил он Сергею. — Древесный только...

Бежать, однако, не удавалось. Был за командирами особый присмотр, да и уходить хотелось наверняка, не попадаясь: пойманных убивали тут же.

Вдруг нежданно-негаданно запретили командирам выход из черты лагеря на работы. Это отнимало многое и у многих. У одних рушились упования на «подкалымить жратву», у других гибли надежды на скорый побег.

— Вот тебе и смылись! — сокрушался капитан.

— Опытнее будем! — злился Сергей.

...В пять часов утра выстраивался лагерь за получением хлеба — буханки на четверых. Шли нескончаемой вереницей люди, давно потерявшие человеческий облик в страшных условиях фашистского плена. Испуганные партизанским движением, гнали немцы в лагерь окрестных жителей — ребятишек двенадцати лет и стариков — семидесяти и выше.

В семь часов вечера вновь вырастала бесконечная очередь пленных. К тому времени в кухнях поспевала баланда. Ходуном прыгает черпак — раз в котелок, раз по голове просящего подбавить. Бывает, крепко стукнется черпачок по стриженой голове, и зазвенит-запрыгает отвалившаяся жестянка. Останется в руках у полицейского долгий дрын-ручка, и пойдет бандит вы-

---

[1] Давай, проклятый!

[2] Ты врешь. Не хочешь работать?!

колачивать ею пыль из шинелей, а память из голов. Долго стоят в очереди, ожидая ремонтирующийся черпак, пленные, посылая сто чертей в душу и печенки тому, на чьей голове он обломился...

А за проволокой, не доходя до нее десяти метров, маячат разноцветным тряпьем бабы, дети. Пришли они из ближних деревень к отцам, дедам, сынкам. Подперев голову рукой, вдруг не выдержит какая-нибудь из них да и заголосит. Переливами печали и горести льется по лагерю причитающий голос:

Ии-и ты-и-и жа-а, мой родненьки-и-й сыно-о-чиик,
Ясненьки-и-ий све-е-етик ни-на-гля-а-дный...
За-а што-о тебе-ее доста-а-а-лась до-о-ля го-орькая,
Го-о-оло-ву-шка ты-и моя-а ни-ща-сна-ая!..

Повернут головы на скорбный материнский голос дети-подростки и зашмыгают носами. Станет среди лагеря заросший бородой дядя, прислушается, сплюнет и скажет:

— Тьфу ты, скаженная! Все нутро волокеть...

Выходят послушать соло и немцы. Да непонятны им смысл и содержание русского плача-песни, не знают они, как рождаются такие звуки-стоны! Не слышат они в них смертельной тоски и ненависти, бесконечной любви и терпения...

Черной душной стеной обрушивается ночь на лагерь. Погребают ее обломки-минуты мысли и надежды людей, успокаивают их несложные желания...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Вагоны, постукивая на стыках рельсов, лениво двинулись за паровозом и, лязгнув буферами, притихли вновь. Крепко-накрепко затиснуты в петли дверей ржавые кляпы железных засовов. Все той же колючей проволокой забиты-опутаны окна, и задумай шальной воробей пролететь в окно — повиснет он, наколовшись на растопыренные рожки колючки.

Сорок семь тел распластались в вагоне. Лежать можно только на боку, тесно прижавшись к соседу. И все равно десять человек должны разместиться на ногах лежащих вдоль стенок людей. Душно и вонюче

в вагоне. Тяжело дышат пленные пересохшими глотками. Вторые сутки стоит состав на станции, не двигаясь с места. Знают пленные, что это — смерть для всех! Съедены еще в лагере «дорожные продукты» — две пайки хлеба. Кто знает, куда везут их, сколько дней еще простоит поезд?..

Жестокой дизентерией мучился Сергей. В желудке нет и грамма пищи. Еще три дня тому назад он перестал есть хлеб и баланду. За это время сэкономил три пайки хлеба, и вот теперь кричат они в раздувшемся кармане: «Съешь нас!» Нет сил отогнать эту мысль. Тянется невольно рука к карману с пайками, погружаются ногтистые пальцы в мякоть. «Корку лучше!» — мелькает мысль, одобряющая действие рук, и щиплют пальцы неподатливый закал корки, подносят украдкой от глаз ко рту. «Нельзя, подохнешь!» — шепчет кто-то другой, более твердый и властный, и пальцы виновато и бережно относят крошку хлеба назад в карман. И опять останавливаются на пути, благословляемые на преступление жалким, трусливым и назойливым шепотком: «Чего уж там, бери и ешь...»

— Нельзя, понимаешь, сволочь?! — громко шепчет Сергей.

Глядит Николаев сочувствующими глазами, спрашивает:

— Болит?

А сам думает: «Уже бредит, помрет...»

— Я не сошел с ума, капитан,— говорит Сергей,— но я до смерти хочу есть... противное желание!

— У тебя кровь идет и какая-то зелень. Есть нельзя.

— Есть «не есть»! — пробует шутить Сергей.

Стоит поезд. Вторая ночь! Хрипят, задыхаясь, пленные, льнут воспаленными лбами к железным обручам вагона. Лишь на рассвете третьего дня, дрогнув, дернулся состав, и на рассвете же Сергей не выдержал и съел сразу две пайки хлеба. «Все равно умру, так лучше наевшись»,— решил он. А часа через два в животе начались жуткие рези. Корчится Сергей, задевая ногами лежащих, до крови кусает губы, стараясь не закричать. Выступили на его лбу росинки пота, и откуда взялись — бог весть! Вытащил из-за голенища ржавую ко-

рявистую ложку капитан и, наклонившись к Сергею, приказал:

— Разевай рот!

Полностью засадил Сергею ложку в горло. Рвутся наружу внутренности, наизнанку выворачивается желудок.

— Больше в тебе нет ничего,— успокоил Сергея капитан.

Чувствовал Сергей и сам невольную иронию в словах Николаева. Теперь в нем и впрямь слишком мало чего осталось... Нет, не так! Ты не прав, капитан! То, что там есть, в самой глубине души, не вырыгнул с блевотиной Сергей. Это самое «то» можно вырвать, но только цепкими когтями смерти. Иным путем нельзя отделить «то» от этого долговязого скелета, обтянутого сухой желтой кожей. Только «то» и помогает переставлять ноги по лагерной грязи, только оно в состоянии превозмогать бешеное чувство злобы, желание вспыхнуть на минуту и испепелить в своем пламени расплывчатое пятно, маячащее перед помутившимися глазами, завернутое в зеленое, чужое... Оно заставляет тело терпеть до израсходования последней кровинки, оно требует беречь его, не замарав и не испаскудив ничем! «Терпи и береги меня! — приказывает оно.— Мы еще дадим себя почувствовать!..»

— Нет, капитан, во мне осталось все, что было! — со злобой отвечает Сергей.

— Да вот оно, что было в тебе! — указывает на кучку сероватой массы Николаев.

— Ты одурел, мой друг, от голода,— уже спокойней проговорил Сергей,— возьми мою пайку и съешь...

На четвертый день пути пленных выгрузили в Смоленске. Бóльшая часть командиров не могла двигаться. На станцию пришли автомашины и, нагрузившись полутрупами, помчались в лагерь. Из кузова грузовика Сергей глядел на безжалостно истерзанный город-герой. Сожженные немецкими зажигательными бомбами, дома зияли грустной пустотой оконных амбразур, и казалось, не было в городе хоть единственного не пострадавшего здания.

На окраине города жили пленные. Лагерь представлял собой огромный лабиринт, разделенный на секции густой сетью колючей проволоки. Это уже было образ-

цово-показательное место убийства пленных. В самой середине лагеря, как символ немецкого порядка, раскорячилась виселица. Вначале она походила на букву «П» гигантских размеров. Но потребность в убийствах росла, и изобретательный в этих случаях фашистский мозг из городского гестапо выручил попавших в затруднительное положение палачей из лагеря. К букве «П» решено было приделать букву «Г», отчего виселица преобразилась в перевернутую «Ш». Если на букве «П» можно было повесить в один прием четырех пленных, то новая буква вмещала уже восьмерых. Повешенные, согласно приказу, должны были провисеть одни сутки для всеобщего обозрения.

Секция командного состава лепилась в заднем углу лагеря. Состояла она из двух бараков и была строго изолирована от других. В Смоленском лагере пленные были разбиты на категории: командиры, политсостав, евреи и красноармейцы. Была предусмотрена каждая мелочь, чтобы из одной секции кто-нибудь не перешел в другую. За баландой ходили отдельными секциями — под строгим наблюдением густой своры немцев.

Командиры, политсостав и евреи не допускались до работы. Сидели эти люди на строгом пайке, томились без курева. По вечерам, когда пленные группами возвращались с работ, в самой большой секции, где были красноармейцы, открывался базар. Было там все — начиная с корки хлеба и кончая пуговицей, ножиком, ремнем, обрывком шпагата и ржавым гвоздем. Делалось и добывалось это так: напрягая всю мочь, вскидывает тяжелую кирку пленный, ковыряя мостовую. Так и кажется: вот взмахнет еще разок — да и завалится в грязь, вконец обессиленный и истощенный. И проходит мимо какая-нибудь старушка. Остановится она, долго глядит на касатика, потом, вздохнув, присядет на корточки и достанет из узелка яичко.

— Съешь, родимый, помяни грешную душу рабы божьей Апросиньи...

А вечером яичко переходит из рук в руки торгующих.

— Штой-то у тебя?

— Ицо.

— Сколько?

— Пайка.

— Дай погляжу... какой-то она таво... желтая.
— От породистой курицы потому...
— А ты што курицу то...?
— Выходит же счастье вот таким тухтарям!
— И хто ему дал ицо, черти его возьми...

Так с каждым ассортиментом товара на базаре военнопленных. Уж не может стоять на ногах продавец кроличьей булдыжки. Плюхнулся он в грязь, подогнув калачиком ноги, и бормочет в полузабытьи:

— Кому трусятины? Кому трусятины?

Сотни рук пробуют синеватый кусочек, соблазнительно пахнущий мясом. Падает он в навоз, очищается и вновь предлагается «покупателям».

— Да съешь ты сам свою трусятину! Помрешь ить, пока продашь.
— Эй, кому загнать по дешевке?
— Што-о?
— ... !
— Душа лубезный, купи котелок баланды! Свежий, вкусный, красивый!
— Кому ножик за понкрутку?
— У кого кусок резины есть?..

Сергей и капитан стояли у проволочной стены, следя за оживленной торговлей на базаре.

— А знаешь,— предложил Николаев,— не мешало бы сходить на эту черную биржу.
— Пайку перепродать?
— Нет, кальсоны; покурить бы малость....

Но в этот момент начали разгонять базар и строить людей. Построились и командиры.

— По направлению виселицы — шагом марш! — скомандовали полицейские.

Туда же шли и другие секции.

— Кому-то наденут сейчас гитлеровский галстучек,— шепнул Николаев.

Запрудив обширную площадь, пленные образовали пустоту вокруг виселицы. Немцы-конвоиры остервенело следили за секциями командиров, политсостава, евреев.

Кроваво-красным шаром закатывалось в полоску сизой тучи солнце на окраине лагеря. Духота летнего вечера повисла над площадью тяжелым пушистым одеялом.

— Дай проход! Разойдись в стороны! — послышались голоса.

В образовавшийся живой коридор вошли немцы. Их было семь человек. Окружили они понуро шагавших двух пленных. Долговязый нескладный офицер сразу же заговорил что-то на своем языке.

— Военно-полевой суд... — начал переводчик; и рассказал, что немцы решили повесить двух пленных за то, что, работая в складе на станции, они насыпали себе в карманы муки...

— А много мучки-то взяли? — послышался голос из толпы.

Обреченные были явными противоположностями друг другу. Первый являл как будто все признаки предсмертного отупения. Раскрыв губы, он бессмысленно глядел на переводчика белесоватыми неморгающими глазами. Парень был велик и широк костью, видать, вял и неповоротлив. Изредка он всхрапывал носом и проводил по нему рукавом гимнастерки.

Второй, лет под тридцать, щуплый и низенький, загорелый до черноты, был похож на скворца. Он стоял, нервно переминаясь с ноги на ногу, ни разу не взглянув на толпу пленных и на читавших ему смертный приговор.

Пока переводчик говорил, немцы ладили петли веревок, встав на аккуратно сколоченные козлы.

— Дорогие, век не забуду... не надо! — заколотил себя кулаками в грудь «скворец». — Не буду... с голоду это я... Родимые, ненаглядные мои, — бредил он, упав на колени.

— Подымись, дура еловая! — спокойным басом загорланил его одновисельник. — Разя это люди? Это жа анчихристы! Увстань жа, ну!..

И, неторопливо взяв за плечо коленопреклоненного, он легко поставил его на ноги.

Живчиком бился чернявый в цепких руках немцев. Брыкался и кусался, не давая просунуть голову в петлю веревки. Все так же не торопясь и деловито влез на козлы белоглазый парень, сам надел себе веревочный калачик на длинную грязную шею и, качнувшись, грузным мешком повис прежде чернявого, уродливо скривив голову...

...В голубени июльского неба кусками пышного всхожего теста плавают облака. Жарят погожие дни стальную вермишель колючек проволоки, разогревают смолу толевых крыш бараков, и сочатся блестящие черные сосульки каплями смачной патоки. Думают люди о пище днем и ночью. Подолгу ведутся в темноте разговоры-воспоминания — кто, когда и как ел.

— Ну, встаешь, это себе, делаешь, понятно, зарядку, а на кухне уже слышишь: ттчщщщии-и!.. Пара поджаренных яичек, два-три ломтика ветчинки... Да-а! Запивал все это я стаканчиком холодненького молочка... знаете такое? А в обед...

— Это што-о! Я вот, так я кушал так: утром не ел ничего!

— Ну, это уж вы напрасно! Почему же?

— А, понимаете, не хотел. Привык!

— Как так можно! Могла же ваша жена, скажем, поджарить вам белый хлебец в сливочном маслице... румяненький, горяченький... с сахарцом, понимаете?

— Да, конечно, но... рацион, так сказать...

— Ах, что там! Это вы просто... извините, дурак были, что не кушали!..

Это в углу, где спали «старички» по чину и годам. Во втором же:

— Заходишь в буфет, берешь пару булок по тридцать шесть, пару простокваш — ббабахх! А в двенадцать — в столовую. Опять берешь: селянку, пожарские, кисель и пять пива. Шарахнешь — и до семи!..

Это вспоминали свое житье-бытье те, кому не могла жена «поджарить в сливочном маслице». Это были холостяки...

...В самую последнюю очередь получали командиры баланду. Поблескивают в их руках котелочки, баночки из-под консервов, а за неимением того и другого держат за ремешки некоторые и каски.

— У вас, капитан, губа не дура! Посудинку-то себе вы подыскали вместительную!

— Скажите, товарищ подполковник, вы... если не ошибаюсь?

— Да, я армянин.

— Встречали ли вы там, у себя, более роскошную пиалу, чем вот эта ваша?

— Майор Величко, что вы думаете, сколько касок баланды вы могли бы опрокинуть за один присест?..

Так доходили до кухни. Посреди бесстенного навеса стояли две ванны, наполненные чем-то желтым, жидким. Это и была баланда, сваренная из костной муки. Возвращались в бараки, бережно неся содержимое своих сосудов. Чинно рассаживались на нарах, и в первые минуты был слышен лишь жадный всхлип губ, сосущих баланду.

— Товарищ военинженер, вы жаловались на катар, так вот не желаете ли доесть мою баланду?

Молодежь была неутомимей. Выпив баланду, заводила она разговоры, споры, воспоминания.

— Повторяю, внешность не показатель внутреннего достоинства человека,— горячился лейтенант Воронов.— Я знаю один характерный случай. В моей учебной роте был курсант Пискунов. Фамилия его говорила за все: он был похож на цыпленка-заморыша. Учился плохо. Как-то спрашивает его тактический руководитель: «Вот вы, курсант Пискунов, ведете взвод. Наблюдатель подал знак — «воздух». Ваше решение?» А Пискунов стоял-стоял да и решил: «Я,— говорит,— подаю команду — «спасайся кто как может!» Ну, понятно, хохот в аудитории, плохая отметка и прочее. Но дело не в этом. Пискунов был аттестован на младшего лейтенанта. А в первые же месяцы войны, командуя взводом, он заработал орден Ленина. И заметьте: единственный из всего училища тогда!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

В один из августовских дней 1942 года, когда над лагерем проплывали белые мотки паутины, командиры были выстроены, чтобы получить «дорожные продукты». Путь, видимо, предстоял долгий: была выдана каждому целая буханка хлеба из опилок в 800 граммов, что составляло четырехдневную норму.

— В Германию везут. Надо бежать в пути,— пояснил Сергей.

Идя на станцию, Сергей и капитан съели одну буханку, оставив другую на дорогу. Погрузка проходила быстро. Немец отсчитывал десять пятерок и подводил

их к вагону. В дверях сразу же создавалась пробка. Каждый стремился залезть в вагон не последним, ибо из пятидесяти человек двенадцати придется стоять за неимением места. Пятидесятку Сергея немец подвел к французскому вагону. Это были очень практичные и удобные вагоны для перевозки мертвых грузов и братские гробы для пленных. Герметически закупоренные, без окон, обитые изнутри жестью, эти вагоны были настоящей тюремной камерой, уничтожающие малейшую возможность побега.

— Кажется, все! — покачал головой Николаев.

— Нет. Остановки.

— Не выпустят...

— Тогда... тогда останется последняя возможность — вот! — указал Сергей на железную петлю, вбитую в стенку вагона. Николаев долго не отрывал глаз от этой петли.

Поезд с места набрал скорость и около пяти часов не останавливался, убаюкивая разомлевших от нестерпимой жары людей. Никто не имел ни малейшего представления, куда идет состав и на какой станции остановился сейчас. Разразившаяся ночью гроза охладила вагон, дышать стало несколько легче. Когда в узкие, словно прорезанные осокой, щели дверей вагона просочилась молочная сыворотка рассвета, поезд, ухнув, вновь помчался вперед. За вторые сутки пути еще ни разу не открыли двери вагона. Душный смрад висел в воздухе, дышали через рот, чтобы не чувствовать вони. Первые сутки без воды. Вторые. Третьи. Утро четвертого дня. Грузный майор Величко, подложив под голову каску, служившую ему ранее котелком, не шевелился и не стонал вот уже несколько часов. А к вечеру четвертого дня пути, пронзительно завизжав, стали открываться двери вагонов. Хлынувший поток света и свежего воздуха ошеломил всех. Люди лежали, не двигаясь и ничего не желая.

— Раус, раус![1] — вопили немцы.

От истощения пергаментной бумагой шелестели перепонки ушей, носом нельзя было дышать — шумом и треском наполнялась голова. Взяв за руки один другого, Сергей и Николаев вылезли из вагона. Ноги не

---

[1] Вон, вон!

держали, и Сергей опустился на рельс. Вокруг выгружаемых пленных собралась толпа зевак в гражданских одеждах. Слышался непонятный и смешной выговор чужого языка. Сергей с трудом поднял голову на фасад ближайшего здания. Жирной чернотой оттуда брызнуло слово из нерусских букв. «Каунас»,— разобрал Сергей...

По городу шли медленно, нестройно. Завернутые в коверкот туши мяса немецких колонизаторов торжественно и самодовольно пялили лорнеты на серую муть лиц пленных. Было интересно и странно видеть толпы гуляющих людей и еще непонятней воображать, что эти вот люди спят у себя в квартирах, ложась и вставая когда им вздумается, что они вдосталь имеют пищу и сами могут брать ее из шкафов... Странным казался и этот город с узенькими уличками и кафельными шпилеобразными крышами приземистых домиков.

Медленно и молча продефилировала партия пленных командиров по центру города. Было воскресенье, и острые шпили костелов начинивали воздух медными вздохами колоколов. Теперь шли уже по тесным уличкам предместья Каунаса. Из приусадебных садиков пахло прелой морковью и увядшими лопухами.

— Яаки! — не закрывая губ, произнес Николаев.

Сергей повернул голову, и глаза его скользнули по бледно-розовым гирляндам яблок.

— Да, яблоки...

Каунасский лагерь «Г» был карантинным пересылочным пунктом. Не было поэтому в нем особых «благоустройств», свойственных стандартным лагерям. Но в нем были эсэсовцы, вооруженные... железными лопатами. Они уже стояли, выстроившись в ряд, устало опершись на свое «боевое оружие». Еще не успели закрыться ворота лагеря за изможденным майором Величко, как эсэсовцы с нечеловеческим гиканьем врезались в гущу пленных и начали убивать их. Брызгала кровь, шматками летела срубленная неправильным косым ударом лопаты кожа. Лагерь огласился рыком осатаневших убийц, стонами убиваемых, тяжелым топотом ног в страхе метавшихся людей. Умер на руках у Сергея капитан Николаев. Лопата глубоко вошла ему в голову, раздвоив череп.

...После смерти друга нервы Сергея сдали. Ходил он подавленный, мрачный. Все навязчивей липла мысль о «последней возможности».

«Разогнаться и об острый угол барака... самому»,— думал Сергей.

На шестой день пребывания в этом лагере пришедшие конвоиры выстроили сто человек и повели их за лагерь. В это число попал и Сергей. Шли зеленеющей долиной, сплошь усеянной огромными камнями-валунами. Эти валуны пленные должны были катить в лагерь. Для чего понадобились они там — было непонятно. Лагерь был карантинный, и под этим словом надо было понимать издевательство. Четыре человека катили пятидесятипудовый камень. Вдавливался он неровными формами в сырую почву, накатывался на ноги, выматывал последние шаткие силы. Долину, где белели валуны, окаймлял густой опушкой боярышник, а за ним позванивал золотыми сережками созревший овес. На две-три четверки пленных приходился один конвоир. Он оборачивался, поглядывая на отстающих, останавливался закуривать, уткнув морду в растопыренные ладони рук.

— А ну, братцы, бежим! — предложил своей тройке Сергей.

— Как?

— Подкатим валун к кустам, а там — врассыпную!..

— Побьют... День, видно...

Соглашался один, совсем еще мальчик, с вздернутым носиком и проникновенными голубыми глазами. На вид ему нельзя было дать и семнадцати лет. Двое же трусили.

— Ну, малыш! — чувствуя холодок в груди, шепнул Сергей пленному, доверчиво и вопросительно глядевшему на него,— держись!.. А вы — как знаете! — бросил он оставшимся у валуна.

К кустам подошли шагом, не взглянув в сторону конвоира. Видел ли он их, нет ли. Сергей не знал. Уже далеко позади остались кусты; мнется под животом сухой, звенящий овес, путается в пальцах повитель гороха. Часто дышит ползущий рядом с Сергеем мальчик — не отстает. Но в долине уже поднялась суматоха и слышен гвалт немцев. Замерли без движения

беглецы, стараясь не шелохнуть ни одной овсяной былинки. Эх, если б можно было провалиться в землю!..

Шарят, рыскают в кустах немцы, бьют тесаками оставшихся у злополучного валуна двух пленных. Щелкая затворами винтовок, пять фашистов редкой цепью направились к полосе овса.

«Девяносто восемь человек остались в долине и с ними лишь пять конвоиров! Если б они сыпанули в стороны... Не больше сорока убитых, а остальные и мы...» — думал Сергей, чувствуя приближение смерти.

Прыгают кованые сапоги по двум распростертым телам. Погружаются шипастые подошвы в мякоть животов, хрипящую грудь. Бьют немцы не злясь, не нервничая. Бьют спокойно, расчетливо, методично. Уже перестали тихо стонать беглецы. При толчке носком сапога дрожит всем корпусом холодеющее тело. Но немцы любят «порядок». Сто человек должны быть живыми сданы в лагерь — беглецы будут наказаны в комендатуре...

...Прикушенный язык разбух во рту мочалкой: не ворочается он при желании произнести слово. Течет изо рта не переставая слюна пополам с кровью. Выталкиваются вздувшимися губами странные нечленораздельные звуки. Глядит одним незаплывшим глазом Сергей на чугунный цвет лица своего товарища. Видит глаз две фиолетовые точки, доверчиво уставившиеся на него.

— Аакх ыие аукх?

— Не понимаю,— качает головой тот.

Не поднимет Сергей перебитую в плече руку. Закрыв от боли глаз, добрался до левого кармана гимнастерки. Не скоро вытащил оттуда карандаш величиной с воробьиный нос. Написал на стене: «Как тебя зовут?»

— Ванюшкой... Иваном.

— А-а-о. А ыая — Ыйэяв.

— Что вы говорите?

«Хорошо. А меня — Сергеем»,— написал Сергей.

— Ойкхяо ы-е эыхк?

— Восемнадцать,— понял Ванюшка.

— А-а-о.

— Да хорошего-то мало!..

Выбрав глазом белое пятно извести на стене, Сергей написал: «А если б сейчас была вчерашняя возможность — ты бы вновь бежал? Только говори правду!»

— Немедленно! — с неразгаданным до того в нем упрямством ответил Ванюшка.

«Будем друзьями!» — размашисто начертил Сергей.

После четырнадцатидневного карцерного заключения, из которых семь дней были голодными, «сухими», как определяли это немцы, Сергею и Ванюшке объявили, что они отправляются в штрафной лагерь. К тому времени группа военнопленных, с которой Сергей и Ванюшка прибыли из Смоленска, была вывезена из лагеря «Г» в неизвестном направлении...

...Бархатистыми кошачьими шагами неслышно подкрадывалась осень. Выдавала она себя лишь тихим шелестом засыхающих кленовых листьев да потрескиванием стручков акаций. Исстрадавшейся вдовой-солдаткой плачет кровавыми гроздьями слез оперщаяся на плетень рябина; грустит по утрам солнце, встающее закутанным в шелковый сизый шарф предосеннего тумана...

Штрафников было двенадцать человек. Их собрали с разных каунасских лагерей и вот теперь отправляли в Латвию. В вагоне расселись кто как мог. Мéста было достаточно. Коренастый курносый парень, роясь в карманах штанов в надежде «найтить хоть одну махорчинку», как он сам пояснил, рассказывал, не особенно обращая внимания на то, слушают его или нет:

— Завел он всех в лес — а ить нас батальон полный! — и говорит: «Сымай шинели!» Ладно, сняли. Он опять говорит: «Примыкай штыки!» Примкнули. «Неожиданным ударом,— говорит,— отбить Петровскую!» Ну, и пошли мы, значит. К деревне этой по лошшине итить надо было, а ветер — спасу нима, нояберь потому был... Хрицы, знать, спали ишшо, не рассвело как надоть, и не видали нас. Эх, как закричали все «ура» — аш земля загудела — и пошли!.. Винтовка у меня об десяти патрон была, штык ишшо на ей такой, как ножик, каким свиней режут. Да-а. И вот аказия какая! Спят, черти, они в подштанниках! У нас ба, к примеру, за спанье в подштанниках на передовой — трибунал! а им — хоть ба хны!.. Я себе тоже бегу и «ура» кричу, потому не боязно и все кричат, и вижу: из машины, што стояла под

поветью хаты, выпрыгнул хворменно одетый, при хвурашке, и то туда, то суда обкружится, а не бегит. Оробел вконец, знать, дурак... Я эта к ему, а он бултых на коленки! И так мне было желательно кольнуть его — ну хоть ты што тут! Кольнул... Штык, примерно, идет так, как в мешок, допустим, с рожью али гречихой, ишшо потрескивает штой-то внутрях. Ну, и када штычок залез, примерно, по дулу вот тут, пониже сисек, он и схватись за мою винтовку одной рукой, а другой — цоп за парабелку. Эх ты, думаю, босяк, крутульно умереть не желаешь! Бросил эта я «савате» свою, да как плюхнусь на его прямо пузом, а руками за хлебалку, и задушил, значит... Задушил эта я его, взял «савате», как положено, и думаю: дай, думаю, загляну в автанабил, потому интересна. Полез. Гляжу — кулечки, коробочки какие-то... Разорвал одну — баночки такие зелененькие посыпались, номер на их стоит, как на нашем питаке. Да-а... Перервал пополам — цыгареты! Э, думаю, стоп! Ну, понятна, взял только шесть штук баночек, потому трахвейное все одно што казенное. И все. А в обед кличет меня комбат. «Горшков,— говорит,— возьми винтовку свою, да на́ вот мешок, иди соломы набей в его и ко мне явись». Ну, думаю, в анбар запрет, потому доказал хто-нибудь, што я во время бою на цыгареты трахвейные позарился...

Пока солому набивал в мешок — баночки в голянищу попрятал. Ну, мешок набил как надо, потому на ем самому лежать придется, и прихожу к комбату. Явился, говорю, товарищ капитан, согласно приказу! «Пойдем»,— говорит. Пойдем, говорю, а сам думаю: обыск ба не сделал в голянище!.. Идем эта мы, и вижу, што не к анбару. Он на огород — и я. Он через тын — и я. Залезли в сад. Што, думаю, он хочет учинить со мною? Спужался, признаться, малость. «Привяжи,— говорит,— мешок к сливине». Привязал. «А теперь,— говорит,— примкни штык и покажи мне, как ты хвашиста утром колол». Ээ, думаю, пронес Илья-пророк тучу! Не то! Обрадовался, понятно, да как садану в мешок штыком — аш с дулом нырнул. «Вот,— говорит комбат,— так нельзя пырять. Я,— говорит,— видел, как тебя хвашист чуть не застрелил. Хорошо,— говорит,— у тебя красноармейская находчивость была тогда, а то б хана тебе!» И целый час учил меня штыком пырять, пока со-

лома не вывалилась из мешка... Ну, назад когда шли, желательно мне было отблагодарить комбата — потому не посадил в анбар. Я и говорю: товарищ капитан, погодите. «Што такое?» — говорит. Сапог сниму, говорю, и сел на улице. Скинул эта я сапог, да второпях не тот. Скинул другой — баночки вывалились. «Это ты в машине взял?» — спрашивает капитан и смеется. Ну я, понятно, сказал, што струхнул, думал, в анбар, и говорю: возьмите товарищ капитан, на память от красноармейца Горшкова Алексея. Так он только одну сигарету закурил. Хороший был человек...

...Часов в двенадцать второго дня пути штрафники высадились в Риге. А на следующий день, в тяжелых деревянных колодках на ногах, Сергей и Ванюшка шагали по шоссе в штрафной командирский лагерь, отстоящий от Риги в восемнадцати километрах.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Саласпилсский лагерь командного состава «Долина смерти» раскинулся на правом берегу Западной Двины, на голой, открытой со всех сторон местности. Четыре пулеметные вышки и шестнадцать ходячих часовых охраняют пленных. Между густых рядов колючки, оцепившей и образовавшей лагерь, на метр от земли высятся мотки проволоки-путанки «Бруно». Лагерь обнесен частым строем сильных электрических фонарей, ярко освещающих ряды проволоки. Бараки на ночь закрываются на замок; выход пленных за черту лагеря на работы строго воспрещен. Паек пищи, выдаваемый пленным, составлял 150 граммов плесневелого хлеба из опилок и 425 граммов баланды в сутки...

Подходя к лагерю, Сергей и Ванюшка видели бледных, изнуренных людей, жуткими тенями бродящих по протоптанным ими тропинкам меж гряд тополей. У каждой тени вихлялась в руках аккуратно выстроганная палка-клюка, к ремню была прицеплена зачем-то миниатюрная лавочка. Пройдет бывший командир пять шагов, чувствует, что задыхается, ну и снимает лавочку и садится на нее передохнуть.

— Это, наверное, из барака больных,— вслух подумал Сергей, входя с Ванюшкой в ворота лагеря. Один

из пленных грустно покачал головой, увидев две новые жертвы «Долины смерти».

— Идите, ребята, в третий барак, вон там! — прошептал он, указывая, куда должны пройти новички.

«Странно, — думал Сергей, — моя жизнь пленного началась в третьем бараке. Оканчивается она тоже в третьем... Но это же невозможно!.. Так умереть страшно...»

В новом жилище Сергея и Ванюшки было просторно. По голым доскам нар табуном ходят клопы — жирные, злые, вонючие. Лишь пятьдесят пленных жили в бараке к тому времени. Но это число уменьшалось с каждым днем на два, на три человека. Жуткой тишиной полнится барак. Редко кто обращается шепотом к товарищу с просьбой, вопросом. Лексикон обреченных состоял из десяти — двадцати слов. Только потом узнал Сергей, что это была мучительная попытка людей экономить силы. Так же строго расходовались движения. Тридцать медленных шагов в день считалось нормой полезной прогулки...

Обессиленными, ставшими как восковые свечи пальцами пробуют цепляться за жизнь люди. Тяжело переставляя колодки, идут, поддерживая друг друга, два товарища. В руках они держат по пучку травы. Существовала в лагере какая-то, только пленным ведомая «питательная» трава «березка». Толкли ее в котелках, пока она пустит сок, потом размеренно жевали... На нарах, в изголовье каждого пленного, покачиваются маленькие примитивные «весы». Тоненькие фанерные дощечки искусно прикреплены нитками к горизонтальной палочке. На этих весах делят пленные между собой выдаваемый немцами хлеб. Кусок хлеба в сто пятьдесят граммов разрезается на сто, двести долек. Раскладываются потом эти крошки на дощечки и, наколотые на иглу, подносятся ко рту. Смакуется хлеб! Растягивается блаженная минута еды... Тихо, спокойно угасают пленные. Получит обреченный пайку, положит ее около глаз — полежу, полюбуюсь — да так и останется лежать навеки. В «Долине смерти» создали немцы непревзойденную систему поддержания людей в полумертвом состоянии. Пленных можно было уже не охранять — дальше одного километра от лагеря никто бы не ушел за целый день...

Растерялись, помутнели Ванюшкины глаза-васильки.

— Мы тоже умрем? — просто спросил он Сергея.

— Нет.

— А как же? Мне уже трудно залезать на нары... а только пятый день тут...

В этот день Сергей подошел к седоголовому иссохшему старику с сохранившимися знаками отличия полковника. Он сидел и что-то писал на обложке книги, каким-то чудом попавшей в лагерь. На приветствие Сергея полковник молча чуть наклонил голову.

— Товарищ полковник, мы знаем все, что погибнем... Вы, наверное, умрете завтра, если не дать вам сейчас кусок хлеба... Я умру через месяц. Я буду дольше всех жить тут, потому что только пять дней тому назад пришел сюда...

Старик спокойно и равнодушно глядел на Сергея.

— Нас шестьсот человек, — продолжал тот. — И если мы со всех сторон полезем на проволоку, то... человек сто останется, может быть, в живых...

— Нет. Я думал... Идите.

— Но почему же нет?

— В одну минуту... четыре пулемета выбрасывают... четыре тысячи восемьсот пуль... Восемь пуль на каждого... Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки... Каждый метр — три ступеньки... В минуту — шесть ступенек... значит — пятнадцать минут... Следовательно, сто двадцать пуль... на каждого. Идите...

Как-то вечером, перед тем как должны были закрыть на замок бараки, Ванюшка подсел к Сергею радостный и возбужденный.

— Мы теперь живем, — зашептал он, — вот, глядите! — И опасливо, чтоб не заметили другие, вытащил из кармана пучок ботвы сахарной свеклы. — Ассенизатор мой земляк оказался... возит бочки за лагерь. Каждый день он будет давать нам по столько!..

По ночам Сергей и Ванюшка спали по очереди. Один должен был сидеть у окна и следить за светом. Бывало, что фонари гасли на несколько минут, и этого было достаточно, чтобы выскочить в незарешеченное окно барака и броситься на проволоку. Шли дни. Силы таяли с каждым часом. В минуты отчаяния грезилась смерть...

...Шуршат гонимые ветром скрюченные листья тополей. Сучат в небо черными ветвями мрачные деревa, словно посылая кому-то неведомому молчаливое, но грозное проклятье. Мерзнет в первых числах сентября бескровное тело, нижет его иголками прохлада вечеров. Редко выползают из бараков обреченные. Сидят они на нарах, не проронив ни звука. Люди молчат и не двигаются. Они экономят силы!

— Ты хочешь умереть, лежа на нарах? — спросил Сергей Ванюшку.

— Как все,— тихо ответил тот.

— Но можно иначе... Хочешь?

— Да.

— Завтра, когда придет немец конвоировать ассенизаторов, мы убьем его в уборной. Я переоденусь и выведу вас...

— Но лицо у тебя... и борода.

— Все равно ведь!..

На второй день утром, положив увесистые камни в карманы брюк, Сергей и Ванюшка сидели в уборной. Прошел томительный час рокового ожидания. Два.

— Все бараки, за исключением пятого,— строиться! — прокричал полицейский.

Обхватив друг друга за шею, начали выходить люди из бараков. Строились все вместе на широкой поляне, окруженной бараками и тополями. Пришли немцы с пачкой именных карточек. Вызываемый ими пленный выходил из строя и становился в сторону.

— Капитан Андреев!

— Я.

— Подполковник Полуянов!

— Умер вчера.

— Старший лейтенант Михайлюк!

— В пятом... умирает.

— Лейтенант Костров!

— Я.

— Воентехник Рябцев!

— Я,— отозвался Ванюшка...

— Умер.

— В пятом.

— Умер.

— Умер...

А под вечер двести командиров грузились в вагоны, чтобы ехать в Германию...

Сергей и Ванюшка заняли место у окна, забитого сеткой из колючей проволоки. Вокруг лежали и сидели беспомощные люди, ничем на свете не интересовавшиеся. Да, им было теперь все равно, решительно все! Но — хлеба, ради бога, один кусок хлеба! Начальник конвоя, гауптфельдфебель, внушительно говорил что-то пленному, вызвавшемуся перевести его слова всем.

— ...и будь в вагоне хоть маленькая дырка, проковырянная гвоздем,— все из вагона будут расстреляны.

Под локтем у переводчика торчала буханка хлеба. Говоря, он не переставал гладить ее рукой, и Сергей был уверен, что многое он еще хотел бы прибавить от себя, желая заработать вторую буханку...

Заскрежетав, закрылись двери. Темнота наполнила вагон. Лишь луна, любопытствуя, заглядывала в окно, и, наколовшись на колючую решетку, лучи ее испуганно разбегались по противоположной стене вагона.

— У нас должны быть два котелка, нож и одна обмотка,— под скрип двинувшегося поезда шепнул Сергей Ванюшке.— Больше в мешке ничего не должно быть!

— Понятно! — ответил тот.

Скрипели, покачивались вагоны, аукал паровоз, испуганно вбегая в лесок, пересекая проселочную дорогу. Сняв тяжелые колодки с ног, Сергей надел их на руки и, ступив к окну, начал изо всех сил колотить ими по сетке. Ванюшка торопливо просовывал руки в лямки вещевого мешка.

— Гра-аждане, до што же это вы заду-умали? — послышался вдруг слабый стон.— Нельзя этого делать, расстреляют всех...

В вагоне поднялся испуганный шепот: угрозы, просьбы, одобрения.

— Хоть один останется в живых!

— Давай, давай, товарищ!

Вдруг к Сергею прыгнул кто-то из угла и, цепко ухватив за запястье правой руки, начал ее выворачивать, силясь отнять колодку. Давно знакомый Сергею холодок отчаянной злобы или безрассудной решимости залил его тело. Во рту стало сухо и горько. Мотнул голо-

вой — и помутневшие глаза встретились с бледным, где-то уже виденным лицом.

— А-а, дрянь! — короткий удар колодкой в голову отбросил на прежнее место нелепо дернувшееся тело переводчика. Тяжело дыша, Сергей заговорил прерывистым голосом:

— Кто помешает — убью!.. Открою дверь — уйдете все... кто хочет и может!

Колотили колодки дребезжащую сетку. Рвалась кожа на пальцах, и темные струйки крови теплыми червячками ползли по ладоням.

— Обмотку дай! — бросил Сергей Ванюшке.

За петлю над окном быстро привязал обмотку. Потянул, испытывая прочность. Проталкивая в узкую дыру Ванюшку, Сергей шептал:

— Одной рукой держись... Открывай вагон...

Раскачивается крохотное тело повисшего на обмотке Ивана. Лапает ржавый шкворень двери обессиленная рука.

— Никак! — слышится его голос, срываемый встречным ветром. — Тяжело... упаду сейчас!

— Отталкивайся ногами! Сильней, ну! — кричит ему Сергей.

Мелькнул сереньким комочком Иван по стенке вагона, черным языком чудовища затрепетала выпущенная им обмотка. С угрожающим шипеньем бегут назад мимо поезда телеграфные столбы, мелькают торчащие у концов шпал обеленные камни.

«Погиб или нет?» — думает Сергей, вбирая в вагон обмотку и подтягиваясь на ней. Царапает спину острая железная рамка окна, с трудом пролезает в него долговязое тело Сергея.

— Давай, давай, парень, не задерживай! — слышит он голоса из вагона и чувствует, как несколько рук уперлись ему в спину.

— Даю, ребята! — кричит Сергей, вываливаясь из вагона и повисая на обмотке.

Упругим резиновым животом навалился ветер на Сергея. Отталкивает его от двери, баюкает-качает по стене. Пальцы ног впиваются в ребристую обшивку досок, мертвой хваткой вросла рука в обмотку, другая судорожно рвет запор двери. Удивленно пялится видавший виды месяц на змеей извивающийся несущийся

состав. До подробностей освещает он старенькие, собранные со всего света вагоны. Спят, наверное, конвоиры, едущие в отдельном вагоне. Не видят они того, что видит месяц... Торопят Сергея люди, столпившиеся у окна вагона, кричат:

— Не надо! В окно вылезем!..

Цапнул Сергей второй рукой обмотку, лягнул пружинистыми ногами бок вагона и, взмахнув руками, закувыркался под откос.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сергей долго лежал не шевелясь. Он не ощущал присутствия своего тела. Кромешная темнота и тишь сжали его со всех сторон. Попробовал открыть глаза — войлок потемок не исчез. До слуха не доносился ни малейший шорох и звук.

«Может быть, это жизнь мертвого?»

Резко дернулся всем телом. В левом боку ежиком зашевелилась острая боль. Глаза и уши по-прежнему ничего не ощущали. Потянул руку к лицу — скребанул ею сыпучее, корявистое.

«В земле я... зарыт!..»

Сидя выковыривал песок из ушей, носа, рта. Глаза еле различали молочный разлив лунного света. На оголенный от кожи лоб прилип песок, кровь запеклась в ресницах, мешая открыть глаза. И вдруг вскочил на ноги, охнул от боли в боку.

«Да ведь прыгнул из вагона!.. Пленный я!..»

Лег на песок и пополз в зелень обочины дороги. Пальцы рук ломали что-то сочное и знакомо пахнущее.

«А-а, ботва сахарной свеклы!»

Набивая ею рот, полз дальше к гряде чернеющих сосен и кустарника. Сердце колотило по костям груди, то ли торопя, то ли просясь на отдых. Нырнул в развесистый ивовый куст и несколько минут лежал, только дыша. Тело израсходовало все силы. Наступила депрессия.

Через несколько минут Сергей решительно поднялся на ноги и, потянувшись, беспомощно опустился на колени. Знакомая боль в боку зажала дыхание, отняла всю волю.

«Я должен идти... где-то Ванюшка?..»

Медленно переставляя ноги по одеялу опавших листьев и засыхающей травы, пошел Сергей по опушке рощицы вдоль железной дороги к «Долине смерти». Через двадцать, тридцать шагов ложился на живот, выползал к откосу и глядел на полосы блестящих рельсов в надежде увидать темнеющий бугорок Ивана. Казалось, прошло уже несколько часов. Около трех километров прошел-прополз Сергей. Ведь договорились: ранее прыгнувший Ванюшка пойдет вслед за поездом по левой стороне дороги; Сергей же — ему навстречу.

«Где же Иван? Может быть, зацепился мешком за вагон... но тогда будут пятна крови на шпалах и песке...».

Выполз Сергей на полотно дороги и, медленно переставляя колени и локти, до рези в глазах вглядывался в запесчаненные спины шпал.

«Где же Иван?!»

Вновь вернулся в кустарник и тигриной поступью двинулся вперед. Тихо вокруг. Где-то далеко лишь лаяла собака, в злобе сбиваясь на визг, да в лунной полутьме трепыхались звуки незнакомой гортанной песни.

«Где же Иван?..»

Осыпает ночь пеплом легкой изморози придорожные огороды. Сверкают при лунном свете плешивые головы кочанов капусты, увесистые шиши кажут из-под листьев ботвы перезрелые бураки. И на синем разливе брюквенного засева увидел Сергей копошащееся мутное пятно.

«А хороша, должно быть, свинина?.. И брюква тоже...»

Сергей решительно направился из кустов и, прыгнув через слежку изгороди огорода, увидел сидящего Ивана. Не переставая жевать брюкву, тот вдруг заплакал, ткнувшись головой под мышку Сергея.

— Я... я не слабенький, Сергей... Это я... ну потому что... Ты же знаешь!..

— Ничего! От радости плакать можно... И больше одной брюквы есть еще нельзя, товарищ воентехник! — успокоенно произнес Сергей.

...Шли вот уже несколько часов. Далеко обходили отдельные, разбросанные друг от друга домики, озира-

ясь, проходили поляны, опасливо раздвигая кусты, пробирались лесом. Нужно было в первую очередь дальше уйти от железной дороги, а там сориентировать свой путь на восток.

Уже близилась ночь к рассвету, когда Сергей и Ванюшка вошли в стройный сосновый и березовый лес. Метрах в ста от опушки спала погруженная в мертвенную мглу усадьба. Колодезный журавель, вытягивая шею в небо, казалось, вот-вот крикнет песню утра. Было решено попросить в этом доме хлеба. Близившийся день загонял беглецов до ночи в густые кусты. Надо было не только экономить силы, но усиленно растить их. Где-то за сотни верст, отгороженная кручами сосен и широкими топями непроходимых прибалтийских болот, раскинулась их большая Родина...

Спит усадьба. Лениво жуют жвачку десяток коров, лежащих во дворе. Гроздьями свисают с сосен сидящие на нижних ветвях индюшки. Медленно крадутся две неравномерные тени к дому. В откинутых руках белеют голыши. Знают Сергей и Ванюшка: в доме может жить полицейский, занимающийся убийством советских военнопленных. При попытке задержать их — защищаться до смерти. Вот и нужны голыши... А тут еще усадьба помещика! О, знают бежавшие пленные, что тут нужны увесистые голыши!..

Тихо. Горят отсветом месяца подслеповатые окна дома. Блестит у колодца пятиведерный бидон. В нем оставляется на ночь молоко, чтоб не прокисло в тепле. Подпирают северную стену дома связанные в пучки головки созревшего мака, звенят они при прикосновении, вызывая поток слюны.

— Сорвать бы головочку, а? — шепчет Ванюшка.

— Попросим. Не дадут — тогда!..

Самое крайнее окно полуотворено. Колыхается на нем серая дерюжка-занавеска.

— Тук-тук-тук!

Тихо.

— Тук-тук-тук-тук!

— Кас тен?[1] — доносится голос женщины на непонятном языке.

[1] Кто там? (лит.)

— Будьте любезны,— стараясь еще более онежить и без того тоненький голос, негромко говорит Ванюшка,— вы понимаете по-русски?

В комнате завозились, скрипнула половица.

— Кас ира?[1]

— По-русски, по-русски понимаете?

— Немного.

Дерюжка откинулась, и в окне показалось лицо молодой девушки.

— Как... что... вы? — испуганным шепотом спросила она, прикрывая грудь ладонями.

— Дайте, пожалуйста, нам хлеба... немного.

— Вы... пленчики? Только тише... хозяин там,— указала она рукой куда-то в темноту и вновь положила руку на грудь.

— Да.

— Как же вам... Я не хозяйка. Работаю у них...

— Как жаль!

— Обождите,— оживилась девушка,— видите там... ну, я не знаю, как по-русски... вон она!..

— Кадка?! — подсказал Сергей.

— Да-да, она. Там сыр. Весь только возьмите. А ее... каткю... опрокиньте — и в сторону...

— Есть!

Приоткрыв крышку кадки, Сергей увидел большую холщовую сумку. В ней лежали лепешки домашнего сыра, туго завернутые в отдельные белые тряпки. Не понимая, зачем это нужно девушке, он пнул ногой перевернутую набок кадку. Шурша и вихляясь, покатилась она по двору и остановилась у колодца.

— Спасибо, милая девушка! Дай бог тебе советского жениха! — обрадованный тяжелой сумкой, пошутил Сергей.

Лес был большой, девственный. Сухой валежник орехами щелкает под ступнями босых ног, колючий кустарник загораживает проходы между стройных сосновых кряжей. Перед утром поблек месяц. Стало темней. Но с востока уже загораживалось небо дымчатым платком наступающего дня. Беглецы расположились в

[1] Кто это?

густом крушиновом кусте. Царствовали вокруг тишина и безмолвие, нарушаемые изредка щебетаньем торопящихся к отлету птиц. Съев по одной лепешке сыра, Сергей и Ванюшка принялись обсуждать свой путь.

— Надо идти по ночам. Будет еще долго светить луна. Это плохо. Но луна наш проводник. Она должна быть все время справа,— говорил Сергей.

Самое страшное в лесу — встретить человека. Охотились эсэсовцы на беглецов, терпеливо выслеживали их. Получали бандиты по сто марок за буйную голову бежавшего. Там, где подали беглецу стакан воды, вешали поголовно всю семью и все сжигали дотла.

...Как только сумрак ночи повис над лесом, осторожно вышли из чащи Сергей и Ванюшка и, мысленно прочертив прямую, двинулись в путь. Вторая ночь надежд и свободы! Ведь другими кажутся это бездонное черное небо и голубой пламень тлеющих в нем звезд! Совсем иначе, чем в лагере, гладит сырой сентябрьский ветер сухие, горящие от возбуждения щеки и непокрытую голову, полную вшей. Не чувствует озноба сотни раз избитое, истерзанное тело при переходе вброд илистой реки... Без гримасы в лице вырывают пальцы рук из босой ступни вершковый осколок бутылки... Уютной и мягкой кажется постель из мокрых ольховых листьев в затхлом, тинистом болоте.

К полуночи Сергей и Ванюшка вышли из гряды леса. Путь пересекала шоссейная дорога, за которой расстилалось поле с темнеющими на нем точками домов. Под ногами шуршало жнивье, нелепые тени двигались неотступно с левой стороны. Не любил Сергей собак и по-собачьи злился на них. Услышит шаги лохматка, вылезет из конуры и заведет со скуки волынку-хныканье на долгие часы. Километра три пройдут беглецы, а жестянкой дребезжащий брех все катится за ними.

Поле вскоре кончилось. Ноги стали чокать по водянистому лугу. Где-то впереди всхрапывали испуганные приближением людей лошади, отчетливо звякали вязавшие их цепи. Затем показались силуэты двух пасущихся коней, и послышалось короткое «тппрру». Ноги сами вросли в землю, но лишь на секунду.

— Останавливаться не надо,— прошептал Сергей.— Это крестьянин пасет лошадей...

Из-за крупа ближней лошади боязливо вышел человек в белых портках и рубахе. Видно было, что он только что покинул дом.

— Здравствуй, хозяин! — приветствовали его беглецы.

— Аш не супранту русишкай. Мано жмона шек тэк...[1]

Ни Сергей, ни Ванюшка не понимали, что говорит литовец. Но когда, осмелев, тот взял за локоть Ванюшку и повернул его к дому, поняли, что он приглашает их к себе.

— А ты, дядя, не полицейский? — серьезно спросил Сергей.

— О, Езус Мария, не, не! — поняв, замотал головой крестьянин.— На эйнаме! — настаивал он.

— Можно пойти,— сказал, подумав, Сергей.— Ведь в доме не знают, что он встретил нас... не ждут, следовательно. Захожу первым я, потом хозяин, и сзади — ты. В случае чего — вот! — мигнул на карманы с голышами...

Щелкнув задвижкой, хозяин пропустил Сергея. Стукнувшись лбом о косяк, тот вошел в темную, пахнущую табаком избу. Хозяин долго чиркал зажигалкой. Метнувшись, свет озарил его обитель, сплошь увешанную листьями самосада. В углу стояла грубо сколоченная из досок кровать; подвешенная на веревке, болталась зыбка, и, повернувшись спиной к вошедшим, застегивала кофточку женщина.

— Тут, знаешь ли, свои,— буркнул Сергей, и Ванюшка вынул руку из кармана.

— Русские товарищи? — улыбнулась женщина.

— Вы нас извините, пожалуйста,— любезно проговорил Сергей и вдруг на минуту увидел свое отражение в висящем старом зеркальце. Но это же был не он, не Сергей! Коричневый от засохшей грязи и крови лоб, чугунного цвета пятна под глазами и на щеках, всклокоченная, давным-давно не бритая борода и спутанные волосы на голове с прилипшими к ним листьями крушины.

---

[1] Я не понимаю по-русски. Моя жена немного говорит (лит.).

«Как же они не боятся меня? — взглянул он на хозяина. — Это же не лицо!..»

— Иезас не понимает по-русски, — кивнула женщина в сторону мужа. — Да вы садитесь, — продолжала она, — тут никто не видит...

В сумку из-под сыра была всунута коврига хлеба, два куска сала, пучок самосаду и спички. Женщина вышла проводить беглецов, указала, где живут полицейские и как обойти их, где нужно перейти речушку, которая течет вон там, кивнула она. Женщина сокрушенно качала головой, глядя на босые ноги несчастных. Сердечно простившись с гостеприимными хозяевами бедной избы, Сергей и Ванюшка растаяли во мраке...

После этого три ночи не заходили в дома. На четвертую, пересекая лесную лужайку, увидели пасущуюся корову, привязанную за веревку, и под животом у нее крохотного теленка.

— Тпружиня, тпружиня! — негромко позвал Ванюшка.

Корова ответила доверчивым мычанием.

— Ручная! Подоим немного, — обрадовался Иван.

Сергей с котелком в руках начал подкрадываться к вымени. Ванюшка опасливо заходил спереди. Вымя было влажное и горячее: видать, теленок только что сосал молоко. Сергей потянул издали сосок, и упругая струйка цвикнула к его ногам. В ту же минуту корова решительно отодвинулась, не переставая мычать.

— Дай ей хлеба! — предложил Сергей.

Жуя хлеб из рук Ванюшки, корова позволяла Сергею манипулировать у вымени.

— Скорей, хлеб конч... — и, поднятый за штаны на рога, Ванюшка отлетел в сторону. Задетый копытом, жалобно звякнул котелок, перевернувшись вверх дном. Плюнув на требухастый живот коровы, Сергей поспешил к Ивану...

...Дни конца сентября стояли погожие, солнечные. Светлые тихие ночи позволяли беглецам проходить по двадцать — двадцать пять километров. Где-то позади остался крупный литовский город Шяуляй. Лежали на пути Паневежис, Даугавпилс, а затем — родная земля.

От Паневежиса почти до Даугавпилса тянется густой дремучий лес с труднопроходимыми болотами и топями. В последних числах сентября беглецы всту-

пили в него и уже решались идти днем. Иногда в лесу встречались дровосеки. Они угощали путников самосадом, охотно рассказывали новости войны.

Утренние заморозки давали себя чувствовать раздетым, почти голым беглецам. Ложилась изморозь лишь под самое утро, когда первый луч солнца скользил по верхушкам сосен. Тогда коченели ноги и переставлять их было невмочь. В одно из таких утр Сергей и Ванюшка забрались в сарай, стоявший на опушке леса. Мягкая овсяная солома угрела озябшие их тела, и вскоре они спали сном мучеников и праведников. Но там, где они улеглись, были гнезда кур. Выстроились хохлатки в ряд у подножия вороха соломы и подняли испуганный гвалт. Хозяйка вышла поглядеть причину курьего переполоха. Подставив лестницу, полезла на скирду. Увидев же двух спящих дикого вида людей, она в ужасе скатилась вниз, причитая и охая. Проснувшись, Сергей расталкивал Ванюшку, готовясь к поспешному отступлению. Но в это время из дома вышел еще бодрый старик и смело направился к сараю. Кашлянув раза два на всякий случай, он в нерешительности начал взбираться на солому. Сергей с виноватой улыбкой поднялся ему навстречу.

— Извини, отец... Холодно, зашли вот.

— Невелика беда, служивые! — чисто, по-русски ответил дед. — Зашли б в дом: я да бабка... Лесник я.

Выпили у лесника кувшин парного молока, дал дед Ванюшке деревянные башмаки и долго печалился тем, что нет у ребят берданки.

— Без оружия вам не под стать. Берданка — милое дело!.. Вы ить на Двинск[1] держите путь? А там эсэсовцев до черта в лесу... Ловят вашего брата, вон оно как!

Научил тогда лесничий беглецов нескольким литовским словам: «пожалуйста, дайте покушать», «где живет старшина и полиция?», «спички», «хлеб», «река», «дорога».

...Пообвыклись беглецы в лесной обстановке, от благополучных встреч с населением притупилось чувство опасности и настороженности. По ночам стали смелей стучаться в окна, с трудом произнося «прашау,

---

[1] Двинск — название города Даугавпилса до 1917 года (прим. ред.).

докить вальгить». Отдыхали два-три часа в сутки, зарывшись в мох и сухую листву.

— Сегодня мне исполнилось девятнадцать лет,— вздохнул Ванюшка, когда они вздумали отдохнуть у огромного ветвистого дуба.

— Поздравляю! — пожал ему руку Сергей. — В ноябре мне исполнится двадцать три... К тому времени мы будем у своих!..

— А знаешь, давай устроим праздник!

— Как же?

— Разведаем с опушки леса отдельный домик, «спикирую» я в него, попрошу картошки... Наварим мы ее с грибами и вместо двух часов отдохнем... три.

Невозможно было омрачить голубень Ванюшкиных глаз-васильков отказом «устроить праздник».

— Давай,— решил Сергей.

Через минуту меж кустов мелькали выцветшие штаны именинника, пошедшего в «пике». Сергей остался собирать грибы и разведывать канавку с водой.

Проходили часы. Синел жестяной котелок, подвешенный на палочке над горкой сухого хвороста. Дрожала в нем желтая болотная вода, волнуемая тонувшими в ней комарами. Ждал Сергей Ванюшку...

Спокойным и тихим становится большой лес перед наступлением вечера. Веет он тогда торжественной грустью и непонятной жутью безмолвия, стынет в нем зеленый полумрак и дремлет тайна. Лишь изредка до слуха доносится сердитое хрюканье диких кабанов да треск валежника, рожденный промчавшимся лосем...

«Нет, не мог заблудиться Ванюшка!»

Был у них им только знакомый условленный свист. Тихо в лесу. В темноте Сергей побрел в ту сторону, куда ушел Ванюшка. Минут через пятнадцать ходьбы показалась небольшая полянка. Близко друг к другу лепились два дома. В окнах одного ярко горел свет. Другой был погружен в темноту.

«Не устроил ли Ванюшка «праздник» в доме?»

Случалось им наталкиваться на крестьян, варивших в лесу самогонку. Всегда те предлагали «чекалдыкнуть»...

«Неужели он мог?.. Но ведь бывает иногда и такое...»

По-пластунски двинулся к освещенному дому. Не треснула под животом ни одна хворостинка, не было ни малейшего шороха, когда поднимался Сергей, чтоб заглянуть в окно. У края стола сидела косматая молодая баба и кормила исполинской грудью ребенка. У двери, образовав треугольник, висели две русские винтовки. Поодаль, у печки, резал самосад бородач староверского образа. Больше в доме никого не было.

«Что за черт! — мысленно выругался Сергей,— кто может жить тут?.. Конечно, полицейские! Ванюшка в их руках!..»

Холодновато и горько стало во рту. Лапнула рука карман — шумнула в нем неполная коробка спичек.

«А если Ванюшка связан и лежит там... в доме?.. Ну так я избавлю его от мук и пыток в гестапо! Я сам убью его!»

Не наклоняясь, ломая сухую крапиву у стены дома, в три прыжка очутился Сергей у двух сараев. Там, где они образовали стык, низко свисала крыша, пришпиленная сухими прутьями орешника. Со змеиным шипеньем вспыхнула щепотка спичек. Цепкое золото пламени запуталось в выветренных космах соломенной кровли...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Лес стонал глухо и надсадно. Непрерывным потоком хлестал дождь. Чернильная тьма не позволяла видеть на шаг впереди себя. Забравшись в чащу, Сергей потерял направление: шел, зажмурив глаза и протянув руки вперед, щупая сосны и раздвигая кусты. Ноги то и дело по щиколотку вязли в грязь, накалывались на иглы пихты и острые прутья валежника. Вдруг послышался отдаленный собачий лай. Мысли Сергея мгновенно перенеслись в сарай с мягкой овсяной соломой. Прислушивался долго, вытянув шею и склонив голову к земле. Лай повторился. Круто перекинув руки вправо, медленно двинулся вперед. Пальцы рук перестали натыкаться на скользкую холодную твердь сосен; сплошной колючий кустарник загородил путь.

Поминутно проваливаясь в колдобины с водой, спотыкаясь о кочки и поваленные буреломом деревья,

продолжал Сергей осторожно выбрасывать вперед вконец ободранные, исколотые ноги... Сплел ветер густую сетку из камыша и осоки, рассолодил дождь торфянистую илистую почву, вот и вязнет до колен беглец, шепча проклятья земле и небу... Ухнув, Сергей неожиданно провалился в воду и грязь. «Болото!» — мелькнула страшная догадка, и, напрягая все силы, шарахнулся на четвереньках в сторону. Булькает вонючая вода, заливаясь в узкие глубокие воронки от увязающих ног. Крепки засосы трясины, не желающей выпустить свою жертву. Где же эта тропинка, предательски заведшая беглеца в ловушку? Назад — топь. Влево — трясина. Вперед — вода и осока. Вправо — все вместе. Куда же?

«Вперед!.. в бога мать!.. Идти нельзя! Ужи, ящерицы, черви и прочая болотно-водяная мразь не ходит... ползает она!..»

И пополз, распластавшись в трясине, широко расставляя ноги и руки.

«Физику не забыл, скотина? Ну так дави равномерно всем телом на эту дрянь! Иначе — провалишься!..»

Сгартывается псинистый, пузыристый застой к лицу. Как деготь, скользкая и липкая грязь переливается по телу...

«Вперед!»

Залетают в мучительный оскал рта брызги, гуммиарабиком склеивает ресницы волокнистая холодная жидкость, бритвенным острием распарывает перепонки между пальцев осока.

«Вперед!»

Черна октябрьская ночь. Водянисто прибалтийское небо, разбоен осенний ветер.

«В-пе-ред...»

Реже выбрасываются руки-плавники. Долго подтягивается правая нога, пораженная жестокой ревмой в тифу. Не слушается голова, клонится она на мягкую подушку трясины...

«В-пе-е...»

Расстилается перед глазами Сергея зеленая скатерть где-то давно виденного луга. Растянулся он в копне ароматами дышащего сена. Поправляет его изголовье, звонко смеясь, сестренка, сыплет, вкатывает в его волосы незабудки...

«Не надо, Аня... Мне так хорошо... Милая ты, славная у меня сестренка...»

Стоит на пороге мать, протягивает Сергею шарф, умоляет: «Кашлять будешь, родной. Одень...»

«Я сейчас вернусь, мама... Ты жди!»

Осколком разбитого зеркала мелькает перепуганная мысль, заставляет дрогнуть затихающее тело: «В болоте ты! Не отдыхай... Это смерть...»

«Ах да!..»

— Хлюп.

Через три минуты:

— Хлюп.

Через пять:

— Хлюп...

«Какой мягкий наш диван... Ты не умеешь, Аня, вышивать медвежат на подушках... Выключи радио — шумит оно... Какие белые эти березки!.. Как тебя зовут? Ванюшкой? А-а!.. Почему тяжело, душно?.. Болото? Умираю? Сознание... Считай до десяти... Раз. Два. Три. Четыре... Три...».

— Считай, считай!.. Ну, милый, хороший, считай!.. Четыре... Пять... Семь...

— Считай, сволочь!.. Восемь... Девять...

— Считай!

— Счи-та-ай!

— Счи-и...

«Смерть? Жи-ить хочу-у... жи-и-ить...»

— Хлюп.

— Хлюп...

Отдыхающим аллигатором растянулась поваленная сосна. Как невиданный осьминог, разбросал-раскидал свои щупальца вывороченный корень.

— Хлюп.

— Хлюп...

Скользким от грязи животом перевалился Сергей через торчащую из трясины ветвь. Руки и ноги погрузились в ил.

«Не засосет... Как уютно и тихо. Сосны не растут в трясине... Значит — берег...»

От ветвей к корню пополз по сосне, скользя и срываясь. Сел на твердой кочке, не в силах ворохнуть ни единым членом.

«Можно застыть... Подохну сидя. Надо двигаться... Не важно куда... просто двигаться».

Опираясь на колени и локти, полез в сторону, путаясь в тростнике. Тело сжимали судороги. Вибрировало оно в мелкой нескончаемой дрожи, вызывая потягивание и зевоту.

«Болото. Нужно влево...»

— Болото!

«Некуда. Островок...»

Тогда забился в камыш, сел на колени и, сжимая руками изо всех сил бока, попробовал кричать в надежде согреть внутренности.

— Аа-ауу-о-о-аауу!..

Выл нудно, тягуче, и когда затихал — становилось самому жутко.

— Уу-у-ааа-ооо-ууу!..

Тогда была бесконечно долгая ночь. Обесчувственному Сергею казалось, что никогда уж больше не наступит день. Подогнув колени к лицу, он притих, выстукивая дробь зубами...

Мглистое, слезоточащее утро неохотно вступало в болото. Набуянившись за ночь, лес опустился и затих, поникнув мокрыми ветвями сосен. Набрякшие веки не открывались. Растянув их пальцами, Сергей оглянулся, и застланные мутной пленкой глаза резанул красный кафель крыши стоящего в лесу дома.

«Пойду. Все равно...»

До берега не было и двадцати метров. Ступая на кочки, Сергей легко вышел из болота. К дому шел решительно, стараясь ничего не предполагать.

«Хуже смерти ничего не будет!..»

По двору бесцельно бродили еще сонные куры. Громыхнув цепью, к Сергею рванулся рыжий лохматый кобель, и знакомый лай разлился по лесу. Дверь открыл молодой парень, одетый в черный элегантный костюм.

«Попал!» — решил Сергей.

— Пожалуйста! — свободно и просто проговорил парень, закрывая за беглецом дверь. И то, что увидел Сергей, отняло у него способность выговорить слово. Он стоял у порога, оцепенев от изумления, уставившись на стол. Там, рядом с ломтями хлеба и стаканами недопитого молока, зеленела квадратная коробка со-

ветского «Беломорканала» и лежала, видать, только что оставленная после чтения «Правда».

— Пожалуйста, проходите вперед. Но... минуточку, вы мокрый и... Соня, Соня! Приготовь побыстрей белье и все верхнее... Да садитесь же!

Сергей подошел вплотную к парню и, тяжело дыша, прохрипел:

— Скажите... откуда это?

— Только что ушли три товарища. Парашютисты ваши...

— Куда? — почти крикнул Сергей, не дав тому договорить.

— Понятно... в лес.

Толкнув грудью дверь, Сергей прыгнул из дома и, не обращая внимания на рвавший тело сухой кустарник и хлеставшие по лицу ветки сосен, побежал задыхаясь вперед, в самую чащу леса.

«Конечно, они там! Куда же они еще!»

Был почему-то уверен, что вот пробежит еще пятьдесят шагов — и мелькнут между сосен каплями родимой крови пятиконечные звездочки. Они вернут истраченные силы, они дадут жизнь!..

Молчит, злорадствует лес. Шепчут что-то невыразимо пошлое и нелепое друг дружке сосны, высоко оголив мясистые красноватые бедра.

— Ого-го-го! — закричал Сергей. — Това-аа-ри-щии! Ре-бя-та-аа!..

Молчит лес. Шушукаются, издеваются сосны. Тогда грохнулся на опавшие сырые иглы и затрясся в судорожных рыданиях, вцепившись зубами в высохшую кожу рук...

...Вновь установились погожие дни. По ночам звезды роняли на озимь полей седой бисер крепких заморозков. Затягивались лесные канавки пленкой еще робкого льда. Не выдерживал уже Сергей дневки в лесу. Перед рассветом, отшагав за ночь десять — пятнадцать километров, выбирал стоящий на опушке леса сарай и забирался в солому. Собираясь в путь, обматывал ноги кусками попоны, взятой им в одном сарае. Из этой же попоны смастерил себе и нечто вроде плаща-накидки. Попона была ярко-красного цвета, с клетчатыми протоками черной шерсти.

— Я похож на испанского мавра,— иронизировал над собой беглец.

Заходя в дом за хлебом, Сергей пользовался уловкой, не раз спасшей ему жизнь. Видя явное нерасположение хозяев кулацкого дома и угадывая их намерение задержать пленного, он смело просил хлеба на восемь человек:

— Семь моих товарищей за вашим домом... Ждут.

По паневежисской округе разнеслась весть, что неделю тому назад были сожжены два дома полицейских, задержавших одного беглеца. Пожар вспыхнул с вечера, когда полицейские везли связанного «пленчика» в Паневежис.

«Я достойно отомстил за Ванюшку»,— думал Сергей...

Прошло пятнадцать дней с тех пор, как Сергей остался один. Около ста пятидесяти километров прошел он, оставив далеко позади Паневежис. Однажды, проголодавшись, решил Сергей постучать в окно одиноко стоявшего домика близ шоссейной дороги. Сквозь неплотно прикрытые ставни в темноту ночи медными вязальными спицами пронизывался свет. Сбросив «плащ» и положив его под окном, Сергей постучал в ставню. Через минуту щелкнула задвижка, и к Сергею двинулась темная фигура.

— Простите, вы говорите по-русски?

— Немного.

— Я прошу у вас кусок хлеба...

В это время в сени вышли два молодых парня в исподних рубахах и галифе. Ранее вышедший живо начал что-то объяснять им, показывая на Сергея. Один из тех поспешно вернулся в дом, другой стал сзади беглеца.

«Эсэсовцы!» — подумал Сергей. Мозг лихорадочно искал выхода. Пальцы рук стали липкими и холодными.

— Рэнки наверх! — по-литовски и по-русски крикнул выкатившийся в сени бандит, ткнув дуло винтовки в грудь Сергея.

— Ужейк и троба![1]

[1] Заходи в дом! (лит.).

Сергей протиснулся в дверь и, оставляя следы на полу запеленутыми в тряпки ногами, прошел в угол. Комната была маленькая, но опрятная. Слева от двери стояла кровать, справа — стол и два стула; на полу была разостлана постель, и на ней спали два эсэсовца...

Введшие Сергея стояли у двери, о чем-то совещаясь.

— Что они со мной хотят делать? — обратился Сергей к хозяину.

— Отправят завтра в волость. В полицию...

— А-а!

Сидит, чешется Сергей обеими руками. Без стеснения залезает в разрез гимнастерки и в штаны, трется о спинку стула.

«Только бы не положили спать в комнате!» — думает он.

Исподлобья уставился на него хозяйский сынишка, с гримасой отвращения поглядывает жена.

— Что у тебя? — спрашивает хозяин.

— Короста... Знаете, такая? Ну, чесотка... И вши. Полтора года в бане не был... Много вшей... ходят поверху. Остаются, где сижу... При огне не видно только.

Перевел хозяин слова Сергея. Всплескивает руками жена его, слышит Сергей частое: «Езус Мария, Езус Мария!» Возится хозяин с фонарем, гремит жестяной его дверцей, прилаживая огарок свечи. Осторожно протягивает Сергею хозяйка кусок хлеба, боится прикоснуться к его рукам.

— Пойдем спать! — выпрямляется хозяин.— Только спички оставь тут. Завтра получишь в полиции...

Сарай был большой, заваленный еще не обмолоченными овсом и рожью.

— Ложись тут!

Звякает замок, закрывающий беглеца. Слышатся шуршащие удаляющиеся шаги. Холодно без «плаща». Сквозит ветер в щели неплотно сдвинутых бревен, что образуют стены сарая.

— Подождем еще! — шепчет Сергей.— Погреемся пока...

Набивая рот хлебом, занялся гимнастикой.

— Раз-два... Делай: раз-два! Раз-два! Раз-два!..

С чувством и толком заправистого мужика, знающего свое дело, опробует Сергей каждую бревнину. Пока-

чивает ее, потягивает вверх, узнает: глубоко ли сидит она в земле. Крепко затрамбована земля, ладно подогнаны бревна — надо копать. Растопырив руки, пошел в темноте вдоль вороха соломы. Огромная звучная оплеуха отбросила его в сторону. Оранжевые живчики запрыгали в глазах.

— Да ведь грабли это! Наступил я...

Переломанные на четыре части, служат грабли Сергею. Ковыряет он землю палкой, затихает по временам, прислушиваясь, и вновь скребет пальцами слежавшийся за годы грунт.

— Нажми, товарищ Костров!

— Есть, товарищ лейтенант!

Обламываются, кровавятся ногти. Растет под коленями бугорок рыхлой земли. Растит он силы Сергея.

— Две минуты перерыв.

— Есть!

— Приступай.

— Есть!

И все, что было в костях и сухих мускулах тела, вложил в цепкие руки Сергей. Тянут они бревно до ломоты в локтях; нехотя, шатаясь, поддается бревно нечеловеческим усилиям.

— Еще нажим — и...

— Есть еще нажим!

А когда бревно вынулось без особых усилий, Сергей осторожно выставил его на улицу, протиснулся боком в дыру и, минуту подумав, взвалил бревно на плечо. Ступая на носки, подошел к дому. Неслышно составил бревно, подперев им дверь, и, подхватив «плащ», отошел от дома. На опушке леса, в звенящих от ветра кустах орешника, погрозил кулаком в темноту по направлению дома.

— Гады! Русского офицера так не возьмешь!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

После оккупации Литвы в 1941 году немецко-фашистскими захватчиками в тюрьмах, в лагерях, на виселицах замаячили крестьяне. Зачернели дровяным пеплом полянки от сожженных дотла хуторков. Тогда повезли крестьяне в город битых свиней, индюков, телят

в обмен на какое-нибудь старое ружьишко, обрез. Попритаились в овсяной соломе винтовки и даже пулеметы.

— ·Пригодится, дай срок!..

Изменились, улучшились отношения крестьян к беглецам из плена. Оглядываясь, чтоб не видел полицейский, вдоволь накормит мужик «пленчика», многое порасспрашивает у него.

— Послушай, товарищ. А скоро ли товарищи-то придут?

— А что?

— Да поскорей надо бы...

— Помогайте!

— Дак если б товарищи были поближе... Видней дело и сподручней тогда... Товарищ, а говорят тут вот мужики, что будто Гитлер миру запросил. А товарищ Сталин говорит ему: «Я не Миколай второй!» Правда аль нет?..

...Чертил Сергей поля и перелески узким, извилистым следом отказавшейся слушаться правой ноги. Раздулась она от колена до пальцев, заплыли щиколотки глянцевитой синевой опухоли, и ноет нога непрестанно — тупо и надоедливо. Надавит Сергей пальцами — и надолго остаются точки-вмятины на ступне.

«Эх, отвалилась бы ты к черту! — желает он, растирая ставшую как полено ногу и тоскуя по русским резиновым сапогам и автомату.— Если бы это!..»

Ночью снял вожжи, вязавшие на лугу лошадь, и замотал ими «плащ» на ноге. В ступу превратилась нога, и лишь с помощью рук удавалось переставлять ее. Невидимыми иглами прокалывает октябрьский ночной ветер худое тело под дырявой гимнастеркой.

— Хорошее дело — «плащ»,— грустно шутит Сергей.

За ночь прошел не больше трех километров. Приступы жгучей ломоты в ноге туманили мозг, бешеными толчками колотили сердце, заставляли подолгу сидеть.

«Но где же лес?»

Уже сизое крыло рассвета с половины неба смахнуло пыль ночных потемок. Недоспелый вишневый сок зари разлил восток на горизонте.

«Где же?..»

Там, где белел опушенный инеем луг, у самой обочины группы низеньких домиков, серели копны сложенного на зиму сена. И чтобы добраться до них, нужно было пройти около трехсот метров по озими поляны, на виду у просыпающихся поселян. Как загнанный зверь, побрел Сергей к лугу. Шел, стараясь не взглянуть в сторону домов, кляня в душе не вовремя разболевшуюся ногу. Проснувшиеся лохматки зачуяли беглеца и, как по сигналу, подняли со всех концов испуганный, жалующийся лай. Не перестали они и через полчаса, когда Сергей подошел к копне сена. А когда затиснулся в сенную мякоть — выглянул в сторону домов и мысленно простился с беглецом Сергеем Костровым. От самого дальнего от Сергея дома, колотя пятками пузатую чалую кобыленку, охлюпкой поскакал мужик куда-то в сторону от хутора. У дома толпилось несколько человек, помахивая руками в сторону копны сена.

Около двух часов гладил-растирал Сергей ногу, равнодушно обернувшись спиной к хутору. Было теперь все равно: ни бежать, ни защищаться он не мог... В полдень к крайнему дому подошли трое полицейских. Они долго о чем-то совещались, потом, взяв винтовки в руки, нерешительно направились к Сергею.

— Эй, бальшавикас! Шаутувас ира?[1] — крикнул один из них, остановившись метрах в пятидесяти от копны. Два других сзади, то приседая, то выпрямляясь, следили за малейшим движением Сергея.

— Ты бы тогда не мозолил мне глаза, фашистская гнида! — ответил Сергей, знавший, что значит «шаутувас» по-литовски.

— Кас?

Знал Сергей, что полицейские почти всегда убивали пленных при задержании. Правда, лишались они при этом половины наградных (за убитого пленного фашисты платили пятьдесят марок), но, видимо, инстинкт бандитизма брал верх над чувством наживы...

Выстрелив по разу для поднятия своего боевого пыла, полицейские, однако, продолжали стоять на месте.

«Хотят живьем взять», — подумал Сергей, продолжая растирать ногу.

[1] Эй, большевик! Винтовка есть? (лит.)

— Эйк ченай, китайп — нушаусим![1] — хором закричали полицейские. Но, видя, что Сергей не двигается с места, решился тогда один из них на акт «героизма». Он взял на прицел винтовку и пошел к Сергею.

— Эх ты, мразь вонючая! — скрипя зубами, шептал Сергей, трясясь от злобы и отвращения, видя чуть державшегося на ногах от страха полицейского, наставившего на него винтовку.

... Вывернули карманы у Сергея полицейские, долго разглядывали на его ноге «плащ», потом, взяв пойманного под руки, повели в крайний дом старшины. А через час, лежа вниз лицом со связанными сзади руками, трясся Сергей в телеге по пути в волостную тюрьму.

Начальник Купишкинской полиции, тучный низкорослый кретин, изо всех сил хотел казаться опытнейшим криминалистом. Придерживая мизинцем и указательным пальцем чистый лист бумаги и размеренно постукивая карандашом по столу, допрашивал он Сергея. У локтя его правой руки лежал дулом на Сергея парабеллум; короткий, жёлтой кожи хлыст демонстративно висел над низеньким облезлым шкафом его кабинета. Полицейский знал русский язык и хриплым от самогонки и тягучим от умышленной рисовки голосом пел:

— Фами-и-илия?

— Руссиновский.

— И-имя?

— Петр.

— Из какого ла-агеря?

— Не был в лагере.

— Парашюти-и-ист? — удивился полицейский.

— Н-нет.

Карандаш медленно катится по столу и застревает у пепельницы. Рука допрашивающего лапает парабеллум.

— Парашютист?

— Нет!

Переваливаясь, полицейский подходит к Сергею. Правая рука прячет за бедром револьвер.

— Давно в Литве?

— Отправьте меня отсюда.

[1] Иди сюда, иначе — застрелим! (лит.)

— Последний раз: давно у на-ас?

— У вас? У кого это?

— Ахх!

Брызнули снопом горящие искры из глаз, рванул Сергей связанные руки, и повисли на запястьях бескровные шматки кожи.

— Убью до смерти... Говори-и!

— Говорить буду с немцами... с твоими хозяевами, холуй!..

— Ахх!

— Ахх!

— Ахх!

...Память вернулась к Сергею в деревянном склепе с крошечным зарешеченным окошком. Из левого уха тонкой струйкой сочилась кровь и, собираясь в ямке впалой щеки, застывала, свертываясь. Затекли, устали связанные руки; давняя мучная пыль с пола щекочет нос, бьет тело чиханием.

«Какая же теперь моя фамилия? — силился вспомнить Сергей.— Росса... Русса...» Твердо помнил, что его зовут Петр. Мгновенно придуманная тогда в кабинете полицейского фамилия вытекла вместе с кровью изо рта.

На второй день в Купишках был базар. Путь к станции лежал через торговую площадь, заставленную телегами, усеянную бабами и мужиками. Вид шагавшего впереди двух полицейских окровавленного Сергея привлек любопытство сердобольных торговок. Не обращая внимания на угрозы полицейских, совали они в его карманы кто морковку, кто сырое яйцо, кто лепешку...

От местечка Купишки до похожего на него Субачая — сорок километров. Но по тому, как пренебрежительно субачайские полицейские относились к купишкинским, понял Сергей, что первые дают вторым пять очков вперед. Так это и было. Лишь на третий день, когда Сергей освоился с субачайской тюрьмой, дверь его одиночной камеры с шумом отворилась и на пороге в сумерках вечера застыли три фигуры в черном. Сергей поднялся с пола и встал у решетки окна.

— Ты нам расскажешь, мерзавец, что делал в Литве! — приближаясь, начал один в черном.— А? Расскажешь?

— Я шел.

— Куда?

— На мою родину.

— Родину-у? Мы тебе дадим ее... Атришките ям ранкас![1]

Стоявшие у порога прыгнули к Сергею, и перерезанная на руках веревка мягко упала к его ногам.

— Сук![2]

Кости хрустнули в плечах и локтях, и от неожиданной боли Сергей стукнулся коленями об пол. Руки его теперь покоились на спине, у остро выпятившихся лопаток. В ту же секунду короткий удар в челюсть опрокинул Сергея навзничь, а вскинутые при падении ноги стали загибаться полицейскими к животу. Пузырилась пенистая кровь на губах, со свистом и хрипом втягивался воздух. Дыша трупным запахом самогонного перегара, совал в запрокинутое лицо Сергея отрывистые бессвязные слова полицейский:

— Где ты был, а?.. Сколько вас, скажешь?..

Колени Сергея, с сидящими на них двумя полицейскими, сплюснули внутренности, и что-то колючее хватко зажало сердце, легкие, грудь... Покатав пинками бесчувственное тело по полу, полицейские со смехом захлопнули за собой дверь камеры.

На третий день после этого сеанс допроса повторился. Не раз рвавшаяся лента памяти Сергея сохранила новые кадры старого фильма. Как и тогда, он с трудом поднялся на ноги и бессознательно отошел к окну. Почему он это проделывал каждый раз, когда слышал шаги у дверей,— он не знал. Может быть, потому, что там было немного светлей и вошедшие могли угадать в нем человека?..

И опять двое в черном остались у дверей, а один направился к Сергею.

— Курить хочешь?

— Нет.

— На!

Полицейский протягивал толстую папиросу. Сергей, ухватившись руками за решетку, не двигался.

— На, говорю!..

---

[1] Развяжите ему руки! (лит.)

[2] Крути! (лит.)

Рожденные светом нелепые тени запрыгали на стене. Отступив на шаг, тянул человек в черном к губам Сергея вспыхнувшую зажигалку.

— Пофф!

Желтовато-мутный пламень взрыва окутал голову, затрещал в бороде, выщипал веки и брови. Сладковатый дым пороха застрял в горле и легких. Руки опоздали схватиться за лицо. Деревянный удар между глаз в переносицу кинул голову на решетку окна, потом на пол.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В самом центре Паневежиса, в лучшем городском здании, разместилось гестапо. Плещется над серым домом черное пятиметровое полотнище, наискось перерезанное белыми молниями букв «СС». Жуткими, не вмещающимися в голове поверьями инквизиции веет от этого знамени смерти. Машет оно зловещим крылом ночного хищника, отпугивая на противоположную сторону прохожих... А за двести метров от гестапо, прямо у края городского парка, высится красное четырехэтажное здание тюрьмы.

...Скользя босыми ногами по обледенелым булыжникам мостовой, Сергей прошел в подъезд гестапо. Мокрый порывистый ветер рвет подол его гимнастерки, оголяет синюю кожу запавшего живота. Часовой у дверей гестапо дернул плечами, взглянув на ноги Сергея:

— Кальт, менш?[1]

Минут через пять в подъезд вернулся один из конвоировавших Сергея полицейских с синей бумажкой в руках. То был ордер на водворение Сергея в Паневежисскую окружную тюрьму.

— Эйнам![2]

Вновь заскользили ноги — теперь уже по асфальту мимо жиденького парка. В городе зажигались редкие синие огни; на оголенных деревьях парка с криком рассаживались на ночь грачи. Привратник, в дубленом

[1] Холодно, человек? (нем.)
[2] Идем! (лит.)

тулупе и накинутом поверх брезенте, лениво распахнул железные ворота.

— Эйнам!

Дежурный надзиратель полулежал на диване. Две женщины-арестантки мокрыми мешками протирали кафельный пол канцелярии. Не вставая, надзиратель вертел перед носом синюю бумажку, потом махнул рукой. Полицейские, круто повернувшись, вышли.

— Тэйп, тэйп![1] — таинственно произнес принявший Сергея, вставая и потягиваясь до хруста в костях.

— Су гинклу паэме?[2]

— Не понимаю.

Стуча подковами сапог, надзиратель вышел из комнаты. Не поднимая головы, женщина тотчас проговорила:

— По синим стреляют. Нас тоже. Считают...

И перешла вдруг на литовский язык, обращаясь с каким-то вопросом к товарке: в дверях в это время показался надзиратель и с ним одетый в штатский костюм.

— Пойдем! — обратился тот по-русски к беглецу.

В комнате, куда вошел Сергей, стоял единственный черный стол и одна табуретка. Усевшись, штатский разложил листы бумаги и приказал Сергею раздеться догола. После того, как были отмечены все родимые пятна, шрамы от увечья и особые приметы Сергея, штатский начал задавать вопросы:

— Фамилия?

— Рус... Руссиновский.

— Лет?

— Двадцать три.

— Мне с тобой тут не до шуток, понял? Мальчиком прикидываешься? Поздно...

— Мне двадцать три года!

— Брешешь, сволочь! Какой веры?

— Самой глубокой.

— Дурак! Веры какой, понимаешь?

— Я сказал.

— Идиот!

---

[1] Так, так! (лит.)

[2] С оружием взяли? (лит.)

...Через час надзиратель повел Сергея из канцелярии. Пройдя несколько железных ворот, которые не торопясь и величаво открывались привратниками, Сергей вошел во двор тюрьмы. Огромное угрюмое здание было окутано густым мраком. Лишь над низенькой входной дверью в тюрьму мерцала синяя электрическая лампочка. Надзиратель шуршал пальцами по угловым кирпичам стены. До слуха Сергея откуда-то изнутри тюрьмы донеслись короткие тревожные звонки и звук вставляемого в замок ключа. По крутой лестнице взошли на третий этаж. На стук надзирателя взвизгнул отодвигаемый волчок, затем громыхнула открываемая дверь, ведущая в коридор. Мрачный, в полутьме он казался нескончаемо длинным. В строгом порядке друг против друга густо маячили железные двери камер. «33», «35», «37», «39», «41» — пестрели жирные нечетные номера с противоположной Сергею стены. Перебросившись короткими фразами с коридорным смотрителем, сопровождавший Сергея вышел. Коридорный подвел Сергея к камере с цифрой «39». Огромный, похожий на пистолет ключ долго торкался около отверстия замка, выстукивая своеобразную азбуку Морзе. Наконец замок щелкнул, тяжелая железная дверь бесшумно открылась, и Сергей вошел в камеру. Там царил полумрак и вырисовывались мутные пятна лиц заключенных. Сергей нерешительно попятился в угол и уперся ногой в киснувшую там парашу.

— Осторожно, отец, утонешь! — услышал он веселый голос.

— Вы русские? — обрадовался Сергей.

— Тут, дядя, со всех концов... и не принято расспрашивать — как, когда, откуда... понял?

В первый же вечер Сергей был тщательно посвящен в тайну жизни заключенного. Во-первых, он получит вот такие же, как у всех, серый халат и колпак на голову, деревянные башмаки, матрац, миску и ложку. По утрам в шесть часов он будет получать сто пятьдесят граммов хлеба, в обед и вечером — по пол-литра теплой воды. Завтра его, наверное, поведут на допрос в гестапо. И если он вернется оттуда, то дня через три, после переваривания резиновых бананов, пойдет на работу на сахарный завод, что в четырех километрах от Паневежиса.

Ночью, когда глаза Сергея мозолила оловянная темнота камеры, рука соседа осторожно толкнула его в бок.

— Не спишь, земляк? — послышался шепот.

— Нет.

— Слушай: поведут на допрос, то... если заведут в подвал такой с водой — не бойся. По грудь только. Ну, само собой, холодная вода и тело режет так... Теперь: налево что дверь — там стреляют... Только мимо головы, на вершок так... Словом, дураков ищут, понял? Ну, так ты понимаешь... пожилой человек... выдавать там кого — не надо... Сам знаешь...

Шепот затих, и минуту лежали молча. Сергей грустно улыбнулся в темноту словам: «пожилой человек... сам знаешь».

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросил он соседа.

— Ну, сколько есть... Тридцать восемь, сорок, может...

— Через двадцать дней примерно мне исполнится двадцать три...

— Да ну-у? — удивился сосед и приподнялся на локоть. — Ох и испаскудили ж тебя, парень!..

В шесть часов в коридоре загремел бак с «завтраком». Заключенных выпускали покамерно, и они, получив «довольствие», ныряли обратно в камеры. В семь часов тюрьма выходила на работу.

...Камера Сергея насчитывала одиннадцать шагов в длину. Налево от двери по всей стене протянулись двухэтажные нары. Направо — длинный узкий стол и в углу — параша. Свободного прохода было ровно на два человека. Оставшись один, Сергей принялся сочинять свои показания в гестапо. Да, он бежал с транспорта, когда их везли с фронта, только что взятых в плен. Ни в каком лагере не был. Фамилия Руссиновский. Имя — Петр.

Медленно и нудно текут минуты. Ни единый шорох, ни малейший звук не проникает в камеру. Под самым потолком лепится окно. Даже высокий Сергей не в состоянии дотянуться до него рукой. Откуда-то из глубины существа поднималось незнакомое Сергею тягостное чувство равнодушия ко всему. Не хотелось ни есть, ни жить. Нет на свете хуже тех минут, когда че-

ловек вдруг поймет, что все, что предстояло сделать,— сделано, пережито, окончено!.. Прислонив горячий лоб к слизистой стене, Сергей долго стоял, освобожденный от мыслей и желаний. Вдруг его слуха коснулось размеренное позвякивание. Звуки ползли откуда-то снизу по стене.

— Тук-тук... тук-тук-тук... тук... тук-тук-тук-тук...

Сергей поднял голову, прислушиваясь. Прерывистая цепь звуков продолжалась: «Э-э, так это же с первого этажа! — вспомнил Сергей вчерашний разговор,— подо мной ведь камера смертников!» Сергей не знал тюремного разговора перестукиванием. А то можно было б утешить смертника, отвечая ему стуком по канализационной трубе.

Продолжая ловить звуки непонятной жалобы или просьбы обреченного, Сергей в первый раз осмысленно взглянул на стену. Вся она, от низа и до той верхней границы, куда доставала рука самого высокого человека, была исцарапана надписями на русском и литовском языках. Были тут горячие просьбы сообщить родным по такому-то адресу о том, что их сын, отец, брат — расстреляны в Паневежисской тюрьме тогда-то и тогда-то. Были мужественные слова — проклятья убийцам. Были куплеты красноармейских песен, и были саратовские непечатные частушки... И Сергей поймал себя на мысли, что ни одну книгу, ни один самый замечательный роман он не читал с таким вниманием и чувством, как этот огромный корявый лист-стену из книги-жизни... На отлете от всех записей, в самом левом углу стены, как бы эпиграфом ко всему последующему, энергичные карандашные буквы выстроили столбик стихотворения. Видно было, что автор не раз очинял карандаш, пока кончил писать. Строчки куплетов то мерцали сизым налетом, то сбивались на бледные, еле заметные царапины. Сергей прочел:

Часы зари коричневым разливом
Окрашивают небо за тюрьмой.
До умопомрачения лениво
За дверью ходит часовой...
И каждый день решетчатые блики
Мне солнце выстилает на стене,
И каждый день все новые улики
Жандармы предъявляют мне.

То я свалился с неба с парашютом,
То я взорвал, убил и сжег дотла...
И, высосанный голодом, как спрутом,
Стою я у дубового стола.
Я вижу на столе игру жандармских пальцев,
Прикрою веки — ширь родных полей...
С печальным шелестом кружась в воздушном вальсе,
Ложатся листья на панель.
В Литве октябрь. В Калуге теперь тож
Кричат грачи по-прежнему горласто...
В овинах бубликами пахнет рожь...
Эх, побывать бы там — и умереть, и баста!
Я сел на стул. В глазах разгул огней,
В ушах трезвон волшебных колоколен...
Ну ж, не томи, жандарм, давай скорей!
Кто вам сказал, что я сегодня болен?
Я голоден — который час!..
Но я готов за милый край за синий
Собаку-Гитлера и суком ниже — вас
Повесить вон на той осине!..
Жандарм! Ты глуп, как тысяча ослов!
Меня ты не поймешь, напрасно разум силя:
Как это я из всех на свете слов
Милей не знаю, чем — Россия!..

...Чердак тюрьмы был полностью завален носильными вещами расстрелянных. Еще ни разу не вызванный на допрос, Сергей второй день раскладывал по порядку эти вещи. Пехотинские, артиллерийские, саперные, наркомвнутдельские, лётные фуражки и пилотки; сапоги, ботинки, краги, обмотки, брюки, гимнастерки, шинели, венгерки — должны были быть сложены в одну сторону чердака. Пальто, шапки, сорочки, шляпы, плащи, жакеты, юбки, платья, сарафаны, бюстгальтеры, трико, ночные женские рубашки — в другую. Начальник вещевого склада тюрьмы, уходя, закрывал на замок Сергея. Но через час-другой он возвращался и, ссутулившись на стуле, неподвижно глядел куда-то в угол. Путаясь в бюстгальтерах, Сергей тогда почувствовал, что нервы его расшатаны и натянуты до крайности. Вот-вот лопнут они, как тогда там, в лесу, когда он звал парашютистов... Не проходя, в горле, у самого кадыка, застрял комок чего-то горького, щекочущего нос и щиплющего глаза. И не выдержал:

— Ш-што, господин начальник? Мерещутся? — кивнув на красноармейские фуражки, задрожал он.— Не дают мертвецы спать? Жить? И не да-дим! Вот! И детям вашим... тоже!.. Никогда! Каких людей... стихи на

стене... Подлюги... вашу в христа мать!.. На, на! Мерзавец! Снимай мои штаны! Я вам...

И, в бешенстве полосуя гимнастерку, захлебнувшись в сизой пене, бьющей изо рта, забарахтался в ворохе фуражек, колотя по ним пятками босых ног...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Возвращаясь с работы, однокамерники Сергея приносили в мотнях тюремных штанов по одному и по два сырых бурака. Узбек Муса ухитрился как-то печь бураки на заводе и, разрезав их на ломтики, раскладывал по всем дырам халата. Вечером угощали Сергея.

— С бураков поправляются, Руссиновский! — шутил щербатый Петренко,— и ощущение бананов другое. Бураки способствуют организму обретать нечто лошадиное...

До вечерней покамерной поверки заключенные должны успеть сделать уборку в камере, вынести в уборную парашу, получить «ужин», съесть его и к десяти часам выстроиться по ранжиру у стены. Поверяющий надзиратель с чувством достоинства и превосходства тыкал пальцем в грудь каждого и, отметив наличие заключенных, гордо покидал камеру. И тогда наступали роковые пятнадцать минут ожидания свистка отбоя. Это были самые жуткие минуты! Затаив дыхание, все смотрят на дверь. Вот-вот отворится она — и назовутся несколько фамилий. Сдав вещи, те люди переводились в камеру смертников, а в четыре часа пятнадцать минут утра за ними приезжали из гестапо...

Никто из заключенных тридцать девятой не знал своей участи, и как только раздавались начальные всхлипки свистка, напряженные до крайности тела невольно расслаблялись, люди глубоко и устало дышали:

— Сегодня живы!

После свистка молча расползались по нарам, цокала выключаемая из коридора лампочка, и в наступившей темноте слышались глубокие, вызванные мучительным раздумьем вздохи.

— Не спишь, Петренко?

— Как и ты.

— Говорят, немцы при расстреле на коленки ставят и поворачивают затылком к себе...

— Разве это меняет дело?

— Да не то! Видно, совесть их, што ль, начинает мучить... все-таки глядеть в глаза...

— Совесть? У немцев? Ты сам додумался до этого или как?

— Сам.

— Дурак!

— Может быть... А слушай, Петренко... ты как будешь... ну, стоять на коленях... или...

— Умру стоя!..

— И я...

Успокоенный на этот счет Муса поворачивался на другой бок и принимался в темноте трещать сырыми бураками...

На пятый день заключения Сергея, в послеповерочные минуты ожидания, загремел замок тридцать девятой камеры.

— Бакибаев Муса!

Молчание.

— Серебряков Владимир!

— Петренко Иван!

— Григоревский Антон! Сдать все!..

Дверь захлопнулась. Онемев, все продолжали стоять, как и прежде. Что и кому можно было сказать теперь? Пошатываясь, первым вышел из строя Петренко.

...В городе не по-ноябрьски ярко светило солнце. Нарочно стараясь продлить время, Сергей лениво волочил деревяшки по мостовой. В трех шагах сзади шел с автоматом немец. От угла парка улица уходила вниз, к мосту, и, перебежав его, круто поднималась в гору. Мимо Сергея тряслись, ежеминутно понукаемые, извозчичьи клячи. Заламывая поля шляп, удивленно пялились на Сергея выдергивавшиеся из пролеток седоки.

У подъезда гестапо стоял новенький жукообразный лимузин. От входных дверей до его задних колес расхаживал часовой с неимоверно длинной винтовкой. Конвоир ввел Сергея на второй этаж.

— Зетц хир![1] — указал он на стул в коридоре и, нерешительно щелкнув пальцами в дверь, скрылся за нею. Но через минуту он вернулся и все тем же бесстрастным тоном, не глядя на Сергея, приказал:

— Комт![2]

В обширной, заставленной коричневыми шкафами комнате было мало света. Комната выходила окнами на северную сторону дома и располагалась в самом конце коридора. Сергей не заметил, как вышел его конвоир и он остался с двумя сидящими, видимо, в ожидании его, офицерами. Две фуражки лежали на столе, обращенные к Сергею кокардами, изображающими череп с зияющими отверстиями глазниц и скрещенными костями под ним. Офицеры дымили сигаретами, не обратив ни малейшего внимания на вошедшего. Сергей равнодушно оглядывал комнату, засунув руки в карманы длиннополого халата. Идя сюда, он был уверен, что увидит какие-нибудь приспособления для пыток. На самом деле в комнате ничего подобного не было. В середине самого интересного разговора, как это казалось Сергею по интонациям, один из гестаповцев быстро повернул голову к Сергею и сказал:

— Садись, товарищ!

Слова родной речи трепыхнулись испуганным голубем и потерялись в потоке гортанных непонятных звуков продолжавших разговаривать немцев.

— Сидеть не могу.

— Почему же?

— Раны там, — занес назад руку Сергей.

— Ах, это то, что в лесу?

— Нет. Палач в тюрьме...

— Ты — Петр Руссиновский? Это... это с группой в десять?

— Один.

— В Рокишках?

— В Купишках.

— В августе?

— Двадцать шестого октября.

---

[1] Садись сюда!

[2] Иди!

— Ты не похож на русского... Арийский лоб, но худой. Пожалуйста, ром!.. А сколько времени?

— Двадцать пять дней.

— Это какого же числа?

— Мм... в сентябре.

Допрашивающий сидел за столом боком и ни разу не взглянул на Сергея. Зато второй не спускал с него белесых навыкате глаз, которые «говорили», что он ни слова не понимает по-русски. Он сторожил мимику лица Сергея.

— Нет, нет. Лет сколько?

— Двадцать тр...

«Дурак,— мелькнула запоздавшая мысль,— за двадцать пять дней, проведенных в лесу, такая борода не вырастет у двадцатитрехлетнего...»

— Двадцать восемь.

Допрашивающий снял с рогаток чернильницы неотточенный карандаш и осторожно поставил его вертикально на столе. Наблюдающий, качнув себя вправо, поднялся со стула и, заложив руки в карманы, шагнул к выходу.

— Как это было в самом начале?

— Нас вез...

Вдруг мысль вьюном ускользнула из памяти. В ушах разлился тягучий монотонный звон. Перед глазами патефонной пластинкой заходил огромный радужный круг, и, уцепившись за него, Сергей завертелся на нем, потом, оторвавшись, тихо и плавно полетел в темноту...

Крупные капли воды скатывались с головы на халат и, убыстряя ход, мягко падали на пол. Теперь голова допрашивающего была вровень с глазами Сергея. Но гестаповец сидел на прежнем месте, не меняя позы.

«Ах, я ведь сижу!» — догадался Сергей.

Размеры своей головы он никак не мог охватить теперь памятью. Казалось, она заполнила всю комнату, выпятилась в окно, вобрала в себя шкафы, стулья и стол, на котором стоял теперь кувшин с водой и лежала рядом резиновая дубинка. «Это они меня бананом... но почему же я не помню, когда... и не больно?» — удивился Сергей.

— Так... Значит, ты говоришь, отдал парашют крестьянину... А потом что?

Сквозь лениво гудящий звон, разлитый в голове-комнате, в уши еле проникал звук голоса гестаповца. Казалось, тот говорил с Сергеем по телефону на огромном расстоянии.

— Потом? А-а, вот вы...

И голос не его был, не Сергея. Наверное, рот свесился за окно и там дребезжит треснувшим армейским котелком.

— Да, да! Куда шел ты потом?

— В ...знаешь?

— Что-о? Это как?

Гестаповец оживился и, резко ерзнув на стуле, в первый раз уставился зелеными глазами на Сергея. На его длинной шее смешно дергалась жила, по синеве бритых щек запрыгали желваки.

— В сентябре попал в плен... везли. Я двадцать пять дней бежал... Все!

Побледневшие щеки гестаповца отчетливо выдавали ставший багровым нос. Медленно поднявшись со стула, он перекинул через стол туловище:

— Я тебя вижу насквозь, мерзавец!

— Скверное удовольствие для тебя!..

— Где бежал?

— Близ... мм-м... Шяуляя.

— Альзо! — вдруг крикнул фашист, и кто-то сзади легко и быстро вырвал половицы из-под ног. Опять куда-то боком полетел Сергей, раздвигая мягкую волокнистость оранжевых нитей, что надвинулись на него...

И вновь, стоя уже у стены, Сергей глотал струи воды, стекавшей по щекам и лбу. Она холодным кинжалом раздваивала спину, сбегая струйкой с головы к ногам. Дуло браунинга сычиным глазом уставилось в лоб Сергея. Глаз то отодвигался, то льнул совсем близко к телу, и Сергей бессмысленно глядел то в него, то в рот гестаповца, что-то неслышно кричащий...

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Каждый день в шесть часов утра двор тюрьмы заполнялся заключенными. Приходил конвой, зачитывались фамилии, и серая толпа, построенная по пять, покидала тюрьму, направляясь на сахарный завод. В пер-

вые дни фамилия и имя «Руссиновский Петр» по нескольку раз повторялись начальником конвоя.

— Где Руссиновский? Где он? Где Петр Руссиновский?

Забывал Сергей свое новое имя и, спохватившись, кричал:

— Я!

Паневежис по утрам спал. За поузоренными легким морозом окнами плавала в спальнях серая предрассветная звень тишины и покоя, курились топкие кровати горячим дыханием разморенных тел и терпким запахом молодоженства.

— Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — чешут клумпы булыжник мостовой, похожий на спины еще не проснувшихся черепах.

— Ттрум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум! — и шевельнет рыжими ушами уснувшая среди улицы пегашка с малость подгулявшим извозчиком; сплюснет нос о стекло окна неспокойно спящая по утрам девушка, прикрывая ладонями тоскующие по ласкам груди. И опять:

— Ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум-ттр-ррум...

На правой стороне шоссе, убегающего из города, у опушки небольшого леса, который пересекала железная дорога, пачкал утро копотью труб сахарный завод. Пять водомойных канав, глубиною в восемь метров, были засыпаны сахарными бураками. Поодаль, у линий железных колей, кучились бурты подвозимой в вагонах свеклы. На ее выгрузке и складывании в бурты работали заключенные. На восемнадцатитонный вагон полагалось три человека. Время — час. Не выполнившие эту норму лишались баланды, которую привозили из тюрьмы на завод.

После допроса вот уже десятый день шел Сергей на работу. На вагон становился с двумя однокамерниками — замполитрука Устиновым и старшим сержантом Мотякиным. С самых первых дней оккупации фашистами Литвы Устинов и Мотякин, служившие в Либаве, отстали от разбитого наголову своего батальона и бродили в лесах близ Паневежиса, охотясь на эсэсовцев и полицейских и скрываясь от них. А когда зимой стало невтерпеж оставаться в лесу, пошли по поселкам выискивать прибежища у крестьян. В сорока верстах от

Паневежиса, в небольшом лесном хуторке, приютил их литовский крестьянин. Месяц жили в погребе из-под картошки, потом «присобачились», как говорил старший сержант, и познакомились с каждым домом. За веселый разбитной характер Мотякина, за его чечетку под собственные губные трели-рулады и за сапожничье мастерство Устинова крепко полюбились хуторянам «гражус бальшавикай...»[1]. А тем временем друзья выкопали в лесу свои винтовки и начали прогуливаться за десять километров от хуторка, подстерегая на шоссе фашистские одиночные автомобили и мотоциклистов. Завелись у них вскоре автоматы немецкого образца и даже формы в чине «герр оберст». Немногочисленная молодежь хуторка скоро научила их незатейливой мудрости литовского языка, а замполитрука по старой привычке начал посвящать ее в основы марксизма-ленинизма. К лету 1942 года в лесном хуторке жил, а на шоссе действовал крошечный отряд мотякинцев...

Да трудно скрыть молодой пыл нерастраченной юности! Попадало ведь иногда в подбитом автомобиле кое-что по мелочи, и, как ни старался Мотякин уничтожить это там же, на месте, в лесу, приносили ребята домой шнапс и сигареты, не упускали случая хвастануть. Частенько зеленую тишь ночной улицы хуторка вдруг распарывала огненная грохочущая струя автоматной очереди вернувшегося с задания хуторянина. Скатывались тогда с печей старики, залезали под постели бабы, пряча в подолы детей... И однажды на рассвете дождливого августовского утра сенной сарай приютившего партизан крестьянина окружила немецкая полевая жандармерия. Мотякин и Устинов были схвачены, «как жирные перепелки», по злому определению старшего сержанта. Семья крестьянина была расстреляна на месте, а дом сожжен...

С августа до ноября девять раз ходили друзья в гестапо. Израсходовали они там не один кувшин воды, вылитый им на головы для приведения в чувство после бананов, ознакомились со всеми видами пыток, побывав не в одной «студии». Но ни один из мотякинцев не был выдан и назван. Знали ребята библейское изрече-

[1] «Красивые большевики» (лит.)

ние: «Язык мой — враг мой» — и, закусив его в подъезде гестапо, освобождали в тридцать девятой камере.

Выгружая свеклу из вагона, Мотякин не переставал шутить, приставая к серьезному, меланхоличному Устинову.

— Как ты думаешь, — громко произносил он и — тише: — комиссар, какую конкретную пользу приносим мы Родине тем, что киснем в тюрьме, а?

Устинов молчал.

— Ужели ваш аналитический ум комиссара утратил прежнюю логику... либавскую, например?

Устинов молчал. Тогда Мотякин отшвыривал вилы, выбирал три огромные свеклины и, вручая Сергею и Устинову, а одну оставляя себе, глубокомысленно заявлял, подняв указательный палец вверх:

— Находясь в застенках гестапо́, — произнося это слово, Мотякин делал ударение на «о», — и кушая вот эти бураки, мы, товарищ комиссар, подрываем экономическую базу врага в его тылу!..

Конвоировали заключенных эсэсовцы и полицейские. Была их целая толпа, вооруженных винтовками и автоматами, злых и вечно полупьяных. Партия заключенных шла, имея на флангах двадцать конвойных, с фронта и тыла — шесть. Мысль о побеге в дороге была, таким образом, явно несостоятельна. А в заводе некоторые шансы на побег все же были. Распределив заключенных по работам, начальник конвоя уходил в склад сахара. Конвойные же рассаживались у костров близ забора, огораживающего двор завода. Они тщательно следили за забором, обыскивали порожние вагоны, уходившие с завода, и издали наблюдали за работой заключенных.

Сергей, Устинов и Мотякин несколько дней разрабатывали план побега. Каждая мельчайшая деталь была предусмотрена и обсуждена: неудачников в побеге убивали на месте или же заковывали в цепи. Было решено: как только смолкнет гудок завода, означающий шесть часов вечера, Устинов и Мотякин ложатся в бурт, а Сергей забрасывает их бураками. Розыски будут недолгие, заключенных не решатся задерживать в заводе до наступления темноты. Дождавшись ночи, Устинов и Мотякин уходят через забор в лес. Сергей же, которого некому зарыть в свеклу, подлезает под

уже заранее осмотренный вагон, устраивается там на тормозных тросах и ожидает вывоза себя с завода. Встречаются в лесу по условному свисту...

...Было ветреное и морозное утро. Черной бездной зияло над тюрьмой небо, рассвет торопился погасить в нем трепещущие синим огнем звезды. Рьяный холод залезал под тонкие вытертые халаты, распластывался на костлявых спинах заключенных. В ожидании конвоя было разрешено толкаться, разговаривать, переругиваться. В воздухе мешался литовский, польский, русский разговор; теснились в кучу — теперь все равные в серых халатах — политзаключенные, беглецы из лагерей, парашютисты, сочувствующие Советской власти, укрыватели «товарищей»... и прочие и прочие...

Мотякин «стрелял» окурки. Увидев красную точку самокрутки, он бесцеремонно раздвигал толпящихся, подходил к курящему и после вступительной речи возвращался, бережно неся окурок между пальцами.

— По разу потянуть вам,— говорил он Сергею и Устинову. Сам он не курил. Мотякин был в особенно приподнятом настроении, убежденный, что это — последнее утро, встречаемое им в тюрьме,— в этот день решено было бежать...

А вышло иначе. Начальник конвоя не зачитал фамилию Сергея. Он не шел на завод и возвращался в камеру.

— На допрос пойдешь,— шепнул Мотякин.— Мы возвращаемся... Завтра ты отдохнешь от бананов, а послезавтра...

Потому ли, что где-то далеко-далеко сверкнула бледная искра надежды на жизнь, что в опустошенное тело ум впрыснул ампулу живительного раствора под русским названием ненависть и борьба,— только, шагая в гестапо, Сергей чувствовал какую-то смутную тревогу. Состояние это усилилось, когда конвоир повел его по узкому коридору первого этажа, а не на второй, как прежде.

«Развинтились, проклятые! — обозлился Сергей на свои нервы.— А ну, взять себя в руки!»

«Есть взять, товарищ лейтенант!..»

В комнате стояли два стола и сидели два гестаповца в штатском. Оба они говорили по-русски, но не так совершенно, как прежде допрашивающий Сергея. По то-

му, как были они вежливы, предупредительны и внимательны, Сергей понял, что будет что-то новое, им еще не виданное здесь.

— Ви бежаль, что кушаль котель, я?

— Да.

— Ми понимайт. Ви — юнга... мелет еще. Ви любийт сфобот, прирот, я?

— Как и вы.

— О, корошо, корошо... Ви курите? Пошалюйст, фот... Ми вам не будем уже тюрьма... ви будете у нас, корошо? Ми не будем работайт... будем поекайт в лес... ви рассказайт, где шифет ваша... што бежаль... рассказайт, кто даль кушайт... Корошо, я?

Мысли Сергея кипели. Рождалась соблазнительная идея: «А что, если поехать с ними в лес?.. Два — это немного... но если только два!»

— Когда вам рассказать? — живо спросил Сергей.

— О, сказайт сечас... поекайт зафтра.

«А-а, подлюги, одного боитесь!» — опечалился Сергей и ответил:

— Я бежал один.

— Ви рассказайт, кто кушать дафаль!..

— Я не заходил в дома. Я... воровал.

— Што фарафаль?

— Все... морковку, картошку...

— Што есть — фарафаль?

— Это значит вот так, — показал рукой Сергей.

— О, ви не стелайт так. Ви кушаль клеп и млеко... Тафаль литофци, корошо, я?.. Ми тафайт им марк, што они тафаль вам кушаль!..

— Как жаль! Я этого не знал... Я бы не воровал, а заходил в дома...

— Ви не мошна фарафаль! — обозлился гестаповец. — Ви кодиль дом!

— Я не заходил в дома!..

— Ви не кочет сказайт? Ми будем сечас расстреляй тебя!..

— Я не заходил в дома!..

— А-а, ферфлюхт, мистр-менш![1]

Немцы любят и умеют бить жертву по щекам. Де-

---

[1] А-а, проклятый, червь навозный!

лают они это расчетливо и аккуратно, как и все, что они делают...

— Комт!

Набрав полный рот кровавой слюны, Сергей по дороге харкнул ее на желтый пол коридора. Гестаповец, шедший сзади, рванул его за рукав халата, клумпы разъехались, и, потеряв равновесие, Сергей накрыл грудью свой плевок.

— Кушайт! Кушайт! — наклонившись над ним, кричали фашисты, указывая на плевок. Путаясь в полах халата, Сергей пытался встать.

— Кушайт! — и удары ног валили его вновь на пол. Тогда, подложив руки под голову, Сергей растянулся ничком, широко раскинув ноги. Гестаповцы на минуту растерялись, а затем пришли в бешенство. Теперь они уже кричали по-немецки и, ухватив за уши Сергея, били его голову о гудящий лакированный пол. На покоробленной желтой доске змеилась, виляя, живая лента крови... Распахнув дверь комнаты налево, гестаповцы вволокли туда обмякшего Сергея. С цементных синих стен пахнуло сыростью и холодом. Комната не имела окон и освещалась большой электрической лампочкой. Подтащив Сергея к острому углу противоположной стены, гестаповцы поставили его на колени.

— Сечас рассказайт, кте кушаль! Не рассказайт — стреляйт!.. Айн... Цвай...

— Рассказайт!

— Цвай!

Сергей, прижав к носу рукав халата, чтоб задержать кровь, стекающую в рот, ранодушно глядел на гестаповцев, выкинувших вперед правые руки и ноги. Из кулаков их сжатых рук мерцали вороненые дула браунингов.

— Драй!..

Выстрелы были стройные. В шею, щеки и лоб со свистом брызнуло что-то больно щекочущее. Левый глаз застала коричневая теплая пелена.

— Рассказайт!

Сергей неловко ткнулся вперед и встал на четвереньки.

«Чем они стреляют? Я, кажется, жив... А-а, это ведь крошки цемента от стен... стреляют не по мне...»

И, качнувшись, вновь ощутил острыми краями лопаток жесткую корявистую стену.

— Тах-тах!

— ...сказайт!

— Тах-тах!

Потом хлопнула не видимая Сергеем дверь, и комнату наполнили холод и тишина... А вечером, по пустынным улицам, Сергей вернулся в тюрьму, сопровождаемый все тем же конвоиром.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Смоченные дождем и схваченные морозом бураки не поддавались вилам.

— Ситуация осложняется, братцы! — говорил по этому поводу Мотякин.— Мы катастрофически рискуем лишиться баланды... Но,— продолжал он,— чем хуже — тем лучше! Как думает комиссар, почему? — обращался он к Устинову.— А потому,— отвечал он же,— что мы должны отстать в выгрузке ото всех и остаться одни на этом составе...

Эта мысль была ценная, и ее приняли без обсуждения.

Постепенно вагоны пустели. Холод подгонял заключенных, и они торопились выполнить свою норму. Ко времени заводского вечернего гудка, лишь через два вагона от мотякинского, копался в бураках еще дед с двумя своими внуками, сидящими в тюрьме вот уже шестой месяц за укрывательство бежавшего из лагеря пленного. Их не следовало опасаться: народ был свой. В вагоне Сергея полный угол был еще завален бураками.

— Я отправляюсь на рекогносцировку,— доложил Мотякин и прыгнул из вагона. Быстро оглядываясь, он начал разрывать бурт, готовя место. Вечерние сумерки застилали двор завода, пламя костров, разложенных конвоирами, блестело ярче. Мотякин лег вниз лицом, давая понять, что его миссия окончена. Пожав Сергею локоть, прыгнул к нему и Устинов...

Сергей лихорадочно орудовал вилами, забрасывая бураками беглецов. Мерзлые свеклины стукались о спины и головы лежащих, постепенно образуя над ними сплошной покров. Вот-вот по двору раздастся свисток к построению.

— Успеть бы! — шептал Сергей. Спрыгнув в бурт, принялся руками ровнять его, придавая естественный вид тому месту, где лежали Мотякин и Устинов.

Пронзительные переливы свистка настигли Сергея под четырехосным вагоном. Вцепившись руками в болты и обхватив коленями дрожащие тросы, ждал он, когда звякнут буфера вывозимых с завода порожних вагонов. Было тихо до звона в ушах. Лишь со станции катились редкие вздохи паровоза да ровный шум цеховых машин полз по двору. Прошло минут десять. Конвоиры, недосчитав трех заключенных, бросились по буртам, вагонам, закоулкам...

Каждый вдох и выдох Сергей укладывал в четырнадцать ударов сердца. Во всем теле ощущались торопливые толчки, онемевшие от холода пальцы неприятно дергались, толкаемые взволнованной кровью.

«Крепись, лейтенант!.. Может быть, это последнее...»

Пучком ржаной соломы качнулся луч ручного фонаря под соседним вагоном. Вот он уперся в колесо и, как развеянный ветром, разостлался за вагоном, а растаяв в пространстве, снова родился под животом у Сергея... Конвоир лезет один. Изредка бормоча что-то непонятное, он тяжело дышит от неудобной позы.

«Может быть, это последнее...»

Вдруг свет вздрогнул, погас, потом вновь брызнул и остановился где-то в ногах у беглеца. Сергей глянул туда и увидел освещенный фонарем грязный кусок портянки, свесившийся с клумпы. В этот же миг конвоир вскрикнул и кубарем выкатился из-под вагона. Отбежав к бурту, он закричал испуганно и радостно:

— Ченай! Ченай![1]

Оброненный им фонарь желтым удивленным глазом уставился в пол вагона. Соскочив с тросов, Сергей отбросил его ногой и, выпрямившись, пошел к конво-

---

[1] Сюда! Сюда! (лит.)

иру. Тот, бормоча проклятья или молитву, полез на бурт, скользя и падая на обледеневших бураках.

Сергей ожидал большего. Может быть, только двадцать шесть мерзлых свеклин было раскрошено о его голову, спину, грудь: не больше одного бурака израсходовал на Сергея каждый эсэсовец — не дал начальник конвоя. Пойманный должен был еще кое-что сказать...

«Но что придумать о ребятах?» — спрашивал себя Сергей и вспомнил, что минут за десять до того, как Мотякин начал разрывать бурт, с завода ушла первая послеобеденная партия порожняка.

— Ну, кур дар ду?[1]

— Уехали под вагонами. Теперь далеко. Это ведь русские люди!..

Начальник конвоя, приказав вести заключенных, с четырьмя эсэсовцами бросился на станцию. Два конвоира вели отдельно Сергея, поминутно доставляя себе удовольствие пырять стволами винтовок в его ребристую спину.

В канцелярии Сергея допрашивал сам начальник тюрьмы. Это был еще сравнительно молодой немец с подстриженными ежиком волосами и подвижным, нездоровой бледности лицом.

— Почему бежал?

— Это мое право.

— Ты сейчас увидишь свое собачье право!

— Знаю... твоя постыдная обязанность!..

Больше вопросов не было. Переходя двор, Сергей был убежден, что идет в экзекуторскую. Но надзиратель повел его за угол тюрьмы. В небольшой пристройке к стене тюрьмы помещалась кузница. В углу, у горна, зазвенела охапка ржавых цепей. Выбрав одну, кузнец-заключенный стал ладить ее к ногам Сергея...

В тридцать девятой потекли нудные минуты. Возвращаясь вечером с работы, Сергей, гремя цепью, влезал на нары и, упершись неморгающими глазами в потолок, ожидал поверку. Цепь уничтожила последнюю надежду на побег. Восемь однокамерников Сергея в молчанье и тоске коротали вечера.

---

[1] Ну, где еще двое? (лит.)

Проходил ноябрь. Неимоверно низкое небо придавило Паневежис к набухшей водой земле, грязные лохмотья туч царапали гноящиеся по утрам дровяным дымом култышки труб. Опростоволосившиеся деревья притюремного парка скулили свистом веток о запоздавшей зиме и в своей теперешней никчемности и унылости приходились сродни заключенным.

Ржавые браслеты грызли щиколотки Сергея. Полутораметровая тяжелая цепь, подвязанная веревочкой к брючному поясу, чтоб не волочилась, натирала до боли колени, утомительно позванивая кольцами.

На пятый день после того, как из тридцать девятой камеры Мотякин навсегда унес перезвень губных вариаций, а Устинов умную задумчивость и серьезность, девять человек серыми истуканами стыли у стены, ожидая свистка к отбою. Под учащенное дыхание девяти человек вдруг осклабилась железная дверь камеры, и в ее зеве раскорячил ноги надзиратель.

— Попов! Куликов! Приготовить вещи. Руссиновский! Приготовиться в кузницу!..

Громыхнув цепью, Сергей подошел к нарам и закатал валиком постель и халат...

...В одном исподнем белье, заломив руки, сидели, тесно прижавшись один к другому, четыре человека. Теперь с вошедшими смертников было семеро. Глаза каждого казались дегтисто-черными: зерна зрачков были неправдоподобно велики, распираемые предсмертным осмысленным ужасом. Мысль, что вот уже завтра их не будет в живых и никогда потом, кидала людей то из угла в угол поодиночке, то в одну тесную кучу. До крови грызли руки, пальцы; вырывались пряди волос. Но нет, это не сон. Это — быль и явь, это — неумолимая правда, как вот эти желтые цементные стены и стальные двери камеры!..

Измучив вконец тело, мысль о смерти на минуту притуплялась, терялась в веренице других, ею же вызванных. Вот он сидит, смертник, тихо уставившись черными глазами в угол камеры. По судорожно сжатому рту его скользнула чуть уловимая улыбка. Что ж! Он вспомнил почему-то май, что был пять лет тому назад... Тыквы куполов Новодевичьего монастыря до

рези в глазах горели тогда в лучах нехотя уходившего за Воробьевы горы солнца. Таня... тогда еще Татьяна для него, шла вся голубая: платье, лента в русых косах, глаза... У самой стены монастыря он рассказывал ей что-то очень простое и обычное из студенческой жизни, но тогда казавшееся ему интересным и особенным; они оба искренне и весело смеялись, и, конечно, не над тем, что он рассказывал. Просто хотелось тогда смеяться, прыгать и посылать воздушные поцелуи через Москву-реку всем карнизам цехов Дорхимзавода... Потом сын Вова, потом война... потом — плен, и... дергался замечтавшийся смертник, вскакивал на ноги, стягивал ворот посконной нательной рубахи до хрипоты, до пепельного налета на лице...

В середине ночи, часа за три до времени расстрела — четырех часов пятнадцати минут,— не выдержал один из обреченной семерки. Сняв кальсоны, он яростно начал разрывать их на части. Затем, связав из кусков длинную ленту, дико прыгнул на нары и замотал один конец за свисающее с потолка кольцо, другой за шею. Никто не мешал самоубийце. Зачем?.. Подогнув ноги, он резко опустился, и скрежет зубов и хрип горла вытолкнули синий клубок пены на волосатый подбородок...

Закинув руки за голову, Сергей ходил по камере. Нет, теперь уж ничего, ничего нельзя было сделать... Оставалось последний раз прошагать мысленно свои двадцать три года. Нет, в прошлом все было как надо... Иначе он и не мог. Только так, как было и должно быть! И только обрыв этой немноголистной повести нелепый... без подписи, без росчерка...

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Страх, как и голод, истерзав и скомкав тело, делает его со временем бесчувственным, апатичным и ленивым к восприятию ощущений. Шестеро смертников к концу ночи выглядели спокойней. Серые их лица хранили покорность и бесстрастье, и лишь инстинктивная воля к самосохранению согнала всех в тесную кучу в дальнем углу нар.

Тело удавленника, нелепо перекосившись, было обращено лицом к смертникам, полузагораживая дверь камеры. Длинный раздувшийся язык бычиной селезенкой выполз изо рта висевшего и загнулся в сторону уха. Огромными оловянными пуговками синели выкатившиеся из орбит глаза и, казалось, вот-вот упадут на доски нар, как падают с дуба созревшие желуди.

Тихо в камере. Выплеснули с вечера смертники с хрипом горловым испуг и муки, протест и жалобы. Пусто в голове. Лень в теле. Лишь неугомонное сердце отбивает без устали удары-секунды. Что же ты, сердце? Куда ты? Ну, замри на минуточку, останови ночь! Ты знаешь ведь, сердце: мы мало жили... Слышишь, мое сердце? Знаешь? Я хочу жи-иить!!!

И в назначенное время услышали смертники за дверью топот кованых сапог и грохот открываемой двери. Вот оно! Как подброшенные током огромной силы, вспрыгнули смертники на ноги и... стали прятаться друг за друга. Ломая пальцы чьих-то рук, обхвативших его живот, Сергей тихо двинулся по нарам мимо удавленника к двери, туда, где стали у стены четыре гестаповца в черных клеенчатых плащах. Словно по команде, они держались левыми руками за пряжки своих поясов с надписью «с нами бог», а правыми придерживали у бедер черные автоматы. Два надзирателя и давний знакомый Сергея — начальник вещевого склада — стояли поодаль у самой параши.

— Куликов!

— Попов!

— Руссиновский!

Надзиратель сложил листок, ожидая вызванных. Гестаповцы молча разглядывали висевшего.

— Я — Попов...

В первый раз Сергей заметил, какие добрые и умные глаза у этого парня. Высокий белый лоб его пересекала темная косичка спутанных волос, серые впалые щеки подергивались энергичным сжатием зубов.

«Такие не ползают на коленях!» — подумал о нем Сергей и, подойдя к Попову, стал рядом.

— Я — Руссиновский.

За дрыгающие желтые ноги и дулей выпятившуюся голову на длинной шее принесли надзиратели Куликова из угла камеры. Он не стонал и даже не плакал. Неподвижными рыбьими глазами изумленно уставился он на гестаповцев, сидя у ног Попова и уцепившись за его кальсоны.

— Идемте со мной!

Начальник вещевого склада вышел в коридор. Сергей и Попов разом ступили за ним.

— Раус! — гаркнул один из гестаповцев и размашистым пинком выбросил за ними Куликова. Двери камеры захлопнулись, прикрыв гестаповцев, одного надзирателя и трех смертников с одним повесившимся.

— Наслаждаетесь, господин начальник? — спросил, вздрагивая ноздрями Сергей. — Куда ведете?

— Одевать вас.

— Зачем?

— Приказано. Отправлять будут.

— В лес?

— Туда вывозят голых... знаешь ведь...

...Над тюрьмой, в бездонной пропасти неба, пушистыми котятами шевелились звезды. Декабрь выклеивал на широких окнах канцелярии стальные листья папоротника, наивными мотыльками кружил вокруг висевшей над воротами лампы редкие сверкающие снежинки. Во дворе, на тонком батисте молодого снега, только что, видимо, развернувшийся автомобиль наследил огромный вопросительный знак. Оставив Сергея, Попова и Куликова у каменных ступенек крыльца и поручив их привратнику, надзиратель вбежал в канцелярию. Оттуда сейчас же вышли два жандарма. Еще в коридоре Сергей заметил в их руках что-то тускло сверкавшее:

«...Значит, думают прямо тут...»

Эти два гитлеровца были хорошо откормлены. Высокостоячие фуражки, делая их похожими на болотных чибисов, врезались околышами в бритые затылки. Огромные черные кобуры маузеров болтались у них на левых бедрах, в руках пылали никелем новенькие наручники. В один миг левая рука Сергея была скована с правой рукой Попова, а не перестававший дрожать

осиновым листом Куликов прилип к правой руке Сергея...

По сонным зловещим улицам Паневежиса в пять часов утра никто не ходит. Временами слышен лишь размеренный шаг фашистских патрулей да испуганный от привидевшегося во сне коридорный лай «бонзы».

Жандарм. Три удивительно ровно и тесно идущие фигуры в сером. Жандарм.

Резкие, звонистые ступки сапог путаются с тупым стуком деревянных клумп.

Пять странно движущихся людей пересекли весь город и вошли в темный и узкий переулок, ведущий к вокзалу.

— Что они думают делать с нами, Руссиновский?

— Не знаю, Попов. Видишь, увозят...

— Пальцы окоченели... Давайте в чей-нибудь карман всунем руки.

— Жить думаете, Попов?

— Вы это не одобряете?

— Напротив. Вы просто не теряетесь...

— И не советую вам, пока живы...

«Славный малый»,—подумал Сергей и потащил вместе со своею руку Попова в просторный карман халата.

В вокзале было пусто и холодно. Два немецких солдата, увешанные амуничным скарбом, словно иранские ишаки хлопком, стоя у окна кассы, завтракали. Перед каждым на «Дойче цайтунге» лежала треть буханки хлеба, а рядом—оранжевая пластмассовая баночка с искусственным маргарином. Расставив локти и растопырив пальцы, слишком осторожно, почти испуганно, резали хлеб солдаты. С горбушки снимался удивительно искусно срезанный ломтик. Нужно быть артистом-хлеборезом или целый век прожить впроголодь, чтобы суметь отрезать кусочек хлеба толщиной с кленовый лист. Чисто по-своему, по-немецки, «накладывался» маргарин: в баночку резко пырялся нож, затем обтирался о ломтик-листик хлеба...

Вокзальные часы показывали ровно шесть, когда жандармы знаками приказали скованной тройке следовать за ними. По перрону сытой кошкой кувыркался

ветер, играя с клочками бумаги и окурками папирос. От пыхтящего паровоза истерзанным холстом тянулся пар, растворяясь в холодном воздухе. Одиннадцать маленьких пассажирских вагонов робко жались друг к другу, зарясь на перрон просящими бельмами замороженных окон. Войдя в вагон, жандармы очистили от пассажиров купе. Сипло кукукнув, паровоз дернул состав, и в тяжелые головы скованных застучали колеса вопросами: «Кто же вы? Кто же вы? Кто же вы?.. Куда едете? Куда едете? Куда едете?..»

Мрачный и холодный день уже пронизывался нитями сумерек, когда жандармы вывели скованных из вагона. Улицы незнакомого города были оживленны. По мостовой, гремя клумпами, плелась согнувшаяся в три погибели старушка с вязанкой соломы на спине; цокали извозчики; проносились грузовики. Из-за гряды домов, где-то впереди шагающих пленных, шприцем проколол небо красномакушечный костел. Но по мере того, как передний жандарм, подрагивая жирными бедрами, уходил из улицы в улицу, костел отодвигался вправо, потом очутился позади. У приземистого черного здания с вывеской «Вермахт комендатур» жандармы остановились. На тротуарах замялись любопытствующие, пристыв глазами к потускневшим от мороза кандалам Сергея, Попова и Куликова. А через час жандармы ввели скованных в обширный двор Шяуляйской каторжной тюрьмы.

Бледно-розовым утром двадцать седьмого июня 1941 года фашисты оккупировали Шяуляй. По пустым, словно вымершим улицам днем гуляли штабные офицеры и гестаповцы. С наступлением вечера и до зари на окраине города, у озера, не умолкали трели автоматов. Девять концлагерей тесным кольцом опоясали Шяуляй. В двух лагерях — физически здоровые евреи, специально оставленные для работы, в остальных — советские военнопленные.

В Шяуляе самое большое здание — тюрьма. Величественным зáмком высится она на отлете города, мерцая узкими окнами пяти этажей. В конце 1941 — начале 1942 года ее наполняли пленные. Во дворе, в коридо-

рах, в четырехстах камерах, на чердаке — всюду, где только было возможно, сидели, стояли, корчились люди. Была их там не одна тысяча. Их не кормили. Водопровод немцы разобрали. Умерших от тифа и голода убирали с первого этажа и со двора. В камерах и коридорах остальных этажей трупы валялись месяцами, разъедаемые несметным количество вшей.

По утрам шесть автоматчиков заходили во двор тюрьмы. Три фургона, наполенные мертвецами и еще дышащими, вывозились из тюрьмы в поле. Каждый фургон тащили пятьдесят пленных. Место, где сваливали в огромную канаву полутрупы, отстояло от города в четырех верстах. Из ста пятидесяти человек, везущих страшный груз, доходили туда сто двадцать. Возвращались восемьдесят — девяносто. Остальных пристреливали по пути на кладбище и обратно.

Бывшую канцелярию тюрьмы занимал комендант лагеря со своим штабом. Не поднимаясь из-за стола, просунув автомат в форточку, каждый день расходовал он тридцать два патрона на пленных. Один фургон был специально закреплен за ним...

Иногда в тюрьму заходил комендант города и с ним — поджарые, похожие на гончих сук три немки, одетые в форму сестер милосердия. Тогда из пленных тщательно выискивались наиболее испитые и измученные. Их симметрично выстраивали у стен. С нескрываемым отвращением и ужасом подходили к ним «сестры», становились в трех шагах спереди, а тем временем комендант щелкал фотоаппаратом. Эти увеличенные снимки видели потом пленные в витринах окон, провозя городом фургоны. Под снимками пестрели пространные подписи о том, как немецкие сестры милосердия оказывают помощь пленным красноармейцам на передовой линии германского фронта...

Гестапо торопило. Требовалась тюрьма для литовских коммунистов, антифашистов. Рейсы фургонов участились. Редели пленные, становилось просторнее в тюрьме, и наконец она совсем освободилась.

Шла весна 1942 года. Оттаивала и оседала земля на огромном кладбище военнопленных. Тихим пламенем свеч замерцали там подснежники. И в одну из майских

ночей на этой великой могиле братьев по крови задвигались бесшумные тени с лопатами и кирками в руках. То рабочие из города тайком от фашистов пришли оборудовать последнее пристанище советских товарищей... А на заре, встречая солнце, маленькая красногрудая птичка весело славила братство в борьбе и надежде, сидя на огромном камне-обелиске, что появился на братской могиле замученных. Корявые, туго гнущиеся пальцы деповского слесаря выгравировали долотом на камне простые слова большого сердца:

Пусть вам будет мягкой литовская земля

У подножья обелиска просинью девичьих глаз пытливо и вопросительно глядели в небо первые цветы полей, перевязанные в букет широкой кумачовой лентой...

На третий день после этого немцы выставили на кладбище часового.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Камера Сергея была на пятом этаже и выходила окном на город. Взобравшись на стол, Сергей подолгу глядел на густо коптившие трубы завода, что наполовину виднелся в окно, на горящую склень озера у самой тюрьмы. Переводя взгляд на город, Сергей видел лишь разноцветные крыши домов. Казалось, будто город накрылся от декабрьского холода огромным детским одеялом из лоскутков...

Режим Шяуляйской тюрьмы мало чем отличался от Паневежисской. Те же сто пятьдесят граммов хлеба в сутки и два раза баланда; так же не разрешалось за целый день присесть на край нар. По субботам заключенных сгоняли в тюремную католическую церковь. Помещалась она на пятом этаже в обширной и светлой комнате. В правом углу стоял довольно стройный орган. Под его звуки хор из надзирателей под управлением тюремного палача пытался петь что-то жалобное и проникновенное...

Порядок расстрела в Шяуляйской тюрьме был иной. В тот момент, когда огромный, крытый черным брезентом грузовик гестапо заезжал во двор тюрьмы, по разным камерам надзиратели и жандармы выискивали тех, кто значился в списках. Им связывали позади руки мягкой проволокой, и если обреченный сохранял мужество, то сам залезал в «Тетку Смерти», как заключенные называли грузовик, а если кому изменяли силы — его легко подхватывали гестаповцы и забрасывали в автомобиль.

Камера Сергея была обширной. Сидели в ней четырнадцать литовцев, Попов с Куликовым и молодая женщина с грудным ребенком. Камерная печь топилась один раз в три дня. Постоянный холод и сырость заставляли заключенных с раннего утра до отбоя становиться в круг и шагать, шагать по камере. Надзиратели разрешали женщине сидеть на нарах. Прижав желтую головку спящего ребенка к груди, мать постоянно подолгу глядела бархатными миндалевидными глазами в одну точку. Потом, встряхнув головой, словно спугивая надоевшую муху, поправляла тряпье на ребенке — и сколько было в этих осторожных движениях непринужденного изящества, сдержанности и спокойствия!

Ребенок плакал не всегда. Иногда этот крошечный девятнадцатый член камеры пробовал предъявлять свои права на жизнь и свободу. Ворочаясь, он пытался высвободить руки из разноцветного тряпья, и мать, улыбаясь ему, говорила тогда с ним медленно, слегка заглушенным голосом и почти проглатывая букву «р». Однокамерники отвели ей место у самой печки. И когда днем, сидя на нарах, она вдруг в тревожной дреме закрывала веки с длинными, стрельчато загнутыми ресницами, шагавшие по кругу заключенные останавливались, снимали с ног клумпы и, взяв их в руки, босиком продолжали путь...

По утрам, получая пайки хлеба, семнадцать «жертвовали» на ребенка. Целая горка ломтиков в двадцать пять граммов вырастала на коленях женщины. Тогда ее печальные глаза застилались влагой подступающих слез благодарности, она отказывалась, просила, проте-

стовала, но семнадцать человек, внеся ей свою долю, как-то неловко ступая, поспешно отходили в сторону, в противоположный угол.

По ночам нависшую глыбу тьмы и безмолвия часто колыхал звонистый плач ребенка.

— Покентек, мано ангелели! Нябяилгай текс мумс лаукти![1] — Звучал нежный успокаивающий голос.

И женщина не ошиблась. На пятый день ее заключения, судорожно прижав притихшего ребенка, она — жена литовского красного партизана — спокойно и молча взошла по сходням в «Тетку Смерти»...

Шел 1943 год. Попова и Куликова давно перевели в другую камеру. Сергей остался один среди литовцев. От постоянного ли недоедания или от холода распухли ноги. На сжиме под коленями и у ступни лопалась кожа, и из незаживающих ран сочилась красноватая жидкость. Часто кружилась голова и шла кровь носом. Тело покрылось пузырчатыми струпьями. И однажды в середине дня Сергей услышал свою фамилию. Пошатываясь и волоча клумпы, он вышел в коридор и спустился с надзирателем на первый этаж. В вещевом складе ему подали ветхую красноармейскую гимнастерку и шлем.

— А штаны получишь в лагере, — объяснил надзиратель.

Январский день был чистым и глубоким. Взбесившейся кошкой вцепился мороз в колени Сергея и начал разрывать их невидимыми когтями под кальсонами...

Под вечер Сергей вошел в ворота первого лагеря военнопленных в Шяуляе. Через огромный двор, петляя между четырьмя бараками, вилась лента пленных, построенных по два: было время получения баланды — литрового котелка на двоих.

Бараки первого лагеря были обширные, с двумя линиями трехъярусных нар. Закрывались на ночь они замками; во вдоре рыскали овчарки. В бараке, куда затиснулся на ночь Сергей, по пазам неплотно сдвинутых стенных досок вытянулись желто-белые полосы льда и снега. Около единственной железной печки всю ночь

[1] Потерпи, мой ангел! Нам уже недолго осталось ждать! (лит.)

напролет стоит очередь. Пленные держат в руках две-три щепки, а в карманах две-три мерзлые картошки, добытые где-нибудь днем. Не имеющий дров входит в долю исполу, то есть половину имеющейся картошки отдает обладателю щепки и таким образом приобретает право на печку.

Сергей устроился на нижних нарах. Голову бросил кому-то на клумпы, ноги затерялись где-то под худыми телами соседей, прижавшихся с боков в поисках тепла. В пять часов утра, крестя направо и налево ремнями и палками, «полицаи» произвели подъем. К тому времени во дворе уже стояли построенные по четыре жители остальных бараков: предстояло получение шестисот граммов хлеба и котелка теплой воды на четверых.

Жал мороз. В пролеты бараков, где стояли пленные, устремлялись снежные вихри. Ветер трепал полы шинелишек, давно потерявших вид и форму одежды, без единой пуговицы и крючка. Сосед Сергея поминутно выбегал из строя. Цокая клумпами и размахивая рукавами, он почти кричал от холода:

В темноте никто не видит тут и там!
Приходи, кума, за хлебом — хлеба дам!..

Пока он отплясывал, строй подвигался на несколько шагов вперед. «Кум» терял свою шеренгу и, видимо, имея в виду Сергея, звал:

— Эй, длинный в кухвайке! Где ты?

Ящик с хлебом стоял в пяти шагах от кухни. Подходившая шеренга в четыре человека получала из рук «полицая» серый кирпичик и самостоятельно забирала котелок с водой, стоящий на окне кухни. Хлеб брал левофланговый, «чай» — кто был справа. После этого четверка отходила в сторону и принималась за дележку.

Сергей не видел, кто взял хлеб. Задев его локтем, назад метнулся, держа на отлете котелок с водой, «кум». В ту же минуту сосед Сергея слева, также не принимавший участия в получении своего дневного пропитания, закричал истошным слезливым голосом:

— Да дяржите ж их, граждане! Дяржите!

— А пошто?

— Всю корвегу хлеба унесли!.. Держитя-а!

Обернувшись, Сергей увидел, что они остались вдвоем. Хлеб, «чай» и два человека из его шеренги исчезли, затерявшись в предрассветной мгле и толпе до капли похожих друг на друга пленных...

В семь часов утра к лагерю приходят конвоиры и уводят пленных на работы в город. Оставшихся в лагере немцы разбивают на группы и до часу дня гоняют вокруг бараков. Тремя, четырьмя кучами по двести, триста человек топчутся, пошатываясь, по огромному кругу пленные. Немец зорко смотрит за теми, кто отвернул на уши от нестерпимого холода поля пилотки или всунул руки в карманы шинелишки. Такие отводятся в сторону, раздеваются догола и, опираясь на руки и пальцы ног, пятнадцать минут «делают мост».

— И скажи на милость, как любят они мучить людей! — печалятся в толпе.

— И каждый день ить...

— На то ён и немец... в прахриста мать!..

— Хвиззарядка потому...

— Грехи наши тяжкие...

В час дня топтанье по кругу прекращается. Пленные получают котелок баланды на двоих, тут же, на улице, съедают ее, а с двух до пяти часов вновь принимаются ходить. За весь день никто не смеет зайти в барак...

...И вновь в мучительном раздумье Сергей начал искать пути выхода на свободу. И вновь по ночам, ежась от холода, раздирая тело грязными ногтями и выковыривая впившихся в кожу паразитов, рисовал соблазнительные и отчаянные варианты побега. Знал: не один он лелеет эту мечту. Но не говорят в лагере открыто о ней, носят эту святую идею осторожно и бережно, выискивая тех, кому можно ее доверить.

Шел март. Наступала весна 1943 года. В полдни подсолнечные стороны бараков уже начинали нагреваться, длинней и голодней становились дни. В лагере подсыхала грязь. На раките, что была заключена немцами в лагерь вместе с пленными, набухали лоснящиеся красноватые почки. Они были клейкие и нежные, во рту отдавали горечью и тонко пахли лугом.

«Бежать, бежать, бежать!» — почти надоедливо, в такт шагам, чеканилось в уме слово. «Бе-ежа-ать!» — хотелось крикнуть на весь лагерь и позвать кого-то в сообщники... Нужен был хороший, надежный друг.

И лип Сергей к разговору кучки пленных, прислушивался к шепоту и стону, ловя в них эхо своего «бежать»...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Автобиографическая повесть «Это мы, господи!..» была написана в 1943 году, когда группа партизан, сформированная из бывших военнопленных, вынуждена была временно уйти в подполье. Ровно тридцать дней в доме № 8 на улице Глуосню в литовском городе Шяуляй писал Константин Воробьев о том, что довелось ему пережить в фашистском плену. Писал неистово, торопясь, зная, что смертельная опасность рядом и надо успеть.

В 1946 году рукопись поступила в редакцию журнала «Новый мир». Поскольку автор представил лишь первую часть повести, вопрос о публикации был отложен до тех пор, пока не появится окончание. Однако вторая часть так и не была написана. В личном архиве писателя повесть целиком не сохранилась, но отдельные ее фрагменты вошли как законченные и художественно осмысленные отрывки в некоторые другие произведения.

Так получилось, что на целых сорок лет рукопись исчезла из поля зрения редакций и читателей. Лишь в 1985 году она была обнаружена в Центральном государственном архиве литературы и искусства СССР, куда была в свое время сдана вместе с архивом «Нового мира».

ГЕНКА, БРАТ МОЙ...

(ЗАПИСКИ ТАКСИСТА)

Я минут на двадцать опоздал, но Генка не ушел — сидел в машине и ждал. Она была пыльная, неприбранная, и я помыл ее снаружи и протер внутри. Из паза отопления торчал красный лист клена, и я выкинул его вон.

— Мешал он тебе, да?

Генка глядел на меня заморенно и жалобно. Брюки его вздулись на коленках пузырями. Такую дешевку надо гладить каждый день, а не раз в месяц. Рубаху б тоже можно было не занашивать черте до чего, но это его личное дело... Я выкинул кленовый лист и не стал объяснять, что он похож на огонь. Будто забыл, как мы горели! А машину Генка мог бы сдавать мне чистой,— как ни опасайся, но шлангом все равно что-нибудь испачкаешь на себе, а потом всю смену езди в плохом настроении...

— Тебе куда? Домой?

Мне хотелось сказать это как-нибудь порезче,— нашел дурачка, чтоб мыть каждый раз,— а получилось ни то ни се. Эти его какие-то сиротские черные глаза. И пузыри на коленках. И рубаха. И весь он сам...

Я вырулил за ворота парка, и Генка сказал:

— Мне, пожалуй, следует закусить. Ты не против?

Это чтоб в машине. Чтоб мы выехали за город в наш перелесок, где когда-то горели. Там я должен остановиться и подождать, пока он высосет четвертинку и съест халу с ливерной колбасой. Он будет есть и отрешенно глядеть сквозь ветровое стекло, и я скажу ему тогда что-нибудь ласково-остервенелое, утешительное для обоих. Потом Генка до ночи будет ездить со мной, и план я не выполню. Впрочем, это пока неиз-

вестно. План смены зависит не от шофера, а от первого пассажира. Не знаю, как там другие таксисты, а мы с Генкой хорошо знаем, что дело — в первом пассажире. Смотря как он тебя остановит. Как откроет дверцу, как сядет, что скажет и как на тебя взглянет... Конечно, мне трудно объяснить это, потому что научной основы под такое не подведешь, но и суеверия в этом никакого нету. Может, причина тут заключается в том, что от хорошего человека всегда исходит только хорошее — настроение, удача, надежда — и мало ли что еще! Все дело в щедрости таких людей, и речь не о чаевых, а совсем о другом, — разве ты сможешь взять с него лишнее и показаться хуже его?! Речь совсем о другом, чего я не могу выразить словом. Просто мы знаем с Генкой, что такое хороший и плохой пассажир и что он несет людям вообще и нам с ним, таксистам, в частности...

Я ехал тихонько, прижимаясь к тротуару. Было пыльно и по-полуденному душно. В городе желтели липы, хотя стоял август. В лесу они еще зеленые, а тут... Что значит неволя! Их ведь перевезли сюда силком, взрослыми, с оборванными корнями.

— Сочинил что-нибудь? — спросил я у Генки. Я спросил об этом как всегда — безразлично: по-другому почему-то не мог. Возможно, во мне скрывалась зависть? Может быть... Генка не шелохнулся, но по тому, как сузились и блеснули его глаза, я понял, что сочинил.

— Она там? — показал я на багажник. Он кивнул и отвернулся, а я прибавил газ и свернул в переулок, ведший к загородному шоссе. Мы оба знали тут продовольственную лавчонку-полуподвал. Там работали две продавщицы — уже пожилые, веселые и добрые: у них, например, всегда можно было получить алкогольный напиток раньше десяти часов утра. Генка побежал и вернулся с халой, колбасой и четвертинкой, но я забыл потушить зеленый глаз, и минуты за две раньше Генки к машине подошел пассажир. Первый. Мой. Это была приземистая толстая дама в дорогом шелковом платье. Она подошла и зачем-то постучала свернутым зонтиком по капоту машины, хотя дверные стекла были опущены. Конечно, я открыл бы ей дверцу, но она стучала, а сама глядела куда-то в сторону, и я попросил ее не портить облицовку.

— Свободен аль нет? — спросила дама, гневаясь. Я выключил зеленый глаз и завел мотор, но Генка уже все видел и слышал. Он сложил снедь на заднее сиденье и кивнул мне, чтоб я пересел туда.

— Куда вам надо? — галантно спросил он пассажирку, но она сначала внедрилась в машину на переднее сиденье, а затем уже сказала «давай на Заречную». Это было недалеко, хотя и не по пути нам, и Генка сказал «слушаюсь» и развернул машину. Зареченская мостовая — гибель для покрышек и амортизаторов, и все же Генка — как и любой шофер — мог проехать по ней неощутимо, если б хотел, но мы сквозили, что называется впронос, и пассажирка раза два искоса взглянула на Генку, а когда он чересчур резко тормознул, спросила нас обоих:

— Вы чево это?

— А чево? — осведомился Генка.

— Трясете, как незнамо кто!

— Чай она отечественная, дорога-то! — в тон ей объяснил Генка.

— Вот и ехай, как надо! А то нахрюкался и прёть! — сказала дама. Генка подрулил к тротуару и прокрутил рукоятку счетчика.

— Дальше, миледи, не едем. С вас двадцать шесть копеек,— изысканно сказал он. Дама нехорошо выругалась и пригрозила милицией, а я вежливо спросил, есть ли у нее дочка.

— А тебе чо? — обернулась она. Я немного помолчал,— на таких, как она, всегда почему-то пугающе действовали моя ослепительная финская нейлоновая рубашка и французский галстук, заколотый старинной русской булавкой с настоящей золотой цепочкой. Кроме того, на мне были брюки из стопроцентной английской шерсти и югославские башмаки... Я помолчал и затем серьезно сказал:

— Понимаете, это очень нужно. Пожалуйста!

— Ну есть! Ну и чо?

— Не дай бог такую тещу, правда, Ген? — сказал я Генке.

До своего перелеска мы ехали молча. Там Генка вдруг засмеялся и сказал:

— Думаешь, она запомнит номер? Она ж передний и задний смотрела. Они для нее разные, понял? А двадцать шесть копеек я отдам тебе в получку...

Ему почему-то было весело, а мне нет.

Мы загнали машину под свой крушиновый куст, где когда-то горели, и Генка принялся за еду, а я пошел побродить по воле. Орехи уже поспевали, но попадались редко: всюду валялись лещиновые ветки и молозиевая ореховая скорлупа, будто тут промчалось кочующее стадо обезьян, а путь назад им был заказан. Над полянами крутыми спиралями летали шмели и шершни. В верхушках сосенок стрекотали сороки. В тени дубовых пней отыскивались высокие былинки запоздалой земляники, а липы были зеленые и сочные и от них пахло медом. Нет, осень придет сюда еще не скоро...

Генка двумя короткими условными ударами посигналил мне, и я пошел к машине. Мы всегда так делали: если один, сменившийся, выпивал и закусывал, то другой — раз ему надо было выезжать на линию — уходил прочь, чтоб не согрешать и не расстраиваться. Генка сидел на заднем сиденье задумчивый и сытый. Я открыл багажник и достал гитару. Она была одета в мою старую итальянскую куртку с белым искусственным ворсом внутри. Гитаре было хорошо в этой куртке — мягко и безопасно. Я передал ее Генке, а сам сел к рулю. В стороне по шоссе проносились невидимые МАЗы,— километрах в пяти от него был песчаный карьер. Я прислушивался то к натужному вою машин, то к лесной тишине и ждал, когда взвизгнет молния на куртке и Генка разденет гитару. Его нельзя было торопить ни словом, ни жестом. Тут он должен был делать все сам, один, когда захочет.

— Ну, будешь слушать? — ворчливо спросил Генка. Это, наверно, тоже нужно было ему — сперва спросить, а потом спеть свое новое. Я знал, что отвечать ему просьбой нельзя,— тогда у него «съеживался» голос,— и промолчал. На наш куст села сорока — никель машины, наверно, привлек — и заверещала, будто ее раздирали надвое. Я высунулся и шугнул на нее, а Генка в это время попробовал лад гитары и запел:

Небо серое, небо синее,
небо алое от зори.
Погляди в него,
полюби его
и судьбу свою не кори.

У тебя под ногами земля,
и в душе словно тысяча звезд...
По мирам пройди
и любовь найди
и в себе ты ее сохрани.
Ты узнаешь и счастье и горе,
ты приветишь тоску и печаль,
ты облазишь и горы и море,
и тогда ты меня повстречай...
Небо серое, небо синее,
небо алое от зори.
Погляди в него,
полюби его
и судьбу свою не кори!..

Мне и самому показалось диким, что я заплакал. Наверно, причина тут крылась в самом Генке, в его короткой, как детская рубашонка, судьбе, а не в словах и мотиве песни, хотя они тоже что-то значили,— до этого Генка сочинял какие-то похоронные куплеты. Мне они не нравились. Кому ты нужен, если слаб? Подумаешь, развел нуду! Вот я и толковал ему про небо над головой и про землю под ногами. И чтоб он считал ее своей личной, а тогда пускай кто-нибудь спробует отнять это у него!..

Мы сидели и молчали — я за рулем, а Генка там, сзади. Мне не хотелось, чтоб он заметил, как я плакал. Это ему ни к чему: кто-то из нас должен быть сильным, иначе мы не то, что пропадем, но потеряемся в жизни, и она излохматит нас обоих... Я завел мотор и двинулся к шоссе. Была та предвечерняя пора, когда фары зажигать рано, а глазам уже трудно. Я украдкой заглядывал в зеркало и видел Генку. Он какими-то расслабленно-нежными движениями одевал гитару, и рожа у него была странная: наполовину мечтательная, наполовину хитрая,— заметил, значит, что я плакал. Мне надо было сказать ему что-нибудь такое, чтобы мы опять оказались каждый на своем месте, и я выбрался на шоссе и тоном старшего сказал:

— Слова годятся, а мотив не тот. Надрыв тут ни при чем, понял?

— Да ну? — засмеялся Генка.

— На руле баранки гну! — сказал я.

— Ну дай одну,— объявил Генка. Я развил бешеную скорость, достиг города и затормозил у подъезда своего дома. Генка пересел ко мне вместе с гитарой и сказал: — Ладно, критик-шитик, давай сдвинем поцелуй!

Мы поцеловались дважды. От Генки попахивало «ерофеичем», маком и ливеркой. Я сказал, чтобы он никуда не уходил, вымыл в комнате пол и погладил свои брюки и мою рубашку.

Наш город не какая-то там Гавана,— кроме трех центральных магистралей да площади в нем не только подфарниками, но и ближним светом не обойдешься, и на первом же перекрестке я не вовремя переключил фары. Старшина-регулировщик выдал мне квитанцию стоимостью в пятьдесят копеек, сверил свои часы с моими и попросил подкинуть его домой. Я сказал «ради бога», и мы поехали к чертям на кулички — в пригород. Настроение у меня было железное: план ведь рухнул еще в начале смены,— на то и существуют первые неприятные пассажиры. А старшина оказался из вежливых,— он попрощался со мной за руку и поинтересовался, как жизнь...

Я намотал уже тридцать шесть километров холостого пробега, что на языке нашего таксопаркового начальства называется плохим коэффициентом, халтурой и рвачеством. Что ж, начальству с горы жизнь видней. Я тихонько ехал в центр, к главной своей стоянке, притормаживая у автобусных остановок, редких тут закусочных и пивных, но пассажиры не попадались. Недалеко от привокзальной площади меня суетливо остановила старушка, одетая по-зимнему,— в валенки и телогрейку, опоясанную льняным полотенцем, расшитым красным гарусом. У нее была кладь — широкий, сшитый из рябой попонки мешок, набитый чем-то тяжелым и мягким. Я втиснул его в багажник, и старушка села на заднее сиденье, чтоб поближе, наверно, быть к мешку. Я спросил у ней, куда ехать. Она сказала «на железную станцию» и попытала, дорого ли запрошу. До вокзала было метров восемьсот. Старушка сидела, напрягшись, обратив ко мне ухо.

— Говорю, чи много ль возьмешь?

— Рублей пять, не больше,— сказал я. Она, видать, собралась в дальнюю дорогу, раз оделась в зимнее, и я не стал включать счетчик,— с гривенника начинать план не стоило.

— Милай, да как же это? Погоди-ка... Со мной всего-то капиталу одиннадцать рублей! А мне аж до города Талпеды ехать...

— Как-нибудь доберешься,— сказал я. Мы уже подъехали к вокзалу. Я вылез и достал из багажника мешок. На весу нести его было трудно, а на плече — нельзя: что потом станет с моей рубашкой? Нужна была газета — старая, с засохшей краской, и я побежал за ней в вокзальный киоск. Когда я вернулся, старушка в прежней позе сидела в машине.

— Не доеду теперь... Пропаду,— покорно, на одной ноте сказала она, глядя на меня беспомощно и ласково,— наверно, древние верующие люди встречали таким взглядом свою смерть. Бабка протягивала мне темную сморщенную жменю, и я разглядел там ветхую чистенькую пятерку, сложенную в три сгиба.

— Ты чего это надумала? — сказал я.— Как же ты прожила жизнь? Я пошутил, а ты... Как же ты прожила?! Спрячь деньги!

— Так неш я знаю? Ты на меня не сердись, милой... Я в город Талпеду, к зятю еду.

Я не слыхал, чтоб на свете был такой город, и сказал:

— Сволочь твой зять, вот кто!

— Да не-ет,— не согласилась она,— Михалыч-то хороший! Он там на корабле рыбу полонит.

— В Клайпеде, что ль? — спросил я.

— Ага, в ей, в Талпеде... А ты не сердись, ладно?

— Сама ты Талпеда,— сказал я, и мы пошли в вокзал — она впереди, а я с мешком сзади. Настроение у меня было то самое, что мы с Генкой называем железным...

Пока я пристраивал в вокзале мешок и его хозяйку, пошел дождь. Осадки таксистскому плану не помеха, если они затяжные,— людям все равно надо жить и передвигаться, но короткий тучевой дождь — плохо: жители нашего города предпочитают пережидать его до-

ма или в подъездах и не тратиться на вынужденное такси. Я поехал на ближайшую стоянку. Там уже припухали три наши машины и в последней горел плафон: ребята забивали козла. Они позвали меня «четвертым», но я не пошел. Эту игру, наверно, выдумали природные калеки или каторжане. Во всяком случае не сильные и не свободные в выборе развлечений люди.

В «Экране», что я захватил в вокзальном киоске, рекламировались съемки «Анны Карениной». Вронский с Анной тут были похожи «на себя» в такой же степени, как похожи мы с Генкой на испанских рыцарей. Не больше. Что ж, наверно, трудно актеру или актрисе подделаться под каких-то там князей и княгинь. Наверно, не простое это дело... А вообще-то в настоящей жизни подделаться под кого-то можно. И легче подделаться слабому под сильного, чем наоборот. Тут нужно только «напустить» на себя вид — заучить жест и слово, а вот сильному под слабого сыграть в жизни труднее, потому что в этом случае надо «спускаться», а полностью спуститься с «себя», по-моему, невозможно... Мне, например, легко играть перед Генкой роль сильного, потому что на самом деле мы с ним ровня. Во всем, кроме внешности: у меня серые глаза, русые волосы и рост сто восемьдесят сантиметров. Генка ж мне по плечо. Глаза у него карие, с цыганской поволокой, а нос трепетный, как у девчонки. Генка сентиментален. Он любит музыку, цветы, стихи и птиц. Его легко обидеть. Ну и что было б, если бы ему пришлось убедиться в том, что я в точности такой же, как он? Нет, Генке это не надо знать. Кто-то из нас должен быть сильным...

Нам с ним неизвестно, чьи мы родом и откуда мы,— судьба свела нас в детдоме, в войну, когда наши освободили Одессу и подобрали там беспризорников. Тогда нам было года по три, и с тех пор я старшинствую над Генкой...

Дождь прошел, а пассажиры не подходили, и я решил поискать их сам. В центре, возле редакции местной «Правды», ко мне сели двое в одинаковых белесых плащах-пыльниках и синих беретах. Мы поехали к шашлычной. У клиентов были поразительно схожие голоса — какие-то крикливо-перепальные, без переход-

ных интонаций. Они всю дорогу ругали кого-то подонком и свинокожим мешком, набитым патологическими позывами к предательству. У шашлычной пассажиры одновременно начали обшаривать свои карманы. Мне следовало всего лишь девяносто пять копеек, а они все суетились и суетились, и движения их рук были расчетливо спутаны и безадресны, и я знал, что это значит — оба уклонялись от платежа. В таких случаях от того, кто первым не выдерживает и расплачивается, обычно следует щедрое «Сдачи не надо» и резкий захлоп дверцы. От таксиста в этих ситуациях требуется как бы бездоговорная солидарность с потратившимся,— таксист, видите ли, должен тогда оценить «жест широты», благодарно улыбнуться и сказать спасибо. Я ничего этого не сделал, потому что настроение у меня было железное, и вместо переплаченных мне пяти копеек вернул шесть. Тому, кто платил. Он машинально взял у меня две трехкопеечные монеты и швырнул их на заднее сиденье. Я попросил его не сорить в казенной машине советскими полноценными копейками, и его непотратившийся приятель опасливо взглянул на меня и поспешно подобрал монеты.

— Вот таким путем! — сказал я.— Желаю приятно кутнуть.

— До свидания, товарищ водитель,— ответил тот, что подбирал копейки.— Рады были познакомиться с вами!

Он сказал это угодливо и вполне серьезно: решил, видно, что я стукач. Любопытно, а кто тот, кого они называли подонком? Наверно, приличный малый...

Я снова выбрался на центральную улицу и ехал медленно, у самого тротуара. Мне подумалось, что такси надо бы как-нибудь украшать внутри и снаружи чем-нибудь устойчиво радостным, чтобы людей тянуло к ним как на праздник,— недаром же гондольеры в Венеции сплошь гитаристы и песенники! Я до предела сбавил скорость и включил радио. Неведомый солист гремел-рассказывал каким-то бодро-бездумным голосом о том, что он не знает номера хотя бы, и на каком, не знает, этаже, что жизнь его — квартира — у прораба на сложенном гармошкой чертеже!

Удивительно, как это такое проходит? Разве Генкина нынешняя песенка хуже? Черта с два!

Мне пора было перекусить, и я поехал на Набережную, к дежурному гастроному. Это самая красивая улица в нашем городе, потому что дома тут старинные, приземистые и покойные, со своим обликом и цветом, и тут много каштанов и травы меж ними. В конце Набережной стоит древний белый собор. Колокольный звон ему запрещен в одно время с нашими сигналами, и собор служит втихую. В его монастырском здании — под каштанами и тополями, унизанными грачиными гнездами — размещен роддом. Говорят, будто бабы легче всего рожают тут весной, когда выводятся грачинята. За все это — немой собор, каштаны и тополя с прочернью гнезд, грустная и кволая городская трава, рождающиеся дети, у которых есть и надолго останутся отцы и матери — я люблю Набережную. Я нарочно, чтоб проехать по ней из конца в конец, свернул вначале к собору, и там меня остановил пассажир. Он стоял на мостовой и обеими руками взмахивал мне навстречу, будто отбивался от ос. Я уже затормозил, а он все взмахивал и пятился назад,— наверно, до этого мимо него прошло несколько занятых машин и теперь он не верил удаче. Я открыл переднюю дверцу и спросил, куда ему надо.

— Пожалуйста, прямо,— сказал он. На нем был какой-то немыслимый пиджак горохового цвета. Крахмальный воротничок рубашки приходился ему не то широким, не то тесным и влезал к ушам — большим, розовым и оттопыренным. Очки, по-моему, тоже были ему малы, а может, велики, потому что то и дело спадали, и на безымянном пальце его левой руки я заметил толстое железное кольцо с большим черным глазком. Я тогда в третий раз читал «Войну и мир», и мой пассажир был не двойником и не копией, а настоящим, живым Пьером Безуховым, каким тот сформировался в моем мозгу. Мне уже не раз — особенно по ночам — приходилось возить героев из больших книг, но эта иллюзия обычно продолжалась до тех пор, пока не начинались разговоры. «Пожалуйста, прямо», по интонации голоса и нечеткости смысла было пьеровское, но мало ли что могло последовать за этим, и я молча проехал мимо своего гастронома, а в конце Набережной притормозил и взглянул на пассажира. Он ни к чему не готовился, и я пересек площадь и выехал на

Степную улицу — длинную, неприбранную и затемненную, как наше с Генкой беспризорство.

Я уже признавался, что не всех мы возим одинаково, что все зависит от того, кто сидит, но теперь я ехал совсем особенно: машина шла бесшумно, неторопливо-плавно и по-живому свободно; она была чутко послушна мне, а я ей. Мне все еще хотелось молчания,— было хорошо в полутьме и втайне считать себя... ну, скажем, князем Андреем, подвозящим в своей карете Пьера куда-нибудь в пригород Петербурга на заседание масонской ложи. Он сейчас выйдет там, потрогает очки и невнятно скажет мне, щурясь и клоня вниз голову:

— До свидания, князь. Я непременно буду у вас завтра в полдень...

— Послушайте, а нельзя ли вместо красного зажечь зеленый? — неожиданно сказал пассажир. Я не понял смысл просьбы, и он дотронулся рукой до ветрового стекла. Я объяснил, что в таком случае придется выключить счетчик, а это привлечет к нам контрольную машину.

— Контрольную? Этого не нужно,— сказал он. Я засмеялся, а он смутился, и машина пошла еще плавней. Мне можно было уже не опасаться разрушения своей шальной ребяческой мечты, потому что наполовину она как бы сбылась, и я стал внимательней приглядываться к своему соседу. Нет, он ехал не на заседание братьев каменщиков, а совсем в другое место: к Ростовым, и ему было не то что хорошо и радостно, но прямо-таки изнурительно и щекотно,— это угадывалось по тому, как он бессмысленно улыбался и шевелил пальцами рук, будто ворожил; как не находил нужного ему положения, ерзая на сиденье; как украдкой взглядывал на меня, решая, видно, способен ли я постичь что-нибудь в этом изменившемся, обновленном для него мире. Ему, наверно, хотелось поговорить,— не обязательно о причине своей радости, а так, о чем угодно, и, конечно же, он не предполагал найти во мне достойного собеседника или хотя бы слушателя,— шофер есть шофер, и это нисколько меня не обижало. У силикатного завода, в который упиралась Степная, я на секунду осветил кабину, чтоб пассажир смог разглядеть табло счетчика. Он и посмотрел туда,

но ничего не сказал. Тогда я приглашающе спросил, куда нам двигаться отсюда. Он, наверно, не расслышал или не понял вопроса, и я сделал круг и поехал назад.

Это трудно объяснить, почему тогда в мое сердце впилась короткая боль обиды за свое детство,— может, вид Степной напомнил его, и я подумал, что мы правы с Генкой, решив никогда не жениться, чтобы наши дети не унаследовали судьбу отцов. Затем я подумал, что это бред и чушь, и в то время мой пассажир сказал:

— Четыре с половиной! Надо же!

Я только мельком взглянул на него. Он сидел подавшись вперед и держал на весу руки. Сейчас он ими всплеснет, как там на Набережной у роддома, когда останавливал меня, и я сбавил скорость и спросил:

— Вас можно поздравить?

— Благодарю вас,— сказал он.

— Сын?

— Сын! — изнуренно подтвердил он.

— Богатырский вес,— сказал я.

— Правда? — встрепенулся он.— Это ведь редкость, а?

— Конечно,— сказал я,— обычно они весят не больше двух.

— Замечательно! Слушайте, а мы не могли бы поехать куда-нибудь за город? Чтобы костер, понимаете?

Он проговорил это фальцетом. Я подрулил к тротуару, осветил кабину и достал блокнот и карандаш. На левой стороне листа я написал единицу и двойку — свой сменный план в рублях, а на правой — фактическое выполнение, которое равнялось девяноста пяти копейкам наличными и двум рублям десяти копейкам, показанным на счетчике. Дефицит в сумме восьми рублей и девяноста пяти копеек я предельным нажимом карандаша изобразил в конце листка и подал его счастливому отцу. Мне было плохо от всей этой бухгалтерии и я сказал:

— Вот что будет стоить нам ночной сервис.

Он принял от меня листок, пощурился на него и достал тринадцать рублей.

— Пожалуйста. Хватит?

Вид у него был «а черт меня подери». Деньги, конечно, можно было взять, но тогда исключался костер на двоих и пропадал «князь Андрей», тогда я стану в

стороне и не вылезу из машины. Но, может, он так и хочет?

— Денег вам хватит вполне, но заплáтите после. Счетчик будет работать,— сказал я.

Он снял очки и доверчиво спросил:

— На что вы обиделись? Может, мало?

— Как вы намерены жечь костер? В одиночку? — уточнил я.

— Нет, с вами,— ответил он.

— Я тоже так думал, поэтому и сказал «нашего сервиса».

— Так в чем же дело?

— В моей свободе у костра,— сказал я.— С вас два десять по счетчику и четыре сорок пять плановых. Итого шесть пятьдесят пять.

Меня подмывало брякнуть «позвольте получить, граф», но он сидел насторожившись и нахохлившись,— чего-то испугался, и я сказал:

— Да вы не беспокойтесь, я беру и «чаевые», и «сдачи не надо», и всякие другие. С вами у меня необычная поездка. Просто я подумал, что без меня вы в своих очках не разведете в темноте костра.

Он с сомнением посмотрел на меня, и с той смешной театральностью, когда робкие люди принимают смелое решение, спросил, где можно достать сейчас шампанское. «А городовых привязывать к медведям будем?» — хотелось мне спросить. Я выключил счетчик и поехал к вокзалу. Там он сходил в буфет и взял две бутылки коньяка и две бутылки шампанского. Он нес их как новорожденных — на груди, и сам ступал на носки как балерина. Я побежал в буфет и купил хлеба и четыре порции холодного языка.

Наш с Генкой перелесок спал. Под светом фары на деревьях потревоженно завозились какие-то большие птицы, и опадающая с веток капель вспыхнула ярко и радужно, как игрушечный беззвучный салют. Было ясно, что костра нам не развести,— тут все было мокрым, но я на всякий случай снял рубашку и пошел поискать сушняк в створе фар. Трава тоже была волглой. Обшлага моих брюк сразу же отяжелели и обмякли. Я пощупал их и вернулся к машине. Пьер самостоятельно зажег там плафон и сидел сосредоточенный, тихий и благостный.

— Ну как? — с придыхом спросил он и снял очки.

— Сейчас будет,— сказал я. Мне это — сжечь запасное колесо — пришло в голову внезапно, в момент, когда Пьер так доверчиво и вожделенно спросил про костер, и я подумал о себе старинно-книжно и красиво, в третьем лице,— «тогда он широким жестом открыл багажник, подхватил запаску и понес ее впереди себя легко и гордо, как носили когда-то псковичи свои боевые кованые щиты». Я все так и проделал, выпустил из камеры воздух, потом набрал из бака в Генкину пустую четвертинку бензина и облил колесо. Когда пламя с гулом взметнулось вверх, Пьер смятенно спросил, что я делаю, но я объяснил ему, что это старая запаска, без протектора, и он успокоился.

— На ней нельзя ехать?

— Теперь нет,— сказал я. Мы выбрали из машины заднее сиденье и поставили его близ костра, потом я надел рубашку, и тогда мы познакомились,— он назвал свое имя и отчество,— Георгий Павлович, а я только имя — Владимир.

Колесо горело каким-то аспидно-красным огнем, и чад от него всходил тяжелыми бурунными клубами, но нам сиделось хорошо и покойно, потому что ноги были протянуты вперед, к костру, и пили мы из Генкиной баночки из-под сметаны — сперва шампанское за мать и сына, затем коньяк за них же, потом опять шампанское — за самих себя. После этого мы поцеловались, перешли на ты, и Георгий Павлович спросил, как я считаю, не назвать ли парня Владимиром? Я ничего не имел против, но все же предложил другое имя — Геннадий.

— Это неплохо слышится,— согласился он.

— Конечно,— сказал я,— вырастет и — Геннадий Георгиевич!

— И аристократично,— размыслил он. Я наполнил и передал ему баночку коньяка пополам с шампанским. Он выпил и решительно заявил: — Нет, Володя звучит лучше. Русее. Во-ло-ди-мир! Чуешь глубину?

— Еще бы! Улавливаю! Между прочим, в нашем доме Сталинита и, кажется, Никсерг живут,— сказал я.

— Ну ее к черту, политику! — трезво сказал он и оглянулся. Мне тоже хотелось обернуться,— что

он там учуял? — но я не стал это делать и сказал как глухому:

— А крепко мы напужаны, граф. Изволили отбывать, что ли?

— Немного, князь, изволил в свое время, — неохотно признался он. — А ну ее к черту, политику! Давай лучше выпьем еще по одной!

Я не возражал, и мне захотелось спеть сегодняшнюю Генкину песенку, но, кроме мотива и начальных слов, я все забыл.

Мой Георгий Павлович заметно осоловел, — наверно, смесь повлияла, а я ощущал ту стремительную заостренность и невесомость тела, когда хочется летать. У нас еще оставались коньяк и шампанское, и нашему адскому костру конца не виделось, но было уже поздно, мне следовало возвращаться в парк. Мы установили в машину сиденье и загасили костер. Когда мне приходится немного выпить, езда со мной полностью безопасна, потому что я тогда вдвойне вижу, слышу и чувствую не только глазами, ушами и сердцем, но всем своим телом и духом, каждой клеткой и порой. Мы тогда сливаемся с машиной воедино и оба — я и она — точно знаем, в какой миг предупредить друг друга об опасности. Об этом, понятно, не потолкуешь с автоинспектором, но перед ночным другом я могу похвастаться или нет? Он выслушал меня и окончательно решил назвать сына Владимиром.

— Только возьми, пожалуйста, у меня еще пять рублей, — просяще сказал он. — И бутылку вон забери, ладно?

— Очень хочешь, чтоб взял? — спросил я и остановил машину.

— До смерти хочу! — сказал он и всхлипнул. Я положил в задний карман пятерку, и у меня тоже навернулись слезы, и мы обнялись и минут пять посидели так — неудобно, спаянно и грустно...

На всем пятом этаже нашего крупноблочного ковчега со двора светилось только одно окно, — к Генке, конечно, прилезла Нита, и я сел на скамейку в скверике. Нита — это та самая Сталинита из нашего дома. У нас с нею трудные ножевые взаимоотношения, — мы

терпеть не можем друг друга. Она из прочной семьи, что живут на вторых этажах. Ее отец — какой-то заслуженный гулаговец в отставке, а мать преподает литературу в средней школе. Сама Нита ведет «рассеянный» образ жизни, но дело тут не в этом и не в ее благополучной родословной: когда я вижу прямоугольную мощь ее спины, мне никак не постичь, что нужно этой развратной барабанно-пустой махине от моего Генки — малосильного мужичонки-девственника! О том, что она глупа и лжива, кричит в ней все: круглые сизые глаза, растопыренные щетки намастикованных ресниц, какая-то стеариновая сальность щек, маленький некрепкий лоб под поветью волос, выкрашенных в красный цвет, развально-потягушечья походка, чтоб волновался зад. Когда она так идет-мучается, мне хочется схватить ее и сломать в руках, как зловредную куклу-робота. Нита считает меня мелочным и злым старпером. Она называет меня «скобарником», а я ее «шкыдлой». Никто из нас не знает истинного значения этих слов, но взаимного отвращения заложено в них много. Может, я и на самом деле немного старомоден в своих словах и догляде за Генкой, но иначе нам нельзя, кто-то из нас должен быть старшим, а кроме того — мало ли чего нам — особенно мне — приходилось делать нечистого когда-то, что мы теперь должны скрывать и не хотеть помнить. Да где ей, шкыдле и добровольной беспризорнице, понять это! И я не дам ей зачумливать Генку, не дам! Я его не на помойке нашел!

В скверике было тихо, но я на всякий случай хорошенько посмотрел-послушал, что тут к чему, и спрятал в траву бутылки,— иначе, если я приду с ними домой, придется угощать Ниту. Я шумно открыл коридорную дверь, повозился с замком, нарочно споткнулся и протопал сначала в туалет, а затем уже вошел в комнату. Нита и Генка сидели за столом. На нем лежала ливерная колбаса, остатки халы и стояла пустая бутылка. Генка спросил, чего я так поздно. Я отвесил Ните кино-придворный поклон, а ему сиротски сказал:

— Калымил, брат мой. На скудное пропитание.

Нита презрительно взглянула на меня и брезгливо поежилась. Я двумя пальцами взял за горлышко бутылку из-под тракии и сказал Генке:

— Фи, какой кислятиной ты угощаешь даму! Сталиниточка, насколько я проницаю, обожает вермут, как и подобает всяческой светской львице.

— Да ла-адно! — обиженно протянул Генка и допил из стакана остатки вина.

— Ты ошибаешься,— сказал я.— У нас не все ладно. У нас с тобой вышла из строя запаска. Вместе с диском. По этому случаю нам придется озаботиться ее монтировкой. С утра. К тому времени мы должны быть бодры и деятельны. А перед сном, как ты знаешь, надо еще принять душ. Потому что чистота — залог моральной устойчивости.

Нита поднялась и жеманно попрощалась с Генкой.

— Честь имею кланяться! — вполне, по-моему, галантно сказал я ей вдогон. Генка сидел насупленный и прибито жалкий. Мне хотелось обнять его и сказать «здравствуй, малыш», но этого не стоило делать,— один из нас все время должен быть сильным, и я распахнул створки шкафа и многозначительно потеребил Генкины неглаженые брюки и свою рубашку.

— Все же тебя произвел на свет немец! — трагически сказал Генка. Я предположил, что его сочинил румын или итальянец. Ему это не понравилось,— вид его стал еще бедственнее, и я сказал:

— Хорошо! Нас — тебя и меня — сделал один человек. Он был похож на Пьера Безухова.

— Почему это на него? — спросил Генка.— Лучше пусть на князя Андрея.

— Нет,— сказал я,— наш с тобой отец был похож на Пьера. И он не виноват, что мы... Тогда же война шла! Он погиб. И мать тоже... Ну чего вылупил свои каштановые!

— Не надо, Вов, а то я тоже зареву,— скзал Генка, и я пошел и хорошенько умылся, а потом спросил у Генки, не хочет ли он выпить.

— А ты? — подозрительно попытал он.

— Я хочу. Коньяк. Армянский. А после — шампанское. Мускатное,— сказал я.

— Ну и черт с нами, едем на вокзал! — предложил Генка, и глаза у него засветились надеждой на сладкую жизнь.

— Надень белую рубашку, почисти туфли и жди меня. Я вернусь через семь минут. Успеешь?

— Конечно! — сказал Генка. Я спустился во двор, забрал бутылки и минут пять посидел в скверике.

Мы никуда не пошли. Мы все выпили дома, а после пели Генкины песни...

А дни стояли по-летнему жаркие и длинные, но по сизой глубине их и звонкости уже угадывался август. Он угадывался и по многому другому. На тротуарах с государственных лотков продавали болгарские помидоры. На колхозном рынке приезжие кареглазые женщины, низко покрытые черными платками и обутые в кирзовые сапоги, торговали дынями и кавунами. В автоматах «газ-воды» стаканы были заполнены осами и шершнями. Для нас с Генкой август месяц — невезучее время, и все самое трудное выпадает нам на него. Счет этому мы ведем с сорок шестого года, когда благополучно убежали из своего детдома. Тогда в Одессе так же было сухо и знойно, но мглистый морской горизонт подступал чуть ли не к самому берегу, и за ним нам мерещился обрыв белого света. Мы подались на север, потому что в этой стороне земля, сходясь с небом, скрывалась в загадочной сизой дымке, которая сулила нам то, зачем мы бежали. Это была наша третья вылазка на волю. До этого нас два раза задерживали за городом на станции Свердлово, — Генка клянчил там хлебушка на двоих, а в этот раз мы проехали ее незаметно: мы лежали на трухлявых и теплых телеграфных столбах, которыми была загружена платформа, и я держал Генку за подол майки. Ночью нам стало холодно, и было страшно глядеть на небо, — там то и дело взрывались звезды и падали в степь. Уже близко к утру мы перебрались на крышу соседнего пульмана и спустились в тамбур. Он оказался огороженным полудверьми. Тут было еще холодней, и почему-то пахло нашим детдомом, и мы присели в углу и обплели друг друга руками. Нас разбудил окрик. В тамбуре над нами стоял человек в громадных серых валенках, обшитых красной автомобильной камерой. Он направлял на нас керосиновый фонарь, и в его закопченном свете я различил на полу, прямо перед собой, затвердевшую кучу, — кто-то давно сходил тут по-большо-

му. Мы с Генкой вскочили, и я сообщил как донос, за который полагается милость:

— Дяденька! Тут вон кто-то накакал!

— Нахезали, сволочи? А ну, геть отсюда! — почти мирно сказал проводник и шагнул к ступенькам, — это всегда так делалось, если нам хотели дать только пинка ногой, а не задерживать.

— Неш это мы? Там же вон сколько! — пискляво сказал Генка, и ресницы у него распушились и встали дыбком, — глядел вверх, потому что был не выше колен проводника. Тот не изменил расстановки ног, но прибавил в фонаре огня и заинтересованно спросил, не братья ли мы. Я поспешно сказал, что братья.

— И по многу ж вам?

— Мне семь, а ему, Генке вот, шесть.

— Чего брешешь, мне тоже семь! — встрял Генка, но проводник, видать, поверил мне, а не ему.

— У нас румыны поубивали всех, а мы спрятались и остались живы, — с надеждой на хорошее соврал я.

— Живы-живы, мать его!.. — остервенело сказал кондуктор. — А ну, геть отсюдова!

Когда мы спрыгивали на рельсы, то я заметил, что у проводника пустой правый рукав брезентового плаща заправлен в карман, а из него неломано торчала ботва брюквы, будто росла там.

Вот так нечаянно получилось у нас с братством и моим старшинством. Позже, когда мы попали в Подмосковный детдом, я придумал нам фамилию — Корневы, а Генка отчество — Богдановичи. Имена у нас остались свои, настоящие...

Уже несколько лет — с самой демобилизации из армии — мы с Генкой мечтаем пойти в отпуск одновременно, чтобы съездить в Одессу. Наверно, мы поедем поездом, и обязательно в мягком вагоне. У нас будут одинаковые чемоданы — венгерские, желтые, на сквозной «молнии», — и всю дорогу мы будем мало разговаривать, кто бы ни сидел в купе, и понемножку — отхлебнул и поставил, отхлебнул и поставил — пить шампанское. Двух бутылок нам вполне хватит. Вполне! Мы сойдем на Свердлово, наймем там такси, а лучше частную машину, чтобы без клеток, и на большой скорости

въедем в город и остановимся у своего детдома. Он, конечно, покрашен сейчас в теплый розовый колер. Мы долго будем вылезать из машины, чтобы успокоиться, и никто из нас не взглянет на окно кабинета «скважины». Она, наверно, мало в чем изменилась, разве что перестала носить китель и сапоги. Конечно же, она будет смотреть в окно и гадать, кто это, нездешний, подъехал и зачем? Не знаю, как насчет Генки, а меня ей легко будет принять... мало ли за кого! Мы пойдем к дверям своего детдома, не глядя на окна, медленно и тесно, неся чемоданы в левых руках, и о нас тогда можно всякое подумать. Дверь открою я, и в это время она своей солдатской походкой выйдет в коридор.

— Евдокия Гавриловна? — вполне вежливо скажу я.— Здравствуйте! Рады вас видеть и приветствовать!

Я буду знать, почему у меня задрожит подбородок и сердце подскочит к горлу,— тут подступит все разом: и заклеклый с годами страх перед этой женщиной, и ненависть за него к себе, и совсем невольная и неподдельная радость встречи со своим детством. У Евдокии Гавриловны мгновенно пройдет напряженно-ищейское выражение лица (мы никакие не проверяющие), и она снисходительно, хотя и не догадываясь, кто мы, скажет протяжно и в нос:

— Здрасьте-здрасьте, молодые люди. Что-то я запамятовала. Вы по какому вопросу ко мне?

— Просто проведать. Это Геннадий Богданович,— скажу я о Генке и сделаю почтительный жест свободной рукой в его сторону.— Помните? В сорок шестом его еще укусила в карцере крыса. Позже, под утро, я убил ее миской. Крыса была без хвоста и воняла паленой шерстью.

— Ничего не понимаю! Какая такая крыса? Вы по какому вопросу пришли сюда?

Евдокия Гавриловна, конечно, узнает нас, и поэтому в ее голосе будут притворная окорбленность и своя прежняя грубая властность. Я по возможности спокойно скажу ей, что это бред, будто прошедшее — страх перед злым, тупым и ничтожным человеком — не допустит нас с Генкой к личной доброте и вере людям вообще. Для этого нам достаточно сейчас видеть ее, Евдокию Гавриловну Верхушину! Она, конечно, ничего

не поймет, и тогда Генка, уже двинувшись к выходу со своим модным чемоданом в левой руке, учтиво и нарочно ни к селу ни к городу спросит, например, такое: известно ли мадам Верхушиной изречение ла Брёттеля о том, что стыд перед пролетариатом в конце концов загоняет буржуя на звезды?..

А город встретит нас ласково и всезабвенно. Мы долго будем бродить по улицам, а потом зайдем в самый лучший ресторан и закажем длинный-длинный обед, и шампанское будем пить медленно и умело — отхлебнем и поставим, отхлебнем и поставим!

Да, нам очень нужна эта поездка. Мы с нового года завели себе сберкнижку, и с той ночной пьеровской пятеркой у нас стало девяносто шесть рублей. А ведь будут еще отпускные!

Главное — это достать чемоданы. Венгерские, желтые, на сквозной «молнии»...

В ту неделю, последнюю перед нашим отпуском, Генка работал во вторую смену. Он почти каждый раз опаздывал, но являлся как ни в чем не бывало, потому что занимался сборами за обоих. Он опоздал и тридцатого — накануне нашего отъезда, и пришел какой-то хитро-веселый, со смеженными ресницами.

— Успел тяпнуть, да? Ну и лахудра ж ты! — сказал я, но он сострадательно поглядел на меня, сел за руль и уверенно выехал за ворота. Я поинтересовался: не кажется ли ему, что кое-кто из нас двоих начинает помаленьку привыкать к услугам няньки в штанах?

— В штанах? Это в каких таких? — притворно изумился Генка.

— В английских! — сказал я.

— А-а! В аглицких, вишь!.. Но если б эта нянька знала, что я достал! Ох, что я доста-ал! — сказал он не мне, а черт-те кому, и вид у него был загадочный. Я решил, что это он о чемоданах — купил, значит, и не стал за него тревожиться. Он включил счетчик, с ходу набрал скорость, и минут через двадцать мы были в своем перелеске. Там на рыжем подпале травы неприютно и как-то устрашающе лежала наша недогоревшая запаска, и Генка недоуменно посмотрел на нее, но ничего не сказал. У меня пропала охота обмывать тут чемоданы — иначе зачем бы мы сюда ехали, — и я предложил Генке сочинить это дома после его смены. Он

засмеялся, погладил меня по плечу и томительно медленно, двумя пальцами левой руки полез в боковой карман своего пиджака. Я подумал, что он купил мне какие-нибудь необычные запонки или, может, галстук, и изобразил бесстрастный вид, как всегда в таких случаях. Сам Генка откровенно радовался моим для него подаркам, а я давно запретил себе впадать при нем в сантименты, потому что это слабость. Я сидел и глядел в сторону запаски, а Генка в это время вытащил и поднес к моему носу маленькую обтрепанную книжку, пахнущую не то сосной, не то воском. На серой обложке бурыми буквами, как сукровицей, было обозначено «Въ помошь голодающимъ». Генка глядел на меня умиленно и тихо, и я сказал ему, как блаженному:

— Руководящее пособие приобрел? Ну теперь мы заживем!

— Да ты послушай, беспризорское твое отродье, что тут написано,— мечтательно сказал Генка. Он раскрыл на закладке книжку и нараспев, каким-то щемяще-сказительным голосом начал читать: «Послала я к тебе, друг мой, связочку, изволь носить на здоровье и связывать головушку, а я тое связочку целый день носила и к тебе, друг мой, послала: изволь носить на здоровье. А я, ей-ей, в добром здоровье. А которые у тебя, друг мой, есть в Азове кафтаны старые, изношенные и ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскуточик камочки, и я тое камочку стану до тебя, друг мой, стану носить — будто с тобою видица...»

Генка замолчал. Я смотрел в сторону, на запаску, и не видел, как он сидит — лицом ко мне или к боковому окну. Я подождал, установил голос, как ему положено быть, и спросил, что за чепуху такую читал он. Генка повозился на своем месте и рыдающе сказал:

— Письмо... жены к мужу... конца семнадцатого века.

— Ну и что?

— Ничего. Умели... А книжка издана в 1892 году. В помощь голодающим.

— Они, конечно, сразу насытились! — ехидно сказал я и сам на себя мысленно плюнул.

— Тебе не кажется, что один из нас временами корчит из себя неизвестно зачем холодного болвана? — раздумчиво спросил Генка. Я поблагодарил и не

обещал потеплеть, и он обнял меня, и мы несколько минут посидели молча.

— Ты гони от себя эту чумную Сталиниточку,— попросил я,— мы себя не на помойке нашли!

— Все равно таких женщин, как эта, теперь нету,— грустно заявил Генка и спрятал книжку в карман. Мне было неизвестно, есть они такие или нет,— скорее всего нет, время не то, и я сказал, что нежность — это слабость. Генка промолчал. Тогда я спросил: замечал ли он когда-нибудь, чтобы наши простые советские граждане, возвращаясь из леса, несли можжевельник?

— Ну допустим, что не замечал,— отозвался Генка.

— Вот то-то и оно! — сказал я.— Они волокут сирень, черемуху, рябину. То есть все нежное и слабое.

— Это не слабое, а просто красивое,— возразил Генка и завел мотор. Из пригорода я решил добраться домой автобусом с первой же остановки, но Генка проехал ее и притормозил возле столовой. В последние предотпускные дни мы немного поприжались в расходах и даже не всегда обедали, перебиваясь то кефиром, то жареной треской, то чем-нибудь еще подешевле,— наверстаем потом в Одессе. Я уже дня три тому назад заметил, что у Генки вздыбился пух на затылке,— это у него с детства так, если хотелось есть, но в последний день ни к чему было нарушать условие, и я сделал вид, что не понял, почему он тут остановился. Мы двинулись к следующей автобусной остановке, и меня все тянуло пригладить Генкин затылок, но впадать в сантименты не стоило.

Чемоданы мы решили искать вдвоем завтра с утра, а вечером выехать.

Я еще из-под арки ворот увидел десятка полтора пенсионеров-общественников из нашего дома, прогонявших из сквера двоих парней в кургузых брезентовых куртках,— наверно, это были штукатуры с соседней стройки. Они сидели за пустующим столом козлятников и собирались выпить: на столе лежали два яблока, стояла четвертинка водки и блестел алюминиевый колпачок от термоса. Пенсионеры колготились и грозили парням «сутками», а они сидели молча, постигая, видно, свою вину, а потом разом, как под взмах

чьей-то руки, слаженно и внятно послали «всех тут» к такой-то матери. Мне нельзя было миновать сквер, и я засмеялся не над уместностью фразы, сказанной штукатурами, а над тем, как они отчеканили ее: я решил, что они, наверно, давно и крепко дружат, раз умеют думать одновременно об одном и том же. Прямо как мы с Генкой. Это, может, и толкнуло меня подмигнуть им, когда я проходил мимо стола. Они мне тоже подмигнули — разом и одинаково — и дуэтом предложили выпить вместе. Я опять засмеялся — над этой их ладностью слов и жестов, а общественность решила, что над ней. Тогда и выяснилось, что я такой же бездельник и пьяница, как эти мои дружки. Это была двойная неправда, и я издали, уже от подъезда дома, посоветовал приятелям не обращать внимания на всех этих достойных леди и джентльменов. Сидеть, выпивать и разговаривать тут, раз некуда приткнуться!..

Обычно я — Генка тоже — взбираемся на свой пятый этаж армейским физзарядным бегом. Это когда руки согнуты, ладони сжаты в кулаки, а колени ног подкидываются как можно выше. Между прочим, когда дела в порядке — план выполнен, начальство не рычит, а люди, которых ты возил, остались по-хорошему в памяти, то ступеньки лестницы преодолеваются так, будто ты несешься по прямой. В этот раз я добежал только до второго этажа, а дальше пошел шагом: хотелось сладить с каким-то царапным зудом в сердце от этой своей встречи с пенсионерами.

Я решил сразу же вымыть пол в комнате. Он тогда часа два будет отдавать прохладой, и по нему захочется походить босиком и припомнить что-нибудь веселое. Генкина постель была не прибрана — на ней будто собаки дрались, и я мысленно посулил ему что полагалось, заправил ее и под подушкой обнаружил часы, — забыл, как всегда, — и новую толстую тетрадку в дерматиновой обложке. Я протер мокрой тряпкой пол, открыл окно, чтобы он поскорее просох, а после этого заглянул в тетрадку: было бы ни к чему, если бы Генка перед самым отъездом сочинил что-нибудь грустное.

Мне всегда было трудно и обидно читать его почерк — слепой, мелкий и тесный, как мушиный помет на скатерти. Каждая буква заключена у него в квадрат клетки как в карцер: сидит там маленькая, загнанная,

детдомовская какая-то, черти б ее взяли! То же самое было и в этой тетрадке,— даже свое имя и фамилию на заглавном листе Генка не решился вывести покрупней, и я взял ручку и на две клетки подтянул буквы вверх.

На второй странице все в тот же мушиный след было написано: «Я был малыш, голым-голыш и всем чужой, но вот поди ж: чудак прохожий подарил мне как-то бубен. В него ударил я рукой, притопнул босою ногой, и шаг мой сделался танцующе-нетруден. Однажды в город я пришел, в нездешний город я пришел, в далекий город привела меня дорога. Направо дом, налево дом, а я с растерянным лицом, и на душе моей — то радость, то тревога. А этот город был такой лазурно-сине-голубой, что захлестнул меня, как праздник бесконечный. Я где-то бубен уронил, свою дорогу позабыл и горожанином стал сытым и беспечным. С тех пор прошли уже года, но я мечтаю иногда: вот если б кто-нибудь мне снова вверил бубен! В него ударю я рукой, притопну босою ногой и не расстанусь с ним ни в праздник и ни в будень!..»

Ничего веселого в этой новой Генкиной песне не было. Под ее слова в уме сам собой складывался какой-то босоного-чечеточный мотив, напоминающий о нашем беспризорстве. А кому это нужно? И кто это нас одаривал бубном-радостью? Когда? Где?.. Разве что тот лейтенант-мальчишка, который подарил нам губную немецкую гармошку? Но ему ведь жалко было отдавать ее, он же сам чуть не заплакал... Мы повстречались с ним после того, как нас прогнал с товарного поезда проводник, у которого росла в кармане брюква. Тогда до утра мы просидели возле деревянного прирельсового склада. Он, видать, недавно был построен, потому что на желтых досках шелёвки проступали совсем мягкие смоляные сосульки. Мы поснимали их и съели, и мне ничего не было, а у Генки заболел живот. Я оставил его возле склада, а сам побежал на привокзальный рынок-толкучку и у сидячей старухи-торговки схватил из решета два коржика. Они и в Одессе и тут стоили по трояку штука и были маленькие, шестиугольные, формованные граненой стопкой. Зацапал меня милиционер — тут же, сзади, за шею, но коржики я потерял позже, когда меня били та моя и чужие тор-

говки. Они били небольно, потому что мешали друг другу, но милиционер не отпускал шею, и тычки приходились мне в голову. Вот тогда и появился в нашей сутолочи этот лейтенант-мальчишка и скомандовал: «Назад, канальи!» Может, он выкрикнул только начальное слово, а второе — «канальи» — мы с Генкой присочинили ему сами, позже, потому что так хотелось, но все же он скомандовал, и я оказался в свободном круге наедине с милиционером. Он не отпускал мою шею потому, что не знал еще, что лейтенант — в самом деле лейтенант, а не солдат: это выяснилось после того, как милиционер крикнул ему: «А ну, давай отсюда!» Тот почему-то пригнулся, откинул с правого плеча плащ-палатку и обнажил пистолет. Тогда и обозначился на его плече зеленый полевой погон с двумя звездочками. У лейтенанта скосились глаза, а нос побелел как бумага; он двинулся ко мне и милиционеру молча, клонясь вперед, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если б милиционер не спрятался в толпе торговок.

После этого мы с лейтенантом пошли с толкучки. Он тоже обхватил рукой мою шею, но не для того, чтобы держать меня, а просто так, как старшой меньшего, и от этого я заплакал. Генка заметил нас и побежал прочь от склада. Он попросил лейтенанта издали, чтобы тот отпустил меня, потому что у нас всех поубивали румыны, а мы спрятались и остались живы. Лейтенант остановился и сказал «Ах ты черт!», а я крикнул Генке, чтобы он не боялся своих. Мы признались лейтенанту, откуда бежим, но куда — не знали, и он опять сказал «Ах ты черт!» и дал мне большую красную тридцатку, а Генке — не сразу, а немного погодя — подарил губную гармошку. Он посоветовал нам «рвать на Москву, там вас подберут, кому надо», а сам все поглядывал и поглядывал на Генку, сцепившего сияющую как огонь гармошку...

Вот и все насчет «бубна-радости». Может, Генке и следовало написать об этом песню, но не о тоске по беспризорству, будь оно проклято, а о лейтенанте, который навсегда остался в нашей памяти большим героем-мальчишкой, крикнувшим торговкам «Назад, канальи!». Милиционеру он тоже мог что-нибудь сказать

в песне. Например: «Ты чем тут занимаешься, мерзавец!»

Обо всем этом я решил поговорить с Генкой завтра в поезде. Мы, наверно, возьмем не две, а три бутылки шампанского и будем пить его долго и спокойно — отхлебнем и поставим, отхлебнем и поставим...

Пол к тому времени просох. Я закрыл окно, обернулся спиной к зеркалу и под слова «Бубна» сплясал чечетку — босой и с голосом на крике, как бывало в детдоме. Кто меня мог видеть и слышать тут?

Вечером я стал готовиться в дорогу. Мне хотелось, чтоб не только чемоданы, но и все на нас было одинаковое — куртки, галстуки, носки и даже трусы. Со своим личным хозяйством я управился быстро, — у меня все годилось хоть на свадьбу, но с Генкиным было трудней. Я никогда не мог постичь, почему его носильные шмутки сразу же приобретают — не только на нем, но и в шкафу — какой-то убедненный и стушеванный вид. Одно время я думал, что причина тут кроется в качестве вещи, — дешевка, она и есть дешевка, как ее ни блюди, но мы ведь давно уже покупаем себе все одноценное, и просто непостижимо, отчего, например, у его импортных ботинок так скорбно-нелепо скособочились носки; почему у нейлоновой рубашки — такой же, как у меня — концы воротничка бесповоротно-сгибло завернулись внутрь, и чего ради его шерстяной берет — одной поры и цены с моим — разлохматился, как бездомный щенок! Дело тут не в уходе за вещью и не в степени ее износа, а в чем-то другом, необъяснимом, непонятном и ненужном: все принадлежащее Генке рано или поздно становится чем-то похожим на него самого, когда ему плохо. Он тогда превращается в безгласный крик о том, что у нас всех поубивали, а мы спрятались и остались живы, но тот, кому он кричит это, глух и слеп, и ресницы у Генки пушатся и встают дыбком, и весь его облик выражает примерно такое — «Вот-вот явится!». Что явится, почему — неизвестно. В таких случаях мне всегда становится обидно за себя и тревожно за Генку, и у нас происходят короткие беседы, похожие на стычки, и при этом мы не садимся, а стоим, — Генка должен знать и помнить, что во мне метр восемьдесят взрослой силы!..

Часам к десяти я закончил все приготовления. Генкины брюки я выгладил с нажимом всего своего веса на утюг, а в ботинки набил бумаги и поставил их на середине комнаты, чтобы они побыли у меня на виду. А вскоре явился Генка. По тому, как он открыл дверь и взглянул на меня, я понял, что с ним что-то случилось. Я подумал об аварии и спросил, где машина. Он сел на мою койку и ознобно сказал:

— Во дворе. Там деревенская женщина...

— Ну и херувим с ней! — сказал я.— Она, надеюсь, не укусила тебя?

— Она везет домой мужа из морга,— сказал он, не шевелясь и не моргая.— В оба конца около ста километров... Может, поедем вместе, а? Они сзади сидят.

— Как сидят? — не понял я.

— Прямо,— сказал Генка.— Он без внутренностей. Их у мертвецов в моргах выбирают для учебы студентов...

— Ну и пусть! — крикнул я.— Какое это имеет значение?

— Все же... одну только оболочку повезем,— страшно сказал Генка. Как укольная боль, меня пронизало почти непреодолимое желание ударить его: он не смел, не должен был ввязываться в это ненужное для нас дело — калымить на перевозке мертвецов в такси, но раз тот уже сидит там...

— Она два дня искала подводу или машину,— сказал Генка. Вид у него был «Вот-вот явится».— Говорит, просят восемьдесят, а у нее всего сорок три с копейками...

— Ну и что? И повезем, раз взялся,— сказал я.— Подумаешь, развел сантименты! Дорогу знаешь?

Машина стояла метрах в пяти от подъезда и мигала левым подфарником,— Генка забыл выключить рычаг указателя поворота. Мы одновременно открыли передние дверцы и сели, как гестаповцы в кинофильмах об отступлении: стремительно, тесно, наклонясь вперед. Мне не хотелось, чтобы Генка подумал, будто я, как и он, боюсь глянуть назад, но оборачиваться тоже не тянуло. Сзади нас цепенела трудная непустая тишина, и неизвестно было, что лучше — чтобы там шевелились или сидели тихо. Генка торчал за рулем как истукан. Он старался миновать оживленные улицы и держался

поодаль от тротуаров. Как только мы выбрались за город, невидимая нами женщина на заднем сиденье заголосила переливчато и бессловесно. Мы не знали как быть — успокаивать ее или молчать, и как ехать — медленно или быстро, и нужно ли снять береты или оставаться в них. Ее голос становился все изнурительней и изнурительней, и Генка повел машину зигзагами, потому что то и дело взглядывал на меня и зачем-то наваливался на руль. Я посоветовал ему переключить скорость с четвертой на третью, но после этого стало еще хуже,— гуд мотора каким-то непутево утробным ладом вплелся в звериный вой женщины...

Нет, я не думаю, что именно это — голошение вдовы, привлекло к нам внимание контролера,— его служебную машину я заметил метров за сто. Она стояла на обочине шоссе, и красный светящийся диск нам был выброшен почти с того же расстояния. Генка сбил скорость на нейтральную и стал притормаживать, а глазами спросил у меня, как быть. Женщина, наверно, почуяла что-то неладное и стихла. Я сказал Генке, что все в порядке. Счетчик у нас включен, неположенного числа пассажиров нет, сменное время не истекло. Что еще? Главное было знать, как там *сидят* сзади, но оглядываться не хотелось, а кроме того, контролеру никакого нет дела до пассажиров. Тем более, что их вполне нормальное число.

Контролер был ведомственный, но лично я видел его впервые,— они у нас менялись через две недели на третью, потому что рано или поздно люди так или сяк сходятся между собой, а по положению о контролерах это им с нами не полагалось. Генке бы сидеть спокойно,— внешне у нас ведь все было в порядке, но он заколготился и первым поздоровался с контролером. Тот не ответил, будто не расслышал приветствие, и потребовал путевку. Он не сказал ни «пожалуйста», ни «предъявите», а просто буркнул: «Путевку», и Генка поспешно и угодливо проговорил: «Сию минуту». Вот тогда я и напомнил Генке, что контролер забыл представиться. Ему, наверно, было лет под пятьдесят. При свете малых фар я как следует разглядел и его темно-синий плащ до пяток, и кожаную фуражку, и по-уральски круглое дубленое лицо. О том, что он забыл представиться, я сказал Генке в меру независимо и

заинтересованно, как и подобает пассажиру с каким-нибудь общественным весом. Возможно, я сказал это зря, но сожалеть об этом было уже поздно: контролер забрал у Генки путевку, а меня спросил, кто я, собственно, такой. Я сказал, что к любому собственно советскому человеку надо обращаться на «вы» не только днем, но и ночью. Он порекомендовал мне с намеком на какое-то всегда возможное худо сидеть, пока сидится, и в это время Генка нечаянно приоткрыл дверь и в машине зажегся свет...

Тогда уже ничего нельзя было сделать. Контролер до половины всунулся на заднее сиденье и, наверно, потеребил мертвеца, потому что женщина там суетливо и повинно проговорила:

— Это со мной едет... Муж мой. От жабы-рака помер...

Я в это время оглянулся и в какую-то дикую секунду успел схватить-увидеть крепкое, азартно преобразившееся лицо контролера, круто высторченные под бязевыми кальсонами худые мужские колени и черный, с подрагивающей бахромой полушалок, распяленный в руках женщины,—она, видно, только теперь решила прикрыть голову мертвого.

Контролер выругался погано и неизвестно на кого, захлопнул заднюю дверь машины и приказал Генке поворачивать в город.

— Впереди поедешь!—сказал он и встал в створе наших фар. Генка сидел у меня где-то под мышкой, и берет у него совсем разлохматился и сбился набок. Он спросил у меня, почему я молчу и не объясню товарищу контролеру, что тут одна только оболочка?

— И как я повезу э т о обратно? Зачем?!—пискляво проговорил он мне на ухо.

Когда я вылез из машины и пошел к контролеру, то совсем не думал о чем-нибудь плохом для него. Я только хотел объяснить ему, что нам нельзя и ненужно возвращаться в город, потому что он сам видит, кого мы везем, и что мы ни о чем его не просим—пусть у него остается путевка и пусть он доложит начальству обо всем, в чем нас застукал! Я только с этой нашей бедой и пошел к нему, но он что-то крикнул мне и стал зачем-то расстегивать плащ. Я теперь не помню, что сказал ему, когда взял и поднял его на руки,—не как-ни-

будь там грубо и срыву, а как поднимают ребенка с просовом рук под зад и шею. Он даже не пытался барахтаться, пока мы шли так к кювету дороги, и там я не сложил и не ссадил его, а поставил на ноги, как стоял он до этого. Больше я ничего с ним не делал и побежал к своей машине, и Генка сам догадался, что я хочу сесть за руль.

Как только мы рванулись вперед, женщина заголосила кручинно и как-то раздольно-облегченно, будто была уже дома. Генка с натужным усилием приподнялся на сиденье и, как тиролец, прокричал в зеркало:

— Мамаша! Не надо так убиваться, слышите? Что ж теперь поделаешь!

— На войне вон сколько здоровых людей погибло! — зачем-то сказал я.

— Миллионы! — подтвердил Генка. — Вот и у нас... и маму и отца...

Я пнул его локтем и прибавил газу.

— И ма́му и отца, — клекотно проговорил Генка. — А мы с вас и денег не возьмем ни копейки, правда, Вов?

Я выключил счетчик и поглядел в зеркало. Дорога позади нас была пустынна.

1968

...И ВСЕМУ РОДУ ТВОЕМУ[1]

Шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга — густая и туманно-седая, как это и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь, и свиная кожа стала неряшливо пегой, а не первозданно желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может, только из-за этого перчатки сильно воняли. Денис с петушиным вызовом всему свету сказал сегодня утром, когда пора было прощаться:

— Ничего, пап! Все равно ты еще как... знаешь кто?

Уже одетый, Сыромуков стоял тогда в коридоре и под горькую мысль «глаза б мои не глядели» рассматривал себя в зеркало. Он притаенно напрягся, ожидая, но Денис долго искал — в почтенных книгах, конечно,— на кого там вознесенно похож его отец, и ничего не нашел.

— Ладно,— бесстрастно сказал Сыромуков.— Ты тоже похож на него.

— На кого? — ревниво спросил Денис и вытянулся перед зеркалом до хруста в позвонках. Сыромуков опустил плечи, умалившись в росте, и все получилось так, как надо было: хохол на макушке Дениса торчал вровень с беретом на голове отца.

— Ну вот. Видишь? Осталось каких-нибудь санти-

---

[1] Повесть осталась неоконченной и была посмертно напечатана в журнале «Наш современник» № 11, 1975 г.

метров пять,— серьезно сказал Сыромуков.— Это как раз на четыре недели, даже меньше.

Денис согласно кивнул — верил, что подрастет на пять сантиметров за месяц, а Сыромуков досадливо подумал: до каких пор сын пребудет ребенком — лет до восемнадцати? Или до тридцати?

Впрочем, он возмужает сразу же, как только настанет тот день. На фронте такое происходило с ребятами сплошь и рядом. Командовал же он сам остатками роты? Командовал! Почти целые сутки... Со свистком... Он отъял его из руки капитана Ершова, когда тому... Да и не отъял, а выломил, потому что пальцы ротного уже окоченели, а свисток казался суеверно необходимым: все надо было делать в бою так, как делал капитан...

— Ну, будь жив и здоров! — приказательно сказал Сыромуков, и Денис по-ребячьи ответил: «Хорошо». Они, отступив от зеркала, взрослым рывком пожали друг другу руки, но Денис чуть-чуть задержал в захвате ладонь отца и пожал ее сильней и судорожней, чем это бывало раньше, если им приходилось расставаться. Из своей комнаты — ждала там чужая, пока простятся свои,— в коридор вышла Филипповна, их приживальная хозяйка, бывшая нянька Дениса, древний божий одуванчик, «буся». Она ненужно спросила Сыромукова, не забыл ли он свои лекарства, а у самой губы скорбно собрались в трубочку, и Сыромуков с осторожной преданностью — как покойника — поцеловал ее в лоб.

Заказанного с вечера такси у подъезда не было. Еще не совсем рассвело, и фонари горели под мгой взъерошенно и тускло. Перчатки, конечно, следовало вынести с вечера на балкон. Денис же возмужает сразу, как только... Может, это случится весной. В марте, например. Тогда через месяц обновится мир, а это захватит и уведет его в сторону... В мае все оживает и возрождается. В мае выводятся аистята... И начинается рыбалка... Но Денис до сих пор не умеет насаживать червя. Не то боится, не то брезгует. А возможно, и жалеет... Любопытно, сколько их там, внизу, пород? Шесть или двенадцать? И с чего они начинают? С мозга? Или с сердца?

Заказанная машина не появлялась, и Сыромуков решил идти к стоянке. Мягкий венгерский чемодан на ве-

су выгибался и круглился, как бурдюк, и было опасение, что поклажа сомнется к чертовой матери и что сквозь звенья «молнии» просочится сырость и рубашки пожелтеют.

— Надо было покупать отечественный турсук с железными нашлепками по углам! — вслух сказал себе Сыромуков и неизвестно на кого разозлился. Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина промчалась мимо с каким-то издевательски роскошным рокотом, обдав его грязью, — шофер, наверно, поддал газу, а Сыромуков подумал, как много развелось на свете разного оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно, — оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так под горлом — стесненно затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним через долгую, как целый век, паузу второй, потом третий, а после начиналась скачущая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Это — страх — каждый раз было новым, свежетрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, как граната, а страшилось все тело, и больше всего глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение — они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе, зачем они это проделывали.

— Ну вот и все, — сказал Сыромуков и достал из кармана пальто стеклянный цилиндрик с нитроглицерином. Он знал, что после приступа это лекарство уже не нужно, но все же всякий раз, если приступ застигал его на улице, покорно глотал белое зерно.

Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом, — наверно, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут на всякий случай

окажется сухое место. Рыжий сгорбившийся чемодан показался ему отсюда бездомной намокшей собакой, и Сыромуков крадущимся шагом пошел к нему, словно намеревался поддеть его ногой. До ближайшей остановки такси было три прогона в автобусе, но начинался утренний час «пик», и Сыромуков не решился рисковать,— в костоломной давке при посадке и выходе застежка «молния» на чемодане могла порваться: это все же заграничная штука, черт бы ее побрал, а не отечественный окованный турсук на замках. С тем-то, пожалуйста, с тем куда угодно!

Сердце работало нормально, в нем только чувствовалась ставшая давно привычной, ровная и тихо ноющая боль, похожая на зубную, когда там где-то глубоко в корне образуется свищ. Маленький. Начальной стадии свищ, с которым можно примириться и жить... если, конечно, не нажимать на зуб сильно. Не есть, например, хлебные корки. Копченую колбасу. Не разгрызать сухари... То же самое и с сердцем — не надо на него нажимать. Ну, не совсем, скажем, не нажимать, а стараться отвращать его от лишних «затвердевших» мелочей жизни. Тут всегда с большой пользой для него работает чувство юмора. И еще рассудительность. Вот, к примеру, тот таксист, что не остановился. Во-первых, он, возможно, торопился по вызову. «А к тебе он явился по вызову?» Не в этом дело. Допустим даже, что он ехал не по заказу, а так. «А ты в это время шел по кромке тротуара и поднял руку...» Минуточку! Нужно всегда объективно и по возможности быстро вникать разумом в подлинную суть любого человеческого поступка и результаты такого исследования сообщать сердцу. Тогда все будет в порядке. «Потому что на основании полной информации нельзя принять никакого решения?» Да нет... дело ведь в том, что на таксистов подают жалобы, если те подбирают бродячих пассажиров помимо стоянок. А в автоконторах по этим жалобам принимаются меры к нарушителям, понятно? Значит, бессердечность и хамство таксистов тут ни при чем. Да и вообще не бывает сердечного хама. Ну что такое хам с сердцем? Абсурд! «Словом, надо уметь оборачиваться в будень изнанкой, а в праздник лицом?»

— Хреновый ты философ! — сказал себе Сыромуков. — Нельзя ведь жертвовать истиной ради какого бы то ни было интереса!

Стоянка такси была уже недалеко, и там бездельничало несколько машин.

Потому, что шофер аккуратно внедрил чемодан в чисто прибранный багажник, что сиденья новой «Волги» еще не обшарпались и в машине было уютно, что на ходу в ней ничего не дребезжало, а при подъеме в гору мотор не завывал в немощном надсаде и ему не надо было помогать напряжением сердца, Сыромуков отрадно почувствовал то покойное удовлетворение, которое всегда приходило к нему, когда жизнь вдруг представлялась прочной и благополучной. Он сел не рядом с шофером, а на заднее сиденье, один, проворно и праздно, и ему захотелось ехать долго и неизвестно куда. В этом всеприветном состоянии духа он ощутил почти самодовольное уважение к себе, к своему прошлому, настоящему и будущему. «Ты еще достаточно молод и долго останешься таким, и, значит, с Денисом тоже все будет в порядке».

— Все надежно и все хорошо! — нечаянно громко проговорил он.

— Да, машина будь здоров, если б не передние подшипники, — по-своему понял его шофер.

— А что? Подводят?

— Летят на третьей тыще. С «Запорожца» поставлены, понимаешь?

— Исправят со временем, — убежденно сказал Сыромуков.

— Понятно, что исправят, — согласился шофер. — Но я тебе скажу: самая правильная машина для нашего брата таксиста был «Москвич». Точно говорю!

— Мал ведь, — возразил Сыромуков.

— Не играет роли. Все равно по одному больше возишь. Зато там расход горючего меньше и управление легче... Там, бывало, знаешь как? Едешь, допустим, ночью и левой рукой рулишь, а правой настроение создаешь. Сколько угодно!

— Кому? — не понял Сыромуков.

— Ну кому! Понятно, пассажирке, ежели она не против и сидит рядом, — засмеялся шофер. Ему было лет тридцать пять, и то, что он посчитал уместным ска-

зать Сыромукову про настроение, означало только одно — Сыромуков сошел за его ровесника, в крайнем случае за сорокалетнего, с кем еще можно толковать на озорные мужские темы. «Да-да, все пока хорошо и надежно,— подумал Сыромуков,— и этот шофер, видать, отличный малый с крепким нутром. Такие жизнестойкие, круглые душой люди очень нужны. Они помогают ближним своим — тем, кто немного устал,— создавать некую радужно-бездумную моральную преграду для психической уязвимости. С таким народом полезно общаться... даже если они тяготеют к матерным словам. Подумаешь, великая беда!»

— Закурить можно? — бодро, с предчувствием чего-то еще лучшего спросил Сыромуков.

— Вот чего нельзя, брат, того нельзя,— помедлив, ответил шофер.— Понимаешь, мы с напарником договорились: ни самим чтоб, ни другим. Так что извини.

Сыромуков поспешно сказал «конечно» и спрятал сигареты.

Здание аэровокзала всегда производило на Сыромукова удручающее впечатление своим бегемотно-тяжелым видом, так как построили его тут уже давно, сразу же после войны, и руководящей идеей эстетически слепого архитектора, как полагал Сыромуков, не были избраны ни гармония, ни забота о парящем настроении пассажира. И у входа, и внутри самого здания было много массивных приземистых колонн, возведенных одна возле другой, но не несущих на себе почти никакой нагрузки. Склеп. А вернее, заземленный пантеон чьей-то давно померкшей славы, подумал Сыромуков, но тут же отметил, что сооружено это прочно, на века. Уже шла регистрация билетов на кавказский рейс, и Сыромуков стал в очередь: самолет отлетал в восемь, а на место прибывал в одиннадцать с минутами,— в Киеве была промежуточная посадка. Сыромуков плохо переносил высоту. Сердце в полете как бы разбухало, опускалось вниз, на желудок, и щемило так, что не помогали ни валидол, ни кордиамин. В сущности, он так и не выяснил до конца, что было причиной его дурного самочувствия в самолете — только ли больное сердце или же — помимо него — самая настоящая боязнь живота за благополучный исход полета. Изначальным всегда был тайный ребяческий страх у само-

летного трапа, сердце же опускалось и щемило позже, когда взревывали турбины и следовало пристегиваться ремнями к креслу. Но как бы там ни было, а Сыромукову все же хотелось считать, что повинно во всем этом сердце, что страх появляется из-за него. Только из-за него.

— Вы будете крайний?

Сыромуков оглянулся и с нажимом ответил, что он последний. Спрашивал по-девичьи краснощекий молоденький лейтенант в отлично сшитой новой шинели. Фуражка с веселым задором сидела на его белесой голове, и белый шарф выпрастывался из-за воротника шинели по-уставному узкой кокетливой полоской. Эта опрятность в одежде лейтенанта и весь его радостно-удачливый облик погасили в Сыромукове досаду на то, что тот произнес слово «крайний», ибо с удачливыми по виду людьми ему казалось безопаснее летать в самолете. Он поверяюще оглядел очередь и заметил в ней двух высоких молодцов кавказского типа в глыбовидных кепках и в одинаковых темно-зеленых нейлоновых куртках. Парни не выпускали из рук громадные дорогие чемоданы, и это тоже успокаивающе подействовало на Сыромукова: дети гор в последнее время сильно полюбили Прибалтику, благополучно доставляя сюда на Ту-124 виноград и мандарины и безаварийно увозя местный ширпотреб, главным образом ковры. Сыромуков решил сидеть в самолете рядом с лейтенантом или же с теми двумя...

Вылет задерживался сперва на час, потом еще на два, и посадку объявили в одиннадцать. Мга прекратилась, но небо было рыхлым и низким, насплошь затянутым тучами. На сыром аэродромном поле тесно стояли элегантные, хищно устремленные вперед самолеты, и, как всегда при виде их, Сыромуков испытал смутную обиду на свою судьбу — одного десятка таких «тутушек» хватило бы тогда, когда он командовал остатками роты под Ржевом. Да что там десятка! Хватило бы и пяти, даже трех,— каждый ведь небось может поднять две сотни пятидесятикилограммовых фугасных дур!

«Черт бы вас побрал!» — восхищенно и тихо обругал он в душе авиаконструкторов, опоздавших помочь ему тридцать лет назад. У нижней ступеньки трапа аристократически красивая девица, похожая на лермонтовскую Мери, проверяла билеты и паспорта. Благополучный лейтенант, стоявший впереди Сыромукова, лихо козырнул ей, прежде чем подать документы. Потом он козырнул вторично, когда взял их назад.

— Не задерживайтесь! — строго сказала ему «княжна», и Сыромукову это понравилось непонятно почему. Свой посадочный талон, билет и бессрочный потрепанный паспорт он подал и принял безразлично-небрежно, не снимая с руки перчатку и избегая взглядом девушку,— тоже, как ему хотелось думать, неизвестно почему. Ни рядом с лейтенантом, ни позади тех двух в кепках сесть не удалось — каждый стремился занять свое кресло, указанное в билете, и в салоне образовалась толкучка. Соседом Сыромукова оказался человек неопределенного возраста с продолговатым болезненно землистым лицом. Он доверчиво, с мягким прибалтийским акцентом сообщил Сыромукову, как только уселся, что едет на курорт по бесплатной путевке.

— Вы тоже, может быть, в Ессентук?

— Нет, я дальше,— ответил Сыромуков и тут же, укорясь своей сухостью, вежливо, хотя и не без наставительности объяснил, что ессентукские воды давно признаны самыми лечебными в мире. Сосед деликатно кивнул. Ремнями пристегивались не все, но леденцы, которые внесла в салон «княжна», брал каждый. Скрытно от соседа Сыромуков положил себе под язык лепешку валидола и, глубоко втиснувшись в кресло, развернул газету — начинался взлет. Американцы, черт возьми, продолжали бомбить Северный Вьетнам... Они летают там на малой высоте, потому что иначе их сбивают ракетами. Это, наверно, очень просто — сбить высоко летящий самолет отлично сделанной ракетой. Они, надо думать, похожи на торпеды. Такие сигарообразные. Блестящие такие. Хорошие ракеты. Наши! Все-таки у нас — все прочное и добротное...

Ощущение земной тряски оборвалось внезапно, но в воздухе самолет чуть-чуть провалился, как бы осев на секунду в яму, и сердце у Сыромукова тоже провалилось — он не переносил невесомости. В иллюминатор

было видно накрененное крыло самолета, вернее, начальная его часть. Заклепок там хватало. Они отстояли одна от другой не дальше сантиметра, и Сыромуков оценил это как большое достоинство в самолетостроении — прочность ничему не вредила. Никогда. Хотя оконечность крыла не проглядывалась из-за тумана, Сыромуков решил, что заклепок там должно быть еще больше, раза в два. Наконец самолет пробился за пределы туч и сразу же перестал крениться и вздрагивать. Салон озарился солнечным светом, а табло погасло — разрешалось курить. «Княжна» по внутреннему радио хозяйски вежливо предупредила уважаемых пассажиров, что в полете воспрещается пользоваться фотоаппаратом, сообщила фамилию командира корабля, скорость и высоту полета, температуру воздуха за бортом: там было сорок четыре градуса.

— Колодно небе! — дружелюбно сказал Сыромукову сосед. Он предложил сигарету, но Сыромуков поблагодарил — под языком у него в помощь ноющему сердцу лежала горько-холодная лепешка валидола. Она будет лежать там, если не сосать усиленно, еще минут пятнадцать или двадцать. В «Огоньке» ничего не было для воздушного чтения, зато в «Смене» оказалась любопытная притча об итальянском короле Умберто Первом. Король и похожий на него ресторатор по имени Умберто родились будто бы в один и тот же час, женились одновременно на девушках с одинаковыми фамилиями, в одни и те же даты у них появились сыновья и дочери, которых нарекли тождественными именами. Оба двойника — и король, и простолюдин — погибли в один и тот же день, но с той только разницей, что ресторатор попал под колеса кеба, а короля пристрелил террорист. В этой истории все было хорошо, кроме конца, — кому такое надо! Жили бы и жили себе эти Умберты. Но черт угодил ресторатора под какую-то там повозку. В пьяном состоянии, конечно. И поскольку его жизнь фатальным образом была связана с судьбой второго Умберто, то и тому предстояло умереть одновременно с ним, хотя и другим способом. Это и понятно. Не мог же рок — или какая-то там надмировая непостижимая сила, называй как угодно! — толкнуть короля под колесо уличного рыдвана. Его величеству и смерть возвышенная. Для того и су-

ществуют — ну пусть существовали! — террористы... Кстати, убийцу, конечно, схватили и повесили. Но могло же статься, что у него был свой двойник. Не обязательно в Италии, а вообще на земном шаре. Как же в этом случае? Получается, что тот тоже должен погибнуть? Даже будучи ни в чем не повинным? Очевидно, так. А вообще-то люди, в сущности, все двойники. Все до единого. Может, оттого за безумные античеловеческие преступления одного какого-нибудь мирового выродка в конечном итоге расплачивается жизнью не один человек, а тысячи. Даже миллионы, потому что тогда происходит некая кошмарно кровавая цепная реакция... Да-да! Люди — двойники. И поэтому каждый обязан вести себя достойным образом. Всегда! При любых обстоятельствах!..

Это рассуждение Сыромукова прервал летчик, скорее всего бортинженер, зашедший в салон из пилотской кабины. Он был приземистый, темноволосый, в курчавых бакенбардах на кирпичном курносом лице — вылитый Давыдов из «Войны и мира», как отметил Сыромуков под успокаивающую мысль, что летному составу, надо полагать, запрещено пить. Давыдов прошел в хвост самолета, но вскоре вернулся и в проходе возле кресла Сыромукова отогнул с пола край ковровой дорожки. Он приподнял крышку оказавшегося там люка и неловко полез в него, подсвечивая себе карманным прожектором. Такие фонарики продаются свободно в любом хозларьке; ими в осенние вечера вооружены все ребятишки страны, и неужто для бортинженеров реактивных лайнеров не существуют светоизлучатели, которые своей, скажем, необычной формой внушали бы большую степень доверия к их надежности. Это во-первых. А во-вторых, почему внутренность самолета затемнена? Что тут хорошего — тьма, заключенная в алюминиевый цилиндр, несущаяся при солнце за облаками? И что вообще понадобилось там этому гусару? Сыромуков окинул взглядом салон и увидел, что все пассажиры напряженно смотрят в сторону люка. Смотрели туда и те благополучные парни с гор, при этом они одновременно забрали с сетки свои кепки и насадили их на головы — синхронным движением рук. В люке тем временем что-то справно щелкнуло, и электрический свет заполнил чре-

во самолета. Оно было пустым, но вдоль видимого Сыромукову противоположного борта пролегал толстый сноп проводов — красных, желтых, синих и каких угодно. Временами на них наползала перемежающаяся тень: бортинженер что-то делал там, никому не видимый, и Сыромуков оторопело подумал, неужели он знает и помнит назначение каждого провода в такой охапке? Невероятно! А что происходит, если в одном из проводов образуется надрыв или замыкание? Падение? Или взрыв? Конечно, этого не может быть... Случается, возможно, но очень редко. Очень! Между прочим, экипажи пассажирских лайнеров лишены права пользоваться и парашютами, потому что их просто не дают им, а это тоже что-нибудь да значит! Но все же, сколько это продолжается? Минуты три или больше? И как тогда ведут себя люди? Что они делают? Целуются, прощаясь? Или же кричат? Сходят с ума? И умирают от страха до того, как самолет врежется в землю? Этого никто не знает, потому что не остается свидетелей... А вообще-то надо обниматься и что-нибудь говорить друг другу... например, о том, что это продлится недолго. Или что мы останемся живы, раз пристегнуты ремнями. Да мало ли что найдется тогда сказать!.. А как потом устанавливают, кто был кто? По документам и билетам, конечно. Это ведь остается целым...

В правом кармане пальто Сыромукова лежали желуди. Пять штук — накануне отлета он с Денисом был в лесу. Ну, желуди едва ли вызовут удивление, а вот кальсоны! Главное, что они с широченной отвисшей мотней и сиреневые. Надо же вырабатывать такую срамоту! Как запустили сорок лет назад, так и гонят. Да, такие несуразные кальсоны ничего не могут вызвать, кроме презрительной насмешки. А это совсем ни к чему. Нельзя, чтобы на Дениса легла хоть малейшая тень унижения за отца! Черт дернул надеть их!..

Сыромуков посмотрел в иллюминатор. Скошенное назад крыло самолета сверкало тускло и льдисто, и заклепок на его оконечности в самом деле было раза в два больше, чем у основания. Чистое небо синело какой-то прореженной утренней лазурностью, а под крылом, глубоко внизу, снежно белело сугробное поле беспредельных облаков. Самолет шел с прежней неощутимой плавностью, и в гуле турбин не прослушива-

лась какая-нибудь посторонняя нота. Сыромуков не уследил, когда бортинженер покинул люк. Ковровая дорожка лежала на своем месте, и все пассажиры сидели в прямых покойных позах, и большие кепки парней-грузин громоздились на сетке одна поверх другой...

Из Минеральных Вод до Кисловодска Сыромуков подрядил такси. Шофер запросил двенадцать рублей, и он согласился, так как с сердцем было нехорошо. Гудела голова, и в ушах с неприятным ломким хрустом шелестели барабанные перепонки. Он уже сидел в машине, когда к шоферу подошли мужчина с женщиной, и тот взял их за дополнительную десятку. Сыромуков предложил даже переднее сиденье и перешел на заднее. Супруги почему-то посчитали нужным поблагодарить его за учтивость. Сосед Сыромукова сразу же отвернулся от него, заглядывая в окно. Женщина тоже села вполоборота к шоферу, по чему Сыромуков решил, что его попутчики — тайные любовники, пробирающиеся на курорт: тех всегда преследует опасность быть внезапно опознанными. Ехали молча, и было неизвестно, что лучше — отчужденная замкнутость, позволявшая каждому держаться в свободной независимости созерцателя предгорной природы, или же так называемая сердечная общительность, когда вынужденно приходится подлаживаться под тон случайного собеседника, даже если тот окажется дураком. Было хорошо вот так расслабленно и безответно сидеть и смотреть, как проносятся назад по обочине шоссе белые домики, заслоненные не то яблонями, не то другими какими-то садовыми деревьями с бурой лохматой листвой; как чарующе неколебимо текут из глинобитных труб этих домиков голубые дымы, — кизячные, наверно; как в жухлой пропыленной траве по канаве возле дороги бродят белые куры и белые козы; как на теплом розовом небе возникает и надвигается громада Бештау. Это все склоняло к покою и побуждало верить, что тут живут люди, зачарованные безмятежным потоком таких вот тихих розовых дней, и что никому из них не знакома зубная боль в сердце...

В Кисловодске совсем не чувствовался ноябрь. Здесь стояла настоящая августовская погода, когда небо бывает пронизано сокровенно нежной и глубокой про-

синью и на нем явственно проглядываются сверкающие нити парящей паутины. Да, в этой благословенной котловине со своим микроклиматом царило еще лето, и курортный народ гулял по улицам в легкой одежде, хотя попадались кое на ком меховые шапки, валенки и даже мокасины — то были люди с Севера. Попутчики Сыромукова вышли в центре у нарзанных ванн. Женщина напряженно и прямо, как по бревну через пропасть, направилась к противоположному тротуару, а мужчина умышленно долго возился с бумажником, пока нашел там две пятерки.

Шафранные корпуса санатория, куда направлялся Сыромуков, стояли особняком, вознесясь над городом. В последний раз Сыромуков лечился в нем зимой шесть лет назад и помнил, как худо ему пришлось из-за сожителя по палате, тот почти каждый день после обеда с вежливым напорным нахальством просил его погулять — сам понимаешь, часик-другой по «Храму воздуха», — а там дуло со всех сторон, и поневоле приходилось забираться в дымно-вонючую шашлычную. Сожитель этот был директором какого-то степного овцеводческого совхоза, могучий и денежно богатый мужик, полностью неуязвимый с моральной стороны: им так и не удалось тогда ни разойтись по разным палатам, ни поссориться, несмотря на то, что овцевод временами предпочитал почему-то любиться не в своей кровати, а в сыромуковской. Он не мог толком объяснить, что влекло его на чужую постель, и только бездумно хохотал и совершенно искренне — «ну братски, понимаешь?» — предлагал Сыромукову воспользоваться в любое время его кроватью. Сыромуков вдруг застиг себя на мысли, что хотел бы снова повстречать того степняка и — поселиться с ним в одной палате. Он не стал рассуждать о причине этого странного своего желания, так как к нему примешивалась горечь какой-то неосознанной утраты, а печаль о прошлом — первый признак старости, и больше ничего.

На площадке у главного корпуса своего санатория Сыромуков расплатился с шофером и пошел к подъезду мимо скамеек, где под заходящим солнцем сидели

курортники — человек десять или пятнадцать мужчин и женщин неопределенного возраста,— они все были в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику. Точно такой же костюм, называемый в Прибалтике тренингом, вез с собой и Сыромуков. Он купил этот тренинг с великим трудом перед самым отъездом, что называется, достал и поэтому втайне рассчитывал на его неповторимость.

— Послушай, друг! Бурдюк свой забыл!

Шофер держал чемодан так, как только, наверно, можно и нужно держать плохой бурдюк с большим вином,— обеими руками между расставленных ног. Шофер смеялся, и люди на скамейках тоже. Тогда на Сыромукова пала та гневно-страстная секунда затмения реальности, когда он бывал способен на вполне безрассудный поступок во имя своего достоинства,— он чуть-чуть не сказал шоферу, что дарит этот бурдюк ему. В регистратуре сестрица отобрала у Сыромукова курортную карту, путевку и паспорт, а взамен вручила ему талон в столовую и сообщила номер его комнаты. Путевка у Сыромукова была дорогой, в «палаты люкс», как значилось на ней, но то, что палата помещалась на третьем этаже, а не на первом, как он рассчитывал, что ее трехзначный номер состоял из нечетных цифр и на медном кольце громадного ключа, который выдали ему в гардеробной, болталась нечистая деревянная рукоятка, похожая на кляп из бочки, вселяло сомнение насчет «люкса». Гардеробщица сказала, что заносить в палату чемодан запрещено.

— Но там нужные мне принадлежности,— возразил Сыромуков.

— Чего надо забери, а его сдай в камеру.

— Хорошо, я проделаю это позже,— сказал Сыромуков. В сердце вонзился маленький острый клещ и грыз и грыз его откуда-то изнутри, куда он не забирался прежде.

Палата оказалась в самом деле по-люксовски обставленной на двоих, большой светлой комнатой с высоким видом на Эльбрус, до его золотого на голубом небе седла отсюда чудилось не дальше пяти или шести километров. Сыромуков опустился в кресло и вместе с ним пододвинулся к раскрытому окну. Было тихо, одиноко-пустынно и почему-то жаль Дениса. Что он

сейчас делает на краю света, один, в скучной мге Прибалтики? Наверно, смотрит телевизор. А потом поужинает и ляжет спать. Но поужинает ли? Что ж. Ты сам тоже не будешь ужинать и ляжешь спать, а утром напишешь ему письмо, как и обещал. Сразу же по приезде. Вот и все. И нечего подкалывать себя булавкой! Собраться и уехать домой ты всегда волен в любую минуту!

Вечер наступил сразу же, как только солнце зашло за Машук, но сумерки долго оставались прореянными таинственным изумрудным светом, будто мир проглядывался через витражный осколок. Такой свет покоил душу и одновременно вызывал пронзительную тоску. Сыромуков дождался времени ужина и по безлюдью за два похода перенес из гардеробной в палату содержимое чемодана, а его, обмякший и усохший, как вымя яловки, сдал в камеру хранения.

Проснулся Сыромуков на рассвете — утро наступило тут часа на два раньше, чем дома, в Прибалтике. Где-то далеко, не то в низине, не то в горах, протяжно и весело, как весной, пел петух, и на корзине под окном палаты натужно и страстно ворковали голуби. Было непривычным и странным тут сухое сизовеющее небо, празднично засеянное крохотными бестрепетными звездами, гаснущими ласково и замедленно. «Это все мне явилось оттуда, из детства,— с тихой радостью вспомнил Сыромуков,— это же давнее пасхальное утро, и ты ждешь мать из церкви с освященным куличом. На тебе новая ситцевая рубаха и новые молескиновые штаны, и ты ждешь на крыльце хаты, а на небе точно такие же кроткие зоревые звезды, и в соседних дворах возвестно поют петухи. Ты ждешь, чтоб разговеться крашеным яйцом и громадной легкой скибкой кулича. Если б только знал Денис, что это такое на вкус!» А вслед за безмолвной священной едой наступал великий солнечный день, колокольный трезвон, яркие наряды девок на выгоне, разноцветная яичная скорлупа на молодой траве...

Не спеша, стараясь сохранить в себе ощущение весны и праздника, Сыромуков оправил постель, побрился, принял ванну, а потом выбрал лучшую рубашку и любимый галстук. Костюм сидел на нем статно и влито, и Сыромуков никому бы не признался, что его

почему-то молодо радовала эмблема марки голландской пошивочной фирмы на левом внутреннем кармане пиджака,— там был изображен оранжевый петух с весенней масличной веткой в клюве. Перед зеркальным трельяжем Сыромуков стоял умышленно близко к стеклу, чтобы видеть лишь воротничок рубашки, галстук и пиджак, так как начес на просвечивающуюся плешину вдоль темечка решено было сделать после письма Денису, перед уходом из палаты.

Письмо получилось каким-то ребячески восторженным, а это Денису не годилось. Ему надо помогать мужать и огрубляться! Ну, что хорошего в этом сюсюкающем «родной мой мальчик»? «Не хватало, чтобы ты еще назвал его сироткой. Хочешь, чтобы он заплакал там? Давай пиши так: чижик, мол, привет! Да и не чижик, а просто — сын, как, мол, у тебя дела? Я, мол, доехал благополучно... и скоро вернусь. Погода тут чудесная, светит солнце, поют петухи...»

Плешь маскировалась мелкими зигзагообразными взмахами расчески с затылка наперед. Тогда остатки прежнего буйства волос пушились и небрежным грибоедовским коком укладывались над лбом. На ветру или при малейшем сквозняке волосы дыбились, заносясь назад, и поэтому Сыромуков не ходил по улице без берета. Он понимал, что это глупо, хотел быть моложе, а не старше себя, но все его попытки породниться со своим отражением в зеркале безысходно кончались бунтом сердца против самого себя. Не вышло у Сыромукова братание с самим собой и сейчас, несмотря на то, что его все еще не покидало чувство соприкосновения с детством.

Из-за гор всходило красное близкое солнце. С «Храма воздуха» доносились взревы баяна и команды физзарядки, потом мощный хор рванул там знакомую с пионерских времен «Как родная меня мать провожала». Сыромуков растворил окно и до конца прослушал песню, глядя на солнце, чтобы убедить себя, будто это и есть причина слепящих слез, набухавших в глазах. Сердце было согласно на уютный для себя обман, оно билось мерно и небольно, и Сыромуков, аккуратно приладив на голову берет, вышел из палаты. Плотная ковровая дорожка в длинном широком коридоре по-больничному заглушала шаги, и лучше было идти

у ее кромки прямо по паркету, скрипевшему, как крещенский наст тогда в деревне. Из глубины коридора ему навстречу стремительной четкой походкой двигался высокий человек в темном щеголеватом костюме и с беретом на голове. Человек шел не по ковру, а по паркету прямо на Сыромукова, словно не видя его, и то, как независимо держал он голову, как вызывающе сидел на ней берет — с напуском вперед и чуть набок, как надменно вскидывались и опускались на паркет его долгоносые сверкающие башмаки, вызвало у Сыромукова необъяснимо упрямое чувство протеста и желание отпора встречному. Не сбиваясь с походки, он загодя отвел от него глаза, решив не уступать ему дорогу, и чуть-чуть не столкнулся сам с собой в громадном стенном зеркале, вовремя заметив справа от него большую шахту лифта и марш лестницы. На первом этаже возле лифта толпились толстые пожилые курортники и курортницы, вернувшиеся, наверно, с физзарядки. Их было много, безобразно выпуклых в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику, и никто из них не желал подняться пешком к себе на второй или третий этаж.

«Ногами надо работать, окороками»,— мысленно посоветовал им Сыромуков, решив, что надевать свой тренинг не станет. Он миновал физкультурников чуть ли не строевым шагом, опасаясь, все ли на нем в порядке не только спереди, но и сзади. Еще не было восьми часов, и Сыромуков рассчитывал оказаться первым в регистратуре, чтобы получить курортную книжку и направление к врачу, но там уже ожидали приема несколько человек, судя по всему, только что прибывших московским утренним поездом. Он занял очередь, отметив про себя, что никто тут не был моложе его, если не считать девушки-карлицы в модном кожаном пальто-макси и серебряной шляпке-цилиндрике, надетой высоко и прямо. Малышка назвалась последней в очереди. Она отчужденно стояла в уголке, так как места на двух диванах были заняты, и эта нелепая шляпка на ней и раздутые колоколом полы пальто, доходившего почти до паркета, делали ее похожей на бутылку из-под шампанского. Такие, сочувственно подумал Сыромуков, слишком чувствительны и самолюбивы. Они постоянно находятся в повышенном психиче-

ском напряжении, так как каждую секунду ждут нанесения урона себе. Еще бы! Эта, например, не сядет на диван, если освободится место, потому что успела уже обидеться на всех тут за невнимание к ее отторженному крошечному величию! Как она оцепенело и неприступно смотрит перед собой. Какое благородное презрение кипит в ее судорожно подозрительном сердчишке ко всем этим ленивым тушам, воссевшим на диванах и вынудившим ее очутиться на виду у всех со своей обездоленностью. Да еще последней в очереди. Всегда и все ей последнее!.. Кем считает она их — и тебя тоже? Дураками и дурами, конечно, потому что сама, наверно, умненькая и злая, как все убогие — у них выдается много времени для всяческих горьких раздумий. «Она недаром выбилась на курорт в глухой осенний сезон, когда здесь собирается разная старая заваль, на чьем фоне еще может выделиться ее единственное достоинство — молодость», — подумал Сыромуков и пошел к лифту, и взял там пустующее полукресло. Еще на середине пути, возвращаясь с ношей, он заметил, как защитно напряглась, подавшись в угол, карлица, взглянув в его сторону и тут же отвернувшись, — у нее не было уверенности, что он не нанесет ей сейчас новое унижение. Сыромуков подумал, что, если она заупрямится, сам он тоже не сядет. Но все обошлось благополучно. Девушка жеманно, со старомосковским распевом на букве «а» поблагодарила его и опустилась на краешек полукресла, страшась оторвать ноги от пола. В регистратуру заходили по двое. При выдаче курортных книжек там брали за что-то полтора рубля, и у москвички не оказалось мелких денег, а только «четвертные билеты», как она сообщила регистраторше протяжно и беспомощно. Сыромуков поспешил ей на выручку и заплатил трояк за двоих.

— Благодарю ва-ас, — сказала она, когда вышли в коридор. — Но как же я верну долг? У меня скверная зрительная память на людей.

— Не беспокойтесь, я вас запомню сам, — ответил Сыромуков.

— Да? — сухо произнесла она.

— Я художник, поэтому зрительная память у меня отличная, — безоглядно и противно для себя солгал зачем-то Сыромуков. Малютка помигала на него длинны-

ми кукольными ресницами, и Сыромукову показалось, что она присела в книксене.

— Ну хорошо. Тогда подойдите, пожалуйста, ко мне сегодня в столовой.

— Да, да, не беспокойтесь,— нетерпеливо сказал Сыромуков. Ему было досадно за свое вранье и хотелось поскорее отправить письмо Денису. Почтовые ящики — один красный, для авиаписем, и другой синий, под простые,— стояли на табуретках в вестибюле. Он опустил письмо в красный и тут же подумал, что напрасно написал Денису про петухов и солнце. Это может вызвать у него тоску по весне, а рассеянности на уроках там и без того хватает. Ему надо писать отсюда деловые письма. Серьезные. Занятые. В конце концов лечение — тоже труд, а не удовольствие. Как для него там математика, например. Или физика. И свободного времени, надо написать ему, тут не очень много. Везде и всегда нужен труд и труд. Только и всего!

«А ты в самом деле начнешь тут лечиться,— сказал себе Сыромуков.— Ты будешь выполнять все процедуры, что назначит врач. Кроме, конечно, физзарядки на «Храме воздуха». Это тебе не обязательно. Заряжаться можно самостоятельно у себя на балконе. А все остальное — беспрекословно!»

Он вернулся в корпус и отыскал кабинет, где проводились антропометрические измерения. Рост его остался прежним, давним, военным — сто восемьдесят три сантиметра, а вес достиг семидесяти пяти килограммов: на четыре больше, чем было шесть лет назад, когда он взвешивался в этом кабинете.

На воле было чисто и высоко. Вершина Эльбруса уже сияла слепяще и знойно, а в распадах гор текуче копился сквозяще сизый туман, и казалось, что там таится какая-то нежная подарочная тайна миру на этот день. Площадка перед корпусом оставалась пока в тени, но все скамейки были заняты курортным людом в тренингах — новых, не вылинявших и еще издали пахнущих уксусной эссенцией. Курортники сидели прочно и молча, и все держали в руках голубые фаянсовые кружки с парящими на них золотыми орлами — попили натощак нарзан и теперь дышали горным

озоном, ждали солнца и целебного действа выпитой воды. Площадку окаймляли тополи и айвы, и под ними, с метелками, мешками и шестами-битами, копошились санаторные уборщицы — обивали и сгребали листву. Они поглядывали на скамейки, приглушенно переговаривались и хохотали, а там делали вид, будто ничего не замечают и не испытывают никакой неловкости. Было ясно, что уборщицы потешались над толстяками и толстухами, считая, что для их здоровья полезно порастрясти жир, и Сыромуков весело согласился с ними. Он чувствовал, как звенит в ушах от голода, потому что не ел целые сутки, но тело ведь не знает, что это не от беды, а только от прихоти. Ну, не совсем от прихоти, а и от сердца, потому что оно лучше работает, когда хочется есть, и еще из-за солидарности с Денисом, если он там не поужинал почему-либо вчера. Он подумал, что хорошо сделал, захватив с собой пять белых рубашек и кучу носков,— можно будет менять каждый день, и хорошо, что на внутреннем кармане пиджака живет оранжевый петух и что у берета сам собой получается задорно легкомысленный напуск. Уборщиц, пожалуй, надо было бы чем-нибудь одарить. Подойти и одарить ради этого несказанного утра, невообразимого неба и той хрустальной таинственности, что залегла в ущельях гор. Тут уместны были бы небольшие шоколадки в ярких обертках. Или крашеные яички! Тогда можно было бы — в шутку, понятно, — сказать каждой из них: Христос, дескать, воскрес, и почтить древний обряд с поцелуями... «Старый ты пшют в берете,— поощрительно сказал себе Сыромуков.— Лысину-то прячешь небось? Маскируешь? Что ж, недолго осталось...» Он попятился назад, в вестибюль, потому что сердце споткнулось и замерло, подскочив к гортани, стремительно набухая там теснящей мукой зажатости и страхом. Как всегда, руки его вскинулись к голове, а глаза метнулись по сторонам, но сердце опало на свое место, будто вырвалось из петли, и трижды толкнулось сильно и больно.

«Это от перемены климата,— безгласно прокричал себе Сыромуков.— Это сейчас пройдет, ты только дыши поглубже!»

Он стоял у колонны вестибюля и обеими руками ненужно трогал и трогал берет, ощущая лопатками

ознобную прохладу шероховатого туфа. «Прохлада — хорошо, это все равно, что холодный компресс на грудь, если успеть с ним вовремя,— думал Сыромуков.— Не надо только показывать, что тебе плохо. Поправь еще раз берет и вздохни поглубже. Тут чистый кислород... И правильно делают эти жизнелюбивые люди, что сидят там на скамейках и дышат озоном. И ничего нет зазорного в том, что все они в одинаковых нелепых тренингах. Кому это мешает? И пусть они пьют свой сульфатный или доломитный нарзан, раз это им нравится...»

Когда уже можно было оставить берет в покое, Сыромуков небрежно, как леденец против курения, кинул в рот таблетку валидола и осторожным куцым шагом, чтобы не сбивать дыхания, прибедненно миновал скамейки. Недалеко за ними был, оказывается, бассейн без воды, окруженный зелеными кустами туи. В тесных нишах этих кустов скрывались узенькие, с крутыми неудобными спинками лавочки; никому бы и в голову не пришло прилечь на них. Сыромуков примостился на лавочке и стал глядеть в небо, запрокинув голову и дыша раскрытым ртом,— вблизи никого не было.

— Лавочки тут — хорошо,— отвлекающе, без участия губ сказал он.— И это ничего, что они узенькие. Это ничего. А бассейн всегда можно наполнить водой. Когда угодно...

Небо уже по-дневному углубилось и посинело, и в нем обманчиво медленно плыл, звездно искрясь, крошечный истребитель, оставляя за собой бурунно-белую инверсионную полосу.

— Военные летчики тоже знают это,— на какую-то еще нечеткую свою мысль вслух отозвался Сыромуков. «То есть самые умные из них»,— подумал он. Как тот француз, сбитый немцами уже в конце войны. Он был на всякий случай графом и писателем. Рыцарская такая фамилия... Запамятовалась. Да это и не важно. Потом, когда не нужно будет, вспомнится. Он сказал, что плевать хотел на пренебрежение к смерти, если в основе его не лежит сознание ответственности. Без того оно лишь признак нищеты духа, и больше ничего. Хорошо сказано. Смело и точно,— ему часто грозила смерть. Интересно бы знать, каким он бывал после э т о г о? Тоже становился во всем сговорчивым и доброжелатель-

ным к миру? Вот как ты сейчас, когда тебя умилили эти пехтери на скамейках? Возможно. Иначе ему не удалось бы написать книгу «Земля людей». Как же его звали? Забыл... И все же человека всякий раз подстерегает глупость, если он подвержен страху смерти. В тот момент его покидает воля, и у него происходит распад связей. Он готов тогда благословить все сущее, красивое и безобразное, возвышенное и низменное. Все, дескать, благо, все добро и чудо. Значит, в этом случае получается, что страх облагораживает человека, поскольку он — пусть даже временно — становится доброжелательней к миру? Нет. Этого не может быть. Страх — чувство подлое по своей сути. Он всегда мешал жизни. Он прародитель лицемеров, предательства, холопства. Да мало ли!.. И все же за ним надо признать и некоторую творческую силу: он ведь учит людей приспосабливаться к условиям бытия, верно? Да, но только приспосабливаться, а не подчинять условия себе. Страх всегда обрекал человека на рабство и пресмыкательство!.. Ладно, пусть так. Но при чем тут люди на скамейках? Почему ты посчитал свое умиленное чувство к ним ошибкой? Да никто ничего не посчитал! Просто дело в том, что сытый субъект всегда опасен своим самодовольством и безучастностью. У такого умри на глазах — не отзовется. В то же время он склонен предъявлять нахально повышенные требования к деятельной личности, хотя сам всю жизнь препятствовал развитию этой личности...

«Ты бы лучше посидел спокойно,— приказал себе Сыромуков.— Ты приехал сюда лечиться, а не философствовать. Сиди и дыши... Но лечиться я не буду,— тут же подумал он.— Этого делать еще нельзя, потому что тогда наступит конец еще при жизни... Но ты ведь только что был согласен исполнять все, что предпишут врачи... Это я обещал не себе, а Денису. И взвешивался для него. Я буду принимать нарзанные ванны и циркулярный душ. Как в тот раз...»

Самолета в небе уже не было, а полоса изломалась и расплылась. Сердце еще ощущалось, только во рту тошнотворно саднило от валидола и бурно урчало в пустом желудке. Если не ходить сегодня к врачу, то сидеть тут и ждать час завтрака не имело смысла. Сыромуков помнил, что кафе в городском парке открыва-

лось рано, и в это время там бывало чисто и пусто, и на столиках стояли вазы с красными розами. «Я закажу чебуреки,— решил он.— Или лучше шашлык и бокал шампанского. Сладкого. Между прочим, от рюмки коньяка тоже ничего не случится».

В город можно было спуститься по асфальтированному терренкуру, но рядом в алычовых и боярышниковых кустах пролетала растоптанная самочинная тропа, засоренная обрывками газет, окурками и опавшей листвой, и Сыромуков пошел по ней,— ее тут проторили, конечно, здоровые и веселые люди. Вроде того овцевода. Хорошо бы повстречать его сейчас на этой тропе. Одного, понятно. Пускай бы он шел снизу, из города, только что тяпнувший перед завтраком. «Впрочем, это невероятно»,— подумал Сыромуков без всякого сожаления, потому что ему услужливо и радостно вдруг вспомнился другой человек — направщик бритв, местный старик горец с обезволивающими черными глазами ведуна. Он располагался при входе в парк у грота Лермонтова. Деревянный станок его, отдаленно похожий на прялку, был оснащен различными трансмиссиями с точильными кругами и всевозможными — латунными, бронзовыми и медными — шкивами, колесиками, шестеренками, валиками, шатунами, и все это начищенно сверкало и горело, скользило, крутилось и вертелось в разных направлениях, как только старик нажимал ногой педаль, и невозможно было отвести глаз от станка — он зачаровывал и оцепенял, как затухающее пламя в осенние сумерки. Старика постоянно окружала толпа. Он работал, а люди смотрели. Вполне возможно, что все они были сердечники, приходившие к станку, как на врачующую процедуру: возле него можно было простоять с утра до вечера и ни разу не вспомнить о сердце. Старик все время был занят, он точил с о б с т в е н н ы е бритвы. Сыромуков понял это на третий день похода к нему, а в следующий раз принес две только что купленные бритвы и с тех пор направлял их ежедневно — то одну, то вторую. Старик не показывал вида, что приметил его,— точил и точил, только плату сбавил наполовину против первого раза. Его следовало повидать до кафе, отрадней будет сидеть и ждать еду, решил Сыромуков. Но какой дурак пьет с утра коньяк, да еще в одиночку! Вот если бы

этот колдун с гор взял и согласился... Станок же можно будет поставить перед окном кафе, чтобы все время видеть и не беспокоиться...

Внизу воздух был теплым и вкусным — в санаторных столовых накрывали столы к завтраку. В улицах царил покой, и норовилось идти так, чтобы металлические косячки каблуков прилегали к тротуару печатно ладно, и не шаркающе, тогда возникало звонисто-чистое эхо, будто кто-то — мало ли! — идет тут при шпорах. Старика на месте не было, и Сыромуков, торопясь, заверил себя, что он, наверно, запаздывает по какой-нибудь уважительной причине. Могут же, например, возникнуть в станке неполадки? А сам он, конечно, жив и здоров. Ему тогда было... ну, от силы семьдесят, а горцы живут по полтораста и больше! Сыромукову хотелось, чтобы все в этом его первом курортном утре было справно и ладно, и он снова мысленно повторил, что со стариком все благополучно и что сам он поступил хорошо, придя на свидание с ним, — в конце концов всегда счастлив тот, кто видит в своем действии следы собственной воли. Он прошел к гроту, но вход в него оказался заделанным толстой стальной решеткой, заключившей в промозглой каменной дыре невеселый бюст поэта. Решетка не только не вписывалась в идею грота, но в корне подрывала и перевирала его смысл, и надо было искать оправдание действию тех, кто ее поставил тут, и верить, что ими руководила похвальная цель. Сыромуков, возможно, придумал бы для себя эту цель, не уходя от грота, но в верховьях парка — в стороне кафе — уже несколько раз булькающе запевал не то соловей, не то иволга, и это было пугающе маняще и невероятно: соловей в ноябре! Разъяснилось все просто и буднично: в центре парка Сыромуков еще издали увидел длинного сухопарого человека с лихими казачьими усами, вспомнил и узнал его. Как и шесть лет назад, на нем был закирзовевший брезентовый плащ с полуоторванными накладными карманами и непотребно грязная парусиновая сумка, по-побирушьи свисавшая с плеча, где он хранил запас глиняных соловьев. Маскарад с одеждой и сумкой придумал, конечно, не от добра — как-никак он занимался частнопредпринимательской деятельностью, а товар его раскупался с ходу, и все же он не вызывал к себе сочувст-

вия, так как всегда был почему-то остервенело зол и груб с покупателями,— надоели, наверно. В тот, прошлый, раз Сыромуков привез Денису такого соловья, но в первый же день сын разбил его и потом долго плакал и просил снести глиняные осколки в мастерскую. Стоило ли покупать соловья теперь и ожидать возможное горе? «Но этот тип засвистит сейчас специально для меня, поскольку больше тут никого нет,— подумал Сыромуков,— и «не услышать» и свободно пройти мимо него будет немыслимо». Усатый и в самом деле при подходе Сыромукова издал две переливчатые трели, свирепо глядя куда-то вбок и в сторону, и Сыромуков купил у него двух соловьев и посадил их в карман пиджака, где был изображен петух с веткой.

В кафе было чисто и безлюдно, и на столиках алели свежие астры.

Через час Сыромуков приблизительно знал, какой формы и цвета будет там у них аппарат стопорения времени — вроде портсигара из какого-нибудь лунно мерцающего невесомого сплава, а кнопка — они назовут ее как-нибудь иначе, таинственней и торжественней — будет, наверно, рдяно-багряная, как человеческая кровь. Впрочем, цвет этот тревожный, и они не захотят его. Кнопка, надо полагать, будет лазурной или зеленой. Аппарат сохраняется на груди, как носили когда-то верующие ладанку, и когда человеку понадобится, когда ему станет в какое-то мгновение до сладкого изнурения хорошо и радостно жить, он дотронется до кнопки, и мгновение остановится. «Да, им, будущим, не понадобятся на костюмах гарусные петухи для бодрости,— с жадной завистью подумал Сыромуков,— но что они будут говорить о нас, господи! Неужели станут стыдиться, как стыжусь я сам Смутного времени, Малюты Скуратова, Гришки Отрепьева — да мало ли! Но Куликовская битва, но Бородино, но полковник Пестель, дворцы Варфоломея Растрелли, разгром фашизма, полет Гагарина... Нет, черт вас там подери со своими аппаратами времени, нет! Вы только тем и будете знамениты, что мы жили на земле раньше вас и доводимся вам родней!»

— Понесся! — усмехнулся над собой Сыромуков,— а Денису удивляешься, что на уроках, забывшись, он

выхватывает деревянный пистолет и пуфпукает под ноги учителю!..

К гроту возвращаться не хотелось — лучше было «не помнить» о решетке и не думать ничего тревожного о точильщике, если его не окажется на своем месте. Курить бы тоже не следовало, чтобы подольше сохранить в себе ощущение чистоты и здоровья: сердце билось ровно и только чуть-чуть учащенно, но одна сигарета, подумал Сыромуков, ничего не будет значить, поскольку она с фильтром. Он пошел к своему санаторию кружным путем, мимо «Храма воздуха», и те курортники, что встречались ему, взглядывали на него любопытно и весело — напуск берета, наверно, потешал, но поправлять его не тянуло. Было по-летнему тепло, почти знойно. В горах миражно дрожал и струился разогретый воздух, и высоко над котловиной города трепыхалась большая стая голубей. Все это хотелось задержать в мире и в самом себе. Хотя бы на полдня или в крайнем случае часа на три... Но как же я узнаю, спохватился Сыромуков, что должно было быть вслед за этим! Я, скажем, застопорюсь, а на эти мертвые для меня мгновения жизнью, возможно, намечалось еще лучшее! Выходит, что я в таком случае лишусь его? Нет, это не годится! Аппарат времени не нужен! С ним можно уготовить для себя черт знает какие необратимые утраты! Надо, чтобы всегда, каждую секунду человек ждал и хотел прихода нового. Недаром ведь кто-то из великих писателей сказал, что день опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня...

Сыромуков помнил и конец этой краткой благодарственной молитвы в честь жизни: где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века пустынных горах, но цитировать его не стал. Он оглядел Машук и Бештау и решил, что вторая сигарета так же не повредит ему, если курить вползатяжки. День сулил так и пробыть до вечера, каким зародился — сизо-розовым по окраске и пасхальным по незримому в нем торжеству. Идти в гору было легко, потому что приходилось то и дело останавливаться и затаиваться: в притропных кустах боярышника копошились и флейтисто свистели какие-то продолговатые черные птицы — обклевывали ягоды, и Сыромуков по-

пробовал ягоды тоже и убедился, что это сладко. На площадке перед санаторием несколько курортников состязались в меткости забросов резиновых колец — их надо было метров с двадцати накинуть на деревянные штыри в квадратном щите, помеченном цифрами-очками. Когда Сыромуков вышел к площадке, кольца кидала пожилая коренастая женщина в белой курортной фуражке и синем тренинге, и то, как она наторело, сноровисто сажала и сажала кольца на один и тот же кляп, как в момент броска по-девчоночьи тоненько вскрикивала, взбрыкивая короткой толстой ногой и крутым вздорным задом, возмутило Сыромукова. Он тут же подумал, что своей надменной походкой и беретом сам он также, наверно, способен вызвать протестующее чувство в другом, но это не погасило в нем странного и неосуществимого желания: подойти и шлепнуть ладонью по курдюку разрезвившейся старухи, чтобы не дурила!

В гардеробной не оказалось ключа от палаты, а это могло означать, что появился сожитель. Сыромуков заклинающе попросил судьбу, чтобы она послала кого угодно, только не инвалида с протезом ноги,— тогда все двадцать пять суток превратятся тут в пытку виноватого сопереживания чужой давней боли и чужой физической неполноценности: ведь кровати стоят почти смежно, и каждую ночь протез тоже будет *стоять* рядом.

Ключ торчал в двери. Сыромуков постоял, прислушиваясь к шорохам в палате, и, когда ему почудился там аритмичный кожаный скрип, постучал в дверь.

— Войдите, пожалуйста,— слабо сказали за ней. Да, конечно. Интеллигентный инвалид. Такие всегда вежливы и просветленно печальны. Отселиться будет невозможно, не нанеся ему травмы, подумал Сыромуков, и, значит, придется уезжать раньше. Впрочем, сейчас все выяснится, только надо войти поприветней для него. В сущности, ты ведь сам тоже инвалид... В палате пахло одеколоном и каким-то грустным черемушным ароматом, и у зеркала, лицом к двери, стоял на своих собственных ногах опрятный поджарый старик с белым наивным лицом. Он с робким интересом смотрел на Сыромукова, загодя готовя правую руку, и Сыромуко-

ков с благодарной радушностью пожал ее, назвав свое имя и отчество.

— А меня зовут Павел Петрович Яночкин,— представился сожитель.— Вы давно уже здесь?

Сыромуков сказал.

— Ну, значит, и уедем разом. Поездом прибыли?

— Летел. А вы?

— Я, знаете, сплоховал. Угодил в купе с пьяницами. И от самой Москвы дым, крик, матерщина. Вы, извините, тоже курите?

— Изредка. Не переносите никотин?

— Терпеть не могу, хвораю тогда,— жалобно сказал старик. Глаза у него были младенчески синие и просящие. Сыромуков готовно пообещал, что курить в палате не будет. Сожитель понравился ему. Он, оказывается, не против коньячку и сухого винца, если под культурный разговор, но вот курить не надо бы.

— Договорились, Павел Петрович, все будет в порядке,— сказал Сыромуков,— но вы тоже примите на себя одно джентльменское обязательство, согласны?

— Пожалуйста, Родион Богданович. Какое?

— Не приводить в палату после своей шестой нарзанной ванны женщин и не укладываться с ними на мою кровать.

— Ах, чтоб тебе пусто было! — восхитился сожитель.— Не-ет, я, брат, на эти дела уже не гожусь. Зубы не те. Это тебе, молодому, одно на уме. Да я мешать не буду, я люблю побыть на воздухе, так что не беспокойся.

Сыромуков прикинул, сколько могло стукнуть Петровичу,— не больше, наверно, шестидесяти, и решил, что разница в двенадцать лет предоставляет тому привилегию обращаться к нему на «ты».

Как все безотцовцы, Сыромуков с детства был стыдливо застенчив в незнакомой ему среде. Он тогда — особенно на первых порах — замыкался и каменел в неприступной самозащитной позе, духовно напрягаясь почти до физического страдания, вызывая ответную неприязнь и отпугивая от себя прежде всего простых и общительных людей. Он знал за собой этот не истребленный возрастом ребяческий недостаток, граничащий с пороком, но ничего не мог с ним поделать. Временно избавившись от трудной для себя цере-

монии не постепенного, а одновременного знакомства с дружным, как это представлялось, коллективом стола, когда Сыромуков под милосердным для себя предлогом не пошел ни вечером, ни утром в столовую, он перед самым обедом внезапно осознал неотложную необходимость положить деньги в сберегательную кассу. Еще в кафе, лишь только официантка принесла в графинчике коньяк и в его смугло пламенеющем настое Сыромуков увидел свое далекое отражение, ему пришлось пережить минутное чувство щемящей вины перед Денисом: там дождь, уроки, тоска по отцу, а тут цветы, коньяк спозаранку и двести десять рублей, неизвестно для чего взятые из дому! Тогда и было решено спрятать куда-нибудь подальше от себя полтораста рублей, чтоб привезти их назад. От этой утешной мысли на душе сразу полегчало и о деньгах забылось, но теперь вспомнилось снова и очень кстати,— в столовую можно будет пойти к концу обеда.

Оказия с вкладом оказалась не такой уже затяжной, как хотелось бы Сыромукову,— сберкасса находилась на территории санатория в здании почтового отделения, и перед окошком кассы стояли всего лишь два человека — мужчина в коверкотовом костюме и кожаной кепочке с пуговкой на макушке и рыжая девица с добрым счастливым лицом. Они считали деньги в помятых трояках, пятерках и десятках, которые мужчина доставал из кармана пиджака и брюк небольшими порциями. Он добудет, а она пересчитает и отложит в сторонку. Тогда он снова слазит в карман, и она опять пересчитает.

— Ну вот! Я говорю, гитару, мол, тебе! Все равно достану путевку раньше, ага, а он мне сызнова свое! — во весь голос, будто они были тут вдвоем, говорил мужчина, а девица неловко и блаженно смеялась, не прерывая счета. Сыромуков сиротливо следил, как постепенно росла и росла на подоконнике сберкассы стопка разноцветных замусоленных бумажек, и было непонятно, что источало противно-сытый припах ворвани — то ли руки мужчины с глянцевито-мазутными каемками под ногтями пальцев, то ли его кепочка, то ли деньги. Свои три новые пятидесятки он подал в окошко независимым жестом состоятельного человека, который знает по опыту, что на курортах удобнее

оставлять при себе побольше мелких, а не крупных денег, так как в этом случае высвобождается драгоценное время при различных там мелочных тратах. По-видимому, операторша сберкассы разделяла это правило солидных людей, потому что, заполнив книжку, пожелала вкладчику всего хорошего.

В столовой уже схлынул активный эшелон обедающих, и за столами разреженно сидели припоздавшие. Еще от дверей Сыромуков увидел и узнал метательницу колец — она занимала место у третьего стола самого уютного приоконного ряда, и в силу того необъяснимого закона, по которому Сыромукова при любом дележе всегда доставалось наиболее нежелательное, он разоренно подумал, что его непременно определят за этот стол. Он сдал свой прикрепительный талон диетсестре, и она указала ему третий стол у окна и назвала номер салфетки — тоже третий. Сыромуков покорно поблагодарил. На метательнице колец была все та же белая фуражечка и синий тренинг. Она сидела по-мужски, завалясь на спинку стула, широко и вольно расставив ноги. Сыромуков с поклоном поздоровался и сел на свое место.

— Новый?

— Простите? — сказал Сыромуков, хотя вопрос расслышал.

— Откудова?

— Я из Прибалтики. А вы?

— Из Риги, что ль?

— Нет,— сказал Сыромуков и назвал город.

— А-а!

По тону это походило на «нелегкая вас носит сюда»! Сыромуков взял со стола свою салфетку и, умышленно критически осмотрев ее, бросил на место — это должно было означать, что салфетка могла быть свежее. Такой, к каким он привык в Прибалтике, черт возьми! Соседка не обратила внимания на этот его жест, которым он надеялся создать для себя силовое поле защиты, и вызов не достиг цели. Тогда Сыромуков подумал, что он просто-напросто теряет чувство юмора, что тут надо быть снисходительней и терпеливей.

— Вы, наверно, давно уже здесь? — дружелюбно предположил он.

— Сколько мне надо.

— Извините,— четко сказал Сыромуков. К столу, толкая впереди себя двухэтажную тележку, заставленную тарелками, подошла официантка. Она заморенно осведомилась у женщины, что та заказывала на обед, а перед Сыромуковым поставила вегетарианский суп, котлеты и компот.

— А завтра уже по заказу будете,— сказала она ему.— Завтрак у нас начинается...

— Погоди, это ты подавала мне утром?— перебила метательница. Официантка спрятала руки под передник и повинно призналась.

— Да. Что-нибудь не так? А почему ж я тебя не узнала? Ты похожа на эту нашу вторую, как ее...

— На Клаву? Нет, Клава же блондинка. А я Вера.

Она успокоенно и коротко вздохнула, а Сыромуков в упор взглянул на свою соседку. У нее были черные стоячие глаза и крепкое дубленое лицо монгольского типа. Она сидела в прежней бесконтрольной позе, и Сыромуков почувствовал, как в нем снова зарождается и нарастает смутная неприязнь к этой женщине, по всей вероятности его ровеснице. Кто она? Буфетчица? Кассирша универмага? Или просто чья-то жена? Впрочем, судя по управлению моторикой своей речи, она скорей всего какая-нибудь начальница на небольшом пространстве — заведующая, например, пошивочной мастерской или дамской парикмахерской. Этакая торжествующая саламандра, подумал он, и в это время соседка басом объявила официантке Вере, что на первое у нее заказаны щи с яйцами. Сыромуков откусил большую долю хлеба и наклонился над тарелкой. Ему удалось скрыть лицо, но полностью подавить приступ шального смеха он не смог. Корчась и вздрагивая, он все ниже и ниже склонялся к столу, и все могло кончиться непристойным прысканьем, если бы метательница не спросила подозрительно, что с ним.

— Зуб,— задушенно сказал Сыромуков.— Извините ради бога.

Ему едва ли поверили, потому что сочувствия не последовало.

В вестибюле Сыромукова караулила малютка, и по тому, как она чопорно двинулась к нему навстречу, близоруко щурясь и странно неся впереди себя опу-

щенные руки, он понял, что ее с самого утра угнетает сознание невозвращенного долга. Сейчас отдаст два рубля, подумал Сыромуков, и отсчитывать ей тут полтинник сдачи будет немыслимо — оскорбится. Он сострадательно заметил, что ей трудно держать так, впереди себя, руки, что каблуки ее кукольных лакированных туфель непомерно высоки и неустойчивы, а гофрированная юбка чересчур и умышленно коротка, икры ног у малышки были красиво выпуклы и упруги. Она вышагивала серьезно и строго, глядя поверх головы Сыромукова, и он еще издали преувеличенно дружески спросил, как ее дела.

— Благодарю вас, у меня все хорошо,— важно сказала она и, подойдя, протянула два рубля, сложенные вчетверо,— хранила в кулачке.— Спасибо, что выручили. Я во время завтрака искала вас, но не нашла.

— Да ведь не к спеху,— возразил Сыромуков. Рубли были теплые и волглые, и он поспешно сунул их в карман.— Сдачи не ждите. Засчитано в проценты.

— Ладно, наживайтесь,— произнесла она низким детским голосом и улыбнулась коротко и мелко, скрывая попорченные зубы. Сыромукову захотелось сказать ей что-нибудь ободряющее, чтобы это прозвучало шутливо и утешительно, а не отечески снисходительно, но ничего такого не придумалось. Она осторожно и чинно ступала рядом с ним по скользкому паркету, набираясь решимости для какого-то нужного, видать, для нее вопроса, и он вспомнил, что отрекомендовался ей художником. Сейчас она признается, что тоже художница, решил он. Да и почему бы ей не писать? Акварельки, например? Идти рядом с ней было неудобно — приходилось ступать семеняще, подлаживаясь под ее шаги, и жило опасение, что она вот-вот поскользнется. Беспокоил и ее серебряный цилиндрик, надетый высоко и прямо и непонятно каким чудом державшийся на голове: его непременно надо будет подхватить рукой, если малышка вздумает взглянуть на собеседника.

— Скажите, а вы тоже москвич? — минорно спросила она в пространство, глядя перед собой, и, когда Сыромуков ответил отрицательно, почти торжественно заявила: — Я так и подумала, что вы нерусский!

— Да нет, я коренной кацап: только живу в Прибалтике,— сказал Сыромуков. Девушка исподволь посмотрела на него, и Сыромуков почувствовал себя так, словно отказал бедняку в помощи. Она, вероятно, читала или знала понаслышке, что прибалты отличаются высокой степенью уважения к женщине, что им свойственна субтильность в обхождении и они скорее извинят ей хромоту, чем вывих души. «Это, конечно, что-нибудь да значит для особы с комплексом физической неполноценности, не лгать же мне, что я латыш или литовец»,— подумал Сыромуков. Сам он тоже не шибко обожал москвичей — те обычно попадались ему нагловато уверенные от суетного сознания своей столичности и решительно все на свете знающие и не умеющие слушать собеседника. Это в них раздражало, но личной обиды не причиняло. Здесь же, по всей видимости, был особый, немного грустный и комичный случай, как в старинной притче о старухе, которая всю жизнь обижалась на Новгород, а он и не знал об этом.

Они вышли на волю. Сыромуков надел берет — с гор подувал сухой теплый ветер, грозивший разорить его начес. Малютка тоже накинула на плечики шелковую косынку и стала еще приземистей. Она спросила, в какой стороне «Седло», и Сыромуков показал.

— А «Красное солнышко»?

— Вон там. Хотите пройти?

— Нет, я ведь здесь впервые,— сиротски ответила она. Сыромуков неуверенно сказал, что может составить ей компанию. Она распевно поблагодарила... Было жарко. Асфальт терренкура, ведшего в горы, размяк под солнцем, и каблуки туфель спутницы увязали в гудроне. Ее следовало взять под руку, но Сыромуков не решился на это, так как плечо малютки, рассчитал он, окажется тогда прямо у него под локтем и придется идти перекосясь. Наверно, со стороны они выглядели карикатурной парой, так как все обгонявшие их курортники, шедшие в одиночку или группами, любопытно оглядывались на них, а встречные, сходясь с ними, замедляли шаги и даже приостанавливались. Сыромуков, не желая того сам, все дальше и дальше отстранялся от спутницы, примеривая, за кого она сходит при нем на взгляд этих людей,— конечно же, не за дочку! Выручило его сердце. Когда он вскинул к голо-

ве руки и стал глотать воздух, малютка вскрикнула, но он взглядом приказал ей замолчать и помочь ему дойти до скамейки у поворота терренкура. Она торкнулась к нему под мышку, и они пошли, мешая ступать друг другу, и тоскливый страх, как всегда захлестнувший сознание Сыромукова, все же позволил ему удивленно отметить, что его поводырь крепко устойчив и женственно гибок. На скамейке — и опять с зверушачьей понятливостью — малютка догадалась по взгляду Сыромукова, что нужно достать из его внутреннего кармана лекарство, и сначала ей попались соловьи, а потом только стеклянная гильза с нитроглицерином.

— Ну вот и все,— немного погодя сказал Сыромуков.— Сейчас двинемся дальше.

— Никуда мы не двинемся. Это совсем глупо! — сказала малютка.

— Что глупо? — не понял Сыромуков.

— То, что вы пошли в гору с больным сердцем.

— А оно не верит в это. И вообще оно у меня не больное,— сказал Сыромуков. Ему было теперь покойно, ото всего свободно и просто.— Как вас величают? — спросил он.

— Лара Георгиевна Пекарская. А ва-ас?

Он назвался.

— Ну и зачем вы пошли?

— Так мне вздумалось, Лара Георгиевна.

— Пожалели меня?

— Не понял вас,— солгал Сыромуков.

— Не лукавьте.

— В мои годы лукавить с девушками грешно. Хотите, подарю вам соловья? В него надо залить воду и подуть вот сюда. Тогда он начинает петь.

— Да-а? Спасибо. А вам не жалко будет?

— Нет, Денису хватит одного.

— А кто это?

— Мой сын.

— Он маленький?

— Ростом? С меня.

— Денис,— протяжно произнесла она.— Слишком старинное имя выбрали вы своему сыну. Это, наверно, ваш художественный поклон исконной России издали, да?

— Может быть,— неохотно сказал Сыромуков.— Так звали одного сказочного старика в селе, где я родился... Между прочим, сам я архитектор, а не художник.

— А что вы строите?

— Крупнопанельные коробки. Я работаю на опорно-показательном домостроительном комбинате.

Он тут же пожалел, что не смог сладить с ноткой жалобы, которая пробилась в его голосе. Малютка пытливо посмотрела на него и как бы утешающе сказала:

— Но в вашей работе тоже ведь должны проявляться лучшие свойства человеческой души. Я имею в виду широту мысли, смелость, пафос.

— Конечно,— осторожно согласился Сыромуков. Было небезопасно слышать от нее такие монументальные слова — маленькие всегда бывают помешаны на грандиозном, и это делает их смешными.

— Тогда почему же вы как будто недовольны своей профессией?

— Не профессией. Собой,— досадливо получилось у Сыромукова.— О таких, как я, говорят обычно, что они всюду совались, а нет нигде...

— Это печально. Но такому человеку может мешать лишь единственное — он, очевидно, обнаруживает претензии, чуждые его специальному назначению, а это называется витать в облаках.

— И только? — оторопело спросил Сыромуков.

— Нет. В ином, лучшем для него, случае ему, значит, не хватает энергии и бойцовских качеств.

— Очень, простите, книжно,— сухо сказал Сыромуков.

— Вы не признаете за книгами мудрости?

— Смотря за какими. За современной беллетристикой — нет.

— Любопытно, почему?

— Трудно ответить. Возможно, дело в том, что большинство нынешних писателей представляются мне чересчур резвыми и здоровыми, извините, мужиками, и поэтому чужая человеческая жизнь в их сочинениях похожа не на кардиограмму сердца, а на прямой вороненый штык.

— Не понимаю, при чем тут физическое состояние автора той или иной книги,— сдержанно возразила ма-

лютка.— Речь может идти только о степени его талантливости. Вы не согласны со мной?

— Не берусь спорить. Тем более, что сейчас, насколько я могу судить, во всем мире охотно читаются только те книги, которые противоречат жизненной правде,— сказал Сыромуков.

Лара Георгиевна натяжно подумала и несмело заметила, что жизненная правда временами кажется слишком грубой, и читатель, естественно, тянется к красивой сказке, к возвышающему его обману. Что же в этом плохого? Сыромуков молча повозился на скамейке. Он только что убедился в полном забвении имени собеседницы и теперь не знал, как быть. Не представляться же друг другу снова? Да и на кой черт, решил он и достал сигарету.

— Вам же, наверно, вредно курить, Родион Богданович,— сказала Лара Георгиевна, и Сыромуков немного помедлил со спичкой — ему вдруг захотелось, чтобы у него взяли и отобрали сигарету. По каким-то потайным тропам к нему неизвестно почему прихлынула живая, как боль, тоска по Денису, и он подумал, что не вынесет тут месяца без него. Да и зачем это надо? Он докурил сигарету и, будто вспомнив о чем-то важном и неотложном, предложил спутнице вернуться в санаторий.

Домой манило с такой силой, словно все там горело и гибло. Так всегда бывало в первые дни, куда бы Сыромуков ни уезжал надолго, и он знал, что если возвратиться досрочно, то дома наступит тягостная тоска по неизжитому и оставленному на стороне. Эта несчастная привычка к самогонимости осталась в нем с детства. Тогда он частенько убегал из школы домой, а найдя все прежнее в хате, стремился очутиться в ином месте — мать не могла объяснить ему, что значили слова «чужак» и «подкрапивник», которыми обзывали его не только ровесники в школе, но и взрослые на селе, и только советовала обходить злых людей стороной. Особенно трудно жилось веснами. В эту пору скрыться от людей было почти некуда, а в хате не сиделось, потому что тогда становилось почему-то всего-всего жалко, что оставалось без тебя поодаль: чиби-

сок на лугу в низине и сипящих грачинят в пегой березовой роще на бугре, одинокого серебряного ветряка в поле за выгоном и сизой кудлатой ракиты в овраге над речкой; и надо было побыть возле церкви, где заезжие с чужой стороны — и потому хорошие люди — устанавливали карусели к празднику, и хотелось в то же время увидеть свое отражение в гулко погибельной глубине колодезя, и быть еще там и там, но раз ты будешь там, то тебя не окажется тут, и с этим невозможно было смириться. Позже, в студенческие годы, бега-погони к «ветрякам-лугам-ракитам» прекратились сами собой — этого просто не стало рядом, но вместо них явилось новое — еще не изведанная даль. Ему казалось, что не только за горизонтом, но в любом соседнем квартале люди живут в какой-то загадочной любви и радости друг к другу, и его непреодолимо влекло туда. Жить и учиться с такой непоседливостью становилось все трудней и трудней, это перерастало в недуг, и тогда ему попалась повесть Стефана Цвейга о гонимом человеке. Устрашась, что он тоже может стать амоком — ну пусть не совсем, а лишь наполовину,— он напряг всю свою волю, чтобы оставаться там, где был. Помогла ему в то время и вычитанная где-то французская пословица, что если нельзя иметь того, что любишь, то надобно любить то, что имеешь, а вскоре разразилась война, потом наступил мир, и со временем опасение завязки в нем чудной и жуткой болезни полностью забылось, но недавно он открыл, что в минувшую зиму Денис не раз и не два заявлялся домой в большие перемены,— «забывал ребенок учебники,— сказала бабуся,— а ей наказывал, чтобы не проговорилась отцу. Ну она и... молчала. Какая ж тут оказия?» Он, наверно, успевал к началу следующего урока, так как школа находилась рядом, но дело заключалось не в этом, а в том, что Денис, стало быть, бегал по его «тропинкам». Если даже не считать это в мальчике родовым пороком, все равно ему грозила большая беда впоследствии — отторженность от людей, а от них прячутся обычно по двум причинам: когда ты стыдишься себя или когда убежден, что ты лучший среди равных. Как правило, ко второму выводу приходят от первого, иначе такому беглецу не за что будет держаться в жизни, и тогда он становится изгоем. А в одиночестве че-

ловек неизбежно приходит к ожесточенному убеждению, что отречение от обиходных коллективных правил требует от индивида мужества и моральной красоты, что опустошенность не что иное, как одна из стадий нравственного развития, и что настоящий мужчина должен идти против течения. Рыцарски? Еще бы! Но с высоты своих злых и горьких лет Сыромуков не мог пожелать всего этого Денису, ибо за всем этим непременно будет скрываться его полнейшая беспомощность в практических делах. Было очевидно, что Дениса что-то угнетало в нем самом или же он подвергался насмешкам и оскорблениям в школе. Но каким и за что? За инфантильность? За то, что он застенчив и робок? Что его бросила мать? Все может быть. Расспрашивать об этом сына в упор Сыромуков не решился, это значило бы увеличить в его глазах значение того, что заставляло мальчика страдать втихомолку, и Сыромуков ограничился внушением ему ветхой истины, что все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Под этим подразумевалась необходимость воспитания в себе силы воли, самоотверженности и мужества, но Денису надо было еще как-то помочь создать новые связи с ровесниками, научить его преображать в дружбу свои повседневные отношения с ними. Но как помочь? Чем? Примеры из личного жизненного опыта здесь не годились — пришлось бы лгать, потому что не то было время и не те требования предъявляло оно своим ровесникам, а Сыромуков хотел, чтобы в Денисе уживались такие разнородные достоинства, как независимость и чуткость, убежденность и склонность к сомнениям, упорство и нежность, правдивость и деликатность, непримиримость и милосердие. Да мало ли! Возможно, что все так и сбудется — время само поможет потом Денису, а сейчас нельзя поощрять его к легкомысленности и нетерпению сердца, нельзя возвращаться до истечения срока путевки, хотя домой манило так, будто все там проваливалось в тартарары...

Когда Сыромукову приходилось отказываться от своей мечты, он становился беспомощным и сам себе жалким. Тогда в его мозгу начинала назойливо звучать какая-то похоронно-баюкающая мелодия под бессмысленные и немые слова: туторки-муторки, туторки-матуторки. Под эту мелодию надо было ходить взад и впе-

ред на небольшом пространстве, равном комнатному, и напев в конце концов забывался, вытесненный какой-нибудь грезой или воспоминанием. В вестибюле санатория было слишком просторно и пустынно: длились послеобеденные тихие часы, и Сыромуков вспомнил о гроте и пошел в город, но точильщика там не было...

Он поужинал в том же самом кафе — хотелось, чтобы вечер дня хоть чем-нибудь был похож на утро.

В широкой новой пижаме Яночкин навзничь лежал в своей постели, благостный и смиренно ясный, ожидающий чего-то радостного для себя. Затененный абажуром свет ночника на его тумбочке лампадно озарял палату, храня в углах покойный полумрак. Сыромуков бесшумно запер за собой дверь и полушепотом поприветствовал Яночкина с добрым вечером.

— Управился? — исповедующе спросил его тот.

— Прожил день, — меланхолично сказал Сыромуков.

— И как? Успешно?

— В общем, благополучно. А как вы?

— Видел тебя днем. Ви-идел, брат! Думаешь, не коротковата для твоего роста? Она ж тебе до пупка!

Яночкин смеялся дробным горошковым рассыпом, и было неприятно видеть, как противоестественно сладко жмурились у него глаза. Сыромуков без укора сказал ему, что он, оказывается, озорник, и стал раздеваться. Вообще-то все было в норме — повод к этим неожиданным вечерним пошлостям подал Яночкину он сам, когда говорил ему утром о шестой ванне.

— Что слышно, Павел Петрович, на нашем лечебном фронте? — немного неприязненно спросил он, расстегивая пиджак на вешалке, — у них еще было время расставить себя по своим местам. Яночкин, подождав, ответил, что принесли квитки на завтрашний врачебный прием и посуду под анализы.

— Я уже заполнил свою, — сообщил он. Сыромуков сдержанно сказал: «На здоровье» — и пошел в ванную, но теплой воды не было, и красный кран фыркал всухую. Яночкин не знал, когда она кончилась. Он по-прежнему блаженно лежал в своей большой ку-

рортной кровати, сине блестя разгулявшимися детскими глазами, и Сыромукову почему-то уютно подумалось, что этому человеку, вероятно, никогда не грозила какая-нибудь серьезная опасность в жизни и что он, слава богу, до сих пор, как видно, не помышляет о смерти.

— Хорошо жить, правда, Петрович? — страстно сказал Сыромуков. Яночкин ответил, что в последнее время он почти каждый год ездит на курорты, но здесь впервые. Надо сначала оглядеться, а потом решать, хорошо тут или плохо.

— Да, конечно,— кивнул Сыромуков. Он достал из тумбочки одеколон и смочил лицо.

— Слушай, Богданыч,— позвал Яночкин, повернувшись на бок,— я вот все ломаю и ломаю голову, кто ты будешь по занятию.

— И что, определили? — без интереса спросил Сыромуков.

— Сейчас скажу... Ты скорей всего спортсмен. Или артист. Угадал?

— Нет,— сухо ответил Сыромуков.— Я, к сожалению, всего-навсего так называемый зодчий. Так что, как говорится в миру, кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево.

— А-а?

— В том-то и дело. Будем спать?

— Как хочешь... Рановато вроде,— неопределенно сказал Яночкин. Он, повозясь, потушил лампу, и тогда Сыромуков подсунул под свою подушку валидол и нитроглицерин. В наступившем сумраке стало как будто бы прохладней, и казалось, что расстояние между кроватями увеличилось вдвое. Окна приходились в ногах кроватей. Они остались незашторенными, и через их верхушки были видны большие надгорные звезды с густыми и резкими пучками лучей. Яночкин пару раз протяжно вздохнул, и Сыромуков, спохватясь, пожелал ему спокойной ночи.

— Не спишь? — подал голос Яночкин.

— Собираюсь,— сказал Сыромуков.

— А отчего ж Луна не сохранила свою атмосферу?

— Да ведь неизвестно, была ли она там?

— Ну, а если перебросить туда излишки кислорода от нас?

— В баллонах?

— А как угодно, об этом пускай ученые думают.

— И воду тоже?

— Нет. Раз там будет воздух, то появятся тучи, пойдут дожди и накопится вода!

— В самом деле? — удивился Сыромуков. — А зачем это нужно?

— Чтоб американцев опередить. Тут, брат, вопрос политики. Надо глядеть вперед, понял?

— Не совсем, — мягко сказал Сыромуков, — я, Петрович, житель Земли, и поэтому меня в первую очередь интересуют местные, а не космические проблемы, Политика же — штука деликатная, и заниматься ею поголовно всем нельзя.

— Это почему?

— Потому что она способна помешать простому человеку делать то, что он должен делать. Я хочу сказать, что кому-то надо уметь шить штаны, рыть уголь, понимаете?

Яночкин скучно заметил, что это неправильное рассуждение, и замолк.

Оттого, что засыпать стало с некоторых пор опасно и трудно из-за внезапных тогда и не поддающихся словесному объяснению взрывов ужаса в теле, Сыромуков приучил разум уводить себя на безоглядно далекие прогулки в прошлое. Для этого лучше всего подходило детство с одним и тем же, не то выдуманным, не то существовавшим когда-то в самом деле громадным розово-сияющим летним днем, и, несмотря на то, что все в нем уже было изжито и исхожено, все равно в него надо и надо было идти снова: тогда с сердцем ничего не случалось и сон наступал незаметно. Такие путешествия надлежало совершать с закрытыми глазами — в темноте больше почему-то виделось, и надо было держать левую руку на груди, а правую под головой, над тем местом подушки, где обычно лежало лекарство. Он был давно уже в дороге, и память его уже туманилась, скользя к грани забытья, когда Яночкин клекотно поперхнулся и дыхание его оборвалось. Сыромуков открыл глаза и прислушался к тому, как по-мертвому тягостно цепенеет тишина у кровати Яночкина

и как бурно колотится у него самого сердце, справляясь с внезапностью яви. Имя и фамилию Яночкина он забыл, упомнив лишь отчество, но окликать так окороченно человека, который, возможно, умер, казалось кощунственным.

— Яков Петрович! Алло! — позвал Сыромуков. Яночкин шумно выдохнул ртом воздух, но не проснулся. Он, оказывается, был храпуном — не мирным, не носовым, а глубинно горловым, когда спазматически прерывистое дыхание спящего напоминает хрипение удавленника. Сыромуков некоторое время отдыхающе лежал, глядя на синий квадрат окна. Яночкин спал, и было безнадежно ясно, что никакое усилие воли не поможет «не слышать» его тяжелый храп. Звезды за окнами зрели и лучились. Изредка они срывались и неслись по небу, прочерчивая мгновенно гаснущие огненные полосы. Сыромуков попытался удивиться грандиозности световых тысячелетий, прошедших с момента гибели этих звезд, но Яночкин снова затих, захлебнувшись, и надо было напряженно ждать и надеяться, что дыхание у него возобновится. Чтобы облегчить гнет таких пауз, Сыромуков сам начинал дышать глубоко и редко, сознавая в беспомощной отчаянности, как растет в нем невольная мстительная враждебность к сожителю. Паузы неизменно сменялись благополучно-прорывным всхрапом, и тогда возмездно хотелось верить, что Яночкин храпит лишь потому, что с вечера не проникся мыслью об ответственности своего поведения во сне — его ведь занимала идея переброски воздуха на Луну, и поэтому в подсознание не поступило никакого предупреждающего сигнала! Старый чубук!.. Вообще храпу подвержены чаще всего эгоисты с безмятежной судьбой и нерастраченным здоровьем. Они храпят от телесного удовольствия, а не оттого, что им снятся кошмары... Кстати, у него какие-то поддельные глаза. Слишком наивно тихие и в то же время внимательные, как у снайпера... Его все же надо, наверно, разбудить. Вежливо, конечно. Мол, повернитесь на бочок... И минуту спустя он захрапит с новой силой. Что тогда? Еще раз растолкать? Дескать, извольте теперь лечь на спинку?! Если бы он был моложе. Или хотя бы ровесником. Тогда все было бы проще. Какого, мол, дьявола! Веди себя прилично! А сейчас... Даже имя его

запамятовалось, и «Якова» он воспримет за насмешку или пренебрежение... Собственно, а в чем дело? Ну и пусть себе захлебывается! Чем ему это грозит!.. То есть как чем? Он же не дышит, поди, по четыре минуты! С ума можно сойти!..

Сыромуков свесил руку и нащупал возле кровати свой башмак — легкий, поношенный, с металлическим косячком на каблуке. На пятом хлопке им по паркету Яночкин обрел дыхание и заворочался, сладко почмокав языком. Он посапывал теперь покойно и ровно, а Сыромуков, высоко полулежа на подушке, бессмысленно смотрел на звезды и ждал его храпа. Спать не хотелось — веки не смежались, ломило в затылке, ныло сердце. Наконец Яночкин захрапел, и Сыромуков с злобной радостью подумал о себе, что, в сущности, он невропатическое ничтожество, лишенное всяческой способности к защите, и что Дениса ожидает в жизни то же самое: он никогда не сможет ответить хаму, шельме или дураку его же оружием — нахальством, притворством или угрозой! Ни силы, ни решимости! Что в этом ценного? Кому такое нужно?

— А какой это болван решил, что мы не нужны жизни? — нечаянно громко и властно сказал Сыромуков.— Почему же тогда ты, ты, а не кто-то другой командовал партизанским отрядом? Почему? Ну?

Он агрессивно посмотрел в сторону кровати Яночкина — там затих храп, и вдруг вспомнил имя его и фамилию. Яночкин приглушенно кашлянул, неслышно выпростался из-под одеяла и ныряющей походкой повлекся в туалет. То, что он не зажег ночник на своей тумбочке и не надел шлепанцы, что дверь в туалетную комнату отворил и прикрыл не рывком, а медлительным потягом, что, укрывшись за ней, долго и тихонько чюрюкал в унитаз, устыжающе подействовало на Сыромукова,— этот его «Яков», оказывается, был доступен чувству жертвенности и альтруизма.

«Вот так!» — мысленно сказал Сыромуков и подумал, что, наверно, невозможно ожесточаться против кого бы то ни было без раздражения самим собой. Да-да! Хочешь жить в ладу с собой, будь ласковей с другими. Ну хотя бы мягче, черт бы их побрал!.. Это же неверно, будто храпят одни лишь эгоисты и здоро-

вяки. Разве не может человек страдать какой-нибудь хронической болезнью носоглотки! Мало ли!..

Яночкин вернулся и лег так же крадучись и неслышно, и это увеличило у Сыромукова дозу доверчивости к нему, породившую надежду заснуть одновременно с ним,— надо было, только не мешкая и не отвлекаясь ничем побочным — звездами тоже,— отправиться в путь, в свое детство. Да-да... «Помнишь, с чего начался т о т день? — с каким-то счастливым полетным устремлением спросил себя Сыромуков.— Он начался с запаха меда от оранжевых чашек тыквенных пустоцветов. В них занято возились и туго гудели шмели, а подсолнухи стояли лицами в ту сторону, откуда приплывали изнурительно торжественные колокольные звоны, и на них сокровенно чисто и сладко сияла роса... На тебе тогда была новая розовая рубаха — мать сшила из своей кофточки, и ты хотел сделать дудку из стебля тыквенного листа, но каждый из них хранил в своем углублении выпукло круглую росяную каплю, отражавшую небо, колокольный звон, подсолнухи, тебя самого с ножиком в руках, лупастого и розового... Ты тогда не перенес бремени восторга от этого сияющего утра, обнял подсолнух и заревел в голос, а когда тебя отыскала мать, ты солгал ей, оклеветав шмеля... Шмеля... В школе потом ты выучил стихотворение про него. Он был черный, бархатный, с золотым оплечьем... Осенью он заснул на красной подушке увядшего татарника, а угрюмый ветер сдул его в бурьян... Золотого, сухого шмеля...»

Несмотря на то, что утро выдалось совершенным повторением вчерашнего утра — тот же натужно-призывный голубиный стон на карнизе под окном, такое же высокое синее небо и та же четкая близость Эльбруса,— Сыромуков, однако, встретил этот свой новый курортный день с подавленным и мрачным настроением. Было досадно и муторно от своих вчерашних побегов к гроту и в кафе, от того, как сдавал в сберкассе свои несчастные к р у п н ы е купюры, от ребячливого подарка глиняного соловья той коротышной девице. Все это представлялось теперь каким-то мусорным вздором, а не достойным поведением безнадежно

больного и пожилого — да, старого, давно уже старого! — человека, и здешняя погода казалась тоже несерьезной по времени года — она тут случайная, микрорайонная, а не природно законная, как везде!

Шел уже девятый час, когда он встал с кровати. Яночкин отсутствовал. Постель его была заправлена по-девичьи аккуратно и легкомысленно: с двусторонней складкой на покрывале и стоймя уложенной подушкой, вызывающей зудливое желание повалить ее и смять. Настроение окончательно испортили посудинки с экскрементами Яночкина, заботливо выставленные в туалетной комнате, прямо перед унитазом. Проделывать то же самое не только было противно, но казалось непристойным, и Сыромуков решил, что обойдется так, без анализов. Он находился в той полосе духовного самочувствия, когда с безоглядным упрямством хочется поступать наперекор самому себе, и поэтому надел тренинг, а ноги сунул в лосиные полутуфли-полутапочки, вполне годные, как он злорадно отметил, для покойника. Было заманчиво заявиться в таком костюме в столовую — чем он лучше или хуже других — но есть не хотелось: садиться за стол с живым впечатлением от усердия Яночкина в заботе о своем здоровье представлялось так же немыслимо, как закуривать, например, вблизи трубы действующего крематория.

На прием к врачу Сыромуков пошел на полчаса раньше назначенного срока, но у дверей кабинета уже скопилась мужская очередь, и он оказался восьмым. Это был пожилой и солидный народ с медалями и орденами, давно и бесповоротно, видать, уверовавший в уникальность своего застарелого недуга, что и позволяло каждому тут держаться с затаенным превосходством над соседом по очереди. Отправлявшийся в кабинет врача оставался там возмутительно долго, но, несмотря на это, среди ожидающих не было и намека на взаимное отчуждение или ропот. Сыромуков как притулился на стуле возле колонны, так и не шелохнулся там на протяжении полутора часов, — была какая-то расслабленная оцепенелость в теле и была смутная мешанина то смиренных, то непреклонных мыслей о тщете человеческой в смешном и жалком старании удержаться хотя бы за край жизни, когда она, грохочу-

щая и вечно юная, уносится прочь... Ему уже хотелось есть, и он тоскующе подумал, как хорошо было жить весь вчерашний день, и что сегодня можно будет снова сходить в кафе и выпить немного коньяку, рюмки две, в последний тут раз...

Врач, молодая женщина кавказского типа, сидела за столом, выложив на него руки, и смотрела в окно. Рот ее был полураскрыт, как у цыпленка в жару, и когда Сыромуков вошел и поздоровался, она насильным усталым движением убрала со стола руки, но сама еще несколько секунд продолжала следить за чем-то не то в горах, не то в небе.

— Вы, наверно, устали. Я могу прийти завтра,— сказал от дверей Сыромуков, успев подумать, что сам он ни при каких обстоятельствах не смог бы, будучи врачом, осматривать больных старух. По-видимому, врач превратно истолковала его сочувствие к себе, восприняв это за проявление недовольства оказанным приемом,— Сыромуков заметил, как в короткой страдальческой гримасе поджались у нее губы.

— Проходите и садитесь. Как ваша фамилия? — деловито спросила она. Сыромуков сказал. Они встретились взглядами, и он попытался улыбнуться в надежде вызвать к себе ее доверие. Глаза у нее были странные, редко попадающиеся — орехово-золотые и продолговатые, и когда Сыромуков извиняюще и беспомощно улыбнулся, в них отразилось недоумение пополам с тревогой. Чтобы погасить в себе нарастающее желание отпора,— «она, вероятно, считает меня тихим психом»,— Сыромуков летуче подумал, что ей совсем немудрено самой тут спятить, и опять улыбнулся конфузливо и виновато.

— На что жалуетесь? — недоступно спросила врач.

— Ни на что, доктор,— сказал Сыромуков.— Назначьте мне, пожалуйста, нарзанные ванны и циркулярный душ. Исследовать меня не обязательно.

— Даже так? А почему именно циркулярный душ? Вы лечились когда-нибудь физиотерапией?

— Нет, не лечился.

— Сколько вам лет?

— Пятьдесят! — с невольным вызовом ответил Сыромуков. Грузинка посмотрела в его курортную карту.

— Сорок восемь ведь? — полувопросительно сказала она.

— Какая разница!

— Раздевайтесь, товарищ Сыромякин. Вот там, — показала она на белую вешалку возле кушетки. Он подумал, что она умышленно исказила его фамилию, и когда стащил через голову тренинговую куртку, а затем и майку, когда увидел себя со стороны с дико всклокоченными волосами и оголившейся плешью, с запавшим плоским животом, конусно поросшим жесткой прямой щетиной, начинающей седеть, то не только не обиделся, но сам проникся к себе чувством отвращения и стыда. Под мысль «ну и черт со мной» он так добросовестно дышал и не дышал по приказанию врача, что голова начала туманно кружиться и была опасность не устоять на ногах. Осмотр затягивался. Надо было ложиться, вставать, упирать руки в бока и по-физзарядному, избегая глаз врача, приседать и выпрямляться, снова ложиться и опять вставать, и за все это время сердце ни разу не споткнулось и не подпрыгнуло, будто грузинка подменила его тут раз и навсегда. Сыромукову было противно ощущать и переносить едко-кислый запах собственного пота, выступившего в поросли живота, и казалось невероятным и противоестественным, чтобы эта красивая молодая женщина в элегантном тугом халате, пахнущем прохладной фиалковой чистотой, не испытывала к нему брезгливого отвращения.

Она долго заполняла «историю» его болезни. Писала она старенькой китайской ручкой, протекающей над пером, и поэтому указательный палец грациозно грозяще держала на отлете. Она не назначила ему ни нарзанных ванн, ни душа. Она сказала, что «все выяснится» после электрокардиограммы, рентгена и анализа крови, и Сыромуков не стал спрашивать, что должно выясниться.

Тут рухнула его надежда на постороннюю деликатную помощь в расселении с храпящим сожителем — Сыромуков был убежден, что грузинка отнесется к его просьбе как привередливому капризу, поскольку он уже требовал назначения себе водных процедур

без врачебного осмотра. Он вышел из кабинета с безрадостным самоутешением, что Яночкин храпит не умышленно и что с этим надо примириться до конца.

В палате было по-летнему знойно, хотя на раскрытых окнах полоскались и парусили белые шелковые шторы, за ними тек по-вчерашнему роскошный пестрый день, и из него доносились чьи-то голоса и смех, и где-то внизу, в городе, звучала музыка. Сыромуков снял с себя тренинг, умышленно взлохматив голову, и подошел к зеркалу. Оттуда на него надвинулся юношески стройный, но лысеющий тип с взыскующим взглядом полинявших глаз, в углах которых скопились гнусные беловатые сгустки, черт знает откуда там взявшиеся.

— Одёр,— тихо и горько сказал Сыромуков.— Одёр...

Он не увидел в своем отражении ни достоинства, ни уверенности, и ему захотелось еще раз, как бы уже посторонне, поприсутствовать на своем позоре там, в кабинете врача, но больше трех раз присесть и встать перед зеркалом он не смог,— до такой степени это выглядело отталкивающе и непереносимо. Были остры и жалки четко выпятившиеся кости ключиц, почти ребячья тонкая шея с кукишем адамова яблока, смуглые бородавки сосцов на неразвитой груди, удлиненный запалый живот в какой-то козлиной шерсти конусом. Всему этому никак не соответствовало настороженное выражение глаз, так как серьезность их в такой ситуации была до комичности смешной.

— Пшел вон! — вчуже от себя сказал он в зеркало, и в это время в палату без стука вошла уборщица. Она заботливо спросила, «чи это он не пописал и не покакал для анализов», и Сыромуков, загородив руками живот, трагически кивнул.

— Что ж так?

— Это мне не нужно,— тоже на полушепоте, в тон ей ответил Сыромуков.

— Та мене ж ругають за то, милой! Я ж и санитарки должность сполняю тут, чуешь?

Сыромуков беспомощно пообещал сделать все завтра утром, и хохлушка ласково сказала: «Ну то добречко». После ее ухода он принял душ и, когда одевался,

то в примирение с собой отметил, как долго все-таки служат ему носильные вещи — майки, рубашки, костюмы и даже ботинки. Лет по пять служат, и дело тут, конечно, не в аккуратности бедности, а в более достойной причине, как, например, легкость походки. Ему хотелось, чтобы это было именно так, а не иначе, и он подумал, что в войну на фронте в первую очередь погибали увальни, неряхи и растрепы. Поди объясни теперь кому-нибудь, почему так получалось, но он знал, как часто спасало его в бою сознание своей щегольской подтянутости и выправки,— это когда он помнил, а он ни при каких обстоятельствах не забывал о том, что на нем отлично сидят гимнастерка, брюки и шинель, в нарушение устава перешитые взводным солдатом-портным, что на ногах у него туго урезанные по икре сапоги и что он ладно затянут новой скрипящей и пахучей амуницией. Сознание этого не только сообщало телу ловкость, подвижность и быстроту находчивости, но странным образом вселяло в душу почти фатальную веру в неуязвимость: не могло, не могло того произойти, чтобы его убили!..

Он решил, что к зеркалу не стоит подходить близко, даже будучи одетым,— совсем другое дело встречаться со своим отражением издали, шагов за пять-шесть, когда ты в состоянии видеть себя в общем плане, а не в каких-то там крохоборных мелочах! Он спустился вниз и сдал гардеробщице ключ. До обеда оставалось еще около часа времени, и в вестибюле у столиков за колоннами шла грохотная игра в домино под победные клики «отдуплившихся» и негодующую ругань оставшихся «козлами». Приступ настиг его у выходных дверей, и он кинулся назад, к пальме возле окна. Там стоял шахматный столик с громадными самодельными фигурами, и возле него, скрытый пальмой, он проделал руками все те движения, что полагались в таких случаях, дождался притока воздуха в грудь и проглотил лекарство. Его никто тут не видел, и все же ему понадобилось какое-то время, чтобы с видом заинтересованного чем-то человека постоять у окна, хотя в нем ничего не виделось, кроме пустого неба. Желание идти в кафе пропало. Он сыграл сам с собой партию в шахматы, размышляя над тем, почему сердечники, когда им становится худо на улице, бессознатель-

но стремятся укрыться от людей в ближайшую подворотню или прижаться к витрине магазина. Дескать, стою и смотрю себе, и никого это не касается. Да и что им может помочь? Вот уже воистину, кто умирает в одиночку!

— ...Еще от дверей столовой Сыромуков заметил свою малютку, одиноко питавшуюся за столом в центре зала. Он тогда же посмотрел в сторону своего стола и увидел метательницу колец, сидевшую в позе Стеньки Разина в челне. Ему показалось, что при его появлении она презрительно фыркнула, и в пику ей, оскорбясь и внешне подтянувшись, он вскинул руку и помахал малютке приветственно и радушно. Та энергично покивала ему головой и тоже помахала ручкой. Сейчас она скажет «чао», неспокойно подумал Сыромуков. Он молча поклонился соседке по столу и уселся на свое место. Подавала чернявая Вера, услужливая и кроткая. Она спросила, что ему принести, так как заказ на обед не сделан, и он сказал, что доверяет ее выбору.

— А ему у нас не ндравится,— сказала метательница, будто Сыромукова не было рядом.— Он брезгает.

— Правда? — наивно и трогательно удивилась Вера.— Отчего?

— Нет-нет,— сказал Сыромуков,— мадам изволит неудачно шутить.

— А чего мне шутить-то! Я всегда говорю правду. По-русски. Приедут тут незнамо откудова и выпендриваются...

Сыромуков испугался — могла вспыхнуть нелепейшая застольная перебранка, если он не найдет правильной линии собственного поведения. Он прямым холодным взглядом попробовал подавить эмоции соседки, но это не принесло никакого результата: она, видать, плохо владела своими страстями. По ее терракотово-красному лицу было видно, как тут глубинно возмущены. Сыромуков и сам сознавал, что «мадам» слетело у него с языка неосторожно, но переигрывать сцену было поздно. Да и как иначе он назвал бы ее? Гражданкой? Милой женщиной? Он тоскливо подумал, что, в сущности, от него требовалось тут всего-навсего одно какое-нибудь веское слово, равноценное ее выпаду и скрыто угрожавшее ей непонятными, но возможны-

ми неприятностями. Наверно, на его месте более решительный человек так бы и поступил. Он бы указал ей на родной угол, и все было бы в порядке раз и навсегда! Ты ж изволь вот сидеть и трусливо гипнотизировать ее, чтобы она не прорвалась базарной бранью.

— Пожалуйста, извините меня... Я, кажется, нечаянно обидел вас,— сказал он. Официантка подкатила к столу тележку, и надо было с преувеличенной осторожностью принимать у нее тарелки, усиленно благодарить, а потом сосредоточенно и торопливо есть. Он попытался осудить себя за повторную утрату тут чувства иронии и соразмерности — какие могут быть амбиции перед человеком, достойным сострадания? Глупо! Да и вообще нельзя ведь постоянно жить под высоким напряжением. Смешно же! Но досада и раздражение не проходили, и волна ожидания опасности публичного опозорения не отпускала его. Малышка тоже почему-то торопилась с обедом, потому они одновременно поднялись с мест и сошлись в главном проходе. Она протянула руку, и Сыромуков учтиво пожал ее, испытывая боязливое желание оглянуться на свой стол. У него не было охоты вспоминать имя малышки ни вообще узнавать его. Возле бара, недавно, видать, оборудованного здесь прямо напротив входа в столовую, он приостановился, решив, что ему пора вознаградить себя за пережитое унижение.

— Хотите кофе?— спросил он.

— Мо-ожно,— отозвалась малышка.— А вам не вредно?

— Што такоича? — сказал Сыромуков.— Извольте влезть на табурет и не поучать старших.

Шутка получилась не столь бравадной, сколько неуклюжей,— круглый вертящийся табурет был слишком высок для бедняжки, и ей в самом деле пришлось залезать на него. Сыромуков заказал кофе и полтораста граммов коньяку. Бармен, молодой армянин с университетским значком, грамотно разлил его в разлатые розовые рюмки — поровну в каждую.

— Чао! — сказал Сыромуков, поднял свою рюмку.— Или это говорят в других случаях?

Малютка неопределенно кивнула. Она пила дробными поклевными глотками, запрокидывая голову и отстраняясь от стойки, а это было небезопасно, так

как толстенькие ноги ее не доставали до пола и оставались на весу. Бармен включил магнитофон, и под дикий завыв Тома Джонса она светски спросила Сыромукова, почему все-таки он считает, что хорошее здоровье должно мешать писателю? Очень странное утверждение!

— Разве я когда-нибудь говорил такую ересь? — притворно изумился Сыромуков.

— Да, вчера.

— Я, наверно, имел в виду не физическое самочувствие писателя, а его неспособность плакать над судьбами своих героев. Только и всего.

— Но если эти судьбы радостны?

— Насплошь?

— Да.

— Это, по-вашему, возможно?

— А по-вашему?

— По-моему, нет.

— Почему?

— Потому что...— Сыромуков запнулся,— трудно представить себе человека, который бы всю свою жизнь оставался на каком-то исходном уровне самосознания.

— Выходит, что радости и счастье доступны только умственно отсталым?

— Да нет, это никак не выходит,— возразил Сыромуков,— и вы, как мне кажется, отлично понимаете, о чем идет речь!

— Ну, может, немного и понимаю...

— И слава богу, что немного,— сказал Сыромуков с наигранной веселостью,— вам совсем незачем стариться преждевременно. Хотите еще коньяку?

— Нет, я могу опьянеть, и вам тогда придется каждую минуту отвечать на мои «почему».

— Становитесь любопытны?

— Смелею,— сказала малышка.— Я, например, могу тогда спросить, что вы испытывали вчера на людях, идя со мной рядом?

Она не смотрела на Сыромукова, попивая кофе и отстраняясь от стойки, и вид у нее был насмешливо дерзкий и даже злорадный. Сыромуков изобразил на лице выражение застигнутости и заказал новую порцию коньяка.

— Что ж, могу признаться,— запоздало сказал он.— Мне было не очень весело тащить рядом с вами свои сорок восемь лет. Не хочу, знаете ли, чтобы меня считали старым...

Он и сам удивился нечаянной правде в своем заведомо лживом ответе на ее уличающий вопрос и, чтобы не упустить этой мгновенной вспышки откровения, сказал еще:

— Кроме того, я вчера сразу же забыл ваше имя. Из-за склероза, понятно,— прибавил он поспешно.

— Ну, будем считать, что мы квиты,— сказала она,— звать меня Ларой, и я, представьте, тоже забыла ваше отчество. Денисович, да? А ваш сын Богдан, верно?

— Наоборот, но может сойти и так,— ответил Сыромуков и разлил по рюмкам коньяк.— Вот видите, мне уже неудобно сказать вам ни «чао», ни «салют».

— Почувствовали себя старше, сообщив мне свои лета?

— Что-то в этом роде,— признался Сыромуков.

— А вы вообразите, что вам тридцать пять. В этом случае мы окажемся ровесниками.

Он поклонился ей, не поняв толком, шутит она или издевается. Но, может, ей в самом деле тридцать пять лет? Маленькие собачонки до конца остаются щенками. Недаром у нее так по-взрослому развиты бедра... У Сыромукова вспорхнула неприятная для самого себя мысль: знала ли она мужчину и как это могло произойти? партнер был под стать ей ростом? Несомненно... И все равно едва ли это у них было похоже на таинство любви. Нет. Это как саморастление несовершеннолетних!

— Кто вы по специальности, Лара Георгиевна?— спросил он.

— Я работаю в одном НИИ,— с значительной безразличностью ответила она. Сыромуков иронически заметил, что звучит это внушительно.

— И что вы там делаете?

— Ничего особенного. Перевожу временами кое-какие статьи из английских и французских периодических изданий.

— Понятно,— почтительно сказал Сыромуков. Он заплатил за коньяк и кофе, передав бармену два рубля

на чай. Наличных денег при себе оставалось три десятки, а это значило, что за неполные тут двое суток профершпилено около тридцати рублей. Ничего себе гусь! Его обидела небрежность бармена, с которой тот бросил в ящик деньги, и то, что он не поблагодарил за чаевые: Сыромукову совсем не хотелось, чтобы у малютки возникло подозрение, будто он скуп, черт возьми, или беден. Наверно, она заметила его нерасположение к бармену и, когда они отошли от стойки, сказала, что не может понять, как этому молодцу с университетским значком удается ладить со своим занятием. Сыромуков охотно воздал бы бармену, но не с этого конца. Занятие его как занятие. Есть сколько угодно вредней и хуже. В конце концов малый служит людям. И себе, конечно.

— Что ж, он почти приблизился к идеалу древних греков — веселью и удовольствиям,— сказал он.

— Насколько я знаю историю, это их и погубило,— учено заметила Лара.

— Да. Их не спасла даже христианская религия. Они просто выродились. Теперешний грек — это, кажется, помесь цыгана с гунном,— оживленно сказал Сыромуков,— невежа бармен получил свое сполна.— Лара, по-птичьи скривив голову, зыркнула на него снизу и невинно осведомилась, а кто, по его мнению, вообще современные советские люди. Сыромуков сбился с подлаживающего шага и настороженно спросил, что имеется в виду.

— Духовные ценности. Развитие исторического характера нации, прочность культуры, морали и все такое,— смиренно ответила она.

— Ах, вот лишь это,— разочарованно сказал Сыромуков,— но видите ли, если к этому делу подходить с позиции архитектора, то надо заметить, что в любом локальном решении о заселении новых районов почти неизбежен некоторый сумбур и хаос, так как оно исключает научно обоснованное размещение застройки в каждом отдельном случае. Понимаете?

— Вполне. Вы, кажется, испугались моего вопроса.

— Да нет, с какой же стати? Вы просто хотите, чтобы я уклонился от подчинения нормативам.

— Каким это?

— Действующим в этот момент. Ведь всякий архитектурный проект должен иметь еще и связь с определенными условиями жизни людей, а не только красиво вписываться в ландшафт и флору. Хотите, присядем вон за той пальмой у шахматного столика? У нас будет там неотразимая декорация.

— Хорошо. Но для чего вы говорите все это?

— О пальме?

— Об архитектуре своей.

— Внушаю вам уважение к себе как к современнику современников.

— Сомневаюсь в эффективности вашего метода.

— Это у вас от недостатка информационных данных обо мне. Впрочем, согласно новейшим научно-философским изысканиям сомнение полезно человечеству.

— Вот как! Где это опубликовано? — заинтересованно спросила Лара.

— Не помню,— серьезно сказал Сыромуков,— но суть положения заключается в том, что субъект, лишенный сомнения, не может, оказывается, обладать высокой моралью.

— Но разве, например, Цезарь сомневался в своем величии? А я где-то читала, что блеск императорского солнца не повредил ему. Он был остроумен, очарователен и образован.

Сыромуков снисходительно заметил, что мораль тут ни при чем. Они уселись за пальмой. Он закурил, и Лара тоже попросила сигарету.

— Все же вы уклонились от прямого ответа на мой вопрос,— сказала она, въедливо затянувшись дымом. Глаза ее блестели, и вся она была какая-то шершавая и азартная.

— Вам хочется, чтобы я перечислил отрицательные стороны характера моего современника? — спросил Сыромуков.— Извольте. Он чересчур торопится заглянуть в любой финал. Скажем, в конец своей дружбы, любви, в конец книги, в конец своего пути. Кроме того, он изрядно и повсеместно обнаглел, требуя и получая от жизни больше, чем ему причитается.

— А кто может определить, что и кому причитается! — вскинулась малютка.

— Очевидно, общество. У человека должно быть недосягаемое в жизни,— сказал Сыромуков,— потому что убежденность любого и каждого во вседоступности в конечном итоге сведет на нет творческое усилие таланта, просвещенность, честь, доблесть, трудолюбие и тому подобные высшие достоинства разума и воли!

Некоторое время Лара молчала, затем рассудила, что в его афоризмах — это слово она произнесла с язвительным нажимом — нет логики! То он пытается внушить ей уважение к современнику, то заявляет, что тот — повсеместный нахал. Как же ей быть? Сыромуков, с внезапно опавшей душой, уныло подумал, как сильно он постарел за последние годы. Лет шесть назад он едва ли бы пустился при такой пигалице в какие-нибудь рассуждения с целью блеснуть своей эрудицией! Интересно, догадывается ли она об этом? Очевидно, нет. Иначе ей не пришло бы в голову сделать такой добросовестный вывод из его «афоризмов». Она давно устрашилась внешнего мира, и ей почему-то вздумалось искать у него подтверждения своим каким-то, скорей всего мнимым, достоинствам перед этим миром. Только и всего. А он ударился в напыщенное красноречие. И с какой целью? Хотел, значит, понравиться...

Малютка сидела нервно взъерошенная — как-никак пила наравне, и Сыромуков почувствовал сострадание к ней и к себе.

— Я не обязательно должен быть прав,— сказал он, отвечая на ее вопрос, как ей быть. Она вымученно улыбнулась и возразила, что неправых бьют.

— Кто? — защитно спросил Сыромуков.

— Имеющие на это право.

— Сила еще не право!

— А право — сила?

Сыромуков сказал, что человечество всегда стремилось к этому. По крайней мере лучшие его представители... Он ничего не мог поделать с собой,— говорить хотелось возвышенно, но причиной тому мог быть и коньяк.

Ларе, оказывается, уже были назначены какие-то послеобеденные процедуры.

Расстались они почти друзьями. А час спустя Сыромуков писал Денису, что тут тоже идет дождь с ве-

тром, дующим с гор, а это хуже, чем там у него в Прибалтике, потому что горный ветер держится стойко. По целым суткам и даже неделям. Он уверял сына, что лично ему непогода не мешает. Совершенно. Он знает, что нужно добросовестно лечиться, помнит, что прошло уже почти три дня, а когда Денис получит это письмо, до возвращения останется всего лишь дней десять — двенадцать... Сам с собой Сыромуков поладил на том, что рано или поздно, но дождь все равно пойдет тут и что отсутствие каких-либо корыстных намерений по отношению к малютке вполне извиняет его сегодняшнее невзрослое поведение.

На ужин он не пошел.

Яночкин явился часу в десятом оживленный, в белой курортной фуражечке и с двумя бутылками «Киндзмараули». Сыромуков не успел погасить ночник, чтоб притвориться спящим, и тот доложил, что был в городе.

— Свободно, слушай, продают,— удивленно сказал он о вине,— и сколько хочешь. Надо же! А в Москве такое достать трудно.

— Конечно, запаситесь,— одобрил Сыромуков, подумав, что дожить до шестидесяти лет и сохранить себя в такой форме — истинно растительное качество. Он, вероятно, спрячет сейчас бутылки в тумбочку. Еще бы, черт возьми, предлагать ему распить их со мной! С какой стати? И все же... Неужели спрячет? Но Яночкин с бодрым пристуком поставил бутылки на стол, включил большой свет и стал извлекать из карманов мандарины.

— Во! Видал? Знаешь, кто любил это вино? Только его и потреблял... Давай-ка отметим наше знакомство,— с чувством произнес он. Сыромуков сказал, что уже отметился коньяком. Пить чужое вино не хотелось, это грозило моральной кабалой, но все же ему пришлось встать и одеться,— Яночкин с душевным благоденствием облупил несколько мандаринок, приготовил стаканы и торжественно ждал в кресле. Они выпили за знакомство, и Петрович опять назидательно напомнил, кто любил «Киндзмараули».

— Как вот ты считаешь, это был великий человек? — спросил он, чисто светя глазами. Он целиком направил в рот мандаринку и перекатывал ее из стороны в сторону, как горячую картошку. Сыромуков в свою очередь спросил, как ему хочется, чтобы это было.

— А как есть на самом деле,— сказал Яночкин, успев к тому времени управиться с мандаринкой.

— Ну и считайте, что все так и есть, как кажется,— посоветовал Сыромуков,— это спокойнее.

— Да я-то знаю, как мне считать, а вот как ты? Для интереса разговора можно ж и поспорить, верно?

— У нас сейчас ни о чем не получится равный спор, потому что на вашей стороне явное преимущество. Вы старше меня, и я пью ваше вино, к которому вы питаете больше симпатий, чем я,— признался Сыромуков и сразу же пожалел о своей откровенной невежливости! Яночкин сухо сказал: «как хочешь» — и обиженно замолчал. Ладу и миру в палате требовалась какая-то спешная милосердная помощь, и Сыромуков с отчаянной невинностью поинтересовался, дадут ли ему в этом доме выпить еще.

— Да тебе ж не нравится мое угощение! — пораженно возразил Яночкин.— Или это ты нарочно ломался?

— Мне просто совестно,— сказал Сыромуков,— по правилу, угощать полагалось бы мне вас.

— А будто мы последний день!

Яночкину снова стало хорошо, он налил по второму стакану. Речь о достоинстве вина больше не заводилась. Петровичу хотелось потолковать и выяснить ради беседы, как он сказал, кто тут, интересно, прислуживал немцам в санаториях во время оккупации — местное население или пленные. Сыромуков этого не знал. И разве санатории действовали тогда? Да, не все, но некоторые работали. Предателей хватало. Особенно среди пленных, это ведь ясно. Раз ты сдался врагу и остался жив — значит, что? Нет, сам он на фронте не был. По брони шел... Будем вторую бутылку начинать? Как угодно. А в плен, между прочим, люди попадали, а не сдавались, дорогой Павел Петрович. Особенно в сорок первом.

— Ну, мы знаем, Богданыч, как они «попадали». Ты был тогда еще молод...

— Да нет,— протестующе сказал Сыромуков,— мне, с вашего позволения, пришлось воевать! И лично я наградил бы всех пленных, кто остался цел в фашистских лагерях!

— Так из них же власовцы вербовались,— оторопело заметил Яночкин.

— Я сказал, кто остался жив в лагере,— уточнил Сыромуков.

— И каким бы ты их, к примеру, орденом?

Сыромуков сказал, что тут нужен был какой-то особый орден, с особым статусом.

— Чтоб за плен, значит, выходило?

— За страдание и муки.

— Ну, а назвать его как же надо было?

— Может быть, орденом «Скорбящей Матери».

— Гм!

— Не годится?

— Нет,— сумрачно сказал Яночкин.— Скорбная мать тут ни при чем. Вот ежели что-нибудь вроде блудного сына — дело другое. Тут все правильно. Получай и носи свой знак без права снятия. До самой смерти...

Сыромуков внимательно посмотрел в глаза Яночкина — бледно-серебристые, безвольные и почти ласковые, не принимавшие, казалось, участия в беседе и жившие сами по себе, отдельно от мыслей, рождавшихся в его мозгу. Сыромукову подумалось, что в детстве Яночкин, наверно, был нудной плаксой, не переносившим преимущества сверстников, и что оспаривать его не следует, хотя из-за такого потворства между ними создастся неразмыкаемый круг лицемерных отношений почти на целый месяц жизни!

— Спасибо вам за вино, Петрович,— с болезненной гримасой сказал он, ощутив, как зло и часто забилось сердце. Возле окна, куда он прошел, вскинув к голове руки, приступ прекратился, и Яночкин безмятежно спросил его в спину, не пойти ли им погулять перед сном.

— Или поздно уже? Говорят, будто в одиннадцать часов запирают двери и спускают овчарку? Ну и правильно!

— Да-да,— потусторонне отозвался немного сгодя Сыромуков с мятной лепешкой валидола под языком, вглядываясь в фантастично мерцающий трепет далеких городских огней в темной глубине котловины.— Все правильно и все прекрасно!

— А как же! — согласно сказал Яночкин. Он тоже поддался какому-то элегическому настроению, понуждавшему к замедленным движениям и молчанию, и они долго и кропотливо раздевались, а потом старательно укладывались в кровати. Все было покойно и устойчиво. Ночь могла пройти благополучно — после вина Яночкин не обязательно должен храпеть. Он вполне достойный и интересный человек, хотя и с непостижимым порой строем суждений, но мало ли у кого и чем пылает голова!.. И кто знает, может быть, эти злосчастные пленные нечаянно причинили ему в свое время горе или обиду. Мало ли! Жестокость и недобро сами собой не рождаются в человеческом сердце. Для этого нужны причины. Пусть даже ложные...

— Павел Петрович, а где вы работали в войну? — спросил Сыромуков так, когда в голосе бывает в меру и бескорыстного интереса, и уважительности к ожидаемому ответу. Они лежали навзничь, не видя друг друга, и поэтому нельзя было определить по лицу Яночкина, расслышал он вопрос или нет. Сыромуков, подождав, протянул руку к выключателю своего ночника, погасил свет и пожелал Яночкину спокойной ночи.

— А здесь, Богданыч, тоже, оказывается, есть цирк,— бодро сказал тот,— может, как-нибудь сходим?

— Можно и сходить,— безразлично согласился Сыромуков.

— Бывают, понимаешь, фокусы, что ничего нельзя понять, как такое может происходить. Вот, к примеру, номер с карасями. В воздухе ловят удочкой. Над головами зрителей. Живых, в ладонь величиной! Что это, как думаешь? Обман зрения?

— Черт знает,— сказал Сыромуков.

— Или же с карманными часами. У тебя, положим, просят, ты даешь, а их бросают в чугунную ступку и молотят железной долбешкой! А после всю эту

окрошку засыпают в ружье, стреляют — и часы вылетают сполна целыми. Во, брат!

— Еще как вылетают,— сказал в потолок Сыромуков,— у меня в партизанском отряде тоже был фокусник. Матрос. Бежавший из немецкого концлагеря. Он мог вынуть глаз и вставить его обратно.

— Чей глаз?

— Собственный.

— Стеклянный?

— Да нет, зачем же. Живой.

Яночкин по-детски радостно засмеялся и повернулся на бок, чтобы видеть Сыромукова.

— А больше что он умел?

— Золотые зубные коронки делал из медных пятаков.

— Настоящие?

— По форме и блеску.

— И куда их?

— Сбывал зажиточным хуторянам, кулачкам прибалтийским, за хлеб и сало.

— Любопытно... А ты, как командир, разрешал?

— Да. Самочинные партизаны нигде не стояли на довольствии, обирать население было нельзя, а этих сам бог велел.

Петрович почти застенчиво заметил, что партизаны не обирали. Ни при каких обстоятельствах. Сыромуков сказал, что неточно выразился. Реквизировали. Кстати, матрос загонял свое самодельное золотишко только тем лесным жителям, кто считал — кому война, а кому имение. На литовском, например, языке эта фраза звучит выразительней, чем в переводе на русский. Кам карас, кам дварас... Яночкин поинтересовался, чем фокусник обделывал коронки. Инструмент же нужен. Сыромуков перечислил, что он имел. Карманную ножовку. Сахарные щипцы. Напильник. Финку. Пинцет. Бархатную тряпку.

— И все?

— Еще пятаки. Их было труднее добывать, чем оружие.

— Ну хорошо. А вот ты заявил, что вы были самочинные. Это как понимать?

— В смысле окруженцев, бывших пленных, беглецов из гетто. Вообще всех тех, кого приготовленно не засылали в тыл с оружием и рациями.

— Понятно теперь... Значит, связь вы ни с кем не поддерживали. А кто же давал вам задания и учитывал действия?

— В том-то и суть, что этим людям все надо было делать самим! — сказал Сыромуков громче, чем требовалось. Они замолчали, и стало слышно, как неприятно сипят в ванной комнате водопроводные краны. Яночкин погасил свой ночник и некоторое время полежал притихше, затем разоренным голосом попытал Сыромукова, сколько таких людей было в его отряде.

— Фокусников? — невинно спросил Сыромуков.

— Да нет. Тех... от кого родные отцы отказывались.

— А! Примерно рота. Хорошая.

Мрак в палате был уже разреженно зыбкий, ласково призрачный — не то привыкли глаза, не то из-за гор всходила невидимая луна,— и на окна надо было смотреть сквозь прищуренные ресницы, тогда лучи звезд струнно протягивались к самому изголовью кровати и как будто гасили занимавшуюся боль в сердце — живую и отвратительную, как клещ. Сыромуков подумал, что напрасно пил на ночь вино. Да еще чужое... И совсем зря затеял с Яночкиным этот дразнящий его, неуютный разговор! Он, конечно, не отойдет ко сну, не выяснив, каким образом Сыромуков сам оказался в глубоком тылу у немцев, а сказать ему правду... будет жестоко для него.

Но Яночкин не задавал больше вопросов. Несколько минут спустя он издал хилый неприличный звук и почмокал ртом — заснул, а Сыромуков достал из тумбочки одеколон и спрыснул лицо и подушку. Он повернулся на бок, но боль в сердце сразу же усилилась, и пришлось снова по-стариковски улечься на спину, а лицо прикрыть краем простыни. Так можно было не закрывать глаз и все равно ничего не видеть, а главное — не думать, что Яночкин непременно будет храпеть. Но чем упорнее он убеждал себя, будто не ждет, когда захрапит Яночкин, тем томительней становилось это ожидание, перераставшее в досаду на то, что тот медлит,— храп спокойнее, казалось, услышать наяву, с вечера, чтобы «привыкнуть» к нему и после уснуть самому.

Постепенно в душе Сыромукова стала накапливаться раздражительная злость к тихо спящему Яночкину. Почему-то представлялось, что у него розовое и мягкое темечко и что он лежит, младенчески выкинув руки поверх одеяла, и пускает ртом пузыри. Чтобы не дать воли ожесточенности, Сыромуков предложил себе отвлекающие, как он подумал, вопросы: счастлив ли Яночкин в жизни? И что он под этим разумеет? Есть ли у него семья? Какому богу он молится? Бог, например, дикаря похож на него самого, кроме могущественности... Между прочим, зулусы, почитая души умерших богами, верят, что дети становятся добрыми духами, старики — творящими одно зло. А Яночкин — старик... «Но ты ведь тоже не юнец», — мысленно обернулся к себе Сыромуков, и ему снова показалась искусственной и ненужной жизни линия своего слюнтяйского поведения с Яночкиным, в которой он не проявил никакой потребности к самоутверждению перед ним. Он сдернул простыню с лица и заглянул на кровать Яночкина. Петрович и в самом деле спал, уложив руки на грудь, дыша ровно и чуть слышно, как могут спать только здоровые люди с ясной совестью, кому не грозят местью никакие подземные силы. Сыромуков взбил подушку и привалился к ней спиной. Звезды в окнах были на прежних местах, сипели в ванной комнате краны, и продолговатый костяной клещ грыз и грыз сердце. Мысли Сыромукова обратились на эту свою боль. Он подумал, что боль всегда была злом, а оно в свою очередь болью, и что только из-за этого, возможно, он негодует сейчас на здорового Яночкина, не спит и ждет его храпа... Но неужели ж зависть и жалость уживаются в человеке разом? Наверно, все-таки уживаются. Зачем? Кто это определил для нас? Жизнь со смертью? Да, вероятно. Они ведь тоже родственницы-антиподы!.. Итак, добро и зло сосуществуют рядом. Значит, если вообразить, что грядущие поколения уничтожат на земле зло, то, стало быть, и добру придется худо: его лишат арены битвы, противника не станет, и оно захиреет в бездействии? Что же тогда будет? Ни добра, ни зла, а что? Всесветная сытая скука и равнодушие?.. Впрочем, почему же непременно это? Люди, очевидно, вырвутся из оков земного притяжения, возродят для себя дополнительные виды

и формы искусства, доступные участию каждого, откроют новые миры и галактики, которые надо будет осваивать и, может быть, побеждать...

— Но побеждать — значит нести добро и зло, так? — вслух сказал он и посмотрел на Яночкина. Тому было, наверно, жарко — он разметался и посапывал с свистящим полухрапом, готовым вот-вот перейти в удушье. Не надевая тапочек и невольно копируя походку Яночкина в его вчерашнем ночном рейде в туалетную, Сыромуков прокрался к нему и раскрыл его.

— Давай, дыши, хрен семипалатинский! — шепотом сказал он оттуда Яночкину.— Небось о валидоле понятия не имеешь!

Он вернулся на свою кровать и снова попытался думать о родстве боли и зла и противоборстве добра и лиха, но Яночкин тогда стих и обмер, а потом захрапел, и Сыромуков с усталым удовлетворением закрыл глаза. Предстояло, как и вчера, очутиться теперь в том своем волшебном золотом утре с подсолнухами и шмелями, а там... Минуточку, мысленно сказал себе Сыромуков, а как это было, когда мать хотела спрятать тебя в печке? Да-да! Давай с самого начала памяти. Там тоже почти все годится, чтобы заснуть. Как тогда было?.. В ту пору будто бы свирепствовал голод, но ты помнишь, что мать каждый день розовой мукой древесной червоточины присыпала тебе под мышками, а это значит, что ты был сытый, раз подпревал в складках... Позже, лет трех, ты уже знал, что за изгибом печного боровка в теплых сухих потемках живет у вас домовой Зеленые Уши. Оставалось неизвестным, какой он и на что похож, но страшно от него не было, потому что вещал он вам одно хорошее. Он вещал всегда по вечерам, когда вы укладывались спать. В хате вдруг что-то брякало и звучало, и мать, пригребая тебя к себе поближе, заклинающе, но смело спрашивала:

— К худу аль к добру?!

Наступала долгая тишина ожидания, и, когда вам становилось немного жутко, мать убежденно говорила себе и тебе:

— Слыхал? К добру, сказал.

Ты подтверждал, что слышал, и просил ее рассказать сказку.

Их было три — про лапоть, пузырь и соломинку, сестричку Аленушку с братцем Иванушкой и еще про гусара. Эту мать рассказывала всегда тихо, в подушку, и тебе не нравился ее голос.

— Давай громче! — требовал ты.

— Ну вот,— шептала мать,— приехал он с войны, на побывку. Господи! Погоны горят, пуговки сияют, а хорош сам, а пригож... Тогда была троица. Мы — девки и солдатки — на лугу корогод водили, а он покликал меня при всех, достал десять рублей и говорит: «Катюша...» Звал так меня.

— Ну? — понукал ты.

— Катюша, говорит, сходи ты сею минуту в лавку и набери рожков, ланпасет, подсолнухов, вина-фиялки и всего, чего тебе самой захочется...

— Ты накупила, а он взял и раздал все корогоду, а фиялку выпил сам и пошел, а сапоги сверк-сверк!

— Да нет,— сквозь слезы счастливо возражала мать,— сверк-сверк было потом, через год, когда он приезжал в другой раз, а я провожала его по выгону...

Сказка про гусара на том и кончалась. Но что же тебя привлекало в ней? Что?..

Иногда, если вам не засыпалось, мать ни с того ни с сего начинала смеяться сама с собой и щекотать тебя — шмыгать пальцами по твоему животу. Наверно, ей нравилось, как ты хохотал и барахтался, и продлись эта сладкая мука ее щекотки еще какой-то миг, ты бы трудно и радостно умер, но мать всегда вовремя прекращала щекотку, и вслед за этим наступал изнеможенно блаженный покой, когда хохотать еще хотелось, но уже было невозможно... Так в тебе зародилось опасение, что домовой тоже может щекотаться и обязательно в самом смешном месте — возле пупка. И когда мать отлучалась из хаты, ты залезал на подоконник и прижимался к раме — прятал живот, а спина у тебя щекотки не боялась. Совсем...

И было однажды так. Тогда стояла зима. Ты продышал на замерзшем стекле кружок и глядел на двор. Прямо под окном хаты лежала высокая куча хвороста, и на ней сидела большая черная птица с седой головой. Мать вбежала со двора в хату — красивая и холодная. Она схватила тебя и кинулась было в сенцы, но тут же вернулась к влазу на печку, затем вы очутились в чула-

не, за ситцевым пологом, где стояла кровать. В хату входили чему-то радовавшиеся, невидимые вам чужие люди. Тебе хотелось туда, к ним, но мать не пускала тебя с кровати и не выходила сама из-за полога.

— Отец наш пришел с войны... Теперь убьет. Обоих,— шептала она, а глаза у самой были крепко зажмурены... Кончилось это так. Ты вырвался, влетел в горницу и в тишине, которая наступила с этим твоим явлением, сказал человеку, от которого прятала тебя мать:

— Здорово ж тебе! Ты на войне родился? А я тут...

Мать заголосила за пологом, а человек в громадных ботинках с длинными голенищами, унизанными желтыми лупастыми пистонами, посадил тебя на колени к себе и с той минуты стал твоим отцом... В ту же ночь домовой ушел из вашей хаты. Навсегда... Домовой Зеленые Уши... А неделей позже ты впервые увидел деда Дениса, или Жялу, как звали его по-уличному... Вы обедаете. Отец сидит на лавке в святом углу под иконой, ты одесную с ним, а мать напротив вас на скамейке. Голову она держит опущенно и покрыта платком низко-низко. Блюдо у вас разлатое, деревянное, цветастое. Ложки тоже. Вы едите щи — густые и горячие, как огонь. Ты тесно льнешь к отцу, и он перекладывает ложку из правой руки в левую, чтоб было свободней черпать. Мать почти склоняется над столом, и плечи ее начинают вздрагивать мелко и часто.

— Ну чего ты? — горестно говорит ей отец. Ты предательски и радостно сообщаешь ему, что она всю жизнь такая. Сперва смеется, а после щекочется. В эту минуту дверь из сеней распахивается, и шар белого пара вносит в хату человека в дубленой шубе, в заячьей шапке и в желтых лыковых лаптях. Прямо от дверей он ударяется в пляс с присядкой под собственную присказку, навсегда запавшую в твою память.

Во саду ли, в огороде
Двенадцать метелок.
Бабы любят мужиков,
Ребята девчонок.
Гоп, мои гречаники,
Гоп, мои белые!
Чего же вы, гречаники,
Не скоро поспели!

— Здорова была, Катьк! — говорит он матери и выпрямляется у стола, сняв шапку. Голова его седая, коротко остриженная. Борода маленькая, ладная и блестящая, как иней на окне, а глаза черные, круглые и веселые.

— Родьк, накось вот кочетка!

Это тебе! Пряник-петух душистый, невесомый, с малиновыми разводами по одному боку и с единственным пронзительно голубым глазом-бисеринкой.

— Иду, понимаешь, а кобель ваш «к нам — к нам — к нам!» — наклоняется он к отцу. — Думаю, надо зайтить!

— Ну и хорошо, что наведался, — сдержанно говорит отец. Мать встает из-за стола и уходит в чулан.

— Побалакать с тобой надо, — тихо, но со скрытой крутой силой говорит Жяла отцу и достает из кармана шубы бутылку. Он звонко ставит ее на стол и весело приказывает невидимой матери, чтобы она сходила в погреб за огурчиками. Мать приветно и слабо отвечает, что огурцы есть дома.

— А ты не торопясь холодненьких добудь!

Мать закутывает голову шалью и уходит из хаты, а Жяла садится рядом с тобой и, ковырнув пальцем твой живот возле пупка, говорит отцу странное:

— Слышь, Петро, а ить чей бы бычок ни сигал, а теленочек наш! Как думаешь?

— А я... все простил и забыл, — не сразу отвечает отец в стол.

— Ты ж, почитай, семь годов пропадал без вести! Так што...

— Да я ж ничего, Денис Григорьич, — отзывается отец и кладет руку тебе на голову.

— Ну, тада все! Тада и рассусоливать нечего! А то мы с моей Андревной наладились, ежели чего, то забрать малого.

Ты не расслышал, что ответил отец Жяле. Наверно, что-то хорошее для тебя, потому что он засмеялся и хлопнул отца по плечу. Мать в это время принесла огурцы, а тебе пора было долго-долго есть своего петуха, и ты бежишь на печку... Потом, позже, ты узнал, почему так несуразно звали деда Дениса: однажды он пригрозил-похвалился, хмельной, на улице, что будто

пчела в его пасеке с галку, а «жялы» у них с палку... Жялин пряник... Первый подарок в твоей жизни от чужого человека...

Утром, как только Яночкин тихонько ушел на зарядку, Сыромуков добросовестно исполнил, что обещал накануне уборщице, а после с д а л в амбулатории кровь и отсидел положенное время в очередях у кабинетов рентгеноскопии и кардиографии. Никакого намека на дождь и ветер с гор не намечалось — утро снова походило на крашеное яйцо, но из-за солидарности с Денисом Сыромуков был хмур и озабочен. Он запоздал, как и хотел, на завтрак, поэтому стол его оказался свободным. Клава принесла ему кофе, котлеты и манную кашу, и все это он с удовольствием съел, не изменяя мрачного выражения лица. Сердце почти не ощущалось, и о нем не следовало помнить: медициной давно установлено, что боль — естественная, природная функция, помогающая человеку остерегаться опасности, угрожающей его телу. Другое дело перебои и остановки. А боль в сердце — ничего. От нее можно лечиться, что он и начал делать, как и обещал Денису...

День предстоял прогонно пустой, без занятости и прикаянности, а это могло вызвать истинную, а не поддельную хандру и тоску, и Сыромуков наметил для себя ряд неотложных дел, которые надлежало выполнить до обеда: купить газеты, сходить в библиотеку, а после спуститься к гроту — возможно, как раз сегодня старик появится там со своим точильным станком. Они тут молодцы и живут по сто лет и даже больше... Летуче, вскользь Сыромуков напомнил себе, что на всякий случай ему предстоит вполне реальная встреча с другим горцем — бывшим своим партизаном Зелимханом, но свидеться с ним следовало в последний срок, перед отъездом. Повод для этой встречи был немного обидный для Сыромукова: Зелимхан разыскал его адрес и объявился сам по д е л у — требовалась характеристика для будущей, наверно, пенсии. Только и всего. Письмо пришло за неделю до отъезда на курорт, и Сыромуков сочинил ему героическую бумагу и заверил ее в военкомате. На здоровье! Привез он с собой и роскошный альбом-сувенир «Партизаны янтарного края», изданный в Прибалтике на русском, местном и англий-

ском языках. В книге был снимок Зелимхана — юного, увлеченно стремительного, похожего чем-то на тура... Сыромуков жертвенно подумал, что в альбоме, поди, килограммов шесть веса, и чемодан провисал и бурдючился главным образом из-за этого. Но теперь уже все равно. Теперь уже нечего. На здоровье... Зелимхан жил где-то тут на улице с печальным и сильным названием Павшие Герои, и пойти к нему надо в самый последний день, чтобы до встречи помнить его тем, прежним, двадцатилетним...

На воле было по-утреннему прохладно, звучно и высоко, и Сыромуков не стал противиться чувству беззаботности и благополучия. В тени на траве еще держалась сизая изморозь, и по ней, хрусткой и ломкой, манило пройтись так, чтобы позади осталась свежезеленая борозда, и хорошо было войти в ворох листвы под деревом и гремуче пошуровать его носками ботинок, и хотелось, но на виду людей не смелось пособирать каштаны — нежно масляные и багряные, как пенка на топленом молоке... Он пожалел о недоступности прикосновения к радости детских утех, свалил берет на ухо и направился к зданию почты. Оттуда поодиночке и группами шли с газетами в руках курортники. Мужчины-толстяки выступали со старательностью грузных людей казаться ловкими и легкими, не замечая, как при каждом шаге высоко и смешно поддергиваются у них штанины, оголяя носки. Сыромуков украдкой проследил, как у него самого выносятся и опускаются ноги, и удостоверился, что брюки его не подтягиваются. Нисколько. Он купил газеты, и в настенном фанерном шкафу просмотрел письма — а вдруг! — но в ячейке под буквой «С» валялись четыре пухлых конверта на имя какой-то Милаиды Сладкой. Что с ней могло случиться? Хорошее или плохое, если она не желает читать адресованные ей письма? Сладкая, видите ли, не очень-то удобная для женщины фамилия... Впрочем, неизвестно и то, какой Сахар пишет ей. И о чем... На какой-то миг в памяти Сыромукова обозначилась и не удержалась фамилия Лары. Тоже что-то связанное с завтраком, но не в пошлом оттенке. Не то Чайницкая, не то Хрустальская. Что-то в этом роде... Он даже не заметил, что примеряет к малютке наиболее благозвучные фамилии: с ее ростом ей было

бы совсем ни к чему называться Ситичкиной, например, или Ложечкиной.

На своей лавке у иссякшего фонтана Сыромуков прочел газетные новости. В мире все было по-прежнему. Во Вьетнаме воевали, в Америке бунтовали негры, и, по сведениям бюро погоды, в Прибалтике шел мокрый снег. Денис, конечно, теперь в школе... Кроме соловья, ему надо привезти что-то еще. Фаянсовую кружку с голубым орлом. Лучше бы кавказский кинжал. Хотя бы игрушечный. А бусе — козловые тапочки с розовыми помпонами. Как в тот раз. Их, наверно, продают все на том же месте — возле памятника основателю санатория перед лечебным корпусом, не позже восьми часов утра, пока спит милиция... Но как же все-таки фамилия этой Лары? Изюмская? Крупницкая? Черт знает... Вообще-то бог несправедливо обидел ее. Каких-нибудь бы десяток сантиметров — и все. Что там ни говори, а тело, в сущности, выдает характер. Ум у нее острый, но бедный... Хотя что можно узнать об уме человека за две беседы? Чепуха!.. Сейчас она, наверно, принимает нарзанную ванну. Неужели это ей нужно? Смешно...

От водолечебницы, куда по пути в библиотеку Сыромуков завернул как бы ради моциона, открывался просторный вид на юго-восточную гряду лилово-сиреневых холмов и гор, за которыми грандиозным сиятельным собором вставал Эльбрус с нависшим над ним белым причудливым облаком, похожим на парящего орлана. Да, верховный зодчий не поскупился тут ни на пределы и замыслы, ни на формы и краски — творил для непостижимой бесцельной вечности, в угоду своей яростной радости свершителя — да будет и это! Здесь, у водолечебницы, было солнечно, и возле портала на скамейках тесно сидели люди в синих тренингах, с рулонами полотенец на коленях, запрокинув лица в небо. Сыромукову незачем было гадать, кто мог загорать в отшибном одиночестве на лестничной ступеньке водолечебницы,— в позе малютки столько крылось зловредно-перекорного, непримиримого, вызывающего на отпор! На ней тоже был тренинг, но не синий, а голубовато-аспидный с металлическим отливом, как у жемчужной мухи. Она читала книгу — на солнце-то! — и Сыромукову озорно подумалось, что бы-

ло бы, если б он, подкравшись, щелкнул ее в макушку мизинцем? Нет, у нее может случиться стресс... «Да и не в твои лета шутить так. И не с ней...»

Он все сделал для того, чтобы малютка заметила его сама, и медленно пошел мимо нее, вполшага от лестницы, напялив очки и глядя в газету. На обратном его рейде Лара подняла глаза от книги, получилось все так, как ему хотелось. Она первой поздоровалась, трогательно щурясь против солнца и не двигаясь с места. Сыромуков молодым движением сел рядом с ней на ступеньку, подумав о брюках, что гранитная пыль отчищается легко.

— Разве вам не жарко в этом своем десантном берете? — распевно сказала Лара. Было непохоже, чтобы она вкладывала в вопрос какой-нибудь иронический смысл, но Сыромуков защитно напрягся и в свою очередь спросил, как она сама чувствует себя в своем змеином выползне?

— Харашо-о,— польщенно ответила Лара,— а почему вы в очках? Вы же не читаете сейчас.

— А мне так легче будет руководить вами,— сказал Сыромуков,— вы не сможете поймать мой взгляд, если я буду в очках. Что вы читаете?

Она протянула ему томик стихов в радужной суперобложке со снимком автора. Поэт был запечатлен в позе атакующего боксера, задом к читателю.

— Сила! — сказал Сыромуков, возвращая книжку.

— Он вам не нравится? — спросила Лара.

— Мне трудно воспринимать его напевы за мысли. Этот боксер не разбудит дедовских могил.

— А ваш Есенин разбудил?

— Не любите златоглавого? А как же вам удалось запомнить его строку начет напевов и могил?

— По этой самой причине. Помнишь ведь не только то, что любишь. Чаще всего наоборот.

Сыромуков сказал, что она мужественный человек. Лично он не осмелился бы признаться кому-нибудь в непонимании чего-то прекрасного.

— А что это такое — прекрасное? — полунасмешливо осведомилась Лара.

— Наверное, все то, что отличается от пошлости, как форма от безобразия, и постигается без усилия,— осторожно ответил Сыромуков и подумал, что его

опять, как вчера, начинает заносить в дебри красноречия. Он снял очки и берет — было в самом деле жарко, и по тому, как малютка посмотрела на его голову, устыженно догадался: начес разорился, обнажив плешь.

— Это у вас прическа под Тита Ливия? — с простодушием кроткой дурочки спросила Лара, но вид у нее был вполне невинный. Сыромуков в тон ей сказал, что скорей всего под Сысоя Лысого, и сразу почувствовал себя легче,— скрывать плешь тут было уже незачем.

— Не могу примириться. Ощущаю это как какой-то мелкий и для всех открытый позор без вины,— доверчиво пожаловался он, потеребив волосы.— И представьте, чувство это растет пропорционально лысине, понимаете?

Лара согласно кивнула, но сказала, что не представляет, как могут занимать такие ничтожные пустяки серьезного мужчину.

— Все еще хотите нравиться не только женщинам, но и девушкам? — с намеком на улыбку спросила она.— А как супруга относится к такому вашему пристрастию?

— Никак. Ее у меня нет. И пристрастия к девушкам тоже,— ответил Сыромуков.

— Но вы говорили, будто у вас сын,— напомнила Лара, следя за его лицом. Сыромуков, полуотвернувшись, сказал, что жена бросила его тринадцать лет назад, уйдя к другому.

— Бедный,— откровенно издевательски сказала малютка,— и лысеете вы без вины, и жена оставила вас одного с ребенком. Ай-я-яй!.. Но вы тактически правильно поступаете, Родион Богданович. Женщины испокон веков любят утешать одиноких и непонятых. Это проистекает у них из так называемого материнского инстинкта. Между прочим, они тогда не противятся тому, чтобы ими руководили. Даже без очков... Вы не опаздываете?

— Куда? — спросил Сыромуков.

— На процедуру.

— Нет. Мне не нужно,— досадливо сказал он.— А почему вы заговорили со мной в таком тоне? Какая муха укусила вас?

— Не переношу, когда избранники природы прикидываются несчастненькими,— злобно сказала Лара.— Эта роль им не подходит. Другое дело карлики, вроде меня... Скажите, у вас в самом деле больное сердце? Или...

Она не докончила фразу и посмотрела на Сыромукова уличающе-допросным взглядом. Он закурил и оскорбленно сказал, что все выдумал. И сердце, и лета свои, и уход жены. Ну, и что из того следует?

— А то, что вы какой-то, извините, неестественный, выставочно-показной,— резюмировала малютка.— И имя-отчество у вас книжное, выдуманное. И сына вы назвали претенциозно — Денис! Кстати, а как ваша фамилия? Как она звучит?

— Правильно звучит! — сказал Сыромуков и с нажимом, по слогам, дважды повторил свою фамилию.

— Как псевдоним,— определила Лара.

— Рад слышать, но я не сам придумал ее! — возразил Сыромуков.

— А имя сыну?

Он сказал, что нарек так Дениса из противодействия натиску пошлой моды на заграничные имена. На Маратов, Робертов, Ричардов, Аполлонов. До известного времени такой Аполлон еще так-сяк может вписываться в родное пространство, но потом его ведь придется величать по батюшке. А тот — Сидор. И получится как в старинной русской поговорке — без порток, а в шляпе.

— Весьма изысканное выражение! — саркастически сказала Лара.— Вы, значит, современный русофил. А скажите, пожалуйста, какого стиля придерживаетесь вы в архитектуре? Псковско-византийского?

— Нет. Лазурного, вообразите себе,— едко ответил Сыромуков.

— А что это значит?

— Это значит — города вечного солнца, музыки и радости!

— Любопытно. И как встречались ваши проекты? Вы как будто говорили мне... образно так... что всюду совались, а нигде вас нет. Как это понимать?

— Прямолинейно. Проекты мои встречались молчанием.

— Почему?

— Те застройки, что я предлагал, пока что неосуществимы.

— Но вы с этим не согласны, конечно?

— Вполне согласен.

— И тем не менее...

— И тем не менее! — раздраженно перебил Сыромуков и надел берет. — Хотите со мной в город?

Лара замедленно кивнула и с разоряющей покорностью спросила, надо ли переодеваться.

— Вы подождете меня? Я быстро, — жалко сказала она.

С того места, где Сыромуков условился ждать, Эльбрус не проглядывался, заслоненный деревьями, и оставалась надежда, что облако-орлан над ним цело, — все величественное не исчезает ни с того ни с сего! Справа, с северной стороны за городской низиной, далеко просинивались пологие взгорья, и там по невидимой дороге картинно ехал крошечный всадник, которого вполне можно было принять за Печорина или Казбича, но, как ни старался Сыромуков отвлечься, это ему не удавалось; самоощущение у него было такое, будто он проглотил запеченную в булке муху, приняв ее за изюм, а булку ел черте зачем, не испытывая голода. Было муторно на душе, стыдно себя, и хотелось припомнить что-нибудь задорное и отталкивающее в ребяческих проступках Дениса — от этого почему-то становилось легче ждать. Беседа с Ларой представлялась Сыромукову какой-то мусорной перебранкой, в которой он оказался в роли защищающегося с неверным и фальшивым тоном, обязывающим продолжать отношения, но главное из стыдного было в другом — он не мог ответить себе, зачем ему понадобилось каяться в позоре своей намечающейся лысины, кокетливо жаловаться на молчание, с каким встречались его л а з у р н ы е, видите ли, проекты, и выдумывать, будто жена ушла к другому? Ничего подобного ведь не было, она ни к кому не уходила, ни к кому! Нехорошо было и все остальное в беседе-перепалке, в особенности же Сыромукова неприятно озадачили слова малютки о том, что он неестественный, выставочно-показной, — его бывшая жена не раз и не два говорила ему совершенно обратное,

совершенно: там возмущались его усредненностью и «стертостью».

— Поди объясни кому-нибудь, что это значит! — сказал Сыромуков и выругался темно и непутево в месть и унижение себе. У него были сложно запутанные чувства к ушедшей жене: рядом с обидой в нем все больше и больше росло теперь сожаление к ней и сострадательное прощение того, что в совместной их жизни порождало его враждебность и ненависть. Оттого, что место ожидания Лары походило на скрытую засаду и было неизвестно, за каким дьяволом он пригласил ее в город, Сыромуков не только без горечи, но почти с уважением оглядел мысленно свою супружескую жизнь, показавшуюся ему остовом недостроенного и заброшенного дома, возводившегося по вполне лазурному проекту.

— Попробуй расскажи кому-нибудь толком, что у вас случилось! Как началось это ваше строительство и чем оно закончилось! — опять сказал он вслух и подумал, что не только посторонний человек, но даже сам он уже давно и сомнительно полуверит себе — да было ли все это на самом деле? Шел ли он в действительности тогда в форме немецкого лейтенанта? Шел? Или это перенесено на себя из многосерийных боевиков про партизан-разведчиков?

Но в том-то и дело, что шел. В том-то и дело!

Тогда, в сорок третьем, весна в Прибалтике наступила рано, уже в апреле в лесах зацвели дикие яблони и появились кукушки... Я недавно узнал, подумал Сыромуков, что тоскует-кричит не кукушка, потерявшая детей, а самец. Да-да, самец, и черт с ним, такая, значит, у него судьба...

На то, чтобы мысленно окинуть ту свою партизанскую весну, лето, осень, зиму и снова весну и лето уже нового, сорок четвертого года, Сыромукову понадобился один короткий миг — это все равно, как если б лучом карманного фонаря поверочно высветить в темном подвале сложенное тобой же добро и удостовериться, что все там цело, все остается на своем прежнем месте. Другое дело заново перебирать-раскладывать это добро-недобро. Сыромуков подумал, что навряд бы он справился с такой задачей. Какие-то клади пришлось бы оставлять неприкосновенными, а что-то именовать

иначе для понятности людям, так как нажить эта принадлежит всем, а не кому-то одному... И тем не менее он все-таки шел в форме немецкого лейтенанта. В том-то и дело!.. Тогда, в апреле сорок третьего, к его группе, нечаянно прибилась толпа бедолаг, бежавших из какого-то барак-лагеря на торфоразработках. Их было шестнадцать человек с палками-посохами в руках. Как и полагается, ими уже путеводил свой лидер, организовавший побег,— паренек лет девятнадцати. Нет, они не кинулись обниматься, все двадцать шесть сыромуковцев — сам он тоже,— встретили их молча, и бедолаги стояли тесно сбитой кучей, с мольбой и страхом глядя на тех, кто до этого грезился им как осанна верующим. Эту безоружную ораву больных и голодных доходяг сыромуковцы поднять не могли. Беглым предстояло брести своей дорогой на восток, и лидер их, возможно, получил бы немецкую винтовку, лишнюю в группе, но в последний момент Сыромуков заметил торчащий у него за гашником столовый ножик с деревянной ручкой.

— А ну, покажи,— потребовал он.— На хуторе добыл?

— Так точно, товарищ командир! — по-военному ответил лидер. Острие самодельной косенки было, как огонь, успел наточить.

— Выпросил или украл? — возвращая ножик, спросил Сыромуков.

— Дома была одна старуха. По-русски она не понимала...

— Но хлеба дала?

— Так точно! И сала тоже!

— Какое у тебя воинское звание?

— Старший сержант... бывший.

— Почему бывший, раз ты живой? Кто тебя демобилизовал?! — прикрикнул Сыромуков.

— Не знаю... в плен же попал. Не бросайте нас, товарищ командир. Мы ж свои...

Сыромуков не узнал, кто сказал тогда, что за линией фронта проверят, свой он или чужой. Это было выдано с дрянным полусмешком превосходства сильного над слабым и как бы правого над виноватым. Сыромуков, как под ударом, обернулся на эти слова. Его люди стояли, демонстративно покоя на животах игру-

шечно ладные немецкие автоматы. Да, это у них было. Уже было. Но перед кем же похваляться? И зачем? Затем, что им, вооруженным, не будут потом заданы вопросы, чьи они родом? Не будут? А ведь всего лишь семь месяцев назад он точно так же вел их, голодных и безоружных, на восток, только толпа та была раза в три больше этой: в товарный пульман, откуда они бежали, немцы загоняли по сорок восемь человек... Сейчас невозможно было узнать кого-нибудь из них, тех, саласпилсских. И нельзя было — не нужно в лесу — устанавливать, кто бросил камень в этих. Он метко попал в цель, вожак беглецов заплакал, а Сыромуков приказал ему построить своих людей.

— За что, товарищ командир? Мы же все раненые были! Не губите!

Он упал на колени, а люди его шарахнулись в глубь леса, но не врассыпную, а кучей, хватаясь один за другого. Потом, секундами позже, выяснилось все, и было трудно удержаться от желания ударить лидера за сумасшедшую мысль и за то, что подчиненные его не знают, как спасаться в лесу из-под расстрела в упор... Осипшим голосом, подстегнутый каким-то устрашающим восторгом перед собственным решением, которое возникло у него, как возникает в человеке порыв к подвигу, Сыромуков объявил беглецам, что властью, данной ему как лейтенанту и разведчику генерального штаба Красной Армии, он восстанавливает им воинские звания и зачисляет в свою спецгруппу. Так был удостоверен смутный домысел его людей, кто такой на самом деле их командир. Сыромуков знал о существовании этой ложной на его счет догадки, но внятно не подтверждал и не опровергал ее: она не только предоставляла бывшим пленным основу для личных надежд на жизнь, но в первую очередь подчиняла их поведение интересам высшего порядка. Тайно, про себя, он уже давно решил, что только э т о — вера в его мнимую миссию — может придать нравственно ценный смысл их поступкам, помочь им — и ему самому тоже — не превратиться в обыкновенных мародеров. Другое дело, как все это будет. Сумеет ли он держать себя так, чтобы, не роняя достоинства генштабиста, не присваивать в то же время его привилегии. И как быть потом перед своими э т и м и и своими т е м и, что придут? Смо-

жет ли он объяснить, для чего ему понадобилась ложь? Наверно, все-таки сможет. Бежавших из лагерей будет все больше и больше. Они тут без знамен и без надежд. Им нужен, нужен генштабист со своей полномочной властью и силой, милостью и защитой, и не его вина, что такого человека среди них нет!..

Может быть, только тот, кто по злой воле судьбы оказывался в недосягаемости законов своей страны и за чертой доступности ее послов, в состоянии понять, как отрадна бывает минута обретения над собой сладкого бремени защитной власти этих законов! Хотя русский человек склонен легко переходить от неприязни к любви и от печали к радости, все же тогда в прибалтийском лесу был несомненный повод для того, чтобы каждый побратался со всеми, а все с каждым...

Так пополнилась в первый раз группа Сыромукова, и уже на второй день положение ее усложнилось вдвое. До сих пор она жила летуче, не отвлекаясь от главных шоссейных дорог. Свалить в кювет любую автомашину, если она шла без сопровождающего броневика, не считалось трудным делом — для этого достаточно было двух автоматов, чтобы один бил по кабине, а второй по кузову. В «бьюссингах» и «опельблицах» попадалось не только оружие. В крайнем случае запас еды пополнялся при переходах, чаще всего на встречных хуторах лесников или старост — людей богатых и враждебных. Теперь же группа утратила свою жизнеспособность, затаборившись на одном месте: после братания и еды на новичков напал не то какой-то злостный понос, не то дизентерия. Они все оказались пораженными вшами, чесоткой, струпьями да болячками, и заряда жертвенной любви к ним у сыромуковцев хватило ненадолго. Больные лежали в шалаше из еловых лап и сосновых веток. В его крыше была дыра, но дым от костра не всходил вверх, а стлался понизу, гася пламя, и доходяги по ночам мерзли и задыхались. Уже на вторые сутки Сыромукову стало ясно, что тут ничего нельзя было поделать, если б даже все его двадцать шесть человек оказались разведчиками генштаба, решительно ничего, кроме единственного — сняться с места и уйти. Одним. Оставив тех в шалаше с замаскированным костром. Но генштабистом был он один на всех — и для этих, и тех, и, главным образом, как ему

казалось, для тех, только что восстановленных в воинских правах. Бросать их было нельзя. Тогда сама собой разрушалась и оподлевала идея его самозванства. Тогда им, вооруженным, прямой путь в бандиты. Чтоб пограбить и пожить, а там... Нет, бросать новичков было нельзя, но другого выхода Сыромуков не видел. Он быстро убедился, что до самозванства ему было легче командовать. Тогда требовалось лишь улавливать согласное желание всех и в соответствии с ним принимать решение. Теперь же все изменилось. Теперь люди безропотно помалкивали, ждали его приказа, что им делать и как быть. В их поведении появилось что-то скованное и притушенное; они стали отдаленнее от него. Сыромуков не знал, что надо было делать, и скрытно возненавидел тех, что лежали в шалаше. Никому и никогда он не признался в том, как заклинающе горячо призывал на них тихую легкую смерть, чтобы она прибрала их одним освобождающим махом, враз. Тогда бы их почетно похоронили в общей могиле, как воинов и братьев, и группа снялась и ушла бы своей дорогой.

Но заклятья не действовали, доходяги оставались живы — им, обретшим права людей и солдат, нельзя, наверно, было так бессмысленно погибнуть. Сыромукову показалось тогда нужным покаяться бывшим пленным, что он обманщик, что настоящий разведчик не станет объявляться перед строем, о чем им следовало бы знать... Он представил себе — тут, перед шалашом! — этого настоящего разведчика. Подумаешь, какая засекреченность!..

И Сыромуков раздумал каяться... Сейчас бы он ни за что не согласился поглядеть на себя — того себя — даже издали. Что тогда с ним было? С какой стати он взял и надраил песком пуговицы на своей нелепой железнодорожной шинели? Она была черная, безобразно широкая и длинная, и латунные пуговицы ее чистить не следовало хотя бы потому, что на них изображался какой-то витязь на вздыбленном коне, а не своя красноармейская звездочка. Голенища яловых, польского фасона сапог тоже не надо было подворачивать,— на кой черт, ведь ходил же до этого в нормальную длину, а тут вдруг срочно понадобилось! Зачем? К какому смотру готовился? Утверждался, значит,

в «генштабстве», зас...! Еще мельче и недостойнее было то, как он на третьи сутки братания воровски ловко спрятал свою беспомощность и растерянность за напущенной на себя неприступной таинственностью. Дескать, я знаю, что делаю, все учтено и выверено, и обсуждать что-нибудь тут нечего! К тому времени кончилась еда. Хотя никого из братвы не приходилось учить, как находить насущный свой кусок, все же добыть его без риска навлечь на себя карателей возможно было лишь в движении, а не сидя на одном месте.

В тот день он с утра не вылезал из своего командирского шалаша и с великим усердием провинившегося человека работал — протирал «вальтер». Это занятие, как и чистка пуговиц, тоже было ненужным и несрочным, но все же ему сообщался кое-какой смысл: оружие есть оружие, оно требует ухода и догляда. Он работал и думал, что выходить ему из шалаша т о л ь к о с подвернутыми голенищами и начищенными пуговицами немыслимо, что он обязан отдать людям какое-то обнадеживающее их распоряжение, в котором проявилась бы и его командирская уверенность. Он поискал, чем бы возмутиться по хозяйству лагеря, но приказывать людям было нечего. Они сами, по заведенному между собой порядку, распределяли на стоянках время смены друг друга в секторах, знали, чем грозит осечка или невыброс стреляной гильзы, и свои автоматы содержали в добре. Нет, приказывать братве на стоянке было нечего; и все же повод проявления «генштабской» воли в конце концов отыскался. Сыромуков распорядился принести ему в шалаш «штабной сейф». Это был фельдпостовский парусиновый мешок величиной с матрац, клейменный черными орлами. Четыре таких мешка с письмами и посылками на восточный фронт попались группе в подбитом «блице» минувшей зимой накануне Нового года. Писем как раз хватило на скорый обогревной костер — в тот день дул низовой промозглый ветер. Посылки были разной величины, но даже самые большие не превышали размера упаковочных картонок для дамских туфель, и все они уместились в одном мешке. Его несли поочередно, то и дело сменяя друг друга, и причина такой взаимовольной предупредительности была не в тяжести мешка, а скорей всего в святой ревности приобщения к тому, что

в нем находилось. Досмотр посылкам учинили на первом же привале, и начался он с больших, окрещенных «гауптмановскими». Там лежали настылые, в фольговом серебре и золоте, шоколадные плитки, красочно расцвеченные пачки сигарет, грецкие орехи, брикеты галет и печенья. То же самое, но потусклей и помельче было и в средних, «фельдфебельских» коробках. Их досмотрели с таким же чинным сознанием своего права на это, как и «гауптманские», и, может быть, каждый считал и верил тогда, что эти новогодние подарки посланы ему самим господом богом... Маленьких посылок-пакетов оказалось раза в три больше, чем офицерских. Им не стали придумывать название — было ясно и так, что это солдатские. В той, что вскрыли первой, лежал в какой-то запретной сокровенности начавший плесневеть пирог домашней выпечки, серые, грубой вязки носки, три или четыре витые елочные свечки и фотокарточка старой женщины, покрытой темным платком на русский манер. На привале установилась трудная пустая тишина, пока посылка переходила из рук в руки. Ее водворили на место, в мешок, и кто-то из братвы крикнул, что хватит тех, больших, мать их в закон и веру, а эти холостить не надо, никто не нуждается... Сыромуков ушел тогда в лес, борясь с удушающим комком, подкатившим к гортани, а вернувшись на поляну и все еще стыдясь своей минутной слабости, остервенело скомандовал поход. Он так и не узнал, потому что не хотел знать, куда делись эти солдатские посылки, когда и где братва похоронила их. С той зимней поры мешок и превратился в «сейф». Его мыслилось предъявить потом одновременно с самим собой тому, кто будет ведать дальнейшей судьбой бывших пленных, и предполагалось, что чем больше окажется в нем разной трофейной клади, тем благополучней сойдет та встреча...

Этот-то «сейф» и был доставлен в шалаш Сыромукова. В щель лаза он видел лишь сапоги того, кто его принес, — тупоносые, на двойной подошве в железных шипах, с удобно короткими голенищами в раструб. Брюки и шинель на парне тоже, конечно, были немецкие. Сыромуков впервые тогда подумал, что грядущая встреча со своими может обернуться лихом, если братва будет одета и обута так же, как и власовцы, — поди

там определи сразу, чей этот малый родом и откуда он... Тот доложил тем временем об исполнении приказаний, назвав Сыромукова не командиром, как это было принято в группе, а товарищем лейтенантом, и попросил разрешения идти. Он стоял по команде «смирно» — это было видно по сапогам, и повернулся кругом по-военному собранно, и с места шагнул с левой ноги. Он, наверно, считал, что если воинское достоинство возвращается каким-то там пришей-пристебаям, только что сбежавшим из плена, то ему, кадровому сыромуковцу, сам бог велел числить себя военным. По его уходу Сыромуков ощутил себя полностью раздавленным сознанием неспособности оправдать надежды обманутых им людей... Сейчас ему не хотелось задерживаться памятью над тем, как он примеривающе нянчил «вальтер», мстительно отсылая братву самостоятельно решать, что делать с собой и с доходягами. Вспоминать об этом не хотелось потому, что даже теперь невозможно было определить, какая причина помешала тогда ему: мысль о таком злостном своем дезертирстве или же протестующий ужас тела перед вонючим куском железа. Но скорей всего это намерение было неискренним, выблудочным, чтобы потерзаться жалостью к себе. Недаром же он забыл о пистолете, как только в шалаш влетели две лимонницы. Они огнеными лоскутками заметались в зеленой тьме, и он долго следил за их слепым трепетным порханием, сам дивясь тому, с каким душевным напряжением, доходящим до физического страдания, ждет их излета на волю, а когда загад сбылся, подтянул «сейф» к ногам. Мешок был завязан нарочно окороченным для того трофейным поясным ремнем. Его пряжка покрылась налетом сизой окиси, но буквы девиза «готт мит унс» проступали на ней выпукло и почему-то блестели. Сыромуков знал смысл этого изречения и никогда не спотыкался на нем разумом — мало ли было кощунств на земле и помимо, но в тот раз он с безысходной смутой подумал, что даже вот у фашистов есть свой бог и свой Адольф Гитлер, а от него с братвой и от тех, что повалом лежали в вигваме, давно отступились все небесные святители...

Бесцельно, но сосредоточенно он стал доставать из мешка трофеи — бумажники с документами и марка-

ми, оторванные с мундирной тканью солдатские и офицерские погоны, затихшие часы, кресты и медали, губные гармошки, карманные фонари, портсигары, автомобильные ключи зажигания — и неизвестно зачем раскладывать подле себя. Дрязг этот отдавал сложно соединенным запахом слежавшейся нечистоты, железной ржавчины, солярки и еще чем-то невыразимо отвратным. С бессознательной брезгливостью и опаской, будто он захватывал живую мерзкую тварь, Сыромуков выбрасывал и выбрасывал из мешка, что попадалось под руку, и, когда там ничего не осталось из мелочи, безнадежно подумал, что едва ли этот хлам послужит хоть каким-нибудь свидетельством перед своими, что он с братвой тоже не чужой. Наверно, придется еще доказательно объяснять, как это собиралось, для чего и по чьему распоряжению... Его тогда впервые настигло раздумье, почему этот дурацкий мешок с муторной поклажей ни разу не навел братву на догадку, что их командир — такой же бывший пленный, как и они сами? Отчего они считают, что он неспроста куковал с ними в лагере? В чем тут причина? В том, что он организовал побег? Или же в том, что человеку хочется обманываться, если это сулит хоть какую-нибудь надежду?..

В мешке оставалась еще самая главная кладь — три жандармские нагрудные бляхи и комплект офицерского обмундирования. Кладь эту Сыромуков выбрал из мешка напоследок — хотелось убедить самого себя, что не все там дрязг и бирюльки. Предполагалось, что обезвреженные знаки жандармской власти должны будут произвести впечатление на любого своего тыловика-дознавателя — если, конечно, не распространяться насчет того, как они были добыты. Встреча с жандармами не потребовала от братвы ни жертвенного подвига, ни даже маломальского солдатского риска: те были укобенены безобразно грубо, легко и безжалостно, а главное, случайно: они шли по шоссе, ведя заглохший мотоцикл, и никто из них не успел схватиться за оружие или залечь в кювет. Уже мертвых, братва продолжала расстреливать их вблизи, и ей нельзя было приказать прекратить победно-яростную стрельбу... Да, отсвета воинской доблести на трофейных бляхах, пожалуй, не было — жандармы полегли, как быки под

обухом. Черт догадал их погибнуть без ответных выстрелов! Не удосужились выпустить хотя бы одну-единственную очередь! Тогда б кто-нибудь из ребят мог быть убит... а лучше всего ранен, в левую, например, руку, и с бляхами все вышло бы по-другому. Как-никак, а была бы стычка, кровь.

Не много солдатской славы, как ее понимал Сыромуков, причиталось его людям и от тюка с офицерским обмундированием — два месяца назад «адлер» так же был подбит из засады, и оба немца в нем — ефрейтор-шофер и этот Курт фон Шлихтинг — едва ли успели подумать о сопротивлении: машина перелетела кювет и врезалась в сосны. Ефрейтору угодило в голову, а на лейтенанте пулевые метины отсутствовали — разбился сам. На нем была щегольская шинель и сизо-белесый, с серебряным аксельбантом мундир, лакированные сапоги и миниатюрная кобура хромированного браунинга. В его бумажнике оказалось около тысячи рейхсмарок, надписанная фотография Геринга и личные документы. Он был каким-то там «фоном», хотя и без крестов. Он, несомненно, должен был считаться знатной шишкой, поскольку даже в машине сидел в лайковых перчатках, и поэтому обмундирование его попало в «сейф». Полностью...

Тюк был завернут в домотканое рядно и перевязан веревкой, похожей на вожжи, а откуда это взялось, Сыромуков не знал, не помнил такого своего распоряжения — д о с т а т ь у хуторян попону,— братва, значит, сама, помимо него, заботилась о сохранности трофеев. Что ж, может, это и пригодится. Пусть не все, но хоть что-нибудь. Да и кто знает, сколько накопится в «сейфе» тех же самых блях, пока придут свои. Их, возможно, будет тридцать, а не три!.. И вообще любой трофейный запас мешку не порча. Нет, не порча! К нему можно будет приладить потом носилки, чтоб таскать вдвоем или вчетвером,— мало ли что еще в нем окажется, будь он проклят!.. Все еще без смысла и цели Сыромуков развязал тюк. Шинель, френч и бриджи почти не смялись, но фуражка сплюснулась и покривилась, приняв несерьезный, прощелыжный вид. Ее, наверно, следовало набить мхом и выправить, иначе какой дурак поверит, что такая лепеха принадлежала родовитому арийцу, разъезжавшему в «адлере». Чтобы

придать фуражке первоначальный кандибобер, Сыромуков насадил ее на колено, и тулья выпрямилась. Он ради любопытства примерил фуражку — она пришлась точно впору — и ощупал ее края. Тулья топорщилась, как ей и полагалось, и только немного кренилась набок. Вслед за фуражкой, но тоже лишь в угоду ребяческому порыву состязания с мертвым избранником человеческой породы, он надел галифе, френч и сапоги. В шалаше нельзя было выпрямиться во весь рост, но, и стоя на коленях, Сыромуков ощущал, как подхватно ладно облекла его тело эта чужая воинственная одежда. Тогда он открыл, что в нем все еще не истреблена потаенная вера в неуязвимость на этой войне, и рядом с мыслью о позоре своего ребячества — «люди ждут приказа, что им делать, а ты тешишься примеркой фашистского мундира!» — рядом со стыдом этого самоуличения в нем жила и светилась какая-то своевольная искра упрямого торжества. Он придвинулся к лазу шалаша и прислушался, пытаясь вылущить для себя только те звуки табора, в которых проявилась бы его тревожная бедственность, и сразу же отметил, как по-весеннему ласково и сокровенно блестели иглы крошечных елок, росших перед шалашом и смятых сапогами того парня, что принес «сейф», услышал приглушенные стоны доходяг, но не омрачился ими, — незаконное чувство бодрости не поддавалось никакому укору совести... Он до сих пор отчетливо помнил, с каким счастливым чувством первооткрытия нашел в кармане фоншлихтингского френча хромированную зажигалку и ярко-зеленую пачку сигарет на десять штук. Обычно трофейное эрзац-курево сгорало за три затяжки и отдавало дымом пересохшей соломы, а эти сигареты курились с замедленной постепенностью и пахли настоящим табаком. Он помнил и то, как решил не возвращать в «сейф» перочинный ножик с перламутровым черенком о четырех лезвиях — «возьму себе», решил, как о нечаянно обретенной потере, и взял, не постыдился... В груде трофейного дрязга лежали и другие заманчивые сокровища — например, те же губные гармошки, и осталось неизвестным, какую из них, металлическую или деревянную, он выбрал бы себе, если б ему не помешали. Тогда за шалашом возникли шаги, и он услышал, как кто-то из братвы сказал вперемежку

с матом, что это, мол, называется скинуть сапоги, а самому обуться в лапти.

— Жди, падла, прочеоку. Конец нам тут будет разом с доходягами!

Ему с угрюмой обреченностью заметили, что это не его телячья забота.

— А мне лично все одно, что мед, что патока,— сразу сдался ожидавший прочеоку.

— Ну вот и сопи в тряпочку,— вразумили его.— Сухомятому видней, что к чему, понял?!.

Кличку в группе носил каждый, чаще всего озорную или малопристойную. «Сухомятым» братва заглазно звала Сыромукова. И что ему, оказывается, было видней всех, что к чему. Ему одному!.. Даже теперь, тридцать лет спустя, он не мог с уверенностью сказать себе, что тогда потрясло его до восторженно-сладких слез — немая благодарность братве за ее преданную верность или же ликующая радость прозрению, озарившему его мозг и грозным гулом отозвавшемуся в сердце,— он нашел выход и знал, как ему следовало поступить!..

Лара подошла неслышно сзади и по-детски капризно пожаловалась, что ее задержал в палате врачебный обход. Она несла в руках небесную мохеровую кофту и черную круглую сумку в медных нашлепках, а на самой был серебряный шлемик, белые туфли на платформе и темное вязаное платье, сквозящее в ячейки чем-то тревожно малиновым, напоминавшим плоть младенца, которого искупали в непомерно горячей воде. В ее доверительной жалобе на задержку врачами Сыромукову почудилась притягательная претензия на его суверенитет, и он возмутился отвращающей модностью ее платья, толщиной подошв у туфель и сумкой, похожей на щит. Мальбрук в поход собрался!.. Ему по-прежнему не было ясно, за каким чертом он пригласил ее в город, и было стыдно за свое вранье об уходе Елены к другому. С какой стати сбрехал? Зачем? Какая-то подлая старческая суета и безудержь...

— Почему мы стоим? — подозрительно спросила Лара. Она, наверно, что-то уловила в его настроении.

— Но тут ведь негде сесть,— перекорно сказал Сыромуков. Лара сосредоточенно посмотрела на него снизу, и он заметил, как некрасиво и жалко задрожал

у нее подбородок, а руки с ношей приподнялись и вынеслись вперед.

— Вы же хотели показать город... Не будете уже?

— А что там...

У него на этом слове споткнулось сердце, но не обрывно и не глубоко, так что он не успел испугаться. Он захватил ртом большую дозу воздуха и задержал его, а Ларе погрозил пальцем.

— Что такое? — смятенно спросила она.

— Тихо,— на выдохе сказал Сыромуков таинственно,— мы сейчас пойдем в город. Дайте, я понесу вашу кофту.

Он взял у нее кофту и уложил на свое плечо. От нее пахнуло загадочно, свежо и нежно, как пахло, бывало, от повилики после грозы, и Сыромуков вдруг растроганно ощутил тихое чувство прикосновенности к чему-то сокровенному и забытому. Он спросил, какие на кофте духи, и Лара с безразличным видом ответила, что это «Шанель».

— Никак не воскрешу, что связано в моей жизни с этим запахом,— сказал Сыромуков.

— Неприятное?

— Нет, светлое.

— Когда долго помнится запах, возрождающий картину прошлого, это называется эманацией памяти,— объяснила Лара. Сыромуков изобразил на лице почтительность, а сам подумал, что ей больше подходит имя Эманация, чем Лара. Ему опять пришла шальная мысль щелкнуть ее мизинцем, и, чтобы скрыть глаза, он с учтивой изысканностью склонил голову, пристукнув каблуками и старомодно согнув калачом правую руку. Лара важно приняла ее и оглянулась по сторонам, но поблизости никого не было. Сыромуков коротким поощрительным движением пожал ее локоть, и она ответила ему благодарным взглядом. Они установили размер шага, удобный для обоих, и пошли под уклон терренкура, еще пустынного и влажного от ночной росы. Кофта держалась на плече Сыромукова грациозно и цепко, как ручная белка, и запах духов от нее исходил не постоянным током, а промежуточными волнами, как и следовало, чтобы не привыкнуть к нему. Лара шла увлеченно, будто ее манила вперед серьезная цель, и шлемик ее плыл у плеча Сыромукова без

кренов и покачек. В притропных кустах боярышника сыто и музыкально верещали птицы, в горах и в небе было покойно и вольно, и Сыромуков подумал, что Денису придется все-таки написать правду, как хорошо тут жить. Он спросил у Лары, довольна ли она своим курортным уделом. Она, оказывается, не решила еще, довольна ли, потому что все, от чего человеку бывает хорошо, дается ему, к сожалению, трудно, и что надо всегда начинать с себя, тогда возможен успех.

— Успех в чем? — не понял Сыромуков.

— Во всем. Вот мне, например, уже легче идти с вами, как только я предупредила, что не ошибаюсь насчет своего роста. И вам, как мне кажется, тоже не стыдно теперь со мной. Я права?

— Это вздор. Ваш рост...

— Идеален, — в нос сказала Лара.

— Не в этом дело, — запутался Сыромуков. — Хотя мне лично стало значительно свободней после того, как отпала необходимость скрывать перед вами свою лысину. Это точно!

— Но то же самое произошло и со мной. Против чего вы протестуете?

— Да я не протестую, а только хочу сказать...

— Что вы проникаетесь гордым достоинством перед встречными, идя со мной рядом, да?

— Вы язва, — восхищенно сказал Сыромуков. — Кстати, а вам не холодно в таком кисейном платье?

— В кисейном? Но оно же на чехле. А вы что подумали?

— Почти непристойное.

— Очень мило! С каких же это пор человеческое тело непристойное зрелище?

— Наверно, с тех самых, как с него исчез след рая, — ответил Сыромуков. Лара заметила, что всякие разумные примеры или доводы способны наносить обиду собеседнику, поэтому лучше их не приводить.

— Кстати, я хотела попросить у вас прощения за... ну, вы знаете, вам нравится руководить другими.

Сыромуков принял покаяние, а от приглашения руководить другими отказался, так как с детства якобы боялся и ненавидел тех, кто распоряжается чужими делами.

— Вы слишком непостоянны,— упрекнула Лара.

Сыромуков сказал, что он любит движение.

— Это исключает последовательность?

— Конечно. Разнообразие всегда было врагом его.

— Вы хотите сказать, что правило боится оригинальности?

— Безусловно. Особенно когда это правило опошлено.

— А что такое пошлость?

— Стократная повторимость. Или стихийная расхожесть моды на что-нибудь. На ваши мини-юбки, например, седые парики, на наши бороды, нелепые галстуки лопатой, на иконы, подсвечники.

— На портреты того же самого Есенина и Хемингуэя,— невинно подсказала Лара.

— Конечно,— сказал Сыромуков.

— Значит, пошлость — массовость? Но ведь в это понятие заложена идея блага для всех. Интересно, как вы вывернетесь сейчас.

— Ну и пусть заложена,— сказал Сыромуков,— но не станете же вы отрицать, что главным в идее блага считается теперь потребительство и наслаждение?

— Допустим. А почему?

— Очевидно, потому, что главным органом индивидуальной жизни является все-таки пищеварительный канал.

— О господи! Сама я тоже люблю говорить иногда несуразности назло так называемым праведникам, а вот слушать чужие благоглупости спокойно не могу. Вы не знаете, в чем тут дело?

— Не впадайте в панику,— сказал Сыромуков,— наличие у нас пищевода совсем не означает, что над человеком,— но над Человеком, заметьте! — не довлеет еще и благородный груз так называемого категорического повеления.

— Не зависяще от него самого? Что же это такое?

— Чувство долга, чести, самопожертвования.

— Но это тоже остается лишь в идеале, извините за выражение, поскольку здесь требуется человек с большой буквы, как вы сказали?

— Нет,— возразил Сыромуков,— не человек-исключение требуется, а благоприятные условия для осознания каждым...

Он осекся — из-за поворота терренкура навстречу им вышла женщина, внезапно остановленная тем знакомым Сыромукову преградным толчком взрывного испуга, когда человеку кажется, что он уже просрочил время, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Она была чудовищно толста и громоздка и стояла в напряженной позе ожидания конца удушья, как определил ее приступ Сыромуков, успевший мысленно обругать врачей за то, что они разрешают таким людям шляться по горам. Он подумал, что нитроглицерин поможет ей, но достать стекляшку не успел, заметив, как покойно-справно больная попятилась к кромке тропы, благополучно удерживая в руке полиэтиленовый мешок с апельсинами. Она приложила к надбровьям козырек ладони и с откровенным горестным удивлением глядела на Лару. Сыромуков загораживающе вынес вперед плечо, на котором лежала кофта, не зная, как ему поступить, если эта овсяная скирда возьмет и причетно заголосит: «а-я-яй, да господи же ты, боже мой!» Он покосился на свою спутницу и увидел, что сумку она несет впереди себя, болезненно глядя куда-то вверх и вбок. Они сбились с шага, потому что Лара попыталась высвободить свою руку из-под локтя Сыромукова, но он не выпустил ее и неестественно громко сказал, что то категорическое повеление, о котором они говорили, проявляется главным образом в условиях всенародных бед и войн в первую очередь у людей с большой душой, а не телом.

— Уразумела ты, в чем тут дело? — спросил он, когда они поравнялись с курортницей. Лара предслезным шепотом сказала, что все это пустые слова и что она не желает утешений. — Не капризничайте по пустякам, — отечески сказал Сыромуков и волоком, чтобы разорить начес, стащил с головы берет. — Извольте-ка нести вот этот мой десантный доспех, а то в нем жарко. Кроме того, некоторым бывшим военным пора, я думаю, надеть очки. Вы не находите?

Он преднамеренно низко склонил голову, когда передавал берет, и по тому, как Лара подлаживающе сменила шаг, решил, что деликатный баланс их индивидуальных достоинств восстановлен снова.

Терренкур вывел их к санатрию «Россия». Его гранатовое куполообразное здание было, по убеждению

Сыромукова, одним из лучших в Кисловодске — архитектору удалось вдохнуть в свое творение живое настроение радушия и привета. Это как бы запрограммированное здесь обещание добра не только витало над самым зданием, но и распространялось окрест, и Сыромуков таинственно сказал о нем Ларе. Он убежденно объявил, что из всех искусств архитектура самое неотразимое доказательство того, что над людским родом никогда не тяготело и не тяготеет проклятие зла, ибо человек непорочен от рождения, раз способен возносить величественные храмы самому себе и богу. Лара мягко осведомилась, кто же тогда наполнил мир изуверствами? Бог, а не сами люди? И куда в таком случае человечеству деть своих иродов? Сыромуков хотел сказать, что любое преступное дело все равно регистрируется где-то там на незримых нам горних скрижалях и в конце концов наказывается неким внечеловеческим законом, но это показалось ему смутным и напыщенным доводом. Он промолчал и подумал, как все-таки легко стащить на землю того, кто взовьется на минутку под купол неба. Раз — и тот очутится на своем окровавленном песчаном шарике, накопившем слишком много темных летописей!

— Вот видите, как просто загнать оппонента в угол каким-нибудь ржавым историческим жезлом,— полусерьезно сказала Лара,— хотя мне совсем не хочется спорить с вами. Хотите знать, почему?

Сыромуков кивнул.

— Но я скажу только то, что касается лично вас. Так вот, мне вы показались сейчас совсем другим, а не тем, что я думала о вас раньше. Вы, оказывается, не до конца еще прошли сквозь такие эмоциональные стадии, как сомнение и разочарование. И когда вы споткнулись на ироде, я еле удержалась, чтобы не помочь вам.

— Оттащить его на обочину истории? — засмеялся Сыромуков.— Но в нем, поди, пудов пять или шесть веса. Как в той женщине с апельсинами.

— А я хотела призвать на помощь Достоевского. Ведь он будто специально для вас сказал: «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!»

Было неясно, что она имела в виду, подав Сыромукову эту утешительную милостыню,— его ложь об ухо-

де жены к другому или полупризнание, что он не состоялся как архитектор. Но, возможно, она просто хотела понравиться, зная по-женски прозорливо, как любит мужчина, когда его жалеют и превозносят.

— Так и заявил? — спросил Сыромуков в сторону, сам дивясь тому, как отрочно-больно толкнулось ему в сердце это утешение.— Никогда не увлекался и не понимал его,— сказал он о Достоевском. Лара с заботливым удивлением взглянула на него, но ничего не возразила и шла свободной раскованной походкой, погасив свои позиционные огни, согласная не противоречить. Через улицу, напротив «России», бульдозеры стирали с лица земли деревянные мансарды, утайливо разбросанные в зарослях холма. Эти летние подсобные гнезда санаториев были различных стилей, форм и окрасок, построенные невесть когда, и теперь на их распланированном прахе сооружались бетонные типовые коробки всесезонных лечебных корпусов. Сыромуков остановился и стал закуривать, освободив руку Лары. Было безветренно, но спички почему-то гасли, и когда он повернулся спиной к стройплощадке, Лара певуче сказала о бульдозерах:

— Ка-акое варварство!

В душу Сыромукова нужно улеглось это ее возмущенное восклицание, но в то же время он уловил в нем и лицемерие в угоду себе, невольному неудачнику.

— Тут всего-навсего голая необходимость, а не варварство,— холодно сказал он.— Кроме того, никто из нас не застрахован от безвкусицы и отсутствия воображения. Только и всего.

— Вы так считаете? — вкрадчиво сказала Лара.— Но не потеряет ли в таком случае наше зрение способность к восприятию красоты? Мы не ослепнем эстетически?

Сыромуков ответил, что слепые хотя и не видят солнца, но теплоту его чувствуют, так что все тут в порядке.

— Я вас чем-нибудь обидела? — спросила она.

— Нет-нет,— спохватился Сыромуков,— я забыл, как это называется, когда запах оживляет забытую быль, и все пытаюсь вспомнить.

Лара напомнила, как это называется, и он взял ее под руку.

Точильщика бритв на месте не оказалось. У грота Лермонтова организованно толпились вокруг своих вожатых экскурсанты из разных санаториев, и протискиваться к казематной решетке дикарем едва ли было разумно. Здесь, в низине парка, совсем по-летнему млели цветы на газонах и даже душно парило, но Ларе вздумалось зачем-то надеть кофту на виду экскурсантов, что могло вызвать иронию, а то и открытую насмешку над галантностью Сыромукова, если бы он помог ей одеться. И он, как нашкодившего котенка, взял кофту за воротник и передал ее хозяйке. Лара сказала «благодарю», но без обиды. Они медленно и порознь пошли в верховье парка, задерживаясь у фотовитрин подле рукотворных утесов, на которых топырились ветхие чучела орлов с расширенными крыльями и пусто сквозящим зрачком стеклянных глаз. В створках витрин приманчиво красовались групповые и одиночные цветные фотографии с надписями: «Привет с Кавказа», и орлы на снимках выглядели по-живому внушительно. Отклонясь от главной пешеходной дорожки, они вышли к тесному и глубокому руслу Подкумка. Перед ним росли заповедно-гигантские деревья, название которых Сыромуков не знал, но Ларе представил их кипарисами,— это звучало экзотичней, чем, например, ясень или вяз. Меж этих «кипарисов» в синем сумраке как будто залегала какая-то первобытно-непорочная тайна, побуждавшая к раздумью и печали. Сюда не доносились никакие шумы и пока еще не достигало солнце, и воздух тек разнослойными волнами — то атласно сухо, то прохладно и влажно. Лара показалась тут еще меньше, прислонясь к могучему дереву, оголенному от коры, величественно погибшему стоя. Она сняла шлемик, кинув его рядом с сумкой у подножия дерева, и с истеричной вдохновенностью на запрокинутом лице, зажмурившись, начала декламировать гортанным низким голосом: «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет... Для беглеца мне сад пошли: без ни — лица, без ни — души! Сад: ни шажка! Сад: ни глазка! Сад: ни смешка! Сад: ни свистка!.. Скажи: довольно муки — на сад — одинокий, как сама... На старость лет моих пошли — на отпущение души».

Сыромуков оторопело увидел, как из-под смеженных ресниц по щекам Лары катятся слезы. Первым неосознанным порывом его было утешающе погладить малютку по голове — ну что, мол, такое,— но наперебой этому появилось новое властное желание — прервать ее плач окриком, не юродствовать и таким образом помочь самому себе достойно перенести беспощадную пронзительность этих цветаевских стихов.

— Идемте на солнце! — клекотно распорядился он. Лара, по-детски всхлипнув, подобрала сумку и шляпку, и Сыромуков подумал, что ему надо, надо было погладить ее по голове.

На главной тропе им повстречался соловьиный мастер в своем страшном коновальском плаще с полуоторванным карманом. Он, вероятно, успел распродать утреннюю порцию товара, потому что не засвистел при их подходе.

Лара была молчалива и сумку временами несла впереди себя.

В санаторий они вернулись прежним путем, и там в продовольственном ларьке Сыромуков счетно купил четыре апельсина и две плитки шоколада, чтобы все это делилось поровну.

Ключа в гардеробной не оказалось — Яночкин, наверно, отдыхал до обеда, и, чтобы не беспокоить его, Сыромуков решил не подниматься в палату. Он припомнил, что бильярдная размещалась на первом этаже в конце коридора, и отыскал ее. Стол почти целиком загромождал комнату. На нем лицом к двери в одиночестве сидел лысый пунцоволикий старик в солдатской гимнастерке и что-то выкраивал из кожаного лоскута. Вместо правой ноги у него была деревяшка. Она горизонтально, как ствол противотанковой пушчонки над бруствером окопа, лежала на борту бильярдного стола, нацеленная на дверь, и отполированные шляпки медных гвоздей, крепившие резиновый кружок к рыльцу ходульки, блестели притягательно тревожно.

— Что хотел? — окликнул старик, когда Сыромуков попятился в коридор.— Сыграть думал? Давай сгуляем, коли делать не хрена!

Было ясно, что он служит тут маркером, но гонять вокруг стола одноногого человека не представлялось достойной забавой. И в то же время из-за этого его увечья ему нельзя было нанести обиду отказом сгулять. Существовала и побочная причина для игры: выждать спад обедающих в столовой, но на этом умысле Сыромуков не хотел задерживаться, чтобы не признавать его. Он вернулся в бильярдную, успев отметить, как ловко и мягко спрыгнул старик со стола. От него еще издали несло перегарным смрадом, и то, как он вожделенно зырнул на апельсины в руке Сыромукова, окончательно убедило того, что играть с ним надо.

— На интерес махнем? — проискливо спросил старик.— Я вчерась врезал, мать его...

Сыромуков протянул ему оба апельсина и сказал, что сам он тоже, мать его, вчера немного тяпнул. Он не только без насилия над собой, но с непонятной легкостью и даже охочестью подделался вдруг под стиль речи старика. Тот принял апельсины, отнес их на подоконник и оттуда шало заявил, что играть на такую мутоту даже не подумает.

— Ты чо? Весь русский соглас и совесть растерял? Давай хоть на пару пива сладим, ну!

— Ну сладим, сладим,— согласился Сыромуков,— но я не пью пива и не знаю, где его тут продают.

— Не молоти мне рожь на обухе и не плети из мякины кружева,— сказал старик.— Будто не знаешь про чешское в баре? Двенадцать градусов как-нибудь!

Он установил шары и выбрал из поставца два кия.

— Какой хошь. Они все без кожаных нашлепок. Американку разыграем? Бей первым.

Сыромуков сначала проделал все, что полагалось, как он считал, любому уважающему себя игроку — покачал, взвешивая, кий, подтянул манжету на левом рукаве рубашки, а уже затем склонился над столом.

— С падающим,— с нарочитой угодой предупредил он партнера. Старик сопроводил удар Сыромукова коротким срамным словом, выкрикнув его бездумно и озорно.

— Ну, заяц, погоди! — дружелюбно сказал ему Сыромуков, сумевший все-таки попасть в пирамиду шаров и раскатить их по столу. Он тоже выдал под руку старика лохматый глагол, и получилась подставка. Сыро-

муков тычком кия закатил в одну лузу сразу два шара, на этой минуте и прервалась его беззаботная необремененность в поведении со стариком. Оказалось, что у того при каждом шаге рассохше крякала деревяшка, и не в «стопе», а где-то вверху, в той казенной части ее, куда, очевидно, всовывался культяп ноги. И уже нельзя было не думать о том, каким веществом установлено гнездо деревяшки, что в ней скрипит и стонет, чем скреплена трещина, если она образовалась: ремнем, гвоздем или проволокой? Стало неприятно слушать поминутные матюки старика и возмутительно видеть, как он бестолково шырял-пырял концом кия между щепотью серых узловатых пальцев, а шары все же клал с трескучим костяным грохотом,— значит, первый удар скиксовал нарочно. Когда он с особым, ерническим вывертом плеча вогнал в лузу свой последний шар, Сыромуков отнес в поставец кий и сказал, что пойдет за пивом.

— А зачем пинжак одеваешь?— подозрительно спросил старик.

— Пиджак? Ах, да-да,— поморщился Сыромуков. Он забрал кошелек, а пиджак закладно оставил на вешалке и, когда шел по коридо́ру к бару, почувствовал, что сердце бьется в завышенном ритме, азартно горит, а рубашка под мышками вульгарно взмокла. Так позорно продуть! Два на восемь...

— Ну и что тут такого!— вслух сказал он, неизвестно кого ободряя — старика маркера или себя.

Бармен поздоровался с ним по-приятельски радушно и спросил: «Что будем?» Сыромуков сказал. Пиво в самом деле было пильзенское, в небольших элегантных бутылках. Их понадобилось завернуть, чтоб не нести в открытую, и бармен умело сделал из «Правды» квадратный пакет.

— Послушайте, есть один небольшой принципиальный вопрос к вам,— сказал он, склоняясь к стойке. Сыромуков не без душевной заусеницы — это, оказывается, так и не прошло — увидел на лацкане его заграничной куртки под распахнувшимся халатом лазурный ромб университетского значка.— Скажите, как по-вашему, кто такие хиппи?

Сыромукову показалось, что на психику бармена что-то там немного давило,— он мог, например, вы-

звать у какого-нибудь солидного курортника с таким же значком публично-благородное негодование по поводу недостойного приложения знаний, бесплатно полученных им от государства, и так далее. Вполне мог. Но тогда было непонятно, какого черта он афишировал свое образование, нося в баре значок и не застегивая полы халата! Он явно нуждался в подпорке похиленной амбиции, но поддерживать его какими-то там аналогиями Сыромуков не собирался.

— Хиппи? Это, кажется, американские или английские парни с проснувшейся совестью,— многозначительно сказал он.

— Которые возмутились действительностью, да?!

Бармена почему-то устраивал полученный ответ, уж слишком пылко он обрадовался ему, и Сыромуков дал попятный ход.

— Возможно,— сказал он,— но дело в том, что они не знают, как и в какую сторону им плыть от этой действительности, вот в чем беда.

— А зачем плыть самому, когда тебя буксируют другие?

— Ну, это уже зависит от предпочтения одного способа плавания другому. Кто-то любит водные лыжи, кто-то кроль, а кто-то брасс.

— Но вы забыли еще один английский способ. Называется оверарм. Это когда плывешь на боку.

— Ну-ну,— усмехнулся Сыромуков.— До свидания.

— Всего хорошего, дорогой! — нахально сказал бармен.

Старик маркер ждал стоя, прислонясь спиной к подоконнику, где лежали апельсины, но не на прежнем месте, а прибранно в уголок. Сыромуков осторожно передал ему пакет и сказал, что пиво свежее, хотя сам не знал, так ли это. Старик сбил о кромку подоконника жестяные пробки с обеих бутылок. Сыромуков напомнил, что не пьет пива.

— Как хочешь,— отрывисто сказал старик. Он без передыха выпил из горлышка всю бутылку и проясненно-сосредоточенно воззрился на Сыромукова, едва ли замечая его,— где-то отсутствовал.

— Хорошо? — тихо спросил Сыромуков.

— Ох! А ты чо? В самом деле не пьешь?

— Не могу. Сердце. Закусите апельсином, будет еще лучше.

К Сыромукову снова возвращалось то первоначальное состояние здесь, когда он не ощущал потребности в самоотчете за происходящее, но было отчего-то грустно и не хотелось оставлять старика одного.

— У меня плитки шоколада есть, хотите? — вспомнил он. Старик не ответил и посмотрел на него мутно и гневно — опьянел на взыгравшем вчерашнем хмеле.

— Ты что, думаешь, я маркер и больше ничего, да? — крикнул он. — Хрен в сумку! Я тайный сыщик, вот кто!

— Да ладно, — сказал Сыромуков, — вы лучше съешьте вон апельсин. Будет еще лучше. Увидите.

— Махал я твой апельсин! Не веришь про сыщика?

— Да верю, верю, старинарь. Я тоже сыщик. Такой же. Тайный.

— Нет, не веришь!

Он быстро пьянел, и лицо у него стало обиженное и мстительное,— Наверно, сознавал сам, что с «сыщиком» вышло плохо, недоказательно, а вот деревяшка была и была при нем, явной, всегда и у всех на виду...

В столовую попадать было еще рано, и казалось заманчивым, если бы не бармен, выпить рюмки две коньяку, чтобы застопорить вертящуюся в мозгу пластинку с бессмысленным напевом «туторки-муторки, туторки-матуторки», а после этого попытаться убедить себя, что нельзя рассматривать отдельные вещи и события в отрыве от общей оси мира, что при жизни вообще никто и никогда не был счастливым, что ногу старик не обязательно мог потерять на войне, совсем не обязательно. Это во-первых. А во-вторых, он ведь сам сказал... как это? Ну, что на обухе рожь не молотят, а из мякины кружев не плетут. Вот именно. Так что все закономерно, все правильно... И поэтому, может быть, хватило бы даже одной рюмки, если бы не бармен,— видеться с ним в эту минуту не хотелось.

После обеда Сыромуков пошел на почту и там написал длинное родительское письмо Денису, в котором сообщал под конец, что тут, в Кисловодске, по-прежнему дует ветер и хлещет дождь.

Вечер тянулся медленно и тихо. С балкона — палатам люкс они полагались по штату — открывался просторный вид на юго-западную сторону света, где даже после заката солнца пылал и пылал Эльбрус, а небо оставалось подернутым золотисто-алой пылью, будто в том краю шла большая молотьба толокой. Позже небо нежно позеленело, затем покрылось протемью, а это означало, что молотьба на горизонте закончилась и счастливо уморенные люди пошли вечерять. Они будут есть утомившуюся в печке домашнюю лапшу с курятиной. И галушки. И вареники. И еще кавуны. У них, конечно, найдется чего и выпить — прохладная и вкусная, домашней готовки брага. Целая бочка. Дубовая, с чистым медным краном. Пить будут глазурованными глиняными кружками. Брага хмельная, веселая, но они там могут осилить по три и по четыре кружки, потому что все здоровы. Им можно... Это продлится у них долго, потому что пьют и едят они степенно, «не швыдко». Они же не в казенной столовке. Они ведь знают, что такое хлеб. Свой... Ну вот. Да и не следует, месяц же сейчас взойдет! Песни они будут «кричать» на улице. Первой пусть споют про то, куда милый скрылся, ах да где же его сыскать? Он в Ростове нанялся чувалы таскать. А чувалы — не малы, плечушки его болят. И болит его сердце, гребтится душа... Впрочем, о сердце не надо. Они все там здоровы, все...

Некоторое время спустя на шафранно-аспидном плоскогорье, левее Машука, засветился костер. Виделся не только приземленный косячок пламени, но явственно различался и неколебимо вставший над ним белесый ствол дыма. Это было тоже хорошо — жизненно древне и человечески ладно — далекий костер в полупотемках, но для того, чтобы не погубить очарование покойного созерцания, к костру и на пушечный выстрел не следовало подпускать раздумье — кто его развел, из чего и зачем, ради потехи или по необходимости, один или вдвоем. Сыромуков не смог заставить себя не думать об этом, и зародилась тревога неизвестно за кого, и надо было уходить с балкона. В палате густо пахло скипидаром — днем, вероятно, натирали паркет. Дощечки скрипуче пели под ногами, и у Сыромукова появилась возможность вообразить, как однажды в студеную зимнюю пору позади Некрасова — ну, загон-

щиком был у него, а то и просто знакомым, мало ли! — он из лесу вышел. Был сильный мороз. Глядь, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз... Беседы с Власом хватило на шесть рейдов от входных дверей до окна и обратно. Разговор можно было и продлить, но мальчишку не следовало задерживать на юру, да и отец ждал его за очередной порцией дров... Влас-Денис, Влас-Денис, живи-трудись и не ленись, на графине не женись, а тоска — хоть удавись, Влас-Денис, Влас-Денис.

Свет зажигать было неразумно — тогда в палату уже никого не зазвать и ничего не заластить, тогда останешься тут наедине с самим собой, отраженным в зеркале. А в темноте еще можно что-то придумать. Вплоть до очередного своего «лазурного» проекта. Черт возьми, всю послевоенную жизнь он только тем и занимался — выводил их путем мечтания. Призраки, появлявшиеся вразрез с реальностью, заданностью и серийностью. А несозвучное эпохе должно умирать не родившись. Вот так! Интересно, кто это сказал? Здоровый, видать, мужик, с хорошо работающим трактом... Да-да. А снег ложится вроде пятачков, и нет за гробом ни жены, ни друга. Кроме Дениса. Да еще буси, если она сама... Но куда мог запропаститься Яночкин? Тоже называется водитель! Пора бы и вернуться. Собственно, а что такое тоска? Ведь это же обыкновенная депрессия, возникающая из-за осознания какой-либо утраты, чувства необратимости, одиночества и так далее. Только и всего.

— Ох, и надоел ты мне! — сказал Сыромуков. — И хотел бы я знать, куда ты исчезаешь, когда у меня останавливается сердце? Ни разу не помог вовремя никаким философским советом или изречением. Ни разу. Проваливаешься куда-то и все! Ах, ты потом возвращаешься сам мудрецом? Ну давай, давай. Никто не против. Но все же где ты тогда прячешься?.. А вообще-то многое не нужно было. Многое...

Сыромуков не сразу осмыслил, что значили эти слова, произнесенные им не в связи с общим строем мыслей, на что они отзывались и к чему лепились — то ли к лазурным проектам, то ли к отпечатавшейся в памяти мысленно фразе-получастушке насчет женитьбы Власа-Дениса на графине. Он сел в кресло и зажмурил-

ся, и через какое-то время стало ясно: не надо было, оказывается, иметь такой дурацкий характер, с которым он всю жизнь невольно обманывался сам и обманывал других. Ну что это такое, скажите, пожалуйста, сулить и с ходу выдавать любому встречному и каждому совершенно непосильные и неоплатные авансы в счет дружбы и преданности! Кто его понуждал, например, приглашать в город эту несчастную Эманацию, чтобы тут же забрать свои «куклы» назад!.. Взять того же Яночкина. Ну для чего понадобилось с таким безудержным приветом и сердечностью встречать его в первый раз, а после духовно отдаляться! И так всю жизнь. И решительно со всеми. Ну-ка, копни только.

— Копай сам! — раздраженно сказал Сыромуков.— Как будто не знаешь, почему и как это происходило!

Когда он открыл глаза, палату затоплял пожарно-дымный, беспокойно мигающий полусвет — через отворенную балконную дверь пробивались беснующиеся рдяные и зеленые неоновые огни с недалекого ресторана на «Храме воздуха». Шесть лет назад там стояла глинобитная закутка-шашлычная, и дышать в ней было нечем. Сейчас, надо полагать, в ресторане хорошо и весело. «И шампанское тут, между прочим, дешевле почти на целый рубль»,— подумал Сыромуков и зажег свет. Он переменил рубашку и галстук, почистил башмаки, но начес сделать до конца не успел: явился Яночкин: К нему шла белая фуражечка, моложаво надетая козырьком к уху, шли два яблочно румяных, нагулянных в вечерней прохладе пятна на щеках, и вообще он крепко шел к себе весь.

— Нарезвились? — с бессознательной завистью спросил его Сыромуков. Яночкин упоенно сказал «ага» и протянул, вынув из-под мышки, пухлую книгу, обернутую газетой.

— Вот слушай, штука интересная! Не читал?

Он был хорош. Он был, как ликующий школяр, отхвативший увлекательную книжку, и Сыромуков предположил, что это, наверно, Майн Рид, если судить по заношенности и отсутствию в ней заглавного листа.

— Называется «Ключи счастья»,— сказал Яночкин.. Не читал?

— Н-нет,— признался Сыромуков. С годами ему все трудней и трудней становилось читать ширпотребовскую беллетристику,— уже с первых страниц надо было напрягаться и помогать автору сводить концы с концами, не замечать, как он сшивает одними и теми же нитками разноцветные лоскутья своего сочинения, негодовать на его суесловие и фальшь. Осталась классика, мемуарная литература да еще фантастика. Он подумал, что этому тоже не надо было с ним случиться, и вернул книгу Яночкину.

— Ну спеши, спеши,— насмешливо сказал тот,— там возле раздевалки танцы, а твоя жучка забилась за кадушку с пальмой и сидит, ждет. Неужели не мала тебе, а? Или, как говорится, всякую шваль на себя пяль, бог увидит, хорошую пошлет? Ох, пижон ты, пижон!

Сыромуков пристально поглядел на него. На лице Яночкина по-прежнему держался и не вял алый налет, ясно и кротко голубели глаза, и было непросто найти объяснение такому утробному и ровному его цинизму — Петрович как бы совсем не участвовал в работе своего аппарата чувств. Чтобы осадить в себе всколыхнувшуюся душевную муть, Сыромуков попытался расценить слова его как непосредственное проявление им жизненной стойкости — просто он бытоустойчивый, цельный человек вроде того овцевода, что любил укладываться на чужие постели,— но это не помогло: против Яночкина что-то протестовало и звало к отпору. Стараясь не смотреть в его сторону, Сыромуков натужно сказал, что определения «пижон» и «сноб» утратили в наше время отрицательный смысл, что теперь под этим подразумевается элегантность, утонченность вкуса и вообще порыв личности к развитию не без некоторой, конечно, уродливости в стремлении выломиться из массы.

— А что ж тут хорошего? — скучно спросил Яночкин.— Масса-то небось народ, а они тогда кто? С кем же они останутся, если отломятся? Некрасиво, Богданыч, говоришь. Плохо думаешь, раз защищаешь шпану.

— Я говорю не о шпане,— сказал Сыромуков, ожесточаясь.— Речь у нас идет о тех парнях, которые так или иначе, но откликаются на возрастающие эстетические запросы современного общества. Так называемые пижоны и снобы, Павел Петрович, не появляются на

улицах в грязных спецовках, не блюют в подворотнях и на лестницах, не похмеляются бутылкой «чернил» на троих и не ругаются матом при женщинах и детях! И многое другое не позволяют себе снобы. Между прочим, этот теперешний аристократ совсем не является представителем какой-либо особой и малочисленной прослойки. Это тот же слесарь, прораб, маляр, таксист и так далее. То есть в меру просвещенный молодой человек с достатком.

— Трепотня,— махнул рукой Яночкин.— Я бы этих твоих аристократов...

— Несомненно, что вы бы их,— перебил Сыромуков,— но сейчас у этих людей нет причин считаться с былым временем!

Он нервно закурил, стоя вполуоборот к Яночкину и внутренним зрением видя, как тот семеняще попятился к своей кровати. Оттого, что Яночкин безмолствовал и не двигался, следя, в какую сторону тяготел сигаретный дым, мысли Сыромукова разбились на три самостоятельных ряда. Мысли эти были о том, что Яночкину незнакома была бы приблизительная схема абстрактного мышления, что оба они совершенно не умеют спорить, воспринимая ответные доказательства как взаимные оскорбления, и что сам он ведет себя непристойно, обижая человека и оставаясь у него в долгу за мандарины и вино.

— Что же вы молчите? Я забылся и курю, а вы не предупреждаете,— спохватился он.

— Да ничего, докуривай, раз начал. Балконная же дверь открыта,— безотрадно сказал Яночкин. Сыромуков загасил сигарету и понес ее в туалетную, чувствуя, как изнуренно гудит его тело. Там он переждал перебойный взлет и обрыв сердца, а после приступа умышленно долго мыл руки, ожидая, пока отступит страх и под языком истончится таблетка валидола. Балконная дверь была притворена. Петрович сидел на кровати и хмуро глядел в пол. Сыромуков рассеянно и уже как-то издали подумал о нем, что он счастливо здоров и поэтому позволяет себе роскошь огорчаться по ничтожным пустякам — ну что ему эти пижоны! Ведь не знает, где находится сердце, не знает. В шестьдесят-то лет. Какой молодец! Его требовалось возвратить

в прежнее состояние, но формальное извинение едва ли было уместно, так как для него отсутствовал логический повод. Яночкин молчал, и в палате выдалась тягостная минута разобщенности поссорившихся людей.

— Есть компромиссный ход, Петрович, сводящий к ничейному результату наш спор,— с бескорыстной готовностью сказал Сыромуков.— Принимаете?

— Так то будет твой ход, а не мой,— ответил Яночкин.

— Наш,— сказал Сыромуков.— Удобство его заключается вот в чем. Если отнести существующее в мире недобро за счет человеческого заблуждения и недоразумения, то нам ничто не помешает признать, что в своем споре мы не проявили предельной ясности видения сути, а значит, оба и неправы.

— Да я-то в чем же не проявил? — удивился Яночкин. Было похоже, что он мог удовлетвориться лишь полной дискредитацией точки зрения оппонента.

— Ну хорошо, неправ я один,— беспомощно сказал Сыромуков.— Так подойдет?

— А зачем мне твое одолжение? — обиделся Яночкин.— Ты признай порочной свою позицию по совести, а не на словах!

По совести у Сыромукова выходило, что среди его подзащитных пока что больше было званых, чем избранных, что педантизм и высокомерное самодовольство еще не культура и не элегантность, а только их уродливое искажение, подделка и фальшь...

— Вот это другое дело! — одобрил Яночкин.— Теперь ты рассуждаешь, как положено советскому человеку. А то заехал в какое-то моральное болото! В споре, брат, тоже надо уважать себя.

Сыромуков машинально кивнул. Ему неожиданно пришла оторапливающая и одновременно притягательная мысль о том, что, возможно, настанет время, когда вместо индивидуального характера и темперамента человек будет обладать обязательным для него неким унифицированным морально-эстетическим эталоном поведения, и люди начнут новую эру жизни, творя уже не историю племени и нации, а как бы общенародную семейную легенду, исключающую личные судьбы.

В этом случае им там будет грозить опасность утратить прежде всего способность смеяться и плакать. Без слез, конечно, обойтись можно, но как жить без смеха? Чем они его заменят?..

Яночкин тем временем разделся и с озабоченной участливостью к себе облачился в пижаму. Он аккуратно поставил в изножии кровати свои плотненькие полузимние ботинки, а рядом разостлал носки, и Сыромуков ощутил, как в палате грустно запахло смертным ароматом привялых васильков. У него самого скопилось уже три пары несвежих носков, и появилась срочная необходимость выстирать их.

— Кажется, теплая вода есть, Петрович,— предположил он.— Вам не понадобится сейчас ванна?

— Мне ж нарзанную делали нынче,— сказал Яночкин.— А на танцы не пойдешь?

— Есть горячая вода,— повторил Сыромуков.— Надо, наверно, воспользоваться, как вы полагаете?

— Давай, а я почитаю на сон грядущий. Интересная, знаешь, штука!

Теплая вода текла прерывисто, красный кран сипел и кашлял зарядами воздуха, но холодная била напорной струей. Стирка получилась не ладной, зато угодной, и Сыромуков отдался над ней свободному потоку мыслей без малейшего усилия изменить хаотичный их бег. Ему почему-то подумалось, что князя Андрея Болконского нельзя вообразить в Бородинском сражении не в том своем белом мундире, в котором он танцевал с Наташей Ростовой на ее первом балу; что разрушение всегда давалось человеку легко, поскольку тут не надо думать. Недаром в старину говорили: ломать не строить, грудь не болит; что бестактность, грубость и хамство — оружие ничтожных и слабых, неспособных иначе достичь своего превосходства над другими; что если ты идешь или едешь медленно, то жизнь покажется огромной; что невозможно, нельзя было победить русских Наполеону, потому что наши солдаты надевали чистые рубахи и молились богу перед боем; что надо обязательно увезти домой целыми те три свои пятидесятки; что, в сущности, он уже лет пятнадцать

живет в обнимку со смертью, и ничего, привык; что когда твое дело плохо, то поневоле помнишь о существующих в жизни утехах и радостях; что Дениса надо успеть научить в любом случае не отчаиваться и не унывать, а надеяться и верить...

На этом повествование обрывается... Константин Дмитриевич Воробьев не успел завершить работу над повестью. Но на рабочем столе писателя остались наброски, недописанные главы, которые позволяют судить, как бы развивалось действие повести, как бы складывались судьбы ее героев.

По этим наброскам можно догадываться о том, что задумано было произведение сложное, многоплановое. По ним, скажем, можно представить, что делал бы в Энске переодевшийся в мундир немецкого офицера главный герой повести Родион Сыромуков, представить те многочисленные персонажи, которым суждено было еще не раз появиться на страницах «...И всему роду твоему». Они дают возможность полнее судить о творческих замыслах писателя.

К ПОХОДУ В ЭНСК

Из всего этого родилось решение идти в город. А в этом были и самоотверженность, и преданность им, и утверждение присвоенного себе права генштабиста. Отчетливости не было. Работал больше инстинкт солдата, который хотел выжить сам и помочь спастись другим,— только и всего.

В безотчетном побуждении он попытался тогда скопировать приветственный жест фашистов и при выбросе руки заметил, как непотребно грязны его пальцы с отросшими ногтями и черными каемками под ними. Он вспомнил, что на фон Шлихтинге были перчатки, и когда они отыскались в карманах его шинели, то некоторое время подержал их как нечаянно обретенную

потерю, а затем уже натянул на руки. И все равно решения еще никакого не было — Сыромуков находился от него пока что на таком подступе, когда сигнально пульсирующую точку в мозгу еще нельзя назвать ни мыслью, ни прозрением. Он был занят перчатками — они оказались коротковаты в пальцах, и в это время за шалашом послышались шаги...

Но как это сделать? Зайти в аптеку и сказать: «Битте, гебен зи мир, черт возьми, мазь от чесотки и порошки от дизентерии»? И — шнеллер, мол, шнеллер! Нет, это не годится... Немецкий офицер с аксельбантами — и мазь от чесотки? Глупость! Наверно, не надо думать, как это все будет. Все, что там будет, возникнет само, на месте. Предугадать это невозможно, и нельзя заранее рассчитывать свои действия, так как расчет — это обязательно ограничение. Во-первых, аптекарь может не знать немецкого языка. А ты — местного. Естественно, значит, ты прибегнешь к ломаному русскому... Но можно и по-другому. Выждать, чтобы в аптеке никого не было. Войти и запереть дверь. Предложить пятьсот или тысячу марок. Не согласится — пригрозить пистолетом. И тихо, мол, тихо... Да и не в этом дело. Не в мази суть похода... Сыромуков не мог выразить словами, почему этот его поход казался ему так необходим, ему самому и братве. Он ставил все на нужное место. Он как бы узаконивал его самозванство, придавал какую-то новую значимость трофеям, укреплял веру братвы в него как командира, восстанавливал и возвращал ему самому его собственный авторитет... Поход к тому же решал автоматически и другую задачу — группа снималась с места, ей тоже предстоял поход (продовольствие).

Этот поход искупал, залащивал его вину перед братвой, сближал с ней, обновлял его самого перед собой, озарял каким-то новым, романтическим светом эту их безрадостную тяжелую жизнь, тешил его тщеславие, дразнил опасностью, манил возможностью нанести свое-

образную пощечину исторической спеси пруссаков, пройдясь меж ними в их мундире, и отомстить за все свои унижения, что выпали ему в лагере.

Даже теперь, тридцать лет спустя, Сыромуков не смог бы благополучно для себя объяснить дознавателю, с какой целью в марте сорок третьего года открыто посетил временно оккупированный фашистами прибалтийский город Энск. Но, может, сейчас и смог бы, потому что не те были бы вопросы, не тот подлый страх. А тогда...

...Радость оттого, что безмятежно и сладко пели жаворонки, что по склонам кюветов жарко горели одуванчики, что со стороны было невозможно и немыслимо принять его за ненемца — так надменно-уверенно чувствовал он себя в чужом мундире. Было не жарко, а у него все потела и потела неприлично для офицера вермахта левая сторона лица, только левая, и гулко, зло и очень часто колотилось сердце. И он подумал тогда, как он любит жизнь и хочет жить.

Как только он подступил к черте города, в памяти неизвестно почему ожила и назойливо-неотступно зазвучала нелепая присказка про страсть и девку, которую не надо было красть. Он пробовал отогнать эти слова, сосредоточиться на чем-нибудь достойном и важном, но «ах, какая страсть» не отступала ни на секунду, и он перестал противиться этому, а потом понял, что так ему легче идти и ощущать себя увереннее, что *так* он тут не один.

Он подумает (тут, в Кисловодске), что этот день — поход в город — был самым счастливым в его жизни, потому что — подвиг! — по своей воле...

О ПЛЕНЕ

Сыромуков заметил, что бывшие пленные с какой-то мрачной стыдливостью утаивали ужасы, перенесенные ими, поэтому мало кто знает, что пришлось пережить этим людям. Книги же о плене, что попадались Сыромукову, далеки были от правды, и читать их не стоило.

Страх естественной смерти — не самое еще страшное, ибо в тот момент ты все-таки сознаешь, что можешь распорядиться собой по своему усмотрению, сохранив достоинство и не утеряв свой человеческий облик. Хуже — смерть насильственная, когда ты видишь, как обряжают ее для тебя люди. Обряд этот обычно начинается с допросов и длится долго и унизительно, и ты тогда начинаешь спасаться и теряешь облик человека.

Когда бежали из вагона, то среди всех сорока восьми был один сытый. Сытенький. Перед посадкой ему одному дали буханку эрзац-хлеба и банку «фляша». Он пытался помешать Сыромукову выбить оконную решетку, тогда Сыромуков ударил его клумпой.

ОБ ОТРЯДЕ

Будничная изнанка партизанской жизни неприятна, даже отвратительна. Голод, чесотка, вши, отсутствие медикаментов и врачебной помощи, как-то объяснимые в этих условиях случаи грабежей и мародерства... Это никому не надо знать, потому что неинтересно. Хвастаться тут нечем.

Но как это тебе удалось? В отряде ведь потом были бежавшие из плена майоры, капитаны, старшие политруки, батальонные комиссары и даже один полковник, но командовал ты, лейтенант. Как это тебе удалось?.. Не знаю. Я был... Но, может, и нет. Смелые

были многие, но вот сохранивший себя настоящим лейтенантом — ты был один. И еще ты был красивым малым!.. Ну и тщеславен же ты! Но я ведь не вслух, а так только, для одного себя... Ну ладно. Конечно, ты был лейтенантом. Настоящим. И ты еще любил власть над другими и был не прочь порисоваться. Да, но плохо от этого никому не было. Только однажды, когда немцы догнали нас в болоте, а полковник отказался нести отрядный котел, потому что отставал и тонул с ним, ты поступил, как актер. Взял и передал по цепочке... Что ты ему передал? То был маленький бельгийский браунинг. Полковник понял все, остался цел и вынес котел, и браунинг я оставил ему, как награду. Ох и актер ты был!.. Ладно, давай о хорошем вспоминать. Вот, например, история с чехом Яношеком, который добровольно сдался в плен. Помнишь, как это было? По шоссе немцы гнали колонну пленных, и вы их встретили. Этот Яношек был у вас потом поваром, и партизаны звали его Яноськой. Он говорил, что никогда не слыхал, как поют соловьи, потому что в Чехословакии будто бы их нет. Неужели это верно? Странно. Он погиб в апреле сорок четвертого, а соловьи в Прибалтику прилетают в мае.

К БЕСЕДЕ С ЛАРОЙ

Она говорила о Хемингуэе, что не может понять, как могут его герои так много пить, оставаясь неалкоголиками, почему им совершенно чуждо чувство верности в любви.

— Я не совсем понимаю причину успеха его книг. Неужели все дело в том, что герои их ведут себя чересчур уж... оголенно как-то?

— Нет, конечно, Хемингуэй — самый честный писатель нашего века. Книги его наполнены большим зарядом духовной мощи. Он-то знал, о чем писал.

— Вы смотрели фильм «Вертикаль»? Совершенно бездарное, а главное — ненужное, смешное, отвратительное пыженье. Обездоленные во времени! Ни войны, ни трудностей, ни борьбы, и вот выдумали — лезть

на гору, где уже побывали до них пятьсот тысяч таких же гавриков.

А в жизни, каждый день, столько подвигов, столько столкновений правды и лжи, столько искр от этих столкновений. А тут такое!..

— Люблю Голсуорси, Толстого, Бунина,— сказал Сыромуков.

— А из своих современных?

— Есть такой писатель Юрий Гончаров. Может быть, он родственник того Гончарова...

— А что он написал?

— «Обломова»,— едко сказал Сыромуков.

— Нет, этот ваш Гончаров.

— Он написал несколько книг. Отличных!

— Не читала.

— А вам встречался человек, с кем вы могли бы откровенно и до конца поделиться своими сокровенными мыслями?

— Да. Впрочем, нет.

— В том-то и суть. Но это совсем не значит, что этих людей вовсе нет.

— Наверное, все-таки нет.

— Ерунда. Просто дело тут в том, что вы опасаетесь. Всегда опасаетесь.

— Чего я опасаюсь?

— Не вы, а мы. Очевидно, непорядочности. Просто самого настоящего, пошлого и гнусного доноса на себя, не в милицию, а вообще. Другу, знакомому, соседу.

Она подумала и туманно сказала:

— Да, грубость и оскорбления всегда ранят нас глубже, чем хотелось бы.

— Мы все поголовно совершенно невоспитанны.

— Вы?

— Вы тоже, смею вас уверить. Вот скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь доводилось слышать, чтобы наша женщина в беседе с подругой сказала бы о своем легкомысленном муже, что он, к ее сожалению, в по-

следние годы не слишком ценит постоянство, она скажет...

— Я знаю, что она скажет,— засмеялась Лара.

— Полагаю, что знаете. И эта разверзлая оголтелая грубость не улучшает ситуации. Наоборот. Согласны?

Благополучный человек неполноценен. Он недоступен состраданию и нежности.

— Но это же противоречит всякому здравому смыслу. Ведь все наши усилия направлены к тому, чтобы люди были благополучны!

— Верно, но, очевидно, в будущем это понятие обретет совсем другой смысл, нежели тот, что мы имеем в виду.

— Знаете ли вы, почему человек стремится немедленно перейти на «ты» со своим собеседником? Чтобы не думать.

— Не понимаю.

— Очень просто. Ведь если он на «вы», то надо держаться, как говорят, на высоте. Все время помнить о себе и думать, что сказать. Это все равно, как в гостях сидеть за столом и соблюдать этикет. Голодным ведь останешься.

— Да-да! Я знаю!

— Так вот. Думать — это создавать. А создавать всегда трудно. Значительно легче рушить, тут не требуется усилий.

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА РЕВИЧ, ЖЕНА

1943 г. Город Энск. Елена идет с мальчиком, сыном погибшей партизанки, говорит с ним по-русски. Он (Сыромуков) в немецкой форме, слышит их русскую речь. Завязывается разговор, отрывистый, но значительный, лихорадочная попытка сближения, понимания в этих условиях. С ее стороны презрение, обида за

форму. У переезда их останавливает товарный эшелон. Сыромуков осмеливается спросить ее адрес. Встречи. Помощь медикаментами, связь с городом. Елена не знает, что он бежал из лагеря, думала — он оттуда. Выяснится после войны.

Надо, чтобы Сыромуков разошелся с женой из-за партизана. Тот раз в неделю, а иногда и дважды, приходил к нему с поллитрой. Скандалы. Жить стало невмоготу. Ей мешало какое-то инстинктивное отвращение к бутылке, принесшей страшное несчастье ее детству.

— Ты его возненавидела?

— При чем тут он? — сказала она. — Он просто хочет выпить, а ты с ним охотно пьешь, только и всего... по отношению к нему, — прибавила она.

— А ко мне?

— А по отношению к тебе все идет прахом.

— Что?

— Все, из чего складывается человеческая жизнь. Ты пару дней поработал, затем тебе хочется непременно выпить, и вы пьете. После выпивки два дня ты не тае...

— Что это такое?

— Пьешь валокордин, кордиамин и черт-те что, а потом пару дней работаешь, и опять все сначала. Вот тот круг, когда во всех измерениях все одинаково, одно и то же.

— Зачем ты всегда так стараешься занять собеседника? Может, хочешь понравиться ему? Но тогда ты попадаешь сразу же в кабалу, в зависимость, должен нравиться и дальше, начинаешь что-то обещать, что не всегда можешь выполнить, значит, еще более становишься обязанным. Желанием занять собеседника ты делаешь его иждивенцем, а сам становишься опекуном, по существу же полностью зависимым от него. А ты постарайся молчать, пусть активность переходит к собесед-

нику, в словах, в действиях. Если сумеешь уйти от опекунства, установится равновесие в отношениях, и ты свободен.

— Тебе хотелось, чтобы я так же была щедра в отношениях с твоими «избранниками», как ты сам. Ты перед ними распахивал всю душу, а они оттуда брали то, что им было выгодно, умело удовлетворяя твою потребность видеть их такими, какими ты их создавал в своем воображении. А я их видела в естественном обличье: не героев и не злодеев, но определенно тебя обманывающих и подделывающихся под твой вкус. Поэтому, как правило, на меня они смотрели как на разоблачителя и настраивали тебя против меня.

...Ему было стыдно, что однажды у литовцев в гостях, еще с женой, он запел за столом «Евсевну». Что это было? Когда он вспоминал об этом, корчился. Елена потом изумленно, обиженно и растерянно спрашивала, зачем он это сделал.

— Если бы ты знал, какие у тебя были глаза, когда ты пел!

Ему казалось: если бы там тогда был т о т человек, от которого зависело осуществление его проекта,— потом и он запомнил Сыромукова и спросил бы себя: «Это тот, что пел «Евсевну»? Нет, рассматривать не буду».

И совесть твоя, и стыд, и жалость — это все равно, что боль в сердце, тебе одному она известна, дорога и понятна, тебе одному с ней жить и умереть.

И стали накапливаться и расти до пределов важных событий ничтожные пустяки, мешавшие жить. Она исступленно говорила, что умрет, бросится под поезд.

... Однажды она сказала, что все в их доме видят и знают, как он носит в руках открытыми бутылки с вином. Он отвечал, что это ведь сухое вино и черт с ними.

— Что было бы, если бы они знали, как я носил открыто погоны обер-лейтенанта. Да! Если хочешь, с удовольствием!

Тогда-то и произошло все, что привело их к разрыву. Она не знала, о каком «удовольствии» говорил Сыромуков. Она решила, что он что-то скрыл от нее.

Он исступленно и глупо заорал на нее:

— Белогвардейка! Недобитая сволочь!

Она удивленно, с опасливым интересом посмотрела на него и болезненно сказала, что никогда бы не подумала, что он... а кто — не договорила.

В РЕСТОРАНЕ

Этой варварской галопной музыке, сочиненной кем-то в беспощадно прогонном и безоглядном темпе, этой под нее шаманской экстазной пляске в тесноте и дыму хорошо подходило определение а-ля черт меня подери и пропади все пропадом. Плясали мальчики с прическами святых отшельников и глазами юродивых. Они все были в резиновых кедах и замызганных семирублевых джинсах с изображением леопардов на заду, и перед каждым из них старательно-работяще и преданно прыгали, наклонялись, приседали и чуть ли не запрокидывались с виду бесстрастно-порочные, красивые и юные девочки-недоноски. У них так же, как и у мальчиков, помешанно горели глаза, и создавалось впечатление, будто они не сознавали, что моделируют ритм их изнурительной работы.

Сыромуков поймал себя на мысли, что это — хорошо, даже красиво, потому что юно.

ТАМ, ГДЕ ОН ЖИВЕТ

Живет мужик. Работает он слесарем в комбинате бытового обслуживания. Сын тоже. Гараж-мастерская, забитая всевозможными инструментами, запчастями,

сварочный аппарат, баллоны. Частнопредпринимательская деятельность. Это все, конечно, уворовано по месту работы. Два «Запорожца»: у сына и у себя. Две бабы, жены их, сидят дома, толстые, глупые, нечистоплотные. Выводят во двор прогуливать двух домашних собачонок «жучек». Те злые, на детей бросаются, запакощивают двор. И ничего.

Приделали к «Запорожцам» прицепы, на них моторные лодки,—и на озера. Продукты. Как? Что? Апельсины авоськами.

— А чем плохо? Рабочий человек достиг. Вот и все.

— Нельзя потворствовать развращению,—сказал Сыромуков.

К НОЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ СЫРОМУКОВА

Уже полукраем сознания Суромуков отметил, как отпустила его сердечная боль, заменясь мучительно сладкой тоской о детстве, и эта тоска помешала ему уснуть. И он вспомнил, как раскулачивали Сюрку. Мед в чайнике, спрятанный в печку. Он был горячий, мед, и они — член сельсовета Микишка Царев и он — унесли чайник в кулацкий пустующий огород и там в лопухах и чернобыле поочередно пили жидкий горячий мед из носка чайника, и оба объелись и до вечера не могли двинуться с места, лежа с оголенными животами под солнцем, чтобы мед «попер сквозь пузы», как посоветовал Микишка: ему было под тридцать, и он знал, что делать, когда голодный облопаешься медом в июньскую жару...

Во вторую ночь:

— Давай о чем-нибудь веселом. Например, о Мине или о кладе.

— М И Н Я. Так звала его жена — порывистая и веселая, тонкая, как былинка, и смуглая, как цыганка, ходившая и в будни и в праздники нарядно и пестро. Она — с девической, знать, поры — запомнила множество припевок на мотив «страданья»; и даже на утрен-

ней заре, доя корову, кричала их пронзительно тонким веселым голосом. Жили они на краю села в белой каменной хате, стоявшей у самого обрыва пропастного яра, и соломенная крыша ее была сплошь утыкана игрушечными ветрячками о двух, четырех и шести крыльях — то ли самого себя забавлял Миня, то ли тешил жену Фросю, потому что детей у них не было. И оттого ли, что к западной стене их хаты подступало поле, а к северной яр, а потом уже село, или по другим каким причинам, но доступ на Минин двор горю или хоть какой-нибудь летучей кручине казался заказан...

У Мини была круглая темная борода, ладная и курчавая, как у древнего грека. Ходил он стремительно, пружинисто и прямо, закидывая голову назад, и нельзя было определить, сколько ему лет — тридцать? Сорок? Осталось неизвестным, за что взрослые люди села не любили Миню: может, за его нечеловеческую силу — поднимал сразу четыре мешка с рожью, по два каждой рукой, может, за ветрячки на хате, а может, за изнурительный Фросин голос. Он знал об этом и, вызова ради, а возможно, и на утеху своей души, вел с нами, ребятишками, настоящую, уважительную и равную дружбу. Он играл с нами в чижика, в бабки, а глухими зимними вечерами катался с горы. У них с Фросей были не салазки, а поддровни — широкие и емкие, набитые мягкой овсяной соломой, и за какую-нибудь треть минуты, летя с горы, Фрося успевала скричать частушку. Они поджидали нас внизу, возле речки. Скатившись, мы привязывали свои салазки к поддровням, в которых продолжала сидеть Фрося, и Миня тащил этот бесконечный цуг в гору, и мы вслед за Фросей «страдали» всей оравой, потому что ехать вверх еще интереснее, чем катиться вниз. На улице в это время мелкими кучками собирались бабы — следили издали за Миней и Фросей, — и неизвестно было, о чем они тогда судачили.

Как только сходил снег и заречный луг засвечивался «куриной слепотой», уличная стена Мининой хаты от повети до завалинки разрисовывалась синькой и тертым кирпичом. Синька шла на раскраску стеблей и ли-

стьев у подсолнухов, а кирпич — на головки. Изображались еще петухи с синими хвостами, глазами и клювами. Подсолнухи живописала Фрося, а петухов Миня сам. Они не слишком изнуряли себя работой в поле, и в субботний день шабашили и возвращались домой загодя до заката солнца, сидя рядком в задке повозки с венками на головах: на Фросе из ромашки, а на Мине из васильков. Здороваясь с кем-нибудь из встречных селян, Миня серьезно и почтительно, как картуз, снимал и тут же снова напяливал на себя венок. Ему обычно не отвечали на такой поклон, усматривая в нем шутку пополам с насмешкой, и Фрося тогда торкалась лицом в колени и смеялась, и Миня хохотал вслед за ней.

У них все — большое и малое, степенное и озорное — делалось сообща и с обоюдного согласия. Они любили водить в ночное своего жеребца вдвоем, и верхом ехала Фрося, а Миня шел пешком, рядом. Там, в ночном, поощряемый Фросей, Миня затеял однажды борьбу: сколько есть народу — все против него одного. Нас, ребятишек, было человек двенадцать, но свалить его мы не смогли.

— И-и, бестолочь! — кислым голосом сказал нам тогда дед Васак, Минин сосед через яр. — Ему ить не с людьми, а с лошадьми впору тягаться! Небось, кровь-то густая, с дуринкой...

Он сказал это из-под зипуна — укладывался уже спать. Миня виновато и жалобно поглядел на Фросю, а у той в беззвучном каверзном смехе трепетали ресницы и алчно, неутерпно дрожали крылья тонкого цыганского носа — что-то замыслила. Как ребенка, когда он учится ходить, она поманила Миню обеими ладонями — дескать, ходи, ходи скорей!

— Давай ее... опрокинь, — сморенно валясь на траву, сказала она Мине, показав на табун. Сам дед Васак называл свою грустную чалую кобылу Умницей, а мы немного иначе — она была вислобрюха и водогонна, как бочка. Миня подкрался к ней незаметно и с ходу ухватился руками за хвост. Умница присела, а затем напряглась как под кладью наизволок и заржала, пятясь назад, к табору, куда влек ее Миня.

— Ой, лихо мне!.. Ой, ребята, будите деда...

Фрося не говорила, а пищала, как в тростинку, и дед Васак, учуяв недоброе, откинул зипун и сел.

— Ты чего делаешь? — заверещал он на Миню. — Ослобони скотину! Отпусти, нечистый дух!

Наверно, дед Васак пожаловался обществу, потому что через неделю, на троицын день, к Мине на всем праздничном карусельном миру подошел наш сельский председатель комбеда по кличке Золотой и, выждав затишок в гомоне, сказал ему:

— Нехорошо делаешь, Митрий. У бедных людей последних лошадей тягаешь за хвост. Мало других, што ли?

Фрося тоже это слышала — рядом была, а спустя час они пошли по воду — под гору, к речке, и назад Миня понес Фросю на руках, и она — с двумя ведрами на коромысле — пела:

Ох, давай, Минька, посмеемся,
Ох, пока с хлебушком не бьемся!

Это на всем миру-то!

И многое-многое другое, совсем безобидное, но все же несообразное летам и бороде его, водилось за Миней.

А тем временем приближался тысяча девятьсот тридцатый год...

КЛАД. Мне — года четыре. В мире лето, неоглядная синь поднебесья, теплынь, горластый огненный петух. Мы с отцом — я поминутно называю его папашкой — точим на дворе лопату. Точит он, а я временами, когда скажут, плюю на каменный брусок раз и два и сколько хочешь — слюней у меня много. Вечером, в золотой полумгле зари, мы тайком уходим из села за выгон — сосед наш дед Бибич, отец и я. Мы идем гуськом — впереди отец, за ним я, а за мной дед, уцепившись рукой за подол моей рубахи: он слепой. Мы идем рыть клад — о нем деду три ночи подряд виделось во сне.

— Петьк, только без обмана. Я ить мог и опричь тебя взять кого угодно, слышь?

Это предупреждает отца дед Бибич, набегая на меня сухими босыми ногами.

— Ты ж меня крестил, Парфеныч! — говорит отец, не оборачиваясь. Голос у него просительный и прерывистый. Я не знаю, что такое клад, не понимаю, как мог увидеть его во сне слепой дед. Мы долго идем по выгону, потом сворачиваем в поле и бредем зеленями и пахотью. Дед Бибич часто падает и валяет меня. Отец пытается взять у него лопату: «малого поранишь», но дед не дает. Останавливаемся мы на кургане, где под самые звезды уносится верхушка какого-то темного дерева. Я сажусь под ним, а Бибич зачем-то обнимает отца и что-то бормочет, подняв лицо к небу. Как только они принимаются рыть землю, мне становится холодно и страшно. Наверно, отец догадывается об этом, потому что то и дело окликает:

— Сидишь?

Уже сквозь дрему я слышу тревожный голос деда:

— Чего там звякнуло?!

— Кость, должно, — неуверенно говорит отец.

— Дай пощупаю! — требует Бибич.

— Да где я ее... Выкинул, поди, — не сразу отзывается отец.

— Не бреши! Дай, говорю! — кричит дед.

Отец лезет из ямы и негромко и смешно ругается:

— Пошли, Родион, отсюдова к распротакой матери!

Но мы все же поджидаем деда и возвращаемся в село прежним манером. На этот раз свою лопату Бибич передает отцу сам...

Как я понял позже, клад нам был нужен дозарезу. Хата наша большая, каменная. Двор широк, травянист и пустынен — живности никакой нет, кроме двух овец и десятка курей. До войны и разрухи двор принадлежал к разряду богатых: жил дед Матюшка, умевший для села портняжить, столярничать, тесать ульи-дуплятки, и было у него три сына — Дмитрий, Иван и Петр, сыном которого я потом стал. Он был младшим и грамотным — закончил церковноприходскую. Книжник, гармонист и песенник, он ненавидел крестьянский труд, отлучаясь по осени в город и возвраща-

ясь домой по весне. Ну скажите, пожалуйста, как же ему, одетому в малиновую рубаху навыпуск и обутому в сияющие лаковые сапоги, было уметь пахать, косить, возить навоз? Это делали братья и старик отец, а он услаждал их слух частушками под «ливенку», и все были внакладе. Петрак, как звали его свои и чужие, гребовал сельскими девками, носившими лапти, и свататься поехал аж за сорок верст — где-то там у захудалого однодворца жила в прислугах девка, сирота и красавица Катерина Сыромукова — моя потом мать. Это случилось в тринадцатом, а в четырнадцатом разразилась война. Вскоре помер дед Матюша и старший сын, Дмитрий. Иван погиб на фронте, а Петрак в чине унтер-офицера попал в плен, и когда вернулся в двадцать третьем году домой, то...

Клад нам нужен был дозарезу.

Все хорошее в детстве было исчерпано. Оставалось то, что не надо было воскрешать, потому что с ним не заснешь. Хотя кое-что можно... Помнишь, как тебя дразнили ровесники в школе и на улице: «Белый, белый, кто тебя делал? А, пыль да мука, да четыре мужика!» Надо же! Ты к тому времени уже знал, «кто тебя делал», и ненавидел его люто, болезненно и страстно, а с ним заодно и мать, и отчима... этого только за то, что он не был настоящим тебе отцом...

Не надо об этом, к черту!.. И все же удивительно. Как живо и ярко он продолжает помнить многое, что было потом: и этот случай с майором Ивановым, и о Семене Дмитриевиче...

Школа. Изрезанные именами — Кузьма, Прохор, Андрюха — парты. Черная, истрескавшаяся доска, кусочек белой глины, тряпка-стиралка и въедливый, широкий запах гуммиарабика. Серый мартовский день. Пахнут в мягком утреннем морозце вишни. Звенят оттаявшие голоса синиц — весна.

Ребятишки запаздывают к началу урока, но являются радостные, добрые друг к другу. У некоторых губы и щеки лоснятся и светятся — масленица, ели блины, опаздывают через это.

Учитель молодой, высокий, строгий. Он носит голубую сатиновую рубашку с глухим воротничком. Хромо-

вые сапоги с калошами, диагоналевые галифе образца гражданской войны. Учитель — комсомолец. Семен Дмитриевич Верин. Он вкусно произносит непривычное нам слово «пянер». Он сам повязывает нам красные галстуки, затем, отступив на шаг, щелкает каблуками сапог и грозно приказывает:

— Пянер, будь готов!

— Всегда готов! — радостно кричат Кузьма, Прохор, Андрюха...

Урок.

— Лермонтов — это дворянский писатель. За всю жизнь он написал только одно пролетарское стихотворение — на смерть поэта. Но это вышло у него случайно.

— Чайковский жил на даче. Денег у него было много, кругом леса, и ему бесплатно собирали ягоды. Сахар он покупал сам, затем варили варенье, он ел его и сочинял дворянскую музыку...

Мы слушали, и музыка эта казалась нам далекой, чужой и непонятной.

Прошли годы.

Однажды в филармонии выступал знаменитый скрипач, исполнявший Чайковского.

В залитом полумраком зале веяли крылья незримого восторга и грустной радости. Было напряженно тихо и томительно счастливо оттого, что в мире живут люди и эти звуки и что это человек создал их — бессмертные, живые, затопившие мир гордым и чистым восторгом, любовью и красотой...

Рядом со мной сидел высокий, строгий старик. Он сидел неподвижно и как-то строго, совсем покойно плакал.

Я узнал учителя.

По окончании концерта я настиг учителя в дверях и представился.

— А, да, да... я вспоминаю... Хотя и забыл... да, очень рад.

Я пригласил его в ресторан, я не мог этого почему-то не сделать.

Я заказал две бутылки «Шампанского» и банку клюквенного в а р е н ь я. Учитель только поднял брови,

но промолчал...(Как мы вели себя за столом и как он потом ушел, отодвинув строго и резко от себя банку, и что-то суровое сказал мне.)

Ведь с тех пор ощущение жизни все же притупилось, и многое из того, что когда-то манило и окрыляло, устрашало и мучило, волновало и радовало, теперь казалось малозначительным и неинтересным, а порой и вовсе ничтожным и жалким, но вот острота восприятия добра и зла осталась неизменной, и сердце отвечало на это с прежней силой признательности или негодования. Даже больше, чем прежде, значительно больше. Что ж, видно, сердцу, а не разуму положено до конца дней своих помнить, что в мире вечно и что преходяще. Может, оттого оно и не так податливо на прощение зла, как разум: тот ведь еще и дипломат лукавый!..

ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ ИЗ КИСЛОВОДСКА

Вечер был сизый и кроткий, как ручной голубь из детства. Было безразлично, существовал ли когда-нибудь этот голубь у него самого, совсем безразлично — если не существовал, то должен был быть, потому что если его не было, то только по чьей-то злой, чужой вине, потому что этот голубь был в идее мира, ибо мир прекрасен и человек в нем — тоже. Сыромуков шел по пустынному терренкуру, не противясь благодарному, щемяще сладостному восторгу, охватившему его беспричинно и неожиданно. Он шел и тихо, облегчающе и восторженно плакал. Он думал, что это ничего не значит — ни то, что он вот-вот должен умереть сам, ни что уже умерли Лермонтов, Толстой, Хемингуэй, Экзюпери — тот французский летчик, вот когда вспомнилось, — что, возможно, усилиями темных,сытых людей потухнет на земле жизнь, но что даже это ничего не будет значить, потому что жизнь тут была и цвела, и если ее не станет, то только здесь,

на земле, а где-то за пределами здешнего неба она все равно будет продолжаться, потому что это немыслимо дико, чтобы ее не было,такой же голубой, зеленой, багряной, белой, как наша, посланной человеку великой милостью Великой тайны...

КОНЕЦ

При возвращении, когда его встречал Денис (он увидел его из окна вагона, на перроне, с хохлом на макушке, в самом деле подросшего, как показалось Сыромукову, острого, напряженно вытянувшегося в струну,— выглядывал в толпе отца и не находил), подумал, что им можно будет обняться и, возможно, даже расцеловаться, как всем взрослым после разлуки. Уже на перроне, поспешая к сыну, Сыромуков летуче и коротко помолился в душе Денисовой судьбе, чтобы она была милосердна к нему и все сделала так, как его собственная, сыромуковская судьба сделала для него самого... Чтобы Денис никогда, ни на один день, ни на час и ни на миг, не стал бы довольным.

СОДЕРЖАНИЕ

Воробьев К.

В 75 Убиты под Москвой. Повести. /Сост. В. В. Воробьевой. (Библиотека журнала «Знамя»). —М.: Правда, 1989.—464 с.

В сборник повестей К. Воробьева (1919—1975) вошли лучшие произведения писателя — уже получившие широкую известность повести «Крик», «Убиты под Москвой», «Это мы, господи!..», в которых изображены события первых месяцев войны, героизм и мужественное сопротивление советских воинов в жестокой схватке с врагом. В повести «Сказание о моем ровеснике» рассказывается о русской деревне времен гражданской войны, о нелегком становлении новых социальных отношений на селе. В оставшейся неоконченной после смерти автора повести «...И всему роду твоему» действие происходит в наши дни, главный герой ее, в прошлом фронтовик Сыромуков, мучимый памятью о пережитом и выстраданном в годы войны, судит себя и других по нравственным законам своей военной юности, отсюда высокий нравственный пафос всего повествования в целом.

В $\frac{4702010200-1945}{080(02)-89}$ 1945—89 84 Р 7

Константин Дмитриевич ВОРОБЬЕВ

УБИТЫ ПОД МОСКВОЙ

Повести

Составитель
Вера Викторовна Воробьева

Редактор «Библиотеки»
В. Ф. Кравченко

Оформление художника
А. И. Неровного

Художественный редактор
В. В. Масленников

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1945

**Сдано в набор 26.02.88. Подписано к печати 19.07.88.
Формат 84×108 1/32. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,78. Уч.-изд. л. 24,46.
Тираж 400 000 экз. (3-й завод: 200 001—300 000 экз.).
Заказ № 06040. Цена 1 р. 50 к.**

**Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина
и ордена Октябрьской Революции типографии имени
В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865. ГСП. Москва. А-137, ул. «Правды», 24.**

**Отпечатано в ордена Ленина комбинате
печати издательства «Радянська Україна»,
252047, г. Киев, проспект Победы, 50.**

1 р. 50 к.